



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (491)

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Михайлик. «Это ваше ар нуво – дразнится чего?..» и др. стихи.....	3
Павел Терешковец. В бреду. Псевдоавтобиографический роман.....	8
Андрей Сен-Сеньков. «Стихотворение, на которое капнули вином» и др. стихи.....	86
Владимир Тучков. Житие американского летчика Фрэнка Пауэрса во Владимирском центре.....	92
Евгения Изварина. «Взапуски – не проблески ли одни...» и др. стихи.....	108
Каринэ Арутюнова. Шапиро с улицы Шапиро.....	111
Ирина Котова. «Слепые глаза птиц» и др. стихи.....	118
Сергей Зельдин. Журфак и др. рассказы.....	125
Богдан Агрис. «От звёздного закутка...» и др. стихи.....	134
Вячеслав Немиров. Девочка из коммуналки. Рассказ из цикла «Вперёд и наискосок».....	139
Евгений Чигрин. Вот граница, а вот вам таможня. Стихи.....	142
Саммер Ленц. Собака сутулая, или Несколько дней из жизни Кассиопеи Кирпичниковой.....	145

ПЕРЕВОД

Мириам Ван хее. Из книг «Там тоже падает свет» и «Где нас ждали». Перевод с нидерландского, вступление Анастасии Андреевой.....	186
---	-----

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Михаил Бару. Взять, к примеру, дядю Ваню... ..	192
---	-----

ВОСПОМИНАНИЯ

Сергей Боровиков. Советский поэт.....	219
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Елена Зейферт. «Одиссея» Ильи Спрингсона О кн.: <i>Илья Спрингсон. Кошкин дом</i>	236
---	-----

Борис Кутенков. После катастрофы О кн.: <i>Филипп Дзядко. Глазами ящерицы: Дневник чтения одной несуществующей книги</i>	241
--	-----

Мария Мельникова. Васильев и пустота О кн.: <i>Николай Васильев. Нефть звенит ключами</i>	246
---	-----

Алексей Мошков. «На полях манускрипта...» О кн.: <i>Алексей Сомов. Грубей и небесней: Стихотворения, эссе</i>	248
---	-----

Елена МИХАЙЛИК

Это ваше ар нуво – дразнится чего?
Слышишь голос – хорошо, выйдешь – никого,
Перекошенный залив удовлетворен,
Издевательский извив льда над фонарем,
Там державный шаг залёг в каждую строку
И уже причислен Блок к ветру и песку,
Чье нуво, кого нуво,
Кто там голос над Невой,
Кто там шар(ф) над головой,
Кто куда растет травой через одного?

В мире зима повсюду, даже за экватором дождь и в окнах темно,
На экране напротив стоит Гертруда и пьет вино.
Состав проверять не надо, зачем тревожить непотребнадзор и потребсоюз?
От хорошего яда у вина богаче букет и прочнее вкус.

Пересказом длинным, многократным, сводящим очевидцев на нет,
Годовыми кольцами карантина (возбудитель неважен) Болдино и Лондон с
плавают сюжет

И сухой остаток – ржавый – полной горстью собрав со дна,
Скажут: все, порядок, есть задел, включайте кино – весна.

Вот это – синайский терновый куст,
цветущий три раза в год.
В это время сектор закрыт и пуст –
а что? Вам нужен другой народ?
Они же пытаются спорить с кустом,
с его пылающим ртом,
понемногу подходят поближе и...
Вы помните, что потом.
Вот это граничный сумрачный лес,

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ. С 1993 г. живёт в Сиднее, преподаёт в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии, тема диссертации «Варлам Шаламов: поэтика новой прозы». Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Премия Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» (2019). Автор двух книг стихов. В «Волге» стихи публикуются с 2013 года.

на него смотрят с небес.
Травмирован. Увидел вас – и исчез,
пока еще один не залез...
Пришлецы спят, горят, говорят,
фиксируют, что смогли,
а из него потом удаляют ад
до самого центра земли.
А это, простое, там, где окно,
да, конечно, это оно,
растет, ничем не защищено
и давно не запрещено,
к рассвету встает, к полудню цветет,
к закату приносит плод,
но если вы съедите его
(а вы, конечно, съедите его),
то – существо вы иль вещество,
или – в вашем случае – волшебство –
вы войдете в человеческий род.

I.

Английская погода вызывает сплин, австралийская – жареный сплин,
и сегодня у сиднейских холмов и долин температура – сорок один,
рыбы забираются под брюхо киту, улитка закрывает ставни в доме,
дождь еще не испаряется на лету, но дело идет к тому.
А в далекой Японии профессор N экспериментирует с мышами,
отыскал в них переключатель, отправляющий в зимнюю спячку,
пусть перебирается к нам – обрстет и подопытными, и барышами,
мы проспим весь ноябрь (и декабрь, и особенно февраль) всем городом,
вместе с аэропортом и водокачкой.

Ура!

II.

Английская погода – это мокрый сплин, австралийская – затопленный сплин,
Очень трудно предаваться созерцанию осин, если воды – выше осин.
Все проснутся глубокой осенью в состоянии придонной обиды –
был же курортный сезон, а куда пропал, вынь его и положи...
А покуда спали, пришла погода из Антарктиды,
и все хором – в зуме – жалуются на дождь (постоянный, сплошной,
непрерывный ноевский дождь).

Эвкалипты работают водорослями, коалы плывут (с тоскою),
вместо улиц – реки, вместо дворов – пруды,
на четвертый день водяная змея выбирается на твой подоконник
и с омерзением смотрит на растущий объем воды.

Через несколько месяцев, повинувшись своим процессам, прилетит Некто и отделит
сушу от вод,

но пока он где-то шляется, господин японский профессор,
нельзя ли спячку на год?

III.

Просыпаешься, а на обсерваторном холме из термометра, ожив, убежала ртуть,
полейте нас, кто-нибудь, и дайте уснуть.

Гигантский ленивец упал в сенот, и хранится там до сих пор.
Его никакая хворь не возьмет по обе стороны гор.
Он для науки вовеки цел, его зафиксировал
своевременный безударный пробел, то есть карстовый провал.

Переводя: «танцуют в кругу на Авиньонском мосту»,
еще не знаешь, что этот мост обрывается в пустоту,
механическое нарушение ритма – пролет переходит в нигде.
Pont и rond – двойная точная рифма – это удар по воде.

Как угадать, средь подстрочных сфер ловя неродную речь,
какой контекст и какой размер пожелают тебя сберечь?
Ускользнуть туда, где еще горим, где плывем – города, поезда, прозрачные острова,
навязав поэме собственный ритм, запечатав ее в слова.

Мариш Шрейдер

Кэтлин Дрю-Бейкер, ботаник,
неоплачиваемый научный сотрудник
Манчестерского университета,
выходит погулять на берег
холодного Ирландского моря.
Ветер пахнет солью и йодом,
под водой шевелятся красные полотнища –
порфира, водоросль, валлийский хлеб,
завтрак шахтера, защита от авитаминоза.
Взрослые особи.
В какой-то момент они просто приплывают,
укореняются и начинают расти.
Те, кто тысячелетиями варил этот хлеб,
не знают, откуда они берутся.

*Огонь идет по японскому побережью,
пепел падает в воду.
Потом приходит тайфун.*

Кэтлин Дрю-Бейкер
глядит на красный и бурый предмет исследований.
С тех пор, как она вышла замуж
и ее уволили с работы:
замужняя женщина-профессор –
это невыгодно и аморально,

как знает любой британец...
В общем, вести исследования
стало немного сложнее.
Впрочем, у нее есть стеклянные банки,
возможность собирать образцы,
доступ к лаборатории.
Мораль не мораль, пожар не пожар,
война не война –
ей нужен ответ, и она его получит.
В сорок девятом году она опубликует статью,
В пятьдесят седьмом – умрет.
Во всяком случае, сначала ей так покажется.

*Радужная жидкость
качается в устьях рек.
Потом приходит тайфун.
Потом еще один.
К сорок восьмому году на побережье Японии
вымирают красные водоросли.
В стране больше нет нори.
Война, огонь, ядерная бомбардировка,
теперь еще и это.
В сорок девятом придет статья.
Нитчатая красная слизь,
живущая в двусторчатых ракушках,
это не мелкий вид-паразит,
это стадия развития нори –
их можно растить.
В пятьдесят третьем на мелководье
встанет первая ферма.*

Четырнадцатого апреля
две тысячи неважного года
Кэтлин Дрю-Бейкер,
уже не помнящая, как правильно произносят «л»,
проходит над морем Ариакэ
(максимальная глубина – 50 метров).
Мать Моря, покровительница открытий,
подательница жизни
следует в своё святилище в Уто,
на ежегодный праздник.

*В сотнях километров к северу
фронт формирует трубку...
встречает рассеянный взгляд из-под очков,
слышит подводный хруст,
и послушно рассыпается.
Пока что это предел.*

Бурые лопасти под водой
кланяются ей,

ракушки перестают дышать,
рыбы застывают в потоке...
Чтобы выжить,
чтобы обрести настоящее бессмертие,
биологический вид должен стать съедобным,
должен стать полезным,
должен стать желанным,
но сверх этого –
должен стать восстановимым,
способным восполнить любые потери.
В 1953 красные водоросли
и союзные им виды
добились результата.
600 квадратных километров моря
отведено под фермы.
И площадь только растет.

*Святылище в Уто
привлекает все больше паломников –
даже из Китая, даже из Вьетнама,
Северная Корея еще не кланяется,
но уже знает по имени.
Страшная вещь – благодарные люди
и благодарные водоросли.*

Кэтлин Дрю-Бейкер
улыбается про себя.
Божество – тоже неоплачиваемая работа.
И никто не знает, откуда берутся боги.
В какой-то момент они просто укореняются...
И начинают расти.
Запах морского хлеба...
Замечательное поле
для нового исследования.

К двенадцати – кум королю –
поет петроградский колодец
как к праздничному кораблю
уснувший воскрес полководец,
летит по ночным небесам,
является – силою шквала,
и чертит – как выдумал сам,
и чинит – прорехи, провалы,
слепой шестереночный хлам,
чтоб время с пространством совпало...
но в полночь по этим часам
из гроба встает кто попало.

Павел ТЕРЕШКОВЕЦ

В БРЕДУ

Псевдоавтобиографический роман

***Посвящается Гиннунгагану,
в котором создавалась эта книга***

I

Бывает, проснусь, выпаду в мир в раннем часу, а мыслей в голове – больше, чем в ней же пространства. И воззрюсь на потолок, встревоженный, слыша откуда-то свой одичалый голос: боже, как им, должно быть, тесно! Как невероятно тесно и нелегко! Я знаю, как это бывает, хорошо знаю, а поэтому вовремя себя одёргиваю и говорю: так, соберись, тряпка, и ни в коем случае об этом не думай. Не думай о тесноте и мыслях, вообще ни о чём не думай. Твоя это голова или не твоя? Пусть это тебя не тревожит.

Ну и что же? Ясное дело, тут же берусь думать с двойной силой, причём на первую попавшуюся тему. Например: сегодня гастрономы открылись, как всегда, в семь или, как никогда, в восемь? солнце взошло на востоке или всё же на западе? сколько мне лет? сильно ли я постарел за последние сутки? какой нынче день, а лучше – месяц? почему Суэцкий канал... Ну, вы поняли.

Так продолжается некоторое время, пока я прихожу в себя, сквозь мутное сознание пытаюсь разобраться, гуляю ли я по какому-то парку, или сплю, или только что проснулся. Наконец я заключаю, что проснулся и нет никакого парка, делаю над собой волевое усилие и выкристаллизываю вот какую небезынтересную мысль: «Нет, надо определённо что-то с этим делать», – думаю я в такое утро и вот уже собираюсь что-то предпринять, но так ничего и не предпринимаю, потому что непонятно, что же всё-таки можно с этим сделать.

А, наверное, сделать ничего и нельзя, вот я и остаюсь наедине со своими мыслями и каждую в отдельности тщательно продумываю, в надежде, что она исчезнет, если изучить её от «х» до «й» и обратно, все её варианты, но она не исчезает, а становится только больше, плодится, ширится и растёт, и, чтобы в ней окончательно не погрязнуть, я в отчаянье перехожу к следующей по списку.

Думаю: может, что-нибудь почитать, отвлечься? Да, но ты одновременно читаешь семь книг – так с какой же начать? Я в нерешительности застываю, пока случайным образом не рождается новая идея: итак, может, вместо чтения лучше что-нибудь посмотреть? Было бы хорошо, только вот что? Есть список из пятидесяти фильмов, художественных, а нехудожественных – ещё шестьдесят восемь, плюс с десятков каких-то крайне важных, но совершенно бесполезных роликов в интернете – что будешь смотреть? Я сдаюсь. Ничего я смотреть не буду.

Лучше, пожалуй, чего-нибудь послушаю. Например, аудиокнигу? Но тут же отказываюсь от этой мысли, вспомнив, сколько аудиокниг у меня накопилось за последнее время. Тогда – музыку! Да, музыку, точно! Хотя... Какое у тебя сегодня настроение? Будешь слушать босанову, приплясывая, или сразу перейдёшь к классическим симфониям Баха – взгрустнуть? Может, ты настроен

Павел Терешковец родился в Гомеле в 1987 году. По специальности – лингвист, синхронный переводчик немецкого. В прошлом – музыкант, фотограф. Жил в американской эмиграции, вернулся в Беларусь, сейчас живет в Минске. Публиковался в журнале «Перемены». Блогер, автор телеграм-канала «Писатель без книги», колумнист журнала «OnAir».

лирически – тогда подойдёт Кобзон или блатной одесский бит вперемешку с колумбийской народной песней. Но если рвёшься в бой и думаешь о родине, лучше григорианских пеней и «Прощания славянки» ничего не найдётся. Не то... Ну, тогда, наверное, Элвиса или ирландские моти-вы? Не то, всё не то...

«Можно полистать журналы», – слышу я себя сквозь туман утренней дремы, но тотчас доходит, что журналы не читаю, да и никаких других, кроме тех, где публикуюсь сам, не держу: у меня здоровый литературный нарциссизм, если можно так выразиться; вся макулатура, где нет ни одной моей строчки, по умолчанию считается пошлой и недостойной и подлежит немедленной утилизации. Я даже не смотрю в сторону такого чтива и другим не советую. Итак, журналы – отбой. «Что же, чёрт возьми, остаётся?» – вопрошаю я в бедной своей голове, где уже совсем не осталось свободного места, где все мысли поразбухли так, что теперь мне и самому становится тесновато. И тут вспышка ядерного взрыва ослепляет меня.

Генеральная уборка! Ха! Как я сразу не догадался? Я смеюсь над своей тупостью и малоумием. Это же надо – не подумать о самом очевидном! Ты здесь живёшь, тебя должны окружать лоск и чистота, ты должен растворяться в парах растительных ПАВ на кокосе. Я почти закатываю рукава, почти беру в руки ведро, швабру, но тут посещает меня очередная отрезвляющая мысль, что перед полами надо бы протереть все поверхности от пыли, включая восемьдесят восемь клавиш пианино, белых и чёрных, телевизор, колонки, стол, кашпо. Ещё – все ручки в доме, потому что ты их вечно лапашешь. А также – выключатели. Но раз уж браться за дело – так, извините меня, и унитаз надо отдраить, и раковины помыть, и плиту от жира максимально избавить, и ещё много чего сделать перед тем, как переходить к половым покрытиям. Или я всё это уже делал? Я мысленно ставлю швабру с ведром обратно и думаю дальше.

Полить растения? Так, я их поливал не далее как вчера... Соцсети? Так у меня от них давно изжога... О! Повесить картину! На ней изображена Французская революция в виде распустившегося цветка алёз – как эти явления связаны, не спрашивайте, я сам до сих пор соображаю. Я б её, конечно, повесил, но ведь стены у меня сделаны на совесть, из бетона со спорадически и без всякой логики возникающими то здесь, то там камнями, кто-то очень хорошо постарался, – над двумя дырками буду потеть полдня и в итоге хренову стену разнесу в пыль и пепел. Дюбеля смотрят на меня с укором.

Нет, это не сегодня, это можно спокойно сделать через сутки или в следующем году. Не горит. Помыть, может, окна? Да пылали б они в аду белым пламенем, эти окна! Терпеть не могу. Какой смысл? Только помою – небо в ту же секунду затягивает тучами, синоптики в ужасе объявляют красный уровень опасности, и гроза три дня беспощадно хлещет в невинные стёкла. К тому же всегда есть риск вывалиться, а с восьмого этажа это будет не очень приятно.

Тогда – погладить вещи. Только вот они все (все ли?) поглажены... Поубивать пищевую моль? Вся до единой жестоко убита ещё в прошлом месяце... Постирать бельё? Так я никогда горы не собираю, стираю по мере, так сказать, поступления, а поэтому сегодня и стирать нечего... О, Все-держитель, сколько мыслей, сколько бесцельных идей...

Вижу скакалку, зелёную, длинную скакалку со счётчиком прыжков для особо пытливых и апатичных, прыгаю сто раз, икры начинают ныть, останавливаюсь. Хорошо, уже хоть что-то сделал, пусть и в уме. Да, но что дальше? Выучить стих Бродского! Лень. Прогуляться на улице? Я снова громко смеюсь. Ну конечно, на улице. А известно ли тебе, бледнолицый, сколько на улице маршрутов? По которому ты пойдёшь? По большому кругу или по малому? В сторону Заводского района или к кольцевой с парком? Мимо гипермаркета или минуя гастроном? Количество путей настолько велико и так неисповедимо, что число возможных комбинаций в шахматном эндшпиле покажется тебе кощунственно малым и бесконечно стремящимся к нулю. Соответственно – лучше никуда не идти. Да я это и несерьёзно подумал, о прогулке. Вы, что ли, не поняли? Это я шутил.

Но сейчас, конечно, не до шуток. Ведь так было и в это утро, а бывает оно такое не часто: раз-два в неделю. От силы три. Иногда четыре и больше, но это редко, поэтому в расчёт не беру. Так вот, я проснулся в раннем часу, слишком, однако, позднем уже для открытия магазинов, и сначала

обратил внимание на потолок, на котором ровным счётом ничего, кроме побелки-то, и не было, но внимание он моё к себе почему-то приковал. Если бы не дурацкий потолок, я бы, возможно, и не стал сегодня думать: лежал бы себе в постели, глядел бы на внутреннюю сторону век с хитрой арабеской кровеносных сосудов, следил бы за маленькими чёрненькими точками, ненавязчиво, в ритме вальса или босановы плавающими туда-сюда, и ничего бы не думал и не делал бы тоже ничего. Ничего бы не предпринимал. Это было бы прекрасное, беззаботное, чувственное утро, но, раз потолок против воли завладел моим взглядом, мне ничего другого не оставалось...

Я сразу задумался: как это так? Что же меня в нём привлекает или, наоборот, отталкивает? Сложно было определиться, нравится он мне или нет, – но я продолжал размышления. Вот ты проснулся и посмотрел на чёртов потолок – так что же теперь, весь день насмарку? До вечера здесь торчать будешь? Потолок как потолок, ничего особенного в нём нет. Плешь на него и забудь. Только если будешь плевать, то плюй чуть-чуть в сторону, а не вертикально вверх. Но, может, именно поэтому ты на него и смотришь, что он совершенно не примечателен и бел?

Так я думал и не вставал, вместо век рассматривая над собой белое полотно потолка. Вскоре я обнаружил, что чёрные точки на самом деле были и на потолке, а не только под моими веками, просто сначала я их зачем-то игнорировал и для чего-то не замечал. Дом, видать, за пару лет дал усадку, и стали появляться так называемые «жучки» – куски нарушающего потолочную целостность бетона. По идее они должны были потолок уродовать, но нет – я даже вздохнул с облегчением и обрадовался: стерильное совершенство белого разбавлялось идеальной пропорцией хаотических выбоин, становясь более человеческим и земным, и уже не таким совершенным. Я пришёл к выводу, что именно в этом «ваби-саби» и проявляется – восточная философия, которой я в последнее время всецело так проникся. Течение довольно обыденно гласило: «Всё безупречное – шаблонно и низменно, модерн – ущербен, неосквернённое – мимолётно». Мне нравилось это течение. Весьма неплохо бросать вещи где попало и объяснять это какими-то восточными веяниями. Это удобно, я мгновенно стал адептом.

Но даже ваби-саби нужно, говорят, в меру, а у меня же меры никакой ни в чём никогда не было. И если представить, что потолок вдоль и поперёк вдруг изойдётся жучками – что же это тогда будет? Красота? Произведение искусства? Вместо белого потолка я буду каждое утро лицезреть чёрный и всё гадать: обвалится он когда-нибудь из-за халатности какого-то строителя или не обвалится? Поэтому лучше, чтобы не обвалился, во всём мера.

Однако если мера – сущность сама по себе понятная и даже в некоторой степени банальная, то зачем вообще придумывать и изобретать всяческие теории и философии? Ведь тогда человек будет в меру сумбурен, бессистемен и в меру порядочен, в меру козёл, ублюдок и в меру романтик. Будет тебе и фэншуй, и ваби-саби, и коммунизм, и анархическая демократия. Не придётся ломать голову, в какую религию податься или сколько камней закинуть в бетон, ведь у всех всего будет в меру.

2

Я ещё думал какое-то время эти тяжёлые мысли, перекачивал их из правого полушария в левое, из левого в правое, потом встал, кое-как умылся, неохотно посмотрел в зеркало и улыбнулся. Вот оно – это утро, и именно так оно начинается. Лицо в зеркале и кривой потолок. И много-много никчёмных, непрощённых мыслей, без которых я вполне мог бы обойтись и час, и два, и даже полжизни.

Вообще, мне кажется – и я не однажды это замечал, – что люди без мыслей, то есть глупые, беспросветно тупые люди, напроць, вдрызг счастливы. Их ничто не беспокоит, а если и беспокоит, то исключительно явления вроде подорожавшей водки, отключения горячей воды, непрочно-го латекса или не вовремя завязавшего коллеги по цеху – феномены такого порядка. Всё остальное, на чём держится мир, их совершенно, никоим образом не волнует.

А меня волнует. Я человек беспокойный и нетупой. Меня как раз всё остальное и волнует, и мне нет никакого дела до латекса, коллеги и водки, и вот я теперь думаю, волнует ли оно вообще

кого-то, кроме меня. Ведь может так случиться, что это я один такой, оригинальный, а все остальные – сверх необходимого иные, беспричастны главным вопросам вселенной, и меня не поймут. Если же не поймут – зачем тогда всё это? Зачем тогда вообще что-то писать? Я помрачнел и криво улыбнулся себе в зеркало. Пусть не понимают, это краеугольный камень существования, главное – чтобы хоть кто-то прочёл, а то иначе действительно – зачем?

Я отрешённо вышел из ванны, заварил себе крепкого чая, что-то обдумывая, слыша, как мусоровоз гремит во дворе, и уселся, наконец, с облегчением в то самое кресло в зале, где окончательно потерял над собой контроль. Чай всё, конечно, только усугубил. Я спохватился, когда половина уже плескалась во мне. Суть в том, что стоит его выпить, особенно если заварка крепкая, как я люблю, – извилины начинают плавиться, превращаясь в жижу навязчивых мыслей, тебя начинают терзать сомнения, ты уже не веришь в своё предназначение, это в один момент, а в другой – совершенно уверен в своей уникальной миссии на земле, потом думаешь о мире и как его спасти, но в конце концов останавливаешься на чём-то попроще и пытаешься найти себе неременительное занятие, чтобы через некоторую абстрактную деятельность обрести внутренний покой – бог с ним, с миром. Вот будь у меня полтора или два возможных дела на все двадцать четыре часа в сутках, допустим: поесть и поспать – я бы с ними без проблем управился. Без проблем и с огромным удовольствием. Встал бы, поел бы, ел бы долго и не спеша, с насмешкой, а потом, не смотря ни на какой потолок, сразу бы и завалился снова спать. И если соотносить это с какой-нибудь философией, можно было бы даже допустить, что я велик, как Будда: ничего не делаю, а только прорезаю время (пространство, как видно, не прорезаю) своим остроконечным телом. А вот своим колюще-режущим взглядом – тем, да, проникаю в пространство и вещи, но недалеко, метров на десять туда-сюда, не более: у меня не такая уж и большая квартира.

Так если ничто из предложенного не подходит – что же тогда делать? Я барабанил пальцами по собственной коленке. А что если... Я сделал осторожное сам себе предложение: а что если приготовить поесть? Ведь как делал Будда? Наверное, ел, а потом – отсыпался перед следующим приёмом пищи... А ты вот хорошенько подумай для начала, как бы это хоть что приготовить. Подумал ты об этом? Ты, должно быть, обо всём сегодня подумал, а об этом – ещё не подумал. Смотри, а то и чай остынет...

Я машинально подул на чай и сделал глоток. Только теперь я заметил, что чай был холодный, а ведь буквально пару минут назад заварил. Или?.. Нет, это, наверное, вчерашний, а что сегодня заваривал – так то или показалось, или на кухне оставил. И ещё горчит, аж противно. Чифир, почти как в «Зоне» Довлатова, под стать тюремному жаргону. Хорошая книга, но печальная... Так у него и жизнь не особо весёлая, верно, была. Хотя если сравнить с моей, то всё же повеселей будет. Он, по крайней мере, заставлял себя встать, даже пьяного и с бодуна, и куда-нибудь выйти, например, в редакцию. Или куда-нибудь поехать, например, в ту же редакцию. А я? Как встал, так ничего и не делаю, и никуда не иду.

С другой стороны, мне и нечего делать, и почти некуда идти – так чего ж мне суетиться? Довлатов суетился, суетился – и, как видите, смежил очи. Что же я – так же хочу? Не хочу я так же. Поэтому буду здесь сидеть и продолжать ничего не делать, пока не придумаю себе занятие получше.

А всё же таки позавтракать необходимо... Да, но опять же, подумал ли ты, что для этого требуется? Что нужно, чтобы вкусное блюдо оказалось в твоём ненасытном желудке? В еде ведь ты тоже не знаешь меры, как и во всём остальном. Я осмотрелся. Всё идеально чисто, всё на своих местах. А я ещё хотел что-то убирать. Смешно, ведь убирать-то и нечего. Я каждый день убираю, пусть же сегодня будет исключением. Пусть накопится немного ваби-саби: пыли, грязных носков и беспорядка – в этом каменно-бетонном пространстве... Ваби-саби, ваби-саби... Васа-би...

Оно! Васаби! О да, как хорошо было бы, чтобы вот на этом месте, на этом столике из «Икеи», вместо чашки холодного чая оказались тёплые суши с копчёным угрём, а рядом, в керамической пиале с восточным орнаментом, васаби и соевый соус. На прошлой неделе, я слышал, в одном заведении неподалёку была какая-то акция, только надо вспомнить какая. Приведи друга, а сам

останься дома... Пять суши бесплатно, если предварительно за них заплатите... Вторая палочка в подарок... Что-то такое... Не помню. Не могу вспомнить. Надо им позвонить, в любом случае, и уточнить. Я даже номер запомнил, надо только вырыть его из глубин памяти: пять-пять-пять, что-то там. Чёрт, телефон же в спальне!

Вот раньше было, а? – жизнь простотой своей удивляла. Телефон всегда стоял либо на столе, либо на какой-нибудь полке, как водилось, в зале, с разбежкой в два-три метра, по длине провода. И удобно ж было! Поднял трубку, позвонил, тебе сухо назвали столичное время или в подробностях обрисовали ближайшую метеосводку. Или взял и позвонил и с кем-нибудь поругался. А ещё лучше, позвонил по неизвестному номеру – и послал незнакомца на три буквы, не ругаясь. Или доверительно ему поведал, как на днях забавлялся с его маманей. А он тебе – что он тебе? А ничего он тебе и не сделает: ни у кого ещё в ту варварскую эпоху определителей номера не было. Если же всё-таки удавалось наткнуться на буржуа с таким новомодным устройством – редкий случай! – это становилось понятно ещё во время гудков по характерному щелчку – щёлк! Тогда ты хладнокровно клал трубку и набирал другой, наугад, номер. Хорошо было.

А сегодня – всегда под прицелом, всегда под наблюдением. Ни шага не сделаешь, чтобы кто-то не узнал. Я и на улицу-то перестал соваться, потому что уже даже на нашем доме установили видеокамеры. Установили и направили на клумбы – зачем? А затем, оказалось, что в какой куст ни плюнь, вертикально или чуть-чуть в сторону, где по-маленькому ни остановись, – везде заметят, и отчитают, и штраф, не скупясь, обильный выпишут. Благородный такой метод пополнения казны. Жизнь ли это?

Меня такой расклад, допустим, не устраивает. А вот суши устроили бы, но опять же – телефон. «Так иди и приготовь поесть!» – кричал я на самого себя. Это быстрее будет. Никому звонить, ни про какие акции узнавать не надо, да ещё потом жди неизвестно сколько. У тебя холодильник забит, как голова дерьмом, – там любое блюдо можно состряпать. Я кивнул: ага, хорошо говорить, но так ли всё просто? Даже чтобы сделать яичницу, которую я, впрочем, уже давно не употребляю, нужно помыть и поджарить два-три фермерских яйца с зелёным отливом от кур Араукана (я покупал и признавал только такие), а просто так яичницу, даже фермерскую и с отливом, есть не вкусно – нужен гарнир, салат, ну и пошло-поехало.

Нет уж, лучше чай. Пусть холодный, пусть чифир, но всё же какая-никакая жидкость. Кроме того, я где-то читал, что есть с утра вредно, да и вообще существуют праноеды, об этом я тоже где-то или читал, или слышал – те вообще не едят принципиально. Может, как-то с ними скооперироваться, примкнуть к их рядам? Нормальная такая секта. Идешь себе по улице и жрёшь прану на ходу, и ни одна из видеокamer не поймёт, что ты жрёшь, и никто тебя не наругает. Какое безнаказанное существование!

Вообще, если подумать, то я всё либо где-то слышал, либо об этом где-то читал. Изредка – видел. Ещё реже – трогал. Как мало у человека достоверных источников, но по уму ему больше и не надо! Мне, скажем, совсем ничего не надо. Я даже вот сейчас понимаю, что вполне мог бы обойтись и без чая, как и без мыслей. Можно было бы сразу идти прямоком в зал и усаживаться в глубокое кресло для глубоких дум, ничего не заваривая и думы от себя по возможности отгоняя. Но что сделано – то сделано. Буду, значит, пить.

Я сделал ещё один глоток – странное дело: теперь чай как будто потеплел, был теплее, чем в прошлый раз, а ведь прошлый раз был совсем недавно. Это что значит? Я нигде не читал и ни от кого не слышал, чтобы чаи могли вот так вот самопроизвольно нагреваться. Странное дело... Хорошо хоть сегодня какой-то день недели, не имеет значения какой. Потому что в любой другой – день – всё могло быть иначе, и не факт, что оно понравилось бы мне больше.

Я посмотрел в окно. Светило солнце. Слегка дрожал воздух от тепла. И тут оглушительно и отчётливо, как обухом по темени, услышал я собственную совесть. А у неё, знаете, голос такой гнусавый, нечленораздельный, утомляющий, особенно с утра, когда она ещё не успела разговориться. Она хрипела мне и во мне, что нельзя такой день просиживать дома. Конечно, там было другое, менее обтекаемое слово, не «просиживать». «Ты когда в последний раз в люди

выбирался, волк ты позорный?» Она всегда кроет комплиментами, стерва, ничто человеческое ей не чуждо. «Когда выбирался – не твоего ума дело... Выбирался я, не переживай, выбирался...» – «Так ли ты прям выбирался, что сейчас сидишь здесь, как приклеенный?» Я вздохнул: «Ну а тебе-то что, сижу я или стою? Тебе какая разница?» – «А такая мне разница, – отвечала она уверенно и нахально, – что меня в тебя престарелые черти закинули, и я вынуждена в тебе жить, в твоём сердце, – и уже чуть более обиженно, чуть ли не капризно: – Меня вообще-то никто не спрашивал, хочу я или не хочу, а я не очень-то и хотела, ясно?» – «Ясно, ясно... Разоралась... Ну так знай же: я тебя тоже не выбирал». Я отвернулся, и она замолчала. Обдумывала, должно быть, что ответить.

Я знаю, с совестью я никогда толком договориться не мог. Ну а как с ней договориться, когда она сразу в эмоции и на повышенных тонах? Иди, не сиди и прочее. Я, если бы хотел идти, давно бы пошёл. Так вот, наверно, ведь не хочу, раз куда не иду, она это учитывала? Не учитывала, я знаю. Она только себя всегда, дрянь, и учитывает. У, повезло же мне с ней...

«Ты кого дрянью назвал, мудозвон?» О, я же говорю, ни секунды покоя. «Да так, вспоминаю одну свою бывшую...» – соврал я. «Так тебе не одну тогда, а всех их вспоминать надо». – «Хоть в чём-то я с тобой согласен», – сказал я и замолк.

Правда ведь – все они, как одна, стервами были, что уж тут. Одна вышла из кино и сказала: всё, говорит, фильм был отличный, но пора нам завязывать. Вторая даже не закончила ужин и ушла, так и оставив итальянские спагетти остывать на столе, к какому-то кавказцу. Третью я, помню, пропустил – сразу приступил к четвёртой. Думал, прерву чёрную полосу хитрым тактическим манёвром. Ага, как бы не так, разогнался. Четвёртая перестала поднимать телефон ещё до того, как мы познакомились: исчезла, растворилась, как краска под ацетоном. Пятая... Ай, даже вспоминать не хочется, всё настроение испорчу.

Настроение-то ведь прекрасное. Такое утро... Какие дела, какие свершения меня ждут сегодня! Хочется петь, веселиться, танцевать! Мешают наслаждению только мысли – чересчур их, давят больно... Я смотрел на солнце, не закрывая глаз, слёзы стекали по моему лицу. Пусть, пусть выжжет через глазной канал бряцанье мыслей в голове – может, полегчает, оковы спадут, может, хоть вздохну в покое. Посмотрю на этот огненный шар и буду потом ничего перед собой не видеть, только фантомные пятна разных цветов, и периферическим зрением выхватывать из пространства детали: вот ножка стола, вот ободок чашки, вот пальцы мои, а вот – лампочка под потолком. А по самому центру – сияющая бездна от раскалённой звезды.

Однажды я весь день просидел в кресле, то пялясь на солнце, то боковым зрением пытаюсь потом разобрать буквы в газете – у меня была ровно одна штука, как сейчас помню. Хороший был день, насыщенный. Теперь, правда, и той не осталось, а осталась от неё половина (куда делась вторая?) – ну что ж, можно перечитать и половину, коль скоро всё равно с этим пятном читать нормально не получится.

Это не самое радикальное, что я делал в своей жизни, думаю, вы это уже поняли. Бывало много чего, скажем прямо. Бывало, на поезде в Симферополь случайно уезжал, бывало, чтобы стать честным и законным гражданином иностранного государства, документы подделывал, а бывало, и их пропивал, панегирики переводил, бывало... Да если я сейчас начну рассказывать, что было и чего не было, так вы тут же уснёте и слушать не станете, и я бессмысленно затоскую. Столько всего бывало...

На конях я пьяный ездил, если хотите знать, и с них же ещё более пьяный сваливался, с людьми, бывало, ругался, бывало, дрался, а бывало и так, что они со мной... Под дождём костёр разжигал, на лавочках всяких сидел без причины, в беседах с людьми разговаривал, на темы высокие и не очень. Ой, да я даже начинать не стану! Ведь я и растения в порыве щедрости пивом поливал, и в те же газеты что-то писал несуразное, и переходил дорогу на красный свет в собственных галлюцинациях, и кольцевую перебегал в час пик. Конечно, это вам не долатовский балаган, коим была, представляется, его жизнь, но и не тургеневское, знаете, описание природы. Тут есть куда харкнуть, где разгуляться.

Кресло становилось подо мной таким мягким-мягким, как зефир, как крем-брюле, размокшее в шампанском, и я всё глубже в него проваливался. Я думал о том, что в этой жизни, за свои долги тридцать два года (вот – вспомнил свой возраст!), которые пролетели, как внеплановый субботник, успел и что мне ещё предстояло, и тут заметил я, что солнечные лучи падают прямо в чашку с чаем и оттуда выстреливают нежной матовой рябью вверх. Меня осенило. Так вот оно, значит, что! Вот как он подогрелся!

Я хитро улыбнулся собственной сообразительности. А ведь не каждый-то догадается. Многие имбецилы продолжили бы сидеть со своей пустой черепушкой и гадать, что за высшая сила согрела чифир. Но не я. Не я! Я не такой, как все они, иные и обыкновенные. Есть во мне какая-то гигантская изюминка, которую никто не замечает. Все слепы. Я её и сам ищу, но, не будь я уверен в её существовании, ни за что бы искать и не начал, а потому знаю точно: она есть, большая. И дело времени, когда я до неё докопаюсь, а уж когда докопаюсь...

3

Зазвонил телефон. Я почувствовал, как правая часть моего тела дёрнулась в порыве встать и направиться в спальню за телефоном, но левая с правой не согласилась и продолжила пассивно и отважно утопать в кресельной обивке. А обивка-то, между прочим, дешёвая...Каждый раз, как сажусь сюда, раздаётся скрип. Дело не в обивке, конечно, я понимаю, дело в том, что под ней. Так вот туда я заглядывать и опасаясь. Чего опасаясь? Нет, не хлипкого китайского шпона, я и так знаю, что его там выше крыши. Опасаюсь как-нибудь посмотреть под кресло и обнаружить там, ну не знаю, затаившегося клоуна с византийской улыбкой – как вам такое? Дзынь! Кому это я понадобился в такую рань, интересно? Есть у кого-нибудь, кроме меня, хотя бы жалкое подобие совести, стервы этой...

«Это кто, то есть, стерва?!» – «Да кто-кто! Та это, первая которая, из кинотеатра. Ну, и вторая, и четвёртая...» – «Все у тебя, погляжу, стервы, один ты принц без белого коня». Я вспомнил кобылу, с которой под действием некачественного коньяка грохнулся в московском манеже. Её звали Крэйзи Хорс, она оправдывала своё имя, и была она белой. «Почему это сразу без белого? Откуда тебе знать: без белого или всё-таки с белым?» – «Да потому что ты с них только падать и умеешь. Я тебя, к сожалению, как облупленного знаю». – «И что же ты, интересно, знаешь?» – «Ага, сейчас, доклад тебе напишу или диссертацию...» – «Так вот, к твоему сведению, тебя много лет не было, и это были прекрасные года, а потом наступил тот безрадостный день – и я его прекрасно помню, – когда ты наконец проснулась и возопила...»

Совесьть спросила меня, о чём именно она возопила, ей было любопытно, делала вид, что запыталась. А я ответил, что она сама прекрасно знает, но на всякий случай напомнил: в тот день я поджёг чужой стог сена, причём без злого умысла, а так, в качестве досуга, ведь был я уверен, что стог сена ничей, и здесь должен отметить, что да, я идиот, ибо в наше время даже стогов сена ничейных не бывает. Частная собственность сожрала уже все умы человечества. Но я-то не знал! Я был молод и слеп, и этим всем был прекрасен – до тех пор, пока не сгорела последняя иссохшая травинка стога, а на улицу не выкатилась бабка с дедом и не заорала вместе с ним благим матом на весь двор что-то о справедливости, Всевышнем, приплетя в речь свою зачем-то ещё и евреев. И вот тогда, в тот самый момент их вопли проникли в меня, в моё сердце, глубоко, как я в этом теперь кресле, и вопль остался во мне навечно, окаменев, став совестью моей и моим наказанием за всё то неблагоприятное, что мне доводилось совершать до этого и после.

Она молчала, а я наблюдал, как луч медленно ползёт по чашке. Дзыыыыны! Чёрт, не пойду я никуда. Никому отвечать не стану. Кому я с утра понадобился? Никуда я не пойду. Ошиблись номером. Сейчас столько номеров, что ошибиться совсем не сложно. Вот перепутай всего одну цифру – и на тебе, звонишь уже не в психдом, куда следовало бы звонить, а прямо ко мне в квартиру. Потому что тем, кто так рано решает позвонить, надо звонить напрямую в психушку, и больше никуда. Не буду я брать эту трубку.

Даже если не ошиблись – так с плохими новостями, значит. Иначе зачем телефонировать до полудня, м? Ни перед кем у меня долгов нету, поэтому вряд ли звонят, чтобы их потребовать, хотя и такое бывает. Встречаться я ни с кем не собирался, потому как уже полгода ни с кем не встречаюсь – зачем? – а только изредка смотрю краем глаза новости, где одно только слово: «коронавирус, коронавирус, коронавирус». Сверхмодная мантра. Можно даже ящик не включать – я и так это слышу, когда совесть замолкает, вот как сейчас... Слышите? И потом, все эти уличные камеры...

Кто знает, может, пандемия продлится ещё месяц, а может, и год, и даже пятилетку. Будет как в восемнадцатом году с испанским гриппом... Не дай бог, конечно, а то я ж в своей квартирке-то и двинусь. Раньше ведь как было. Приплыл из дальнего плавания. Ездил ты в отпуск на Карибы или в Алжир (я не знаю, были ли тогда отпуска и доплывал ли кто до Кариб) и вот приплыл обратно – а тебя в карантин, на сорок дней у острова Лазаретто – опа! Не ожидал, а? И ничего не скажешь, потому что никто тебя слушать не станет. Оттуда мало ли какой грязи можно понавезти. Поэтому сидишь, этакий отдохнувший придурок, с бронзовым своим загаром, и смотришь, как в четырёх километрах от тебя бурлит нормальная городская жизнь. И солнце рябью, как в чае, идёт по волнам, а ты в мутный иллюминатор, который никто не моет, пялишься на светило и вспоминаешь этот самый Алжир с его Карибами. И взвешиваешь мысленно: стоило оно того, чтобы теперь вот здесь отсиживаться? И распыляешься в тайной улыбке, вспоминая гашиш и тамошних распутных женщин, – ещё как стоило...

Хотя... Путёвка во время Просвещения туда и обратно – можно было триста семь дней шиковать в Симферополе и все эти триста семь дней ни одного дня не просыхать, как Довлатов. Я бы также не отходил от какого-нибудь киоска с фруктами и креветками, я ж гурман! Я бы пристально оглядывал девушек и плавил бы их своим желанием. Вот это другой разговор, вот это был бы отпуск! Может, в таком отпуске я даже чего-нибудь и написал бы, чего-нибудь такого... Ну, такого, знаете, чтобы потом хвалили. Ко мне пришла бы вся редакция неизвестного журнала – а есть и такие, я об этом слышал, – и все бы в один голос восхищались, какой, значит, у меня бесконечный талант и как они польщены моим материалом, и твердили бы, что благодарны моему прадеду за такого правнука, а моему прапрадеду – за праправнука, а моему... А ещё, сказали бы они, мы знаем вашу грандиозную изюминку, не утаите, мы нашли её! Тут уж я б не выдержал, верно, и польстил-ся. Эта ваша изюминка, мол, она поистине восхитительна и огромна, лепетали бы они наперебой, а я бы всё больше вдохновлялся и всё больше пристраивал бы с кресла от удивления.

«В чём же она заключается, изюминка эта?!» – надрывался бы я из последних сил, лез бы я вон из кожи, чтобы узнать правду, но меня бы никто не слышал, потому что голоса их намного громче моего, как глас безответственности во мне громче хрипа совести. Ваша изюминка, она такая необычная. Мы, как только её обнаружили, сразу все и обомлели – такая необычная она была, так сразила наповал всю нашу редакцию и редакции всех остальных выдуманных и неизвестных никому изданий. Все в трепете от вас, Павел Александрович, запомните это, все изнемогают, поэтому не останавливайтесь и растите её дальше, пусть становится больше, ведь она, изюминка, заключается вот в чём...

Тут я услышал монотонный гул рельс в голове и притаился.

4

Мы куда-то ехали, уже не вспомню кто и куда, но – ехали, потому что я слышал стук колёс о железнодорожное полотно, рядом же ощущал присутствие людей, иногда слышал, как кто-то редко переговаривался, а сам думал: куда это я собрался? Мне ведь никуда не надо было. Я мог бы спокойно сидеть, где сидел, и не рыпаться. Чего это мне вдруг приспичило куда-то? А хотя как сказать. Не исключено, что еду в редакцию. В ту самую или в другую – неважно. Главное, что там мой труд оценят или уже оценили. Да, они же приходили ко мне и говорили, как нашли ту самую изюминку, которую я вот как уже битых тридцать два года найти не в состоянии! А через год-то – возраст Христа! До этого нужно создать что-то вечное, потому что, как известно, в тридцать

три тебя, не интересуясь твоим мнением и ничего не спрашивая, могут провести по виа Долороза и потом вздёрнуть без особых церемоний на кресте из смоковницы. Было бы тоскливо там оказаться, не имея достойной книги за плечами. А так хотя бы у креста будет весь состав редакции, декламировать, вбивая в ладони ржавые гвозди: «Ге-ний, ге-ний!»

Впрочем, не стоит торопиться. Пиши не пиши, старайся не старайся, а толковое что выйдет только тогда, когда придёт время, и на это никак не повлиять. Я хоть далеко не приверженец фатализма, а думаю тем не менее именно так. Но меня это уже и не должно заботить, рассуждал я, поглядывая сквозь мутное окошко наружу, на ту ружу, которая расстилалась за мутным окном, не стыдась и не краснея. Поля раскинулись во все четыре стороны и ускользали из-под взгляда, как будто было под ним неуютно. А мне, что ли, уютно? На этой деревянной скамье? Да у меня, если вам угодно, вся жопа обомлела и приклеилась к этим лакированным доскам. Мог же взять купе, так нет – взял общий... Скупой платит дважды, а я даже один раз нормально заплатить пожатничал. Ну и ладно.

В поездах – вы помните? – я ездил даже в Симферополь, и мне это не в новинку, я этого не боюсь. Благо что в них ничего делать не надо. Поэтому я поезда и люблю. И не только поезда – ещё самолёты и троллейбусы. Хотя нет, троллейбусы не люблю. Кто любит троллейбусы? Да это электрогробы с рогами. Люблю я, пожалуй, автобусы, и то при условии, что на большое расстояние, куда подальше чтобы так. Чтобы не чувствовать ход времени, но прорезаться своим остроко-нечным телом сквозь него, как теперь я им прорезаюсь ещё и сквозь пространство, хотя никого я не просил, чтобы сейчас куда-то ехать и что-то прорезать. Мог же сидеть себе дома? Мог...

Куда только, интересно, я таким темпом прорежусь?

– Чай, кофе, чифир, чай, кофе, чифир...

– Простите, вы сказали «чифир»?

Женщина остановилась в проходе, подбоченившись руками и презрительно на меня посмо-трев:

– Ишь чего придумал! Им уже чифир в вагоне подавай. Да народ совсем ориентиры потерял!..

– говорила она всё громче и всё меньше обращаясь ко мне, при этом всё больше ко всем одно-временно и в то же время – ни к кому в отдельности.

– Да вы меня не так поняли...

– Поняла я всё, что было надо. Посмотри на себя, на кого похож! Сидит, унылый и потрепан-ный, да ещё чифира требует.

Как всё-таки бесит эта их стародавняя привычка сразу фамильярно переходить на личности.

– Так вы же сами сказали: «чифир»! – сказал я, поправляя от неловкости невидимый галстук.

– И я не требовал, а просто интересовался...

– Оглох! Я сказала – «кефир». Ке-фир! Понятно? А чифирных я ваших знаю, знаю я вашего брата, – она надменно и грозно осматривала лавки, в поисках, наверное, мне подобных. – Ещё вчера мне всё купе в тринадцатом вагоне облевали, разнесли и Западу продали. Ты случаем не из их компании?

– Женщина, я бы попросил...

– Маму свою просить будешь, молокосос!

Какая схожесть с моей совестью, поразился я. Тут она замолчала, зарумянилась и внезапно улыбнулась, приобретя лик святой Терезы:

– Итак, чего пожелаете?

Меня изумила эта перемена тона, но я не растерялся.

– Мне бы... чайку, – промямлил я с опаской.

Какой-то здесь, наверное, подвох, подумал я.

– Чай? Будет вам чай. Сахар, без?

– Спасибо, без.

И ушла, вопя на весь вагон:

– Кофе, чай, чифир...

Я долго вслушивался в эти слова, пока они эхом отражались от стен, скамеек, потолка и пола, изъеденного тёмными полосами от обуви. Я никак не мог ошибиться. Если бы она сказала один раз – я бы даже не стал у неё спрашивать. Так ведь она, стерва... «Опять за своё!»... ведь она повторила это несколько раз. Я поэтому и переспросил, что точно «чифир» услышал, а не что-то другое. А чифир мне в поездах ещё не предлагали – как тут было не поинтересоваться?

Я посмотрел на пассажиров, взглядом ища немой поддержки, но все были мрачны и погружены в себя. Никто не смотрел ни на кого, все как будто ослепли: кто уставился в свой телефон, кто в пространство перед собой, кто – в окно. Я тоже посмотрел в окно. Поля ускользали, деревья ускользали, время ускользало. Им было неудобно. Внутри поднималась тревога: а что, если я уже опоздал? Тогда можно никуда и не ехать и выйти на следующей станции, пока она мой чай не отравила. Но если опоздал, то меня, наверное, кто-нибудь наругает, а вот это уж совсем лишнее – лучше выпью ядовитого чаю...

Ну так вот. Я знаю, как они делают эти журналы. Я тысячу раз приходил в редакцию, весёлый, радостный, за гонораром, весь с пылу, с жару, потный ещё, безудержный, в порыве какого-то чувства отворял дверь – и меня захлёстывал мёртвый воздух, как будто его держали взаперти сорок карантинных дней, четверть века или больше. Он выходил, а я – входил в, казалось, безвоздушное пространство. Дизайнеры как всегда бессовестно спали и даже не пытались для виду проснуться. Рекламный отдел был посовестливей, у их совести тоже, может, гнусный голос. Они хотя бы создавали впечатление активности, но на рожах их всё равно я видел эти красные вмятины: у кого от кокосового печенья, у кого от клавиатуры, у третьего от руки и так далее. Главреда – той вообще никогда не было на месте, поэтому судить о том, спала она где или бодрствовала, я не брался, но где-то внутри знал наверняка: спит. Точно спит.

И только бухгалтеря удавалось найти в одном из кабинетов пьющей подозрительно пахнущий алкоголем кофе, слегка неадекватной и потягивающей беломор в сомнительной компании схожих по комплекции и дурным привычкам дам.

Сколько в журнале ни работал – каждый раз одно и то же: захожу – мёртвый воздух – все спят. В таком порядке. А где же работа, где же суматоха, дым из задниц и непрекращающийся гомон стада? Нам всё это время ввали с телеэкранов? Там всегда носятся по головам друг друга, деятельность кипит, главред на всех орёт и все его сообща и немо ненавидят, но делают свою работу, им копейка дорога, им дорог престиж каждого номера, и даже не просто делают, а вкалывают, забыв своё имя и имя собственной матери, со сверхурочными вкалывают, мигренями, разводами и всеми отсюда вытекающими. Все курят, матерятся и с каждой минутой теряют потенцию и желание жить, приобретая одновременно всё больше седины, фригидности и вождения побыстрее выйти на пенсию, чтобы застрелиться. Вот в этом-то и романтика, что жизнь нелегка и совсем не справедлива! Фонтан идейной белиберды, лихорадка бессмысленного существования – именно так и должен, с такой подачей, жить журнал, в котором творятся великие дела, где пишут великие вещи.

А тот, в котором публиковалась моя ежемесячная колонка, он одним этим фактом уже велик, что я в нём печатаюсь, поэтому вся эта показная беготня не обязательна, но всё же желанна, хочется, чтобы тебя окружали достойные люди, как в голливудских кинолентах. Оттого каждый раз я сначала удивлялся, потом горевал, и наконец снова удивлялся: как в этой атмосфере нравственного и трудового разложения создаётся такой уникальный, ни на что не похожий, единственный в своём роде продукт?

Меня прервали: проводница принесла чай. Она с улыбкой, подобострастно поставила стакан на стол, вслед за ним швырнула пакетик с сахаром, как кость собаке, уже с чуть меньшей грацией, и сказала, совсем уже бесцеремонно:

– Три пятнадцать.

Меня никогда с первого раза не понимают.

– Я же просил без сахара, – заметил я, стараясь не обращать внимания на вызывающие нотки в её движениях.

- Просили без сахара, вот я вам его в чай и не добавляла. А этот – идёт в комплекте.
- И сколько он стоит? – поинтересовался я.
- Нет, ну точно оглох. Я же сказала: три пятнадцать.
- Я про сахар, женщина! Сахар – сколько стоит сахар?
- Сахар – пятнадцать копеек.
- Ну вот он мне и не нужен, – по глянцевої поверхности столика я брезгливо отодвинул пакетики к проводнице
- Я вам говорю, идёт в комплекте, – сказала она, сдвинув его обратно.
- То есть убрать его из комплекта никак не возможно?
- Никак, – кивнула она, словно речь шла об изменении заповедей.
- Так а чего же он тогда стоит – пятнадцать-то копеек?

Люди вокруг молчали, никто не проронил ни слова, хотя все видели этот нелепый спектакль, и это меня только бесило: чего они, языки, что ли, проглотили? Не видят, что человека обсчитывают? Нельзя, что ли, заступиться, сказать что-нибудь в мою защиту? Сказать ей, пусть сама, клуша, жрёт свой сахар? Это ж ведь тоже – советский стародавний пережиток, когда все гурьбой набрасываются на кого-то, и он мне, пережиток этот, в отличие от других, нравился, в том, конечно, случае, если толпа была на моей стороне, ведь точно так же она могла восстать и против меня: ей не свойственна логика, она руководствуется эмоциями.

– Я вам что, бухгалтер, что ли, или, может, тот, кто придумывает цены? Откуда я знаю? Мне сказали, я вам и передаю: чай – три рубля, сахар – пятнадцать копеек. По отдельности нельзя. Значит, итого – три рубля...

– Да понял я, понял.

Я порылся в карманах, насчитал необходимую сумму и небрежно вручил её проводнице. Хмыкнув, она удалилась. Осталось чувство, как будто меня раздели и унизили, а вдобавок ещё и отчитали за сопротивление и нежелание быть раздетым и униженным. Я злился, но потом стыдливо опустил глаза и стал рассматривать свои грязные поношенные ботинки. Я в них истоптал пол-Европы, а сколько редакций я в них истоптал – не счесть. Сколько им лет? Пять? Семь? Наверное около девяти, да, потому что, когда мы расставались с моей, кажется, пятой девушкой, одной из причин (как будто мне нужны были её причины) она назвала мои ботинки. Сказала, будто я вечно хожу как бомж и не хочу покупать новые. Я действительно не хотел покупать новые и не видел в этом смысла – эти были удобные и с каждым годом, как по мне, становились только лучше.

Я никогда не любил идеальные вещи. Такие, от которых ещё пахнет неоткрытой коробкой, знаете? Покупать что-то новое всегда было для меня испытанием воли, пыткой. Когда я видел блеск и лоск – мне сразу же становилось плохо, я бледнел, и начиналась зевота. Ассоциации с людьми, которые всю свою жизнь батрачат, чего-то добиваясь, ищут денег, любви, власти, а в конце пути разочаровываются, потому что вдруг становится ясно, что они не там и не то искали и что в конце – только конец, возможно, ещё отпевание какое и ничего больше. Пара, может, ангелов неожиданно споют тебе «Прощание славянки» или куплет из Кобзона, но на этом и весь аттракцион. Американские горки резко заканчиваются, и вот ты уже летишь без тела, душой одной в небытие, где тебя встретят по всем твоим земным заслугам и почестям. Не буду лукавить – я, конечно, тоже ведь чего-то ищу, чего-то добиваюсь своими рассказиками и своей писаниной? Да, но чего именно?

Хочу, чтобы меня признали, тут всё понятно. Так у каждого бездарного писателя: он жаждет, видите ли, успеха, хочет сделать себе имя. Я понимаю, это глупо, но ничего не могу с этим поделать. У меня руки связаны своим собственным помешательством. Как только мне говорят, что прочли где-то мою заметку и им понравилось, я сразу готов для этого человека сделать что угодно, даже встать на колени, даже вернуть ему долг, который не занимал. Этот человек становится моим кумиром. На какое-то время: до тех пор, пока его похвала не расправит мне крылья. А тогда

я возношусь в небо и уже оттуда смотрю на поклонника вниз, презирая его и не вынося его присутствия. Я улетаю на другое поле собирать нектар.

И там меня, может, встречают ещё несколько пчёл, которые жужжат мне в уши хорошие слова о моём творчестве, о всех моих произведениях, отчего мне, шмелю, разумеется, становится только лучше и лучше, пока я не начну исходить амброзией и не взвоюсь ещё выше, в такую высь, где нет уже ни пчёл, ни цветов, ни, понятно, нектара. Там есть только воздух, живой, слава богу, но больше ничего нет (ещё есть солнечные лучи, которые подогревают меня, как жидкость в чашке, если вдруг от высоты озноб прокатится по моему телу), и поэтому вскоре даже воздух в моём одиночестве великолепия, грандиозности и бодхисаттвы мне надоедает и начинает казаться тусклым и неживым, мёртвым-мёртвым, таким мёртвым, что тяжелеет, давит на мои крылышки всё больше, я начинаю тонуть, заплетаясь в паутине мыслей, припадая ближе к земле, но сопротивляясь этому, пока окончательно с грохотом не падаю вниз, чтобы разможиться, где мои крылья уже больно ломаются и отстёгиваются от меня, и вот я открываю дверь – и такой же мёртвый воздух захлестывает меня, я пытаюсь войти, но спотыкаюсь о порог и практически падаю, и никто этого не замечает: все спят, как спали, и их не разбудить даже моим громким падением и стуком моих старых ботинок-разлучников.

5

Я бужу дизайнершу, что ближе ко мне. Она недовольно поднимает голову и смотрит на меня сквозь заspanные глаза, пытаюсь вспомнить, кто я. Слышно, как гудит вентилятор. Жарко. Это всё солнце. Никакой логики, но чем ближе ты к земле и чем дальше от высокого, тем сильнее оно греет, а под землёй так, наверное, вообще...

– Да? – спрашивает её рот, но лицо с отпечатком карандаша на щеке и всё тело – они ничего не спрашивают, они ещё ничего не понимают.

– Где главред? – а сам думаю: спит же, как обычно, где-то, сука.

– Вышла по делам.

Не знаю, зачем я каждый раз о ней спрашиваю. Меня всё равно рассчитывает подпитый бухгалтер. Главред мне по сути дела не нужен ни в каком качестве.

– Давно?

– Не помню, – и она тоскливо ложится обратно на огрызок своего незаточенного карандаша, а я стою ещё некоторое время перед столом, вызывая в памяти её маникюр, который она только что от меня скрыла.

Это был неаккуратный маникюр, поцарапанный, с рубцами и не покрывающий всю площадь замечательных ноготков, как будто красила она их в спешке. Куда она спешила? Я вспоминаю неожиданно, как любил выждать момент, когда моя бывшая жена только-только нарисовала ногти, нанесла этот зловонный на них лак, и я тогда был волен делать с ней всё, что мне заблагорассудится: ей слишком дорог был её многочасовой труд, чтобы сопротивляться. Собственно, всё что угодно я с ней и вытворял. Так бы мог поступить и с данной куколкой. Это меня и подкупает, что маникюр её очень далёк от совершенства. Из-за того что он такой нелепый и неидеальный, он откликается во мне негой и заманчивой любовью, и я думаю: «Какой божественный маникюр! Как комедия у Данте!» Если бы я был девушкой, то обязательно делал бы такой же. И тогда с таким маникюром и этими ботинками мне бы никуда и не надо было возноситься, и крыльев мне бы не нужно было – я был бы полон и цел, это было бы невероятно...

А так приходится компенсировать отсутствие во мне несовершенных деталей (кроме ботинок, которые по-своему, конечно, совершенны) текстами и теоретическим почитанием масс, которые со временем всё-таки должны разглядеть во мне талант и дарование. И тогда снова вырастут крылья, и я взметнусь...

Короче, я от этого страдал. От своей безукоризненности, от своего совершенства мне хотелось закопаться поглубже в землю, туда, где теплее. Наверное, я потому с этими ботинками и не

расставался так долго, что хотел хотя бы как-то разбавить этот ненавистный мне образ. Галстук, которого нет, аккуратная причёска, тонкий взгляд, пронзающий вещи. Ещё я носил зауженные джинсы, а это лишний раз подчёркивало идеальное строение моих мускулистых ног, ведь я ко всему прочему был ещё и спортсменом. Да, впрочем, и рубашки я тоже носил в обlipку, что в свою очередь никоим образом не скрывало от мира моей дионисийской рельефности. Как я от этого страдал, вы бы знали!

Каждый день просыпался, волочил, как сегодня, в ванную комнату и смотрел в зеркало по пять-десять минут, пытаясь найти и разглядеть хоть один изъян. И знаете что? За все три десятка лет ни одного найти так и не получилось. Зато вот мои девушки, те обязательно что-то такое находили, чего никак не мог найти я сам. Только изюминки, дуры, не находили, искру мою божью не могли узреть. Да ну их к едрёной матери! Думать о них не хочу. Сейчас у меня хороший период. Нет абсолютно никого, я свободен от начала и до конца, во всех отношениях. Никто мне ничего не скажет, в упрёк не поставит, не дерзнёт. Я сам себе хозяин.

А как только выйдешь, туда, где видеокамеры и вирус, в люди или сядешь, например, на поезд – тут уж сразу цирк и начинается. Все, видите ли, резко становятся хмурыми, замыкаются в себе, облачаются в какие-то однотипные серые тряпки и едут себе и на тебя не смотрят, но этим отсутствием взгляда как раз тебя как будто бы и упрекают, и тебе становится неудобно, некомфортно, ты думаешь о себе плохо. Тебя опять гложет вина, и ты пытаешься разобраться, где же ты напортачил, в чём виноват... А я скажу тебе, в чём ты виноват. Ты виноват в том, что вышел сегодня из дома. Зачем выходил? Что тебе дома не сиделось? Ты уже не понимаешь, где ты, да и до этого не понимал, но думать продолжаешь бесперебойно. Ты вспорхнувшая бабочка над залитым солнцем лугом, которую вот-вот раздавит чей-то неаккуратный шаг.

Там, дома, тебя никто не трогает, ты можешь сидеть в своём кресле и смотреть, как остывает или подогревается чай. Так нет – надо встать и куда-то попереться! Далась тебе эта редакция! Там всё равно все спят, а главреда никогда не бывает, и ты вообще не уверен, есть ли она на самом деле – этот редактор.

«Вот поэтому ты и едешь теперь здесь и рассматриваешь виновато свои ботинки, потому что, как я уже сказала, ты действительно грешен. На людях тебе смотрят в душу, мстят, а там, сам знаешь, ничего прекрасного – оттого они и хмурятся и начинают к тебе приставать или тебя сторониться». Да, думал я, от этого никуда не деться... Лицо у меня такое – компрометирующее. На меня посмотришь – сразу выпить хочется. А как выйду за порог – так сразу осуждение и пересуды. Так сразу и жить не особо-то хочется. Можно жить, и ты живёшь, но как-то вот не хочется.

Так же точно и с сахаром своим проводница эта пристала: комплект у неё! И надо было ей ко мне приклеиться! А ещё ведь как она этот сахар на столик швырнула – нет, вы видели? Да будь я бабой, я бы ей своим маникюром... Ох... А так, конечно, половой барьер – нельзя... Терпи.

Терплю и еду. Вот разве что не помешало бы всё-таки эти ботинки немного почистить, а то налипло на них хляби и помёта... Люди вокруг ведь тоже эту хлябь с помётом терпят и ничего не говорят, но обязательно о них думают и знают. А я к этой грязи вроде как попривык и уже не замечаю. Но всему же должна быть мера, в конце концов, мы помним об этом и об этом скорбим. Мы скорбим о мере, пока мера скорбит о нас. Ваби-саби, ва-са-би...

...Рис с сыром «Филадельфия» и угрём, завёрнутый в хрустящие листья нори, суши, обволакивающие твоё нёбо. Я бы поел, да только не голоден уже, пропал аппетит, когда я о чём-то сильно задумался. Такое бывает: если напряжённо подумаешь, то есть может перехотеться. Пить вот зато хочется. Заказать, что ли, чая? Я вспомнил, что чай уже заказал и мне даже принесли сахар в комплекте. Тьфу ты, бляха-муха! Ни спокойно думать, ни спокойно жить с этими мыслями, они только набивают голову, как мусорку, а дальше как хочешь, так с ними и разбирайся. И ничего с ними нельзя поделать, кроме как выдумать, продумать их всех вдоль и поперёк, как дорожку кокаина, до последнего вздоха, до самого конца их продумать и выдумать, чтобы ни следа от них не осталось, чтобы в голове воцарились пустота и идиотизм, и уж тогда будет счастье...

Я взял чай, снова машинально подул на него, вспомнив, как ещё утром сделал то же самое: взял чай, машинально на него подул, только ничего тогда не вспомнил. Тот чай был не очень вкусный, потому что и не чай он был вовсе, а чифир, или чифирь, по старорусской традиции угольников-интеллигентов: за неделю в заварнике всё так настоялось, что теперь это было невозможно пить. Но я пил. И чем дольше пил, тем больше мыслей ко мне приходило, однако ни одной мысли не было о том, чтобы прекратить пить эту брагу хотя бы на некоторое время. Поэтому я пил и думал, и кривился от горечи, но продолжал думать и пить, потому как эти два действия казались настолько разумными и тесно связанными друг с другом и друг с другом переплетёнными, что невозможно было просто сидеть и ничего не делать, – вот я и пил.

Если бы кто-то увидел меня сегодня утром, он бы, конечно, вообразил: вот, на тебе, ещё один обломов у нашей страны нарисовался! Сидит, как падла, и ничего не делает. Растекается в своём кресле, дует на остывший чай – это единственные его занятия в этот час. Как бы человек этот, однако, был далёк от истины! Знал бы он, что у меня в голове, какие высокие концепции и намерения!

Кстати, главный герой «Обломова» мне с первых строк был симпатичен, отличный мужик: напряжённо мыслит и ничего не делает. Я начинал читать эту книгу, но слог, конечно, староват у Гончарова и плесенью покрыт. Поэтому я дочитал где-то до шестой страницы и отложил книгу в сторону, но закладку всё-таки сделал. Думал, когда-нибудь дочитаю.

Разумеется, так я её и не дочитал. Умение себя обманывать – великое искусство, а я в нём – великий знаток. Решу, бывает, в самом начале дня: надо пробежаться. И вот хожу по дому, туда-сюда, разглядываю углы и жду подходящего момента, когда захочется бежать, когда засосёт под ложечкой. Я подсудно знаю, что такой момент при благополучном стечении обстоятельств должен наступить, из скудного опыта своего знаю, но он всё никак не наступает и ничего у меня не сосёт нигде, а я никак всё же не сдаюсь и жду его наступления. И вот так могу проходить весь день из комнаты в комнату, пока не посмотрю вечером на часы и не пойму, что куда-либо бежать уже поздно и неуместно, а поэтому откладываю пробежку на следующий день. И так может продолжаться веками.

Но в остальном я человек не ленивый, хоть и люблю время от времени себя таким представлять. Мне нравится думать, что я ленив и беспечен, а мир вопреки всякой логике у моих ног, и я ничего для этого не делаю. Откровенно уклоняюсь от любой продуктивной деятельности, от любых обязанностей, как могу, и среди простого народа это как бы почитается, он, народ, восхищается всеми, кто умеет обеспечивать свой успех праздношатанием. Все думают, бытует мнение: вот он, бездельник, ничего не делает, ленится что-либо делать, а меж тем всё у него есть, да и сам он хорош собой, ни одного изъяна в зеркале, только разве что ботинки...

Эта мысль меня сегодня доконает. Ну так и что, что ботинки?.. Подумаешь! Всесезонные зато, ясно? Мне в них хорошо и комфортно. Я их носил, когда пил, и ношу теперь, когда бросил. С ними всякое происходило, как и со мной. И, наверное, они думают, что идеальны в нашей паре именно они, ботинки то есть, а я несовершенен, и потому наш союз срывается. Возможно, они тоже, как и я, чуть-чуть страдают от своего совершенства. Только вот они слепы, хоть и кожаные, а я, вопреки своей коже, не слеп и вижу на них царапины и грязь, которая налипла, должно быть, на той станции, где я сядился.

Там было много луж, кусты, лютики и стройка. А где я сядился? То-то и оно... Не помню. Как во сне: сядился где-то точно, даже есть в уме некоторые детали: вот вокзал, вот билет беру, вот какой-то сатанист нигилистически вслед матюгнулся. Но что за вокзал, куда билет и почему матюгнулся – не вспоминается. Впрочем, это детали. Знать бы только, куда едем...

Я покрылся испариной, заёрзал на месте. Пассажир рядом, что спал, громко хрюкнул, проснулся на мгновение и тут же вновь растворился в грёзах, а я, поёрзав, замер совершенно и перестал дышать. Куда я еду? Ведь редакция-то в моём городе, и, чтобы до неё доехать, никуда ехать, собственно, не требуется, во всяком случае, не на поезде – это уж точно. Немного дискомфорта в

затхло метро или в переполненном троллейбусе, а ещё лучше – в автобусе – и ты на месте. Выходишь у красного кирпичного здания, проходишь на углу кафешку, где никогда нет посетителей, поднимаешься на четвёртый этаж, проходишь длинный мглистый коридор и в самом конце открываешь дверь, и мёртвый воздух сносит тебя к противоположной стенке, и ты впечатываешься в неё без особого энтузиазма, но со смирением, ибо знаешь, что так происходит каждый раз, что это неотвратно.

Я снова ёрзал. Поезд резко набирал скорость, и я вжался в скамью. Спина болела, копчик тоже болел, ломило всё тело, но ещё больше болел ум, потому что я не знал, куда это мы так быстро мчимся. А может, это я из другого как раз города в свой обратно-то и еду? Так ведь не уезжал я никуда... «Ты чай пить будешь или как?» – спросил голос.

Я встrepенулcя, поcмoтpeл нa чaй. В cаmом дeлe. Забыл. Задумался. Я в который раз поднёс чай к губам несмотря на молчаливый упрёк соседствовавших со мной мрачных пассажиров, что, мол, мы не пьём, так и ты не пей, но тут вспомнил: ведь я еду в Гонолес! Из своего города – в Гонолес! А Гонолес, если вы не знали (я тоже не знал), говорят, место выдуманное, якобы нет его на самом деле, вот я и решил – проверить... Ну, не то чтобы проверить, выдуманное оно или нет: ведь билеты-то туда продают, так, значит, и не совсем как бы выдуманное, вот! Но главное-то в том, что ехал я в редакцию. Не в свою, где прекрасно знаю, как всё происходит (то бишь не происходит), где знаю, сколько окон и сколько дверей, где знаком с каждым сонным вздохом дизайнеров, – а в неизвестную и до определённой степени выдуманную, как и сам этот Гонолес, в котором она расположилась.

Я недавно (вчера?) отправлял туда свою рукопись об этом месте, о Гонолесе, где развивал теорию, что города этого не существует хотя бы уже только потому, что сам я там ни разу не был. Им понравилось (как-то очень подозрительно быстро понравилось), и они сказали приезжать за гонораром, а заодно убедиться, что город не выдуманный, а самый что ни на есть настоящий. Вот и еду!

Я с радостью громко шлёпнул чай обратно на стол, так его и не испив, потом взял в руки сахар, повертел его и швырнул обратно, как проводница. Человек в шляпе напротив с осуждением посмотрел на меня и на сахар. Интересно, чего это он вылупился? Гиблые здесь все какие-то, недружелюбные. Харю б им начистить, да только интеллигентен я чрезмерно. Все, что ли, едут в Гонолес? Может, это коренные его жители, гоноле... Как правильно будет: гонолечане, гонольцы, го-но-ля-не? Название города – как венерическая болезнь...

Я снова посмотрел сквозь окно. Оно помутнело ещё больше, и теперь я видел только собственное смазанное отражение и отражение вагонного интерьера с вкраплениями задумчивых рож. Нет, ну в самом деле, чего они все такие страшные? Как будто всем поездом на поминки едут.

– Извините, – спросил я мужчину в шляпе, решив хоть как-то убить время и хоть что-то предпринять, – вы случаем не в Гонолес едете?

Он усмехнулся и ничего не сказал. Каков, однако, ублюдок, подумал я.

– А я в Гонолес, – сказал я. – Я слышал, что это место выдуманное. Вы ничего такого не слышали?

Мужчина демонстративно отвернулся, уставившись в окно, но там, кроме мутности и моего лица в отражении, он ничего не увидел. А поэтому я тоже повернулся к окну и стал разговаривать с его отблеском в стекле:

– А вы, – продолжил я себя веселить, – не на поминки случаем едете?

Мужчина резко посмотрел на меня, уже не в отражение, а сквозь прозрачное пространство между нами, которое немного дребезжало каким-то своим до боли знакомым мотивом, словно где-то я уже это видел, и строго спросил:

– Откуда вам это известно?

Про себя я хмыкнул, удивившись совпадению и канцелярскому построению его реплики, как будто он служащий НКВД, а вслух сказал:

– Да так... Угадал...

– Вы тоже знали Егора Кридовича?

Теперь уже усмехнулся я: «Егор Кридович». Какое нелепое имя. Хуже города. Тем более фамилия. Я ничего не сказал. Пусть гадают. Лицо мужчины подобрело и даже как-то покосилось от скорби.

– Хороший был мужик. Правда, пил много.

Да уж, подумал я, неудивительно теперь, что поминки. Хорошо, что я вовремя бросил.

– А с другой стороны, кто сейчас не пьёт? Сейчас такое время, понимаете? Если не пить, так лучше сразу удавиться – галстуком, например.

Я посмотрел на мужчину:

– Зачем, – говорю, – сразу галстуком?

– Ну не удавкой же. Хороший был, в общем, мужик... Только пил, конечно, много...

Мы какое-то время ехали молча. Тот, что справа, сопел, а стакан убаюкивающе звенел в медном подстаканнике.

– Но всё же откуда вы его знали? – спросил мужчина после некоторой паузы, вертя в руке откуда-то выуженную папиросу.

Я не знал, что ответить, поэтому в нравоучительном тоне ляпнул:

– Пьющих знают все, особенно – пьющие.

Он заговорщически подался вперёд и перешёл на шёпот:

– Так вы, вы тоже, значит, выпиваете?

– Выпивал, – поправил я безразлично и пояснил: – Завязал. Не моё.

Мужчина фыркнул и откинулся обратно. Потом снял шляпу, оголив каре-пепельную шевелюру, и обиженно прокомментировал:

– Это, молодой человек, не ваше и не моё. Это – достояние цивилизации, и нельзя так пренебрежительно к этому относиться.

– Поверьте, я, как никто другой, это ремесло знаю, что и безгранично уважаю, я в нём все грани изучил, к сожалению. Просто – не моё оно, вот и всё.

Мужчина снова подобрел и снова навис над столом своей тенью:

– Ну так а курить хотя бы будете? – он с надеждой показал папиросу. «Беломорканал Петербург» – значилось на ней голубым потёкшим шрифтом.

– Бросил, – сказал я. – Видите: чай пью. Курить – тоже не моё.

– А чай, значит, ваше? – он подозрительно сощурил глаза.

– Знаете, раз уж вы спросили... Я иногда, надо сказать, сомневаюсь. Иногда хочется чайка, а иногда нет. А ведь если моё, то, по идее, должно всегда хотеться? Как с женщинами...

– Вот именно! Вот именно! Ведь нет на свете женщины такой, которую бы всегда хотелось! Так что и чай – не ваше! – заключил он, возбуждённо ударив кулаком по ладони.

Все ещё сосредоточенней, чем прежде, стали смотреть мимо нас, и чувство вины усилилось. Как же распрекрасно было бы отсюда убраться к чёртовой матери. Куда-нибудь далеко или хотя бы на следующей станции, и плевать, что за станция. Чтобы избежать этого массового осуждения.

– Я говорю, – мужчина откашлялся, понизив голос, – не ваше это. Как и всё остальное. А если ничто не ваше, то, по той же логике, ваше – абсолютно всё. Потому как пустота – это наполненность, а отсутствие – всегда наличие чего-то. Понимаете?

Я понимал, наверное, но мне становилось неловко от того, как я одурачил этого человека. Ведь я не знаю никакого Егора, тем более Кридовича, а мужик едет его поминать, должно быть, друг его или коллеги, я же так насмехаюсь над чувствами чужака...

– Вообще не знал я вашего Егора, – признался я, но это, кажется, не подействовало. Он только больше проникся ко мне симпатией.

– Так вот ведь в чём дело: его никто не знал. Он был таким непростым, потайным человеком, что никто его толком не знал, как узнать его ни пытались. Ведь пытались и поговорить, и напоить, и на чистую воду вывести, но так ни у кого и не получилось (получилось только напоить). Так никто его и не узнал, а он так и помер, непознанный, весь из себя тайный и мистический, в спиртовом угаре.

7

И всё-таки, думал я. Хорошо, что я бросил. Ведь и во мне были определённые тайны – к примеру, задатки пить не останавливаясь. Оттого теперь, видимо, и ищу признания, что хочу до конца быть понятым, ведь какое, должно быть, поганое, отвратительное чувство – врезать дубаря непознанным мировой общественностью, не услышанным.

Я так не хочу. Хочу иначе. Но хотеть – одно, а чтобы это произошло – другое. Поэтому, хоть они, пассажиры, и пытаются вменить мне какую-то призрачную вину непонятно в чём, я всё же себя таковым не считаю, потому что делаю всё возможное, чтобы меня услышали и признали. Пусть принесут мне крылья, и я полечу собирать прополис с только что распустившихся почек. Как *Bombus angustus*, за час буду опылять две тысячи шестьсот пятьдесят два цветка, и вокруг все будут поражаться: какой удивительный экземпляр! Как нетрудно его понять! Такого, мол, и похоронить не жалко!

Вот в том-то и дело, что признания ищу, но не сильно, честно сказать, поторапливаюсь, чтобы оно наступило. Потому что как только оно придёт, признание, свалится на мои плечи – так к тебе на поминки и поедут, потому что ты уже будешь понят, мир твой – понят, твои ботинки и чай твой остывший – поняты без остатка. Я потянулся к чаю, но в последнюю секунду передумал. Во-первых, он уже остыл, во-вторых, он так долго стоял, что точно превратился в чифир, а если это чифир и я его выпью – представьте, что у меня в голове начнётся. Будет как с утра. Целый оркестр без дирижёра – сплошной хаос и ха-м-ж.

«Не буду я пить этот чай», – с такой отчаянной и решительной мыслью откинулся я обратно на спинку. Казалось, моё тело тоже приобретает квадратные очертания с прямыми углами, прямо как эта лавка. Что-то в ней, в этой лавке, было, я чувствовал энергию. Лавка, скамья... Вечно путаю. Никогда не знаю точной разницы. Вот такой вот я филолог с почти красным дипломом из лингвистического, ага. Кресло, стул, табуретка. Стакан, чашка, кружка. Юбка, платье. Церковь, храм, монастырь. Часовня. Сапоги, ботинки; штаны, трико. Всё это для меня слабо различимо и однотипно. Чтобы подобрать правильное слово, нужно напряжённо думать десять секунд – и то результат не гарантирован. Откуда такое – не знаю.

Помню, долго пытался понять разницу между курицей и петухом, и только тогда её уловил окончательно, когда один бешеный вестник зари погнался за мной вокруг бабушкиного дома. Не знаю, я ведь его не кастрировал и на куриц его не претендовал, кроме того, было мне всего каких-нибудь пять лет: что я мог сделать? Я ещё не был способен на ужасные, ничем не объяснимые поступки, но он всё равно за мной погнался, в ярости бья крыльями по собственному рыжему телу и надрывно кукарекая, как будто в заднице у него вот-вот должна была разорваться петарда. Я намотал несколько кругов вокруг дома, всё больше погружаясь в пучину отчаяния и уже даже не находя зад петуха с петардой забавным, потому как явственно ощущал, что ещё чуть-чуть – и его острый клюв кинжалом вседозволенности вонзится в мои мягкие ткани, и вот тогда уж я заору и завою – и на луну, и на всё, что под руку попадётся. Остановился я, лишь когда вдруг увидел петуха впереди и не понял, что за чертовщина: так ли я его обогнал в своей попытке вокруг дома от него убежать, что вот уже догнал почти бедную птицу сзади? Он ходил и как ни в чём не бывало приглядывался к курицам, выбирая себе принцессу по-сексапильнее. Мама с бабушкой потом, с трудом сдерживая смех, объяснили, что бежал он за мной первые, наверное, сантиметров тридцать, а всё остальное время меня гнала собственная фантазия.

Но мне понравилось. Тогда, наверное, вкус к бегу я и почувствовал. Ощущение неуловимости и огромной силы: что всегда, если надо, можно убежать и скрыться. От проблем, от девушек, петухов и томной жизни. Правда, бегать я стал, только когда бросил выпивать, но всё же – побежал ведь. Бежишь дистанцию, а сам представляешь петуха с острым клювом, настигающего сзади, – всё, ничего больше делать не надо, клянусь: новый рекорд обеспечен. И так всякий раз. Образ петуха, а уже прошло двадцать семь лет, ни разу не потускнел. Наоборот, кажется, только набрал яркости и краски.

Главное – в жизни не суетиться. Петух пусть бежит и суетится. А ты будь умнее. Встань да походи из комнаты в комнату – вдруг пробежаться захочешь? Или лучше – сядь в своё кресло и сиди до самого заката и не дёргайся.

– Жаль мужика, – протянул мужчина, рассматривая мой стакан.

– Жаль, – подтвердил я. – Может, чаю?

Мужчина улыбнулся, достал из пальто фляжку, открыл её, подмигнул и сделал пару жадных глотков. Потом он фляжку закрыл, несколько раз причмокнул и сказал:

– Вот это я понимаю. А вы говорите – чаю...

– И не совестно пить? После всего того, что произошло с Егором... Кридовичем?

– Так это ж поминки. Без этого, – он указательным пальцем щёлкнул себе по шее, – никак.

Все уже там с самого утра зачехляются, а я вот только еду, жена раньше не отпускала. А потом ещё пешком ковылять. Может, успею на панихиду, если повезёт. Третий день справляют. А уже вечером – в ресторан. Если сейчас пить не начну, никого там потом не догонишь. Что ж мне потом, сидеть на них и смотреть, что ли?

«Это верно. На них смотреть неинтересно», – подумал я, но тут же подумал и другое: «А что тут верного? Очередной пьяница едет поминать своего похороненного пьяницу-друга, которого поминают все остальные его товарищи-пьяницы. Что ж тут хорошего? Что тут верного? Верно только то, что все они так и сгинут со своими флягами в руках, как их Егор этот... Кридович, земля ему прахом, именно прахом, потому что какой пух для алкоголиков?..»

Мне стало тошно от мыслей и от этого человека, который ничего не смыслит в трауре и в настоящем, беспробудном пьянстве, а только, что называется, «претендует». Я решил, что в связи с этим следует как можно скорее допить свой чай, снова потянулся к стакану, но так в руки и не взял, потому что подумал вот что: а что если он всё-таки ядовитый? Не зря же она его так аккуратно водрузила на стол? Нет, его я пить не буду. Но и не выбрасывать же... Три рубля пятнадцать копеек, как-никак. Это всё равно что взять деньги – и выкинуть на помойку. Или взять кусок ленинградского хлеба – и на глазах у бездомного скормить воронью. Так много чего можно попусту перевести, это не дело. Это морально наказуемые поступки.

Я взял стакан, взял сахар, положил сахар в карман, встал и быстро, мелкой походкой, чтобы на ходу не расплескать чай (вагон шатало из стороны в сторону), вышел в тамбур и там уже всей грудью с облегчением вздохнул. Вздохнул и тут же закашлялся: накурено было так, что в воздухе ложка стояла. Я налево – никого, направо – никого. Тогда я посмотрел прямо перед собой, а передо мной, на расстоянии вытянутой руки египтянина, стоял и курил тот мужчина в шляпе, что только что сидел напротив меня в вагоне.

– Долго едем, – сказал он как ни в чём не бывало, раскуривая беломор, подобно бухгалтеру из журнала.

Как это он меня обогнал? Что за шутки? Не нравятся мне такие шутки и здешние люди, особенно если едут на поминки или, там, панихиду.

– А вы здесь откуда? – спросил я с недоумением.

Его брови поднялись вверх. Он задумчиво посмотрел на меня и выдохнул три равнобедренных кольца:

– Оттуда же, собственно, откуда и вы, – он кивнул в сторону вагона.

– Я ж чуть ли не бегом сюда бежал! – возразил я, предварительно зная, что все мои возражения напрасны.

– А зря! Нечего бегать. Спешить-то некуда, всё равно едем со скоростью поезда, как ни беги.

А Гонолес ваш ещё не скоро.

Я отошёл от мужчины подальше – к выходной двери, там было меньше дыма.

– Извините, но не могли бы вы затушить? – я показал на его беломор.

– Правильно говорите: «извините». Потому что в тамбур выходят не стоять и не любоваться. Здесь нечем любоваться и нечего стоять. Так что уж извольте. Вот докурю – и затушу. Без обид.

Какие обиды. Я на ослов не обижаюсь. Я отмахнулся и стал рассматривать потолок. На нём, как и дома, обитали чёрные точки, только эти были от затушенных сигарет и каких-то ещё манипуляций с дымом. Я с отвращением отвёл взгляд и снова упёрся им в мужчину: больше тут смотреть было некуда.

– Не скоро, значит, говорите?

– Ну как сказать, – мужчина задумался и посмотрел на тлеющую папиросу. – Минуты две-три. Я не засекал.

– Да я про Гонолес. До Гонолеса ещё далеко?

– А, это... Ну, всё относительно, вы же сами понимаете. Но вообще далеко, конечно. Да так далеко, что, может, и не доедем...

– В каком смысле? – насторожился я. Я вполне конкретно собирался до редакции добраться, таков был мой план.

– В прямом. Я к Егору в гости знаете сколько раз катался? Столько, что и не сосчитать, так вот его станция сразу после Гонолеса, а в то же время Гонолеса я никогда не видел. Вот вы спросили, и я теперь задумался, как же это так...

– Да уж более странно не это, а то, что вы только сейчас об этом задумались.

Мужчина промолчал, продолжая выпускать кольца. А потом добавил:

– Ну положим, что так. Может, и нет этого Гонолеса, и сплетни это всё, откуда вы знаете? – тут он с опаской посмотрел на меня. – Или вы там уже были?

– Не был, – признался я. – В первый раз еду. Иначе б у вас не спрашивал.

– Ну вот, значит, я, возможно, прав.

– Возможно, что и правы.

Поезд отбивал пятки, несясь в неизвестность. Мы стали думать каждый о своём. Во всяком случае, мне оттуда писали. И я читал об этом городе в интернете. И даже фотографии видел главной площади, с Лениным. Хотя что уж там – у нас ведь в каждом городе этот болван существует.

8

Все у нас города – одинаковые. Если сравнить с американскими, а только с ними я практически сравнивать и могу, потому что жил там какое-то время, так тоска за душу берёт, и вот почему. В Америке всё предсказуемо настолько, что и думать не надо. Там ты как бы заранее знаешь, что в каждом городе есть Пятая стрит и Седьмая авеню и что городская плоть, как пирог, аккуратно разрезана на квадраты. Один квартал прошёл, второй, третий – и чем дальше идёшь, тем больше хочется остановиться, потому что всё ты это уже видел, но любопытство толкает вперёд: что же там, за горизонтом? Может, всё-таки кончится этот плешистый день бездумного однообразия и город откроет перед пилигримом что-то неповторимое, единственное в своём роде? А он нет, никак не заканчивается, ничего не открывает, и квадрат следует за квадратом.

Потом сядишься в траву Централ-парка, берёшь себе пива, поиски шедевров тебе обрыдли, и пьёшь, разглядывая деревья, потому что смысла куда-то ещё идти или что-то ещё смотреть – нет никакого. Увидев один квартал, ты увидел всю Америку. Тоска вроде бы, да. Но!

У нас! У нас скука одолевает ещё больше, она другого, более изощрённого толка, ведь на неё наслаивается ещё и разочарование от того, что логика напрочь в чём-либо отсутствует. Ну, то есть сначала ты радуешься, что её нет, а потом горюешь, ведь её отсутствие – не исключение, а всего лишь очередное скучное правило. Иди попробуй найди адрес и дом без карты. Полдня можешь шастать по закоулкам и так ничего и не найти или найти всё, кроме того, что тебе надо. Поначалу, конечно, весело. Разнообразие, непредсказуемость, суета! Это подкупает, ты озаряешься оптимизмом. Но поезди так разок-другой из города в город, как уже через неделю перестанешь замечать какую-либо между ними разницу. У них у всех дороги с неожиданным концом, кривые улицы, монолитные блоки, кислые физиономии и – Ленин где-то посередине, стоит, сволочь, улыбается. Смеётся всем в лицо.

Сгоряча и одновременно досадуя я приложился к чаю и сделал большой глоток. Он был всё ещё тёплым, хотя таким же, как дома, горьким, и я заметил, что и тут липкое солнце сквозь окно ухитрилось влезать как раз в мою чашку и выпаривать оттуда рябью. Или всё-таки кружку, стакан?... И почему он (она) у меня в руках?

«Стакан», – услышал я и не понял. «Стакан!» – снова повторил кто-то. Я в замешательстве уставился на мужчину, но тот курил и смотрел в окно, не обращая на меня внимания.

– Мужчина, стакан!

В дверях стояла проводница, нагнетая на своё лицо всё возможное в этом составе недовольство.

– Что – «стакан»? – сказал я, теряя терпение. Меня местные порядки начинали раздражать. – Я в курсе, что это стакан. Уже. Спасибо, а то б без вас не разобрался!

Мне она начинала действовать на нервы, я был готов радикально и по-философски грубить.

– Что вы от меня хотите? – сказал я с вызовом в голосе, но её наглость мою с лёгкостью перехлестнула:

– Я хочу, чтобы вы знали, что со стаканами в тамбур нельзя. Вооот, – и жирным пальцем с ужасным фиолетовым маникюром ткнула в прибитую к синей стене табличку. – Читать умеете?

Ну, знаете, это уже пахнет оскорблением, подумал я очень чётко, хотя внутри и порадовался тому факту, что с фамильярно-пренебрежительного «ты» она перешла на пренебрежительно-фамильярное «вы». Я почувствовал, как кровь закипает в моих жилах, как гонгом начинает стучать в висках, как немеют ноги. Я поглубже вдохнул, чтобы дать ей достойный отпор, рассказать ей всё про её родословную – с такой скоростью я ещё никогда не мыслил, потому что за считанные секунды вся моя речь уже была готова, – но к тому моменту, когда собрался я начать свою обличающую всех проводниц мира тираду, её уже и след простыл: она скрылась между вагонами, громко хлопнув дверью на прощанье.

Это хуже всего. Когда тебя с головы до пят облобызают, обчмыряют, а ответить возможности не дадут – и так и оставят наедине со своими мыслями, которых теперь уже совсем неприлично много. И если раньше я планировал кое-как от них отбиться, избавиться, то теперь шансов у меня не оставалось, и я это хорошо понимал. Поэтому я приник спиной к табличке и стал слушать.

Как бы я ей ответил, а! Шалава, распутница! Вышла меня понукать. Ты видел её пальцы? Жирные, как будто она только что съела килограмм не итальянского лардо, а дешёвого деревенского сала.

А всё же, согласись, маникюрчик-то у неё был ничего. Ну да, маникюрчик ничего, но на этом её «ничего» и заканчивалось. Всё остальное ты видел. Да на неё и смотреть-то порядочному человеку стыдно, а я смотрел, не моргая, и никак от неё не прикрывался. Сколько теперь стыда во мне было... Стыдно и за неё, что такая уродилась, с жирными лоснящимися пальцами и слабостью к салу плохого качества, и за себя, что без стыда на неё пялился и ничего не мог ответить. Как идиот, застыл на полуслове, а она, довольная, так и ушла в свою каморку заваривать другим ядовитого чая...

Надо было вообще не дать ей пискнуть, не дать произнести ни одного пошлого звука. Почему ты этого не сделал? Как только послышалось про стакан, надо было взять его и, не глядя, выплеснуть ей в лицо. Мог же ведь? Мог, да только вот не сделал. Я этим славлюсь: что-то сделать могу, я могу сделать очень многое, но ничего не делаю, как Обломов, а потом прикиваю спиной к какой стенке и начинаю думать – мог бы, не мог бы. Да конечно мог бы! Плёвое дело. Я бы ей этим остывшим кипятком плеснул бы в рожу и стал бы посреди тамбура как вкопанный – смотреть, что она на это скажет. А она б ничего не сказала. Наверное, только угодливо бы спросила, не желаю ли ещё чайку без сахара плюс больше в него яд она класть не будет.

Я нащупал в кармане пакетик и стал думать, как с ним быть. Я его мял между пальцами, а бумага успокаивающе хрустела, и мысли становились всё глаже, всё покатистей, пока вконец не стихли, превратившись в мерный железный стук рельсов, пока рельеф весь не улетучился и не остался один вакуум. Рафинированный сахар. Белый, скромный, без претензий. Так можно было

бы написать в анкете на знакомство: «Белый, скромный, без претензий». Ничего ему не надо. Он в этом пакетике может просуществовать ещё дольше, чем я, проводница и этот мужик вместе взятые. Если буду с ним аккуратен и получше где-нибудь спрячу, где его никто не найдёт, он переживёт ещё не одно поколение, этот сахар. Я становился спокойным и размеренным и даже отник от стены и стал с интересом осматривать тамбур.

Ничего особенного тут, конечно, не было. Взгляд блуждал, ни за что конкретно не цепляясь. Ну разве что пепельница, приваренная к стенке, переполненная бычками так, что не закрывалась. Несколько бычков в красной помаде валялись под ногами. Затем я осмотрел табличку, на которую указала проводница. Вот же всё-таки шалава... Ладно, ладно, что написано на табличке? Вникни, прочитай.

9

А там написано было: «В связи с участвовавшими в последнее время инцидентами комиссией по устранению инцидентов принято решение по поводу возможности искоренения дважды вышеупомянутых инцидентов. Комиссия заседала в ночь с пятницы на понедельник, и на следующий день, то есть в среду, было публично оглашено, а затем и запротоколировано следующее решение». Дальше шли какие-то даты, цифры, надписи взаимного посылы Серёги и Лёхи, я не стал вникать в тонкости, а потом, ниже, поверх металлической таблички была приклеена бумажка, словно каждый месяц они её тут меняли на новый свод правил, и уже на ней красными буквами выведено: «В ТАМБУРАХ ВАГОНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

- Грубить без причины
- Разжигать конфликты и сеять межнациональную рознь
- Клеить жвачку под пепельницу, над пепельницей, а также по бокам от пепельницы
- Пользоваться стоп-краном в качестве открывашки и увеселительного крюка
- Иметь при себе предметы стеклотары
- Говорить громче положенного
- Находиться более трёх минут
- Реализовывать товары любых категорий
- Прислоняться к предметам интерьера.

НАРУШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРАВИЛ ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ НЕКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Я отслонился. Некую ответственность... Как изящно сформулировано. Не придержишься. Так тебе за жвачку под пепельницей могут, по идее, и пожизненное впаять, потому что никто ведь не уточнял, какая именно ответственность полагается. Я уже, если так подумать, проходил по двум статьям как минимум: слишком долгое здесь пребывание и та самая стеклотара. Грешник во плоти. Да, здесь, в тамбуре в этом, нужно быть начеку. А ещё – «увеселительный крюк». Это что ещё за хрень такая? Что за увеселительный крюк? Это сидела, значит, целая комиссия, и все они думали, как можно использовать стоп-кран, и вот кто-то встаёт, с жирными пальцами, и говорит, не грубая и не разжигая рознь: «Я считаю, – говорит он, – что нужно запретить использовать стоп-кран в качестве увеселительного крюка!» – и садится обратно на своё место, не произнося больше ни слова. Все начинают перешёпываться. По залу разносится возбуждённый гул. Слышно, как то там, то тут раздаются тихие, но настойчивые вопросы: «Что за крюк? Что за увеселительный крюк?» Вся комиссия в лице актового зала озадачена, совещается сама с собой, люди недоумевают: да что же это за крюк такой? Но каждый, кто так думает, не осмеливается спросить выступавшего, что имелось в виду, потому что, очевидно, думает он, все остальные, кроме него самого и его соседей, в курсе и знают, о чём идёт речь. А поэтому если он сейчас встанет и спросит: «Извините, уважаемый, но что это ещё за крюк такой вы имели в виду?» – то весь зал поднимет его на смех, его репутация будет разрушена. Он распереживается, огорчится, запьёт, в ломбарде заложит последние трусы и потом ещё не один год коллеги будут над ним насмехаться.

Нет уж, так делать не стоит. И поэтому каждый продолжает сидеть и перешёптываться с соседями. Он, этот каждый, понимает, что, для того чтобы получить ответ, нужно каким-то образом достичь своим вопросом наиболее удалённых частей комиссии, ибо там ответ точно известен, где-нибудь на галёрке. Но соседи говорят, что их соседи и соседи их соседей – и так вплоть до самых окраин помещения – тоже ничего не знают ни о каком увеселительном крюке. И тогда он тем более не встаёт и не спрашивает, что это за крюк такой, потому что если столько людей о крюке не знает, то, должно быть, крюк этот представляет собой что-то ну настолько всем знакомое, что все просто-напросто даже и помыслить об этом не могут. И поэтому спустя пару минут люди в согласии начинают кивать, понимая, что стоп-кран так использовать действительно не стоит, неважно, как именно, слышен гул одобрения, пока глава комиссии не встаёт и не подводит итог прений:

– Товарищи, а ведь Буйнов прав – не стоит использовать кран в качестве увеселительного крюка. Предлагаю проголосовать.

Все руки взмывают ввысь. Единогласно. Предложенный запрет не встречает ни единого возражения, и вот теперь я вынужден стоять тут и гадать, что же всё-таки имелось в виду.

Мы проезжаем какие-то леса, и, всё ещё размышляя о крюке, я смотрю на мужчину, а он тем временем повернулся к центру тамбура, словно отгораживаясь от ветра из двери (никакого ветра из двери не дует), и, чуть сгорбившись, закуривает очередную по запаху подгнившую папироску.

– Мужчина, я ведь просил... – говорю я не громче положенного, стараясь не грубить без причины и не сеять рознь, хоть причина у меня и есть, притом очень увесистая.

Мужчина пристально, испытывающе смотрит на меня, раскуривая папиросу, как бы назло, и потом, закулив и расслабившись, в извинении пожимает плечами:

– С первой не накурился...

Пропади он пропадом, пусть курит. Меня другое сейчас беспокоит: то есть курить здесь можно, а стоять со стаканом – нельзя? Что за комиссия писала эти правила?! Я снова погружался в ненависть ко всему меня окружавшему. Вот эти синие стены – они холодны и безучастны, у таблички у этой – нет души, пол грязный, очень грязный, но грязны, конечно, и мои ботинки, поэтому чёрт с ним, с полом с этим, но потолок! Потоло-о-ок! Вот где, если на секунду забыть о проводнице, скопилась вся нечисть этого маршрута! Вы только посмотрите! Весь в чёрных оплавленных пластмассовых пятнах. Я вспомнил детство. Какой ужас! Однажды я по маминому совету воспользовался народным рецептом и приложил к вскочившему на заднице фурункулу лист свежей капусты – на следующее утро мы впопыхах уже мчались в хирургию: жопа сияла самыми разнообразными чирьями, как флаг США – звёздами или вот как этот вот потолок – неблагородными пятнами. Итак, зачем тушить окурки о потолок? А они тушат. Поэтому некогда, должно быть, ослепительно белый, теперь он вдребезги чёрен, как моя ненависть.

Когда я это увидел и осознал, контрастная волна благодарности захлестнула меня: слава богу, что дома у меня не так! Дома у меня всего лишь несколько жучков, да и то, если на них не смотреть, их в принципе и не будет. И, в сущности, жучки эти у меня только в спальне. Почему? Всё просто. В остальных комнатах потолок оклеен белыми обоями, и только в спальне он с неизвестной целью покрыт штукатуркой. «А не кажется ли тебе странным, что во всех комнатах на потолке обои, и только в спальне – штукатурка? Ты же не знаешь, что там, под этими обоями, верно? Может, там тоже – чёрные пятна и разводы от затушенных окурков, откуда тебе знать?» В самом деле, я этого не знаю. Нужно будет, как вернуться, обязательно кусочек одной обои отковырять и посмотреть, что там...

Но мужик этот, мужик этот нагл! Вот скотина! Чтоб он подавился своим «Беломорканалом»! Я смотрел на него с угрозой, а он смотрел мимо меня, как те, что в вагоне. Я не выдержал, в протесте одним махом допил остатки чая и поморщился – такой он был горький, тепловатый и невкусный. Я его выпил так, опрокинул весь стакан таким недовольным жестом, чтобы мужик понял, что я его целиком и полностью не поддерживаю, несмотря даже на то, что едет он на поминки и, вероятно, волнуется – вот и курит.

Я решительной походкой вышел из тамбура и, придерживаясь за скамейки, дошёл до своего места и сел. Было бы неплохо, подумал я, заказать ещё чаю. На сей раз буду пить его сразу, покуда он горячий и не горчит, и не стану долго думать о чём-то отвлечённом. Может, даже сыпану в него этого сахара, чтобы сахар, чуть что, не пережил нас с мужиком и проводницей. И пока я с недовольством скверно обслуженного клиента искал взглядом последнюю, я обратил внимание, что место мужчины было уже кем-то занято. Что за народ, подумал я. Не успеешь встать, как на твоё место тут же садятся. Слава богу, что не моё...

Я посмотрел на пассажира. Это был мужчина в шляпе, тот самый, который ещё как минуту назад при мне нахально закуривал второй беломор в тамбуре. Так-так, интересенько. Он решил позабавиться? Я улыбнулся. Ну-ну. Хочет сбить меня с толку, нагнать на меня хандру. Я ему, сычу, сейчас покажу настоящую забаву нашей фамилии. Я сжал в кармане кулак, так что хрустнули костяшки, но тут подумал, что, может, это всё-таки не он. У этого взгляд какой-то более рассеянный, склеротичный, и сам он фигурой своей менее импозантен. Да и с виду не так нагл, как тот, из тамбура.

Какая неудобная ситуация и скамейка. Я заёрзал. Пассажир справа, неприлично хрюкнув, протнулся. Он непонимающе и равнодушно посмотрел на меня, перевёл взор свой на мужчину, а потом медленно снова опустил голову на грудь, скособочившись, и задремал дальше. Ко мне пришла идея. Я сказал мужику в шляпе, как бы между делом:

– Да-а-а, хороший мужик был Егор Кридович...

Я хотел его проверить. Но ещё больше я жаждал проверить себя: всё ли в порядке с моей психикой, нигде ли я по пути сюда не потерял пару извилин?

Мужик с досадой причмокнул и посмотрел в окно, но там опять увидел только моё отражение, которому и ответил:

– Да, – говорит, – мужик был что надо... И всё же, откуда вы с ним знакомы? Что-то я вас не припомню.

Он стал подозрительно пялиться на мой подбородок. В подбородке моём, надо сказать, не было ничего необычного. Во времена простодушия я брился опаской, и тогда можно было увидеть, как он по-гречески разделён на две красивые половинки – многие женщины избирали меня именно из-за этой моей детали, нравилась им эта черта. Но теперь я обрёл мудрость и скрыл его под окладистой бородой, поэтому не знаю, чего он пялился на мой подбородок. Возможно, видел, как челюсть моя в нетерпении двигалась из стороны в сторону от непонимания происходящего.

Значит, это тот же самый, что и тамбуре...

Я вскочил, ничего не отвечая, и понёсся в тамбур. В тамбуре мужик в шляпе с удивлением обернулся и посмотрел на меня. Он одобритительно протянул мне пачку папирос:

– Передумали?

Да чтоб тебя! Я побежал обратно, сел на своё место, зажмурил глаза до белых молний под веками, и с силой и надеждой медленно их наконец открыл: передо мной сидел всё тот же мужчина, в сером тряпье, тёмно-коричневых штанах, с туманным рассеянным взглядом человека, едущего на поминки, чуть менее импозантный, чем тот, что в тамбуре, но такой же веский и неуловимый, хотя и без дерзости в ебале. Меня прошиб пот. Я снова выбежал в тамбур. Мужчина, казалось, меня ждал. Он поочерёдно то курил, то прикладывался к фляжке.

– Чего это вы туда-сюда бегаєте?

– А чего это вы тут стоите?! – воскликнул я в отчаянии.

Мужик сделал ещё один глоток, ещё одну затыжку.

– Позвольте, а где ж мне стоять?

– А не надо стоять – вы бы сели на своё место и сидели.

– Ну, если б можно было в вагонах курить, так, будьте уверены, я бы и не подумал вставать.

До меня дошло. Хохоча, я сорвал с него головной убор и метнулся обратно в вагон. Мужчина, осунувшись, сидел без шляпы. Увидев её у меня, он радостно всплеснул руками и засмеялся:

– Так вот где она! Где же вы её нашли?

Я ничего не ответил. Я покорно отдал ему шляпу и сам медленно и обречённо поплёлся назад. Разумеется, мужчина всё так же курил, вплотную подбираясь к тому месту, где в обычных сигаретах бывал фильтр. На сей раз он был озадачен:

– Вы знаете... Как вас, кстати, зовут?

Я приник к стене. Бесплезно. Её холод приятно растекался по моей разгорячённой, потной спине. Наверное, всё-таки свихнулся. Астролог предупреждала, чтобы я был осторожнее и не ввязывался ни в какие авантюры, как люблю. А всё-таки, видать, во что-то ввязался – и вот, схожу с ума в поезде, идущем...

– А куда идёт этот поезд? Какая конечная? – спросил я, проигнорировав вопрос.

– Тут дело не в том, куда он идёт, а в том, когда же он куда-нибудь придет, – он сделал заставку и очередной глоток, потом рукавом вытер губы и сказал: – Я уже и так опоздал, мне и так неудобно, а он, как назло, ползёт сегодня как черепаха... Так вот, что я говорил... В пустоте наполненности, а в наполненности – ничего... В общем, вы случаем не знаете... Я, кажется, потерял свою шляпу. Вы нигде её не видели?

Я весь почернел от злости и почувствовал, что предохранительный клапан моей вменяемости снят и что нет пути обратно. Кулак мой свернулся в кармане в плотный, твёрдый клубок возмездия, потом как-то сам из кармана достался, готовый к необратимому насилию над собеседником, я размахнулся, не в силах остановить грядущее, но вдруг неизвестная сила швырнула меня в противоположную стену. Я летел в неё и думал, какой у меня, должно быть, глупый вид и не поранюсь ли пустым стаканом, который, по всей видимости, до сих пор в моих руках, но треска стекла я не услышал, а услышал лишь, как моё тело глухим хрустом костей рухнуло на пол, расстелившись во весь рост ста восьмидесяти одного сантиметра и уткнувшись лицом в бычки с губной помадой. А в голове всё вертелось: куда же делся стакан? Где я его посеял? Совсем забыл о стакане! Сейчас выйдет проводница и будет ругать, отчитывать меня, как ребёнка. Что я ей скажу, когда валяюсь на полу, беззащитный? Вся моя гордость, вся честь куда-то испарились, а крылья в который раз обломались, так и не возникнув.

Предупреждала же астролог: не ввязывайся! Нет, ввязался! И надо было оно мне? Поехал за признанием в город с венерическим названием! Поближе, что ли, ничего нет? Какая газетёнка, может, или проспект какой в преддверии выборов, или брошюра. Ты же помнишь: девятого августа президентские выборы? Нет, если быть точным, то перевыборы, потому что все мы знаем, как они проходили у нас с девяносто четвёртого года. Будь ответственным членом гражданского общества, не смей перед лицом смыслообразующих событий погружаться в свою сраную поэзию или что ты там пишешь – прозочку свою! Пиши политстатьи, чтоб никто их не читал, а потом тебе памятник воздвигнут, где-нибудь недалеко от Ленина: писал всю жизнь в пустоту, думая, что та суть наполненность. Так ведь можно стать известным? Это и будет моя изюминка. Вместе с тем ещё, что клал я, по большому счёту, на эти выборы, ну или перевыборы, как угодно. И пускай только попробуют не признать! Пусть только попробуют, гниды...

Но я прочитал письмо из редакции и возрадовался, потерял сразу всякую бдительность. В нём говорилось, что мой роман принят к публикации. Впервые я читал такое не в книгах о чужом успехе. Будут печатать частями, в каждом выпуске. Тираж у них небольшой, но свою публику, редакционная коллегия уверяла, найдет. Потому что в Гонолесе народ читающий и любознательный, они любят «всякое такое». «Всякое такое» меня насторожило и должно было насторожить настолько, чтобы я никуда в итоге не поехал и остался дома – в своём кресле, под своим потолком с обоями. Но они хвалили меня и предлагали приехать за гонораром. Они знали мою слабость: я падаю на деньги и тщеславие. Я не мог отказаться.

Я лежал на полу и мысленно голосил. Тело разваливалось на кусочки. Хорошо приложился. Что же это было? Открылась дверь, вошла проводница. Она посмотрела на меня с презрением:

– Всё ясно.

И прошла дальше к наружной двери, отодвинув мужчину, не стеснявшегося при ней гасить урок о потолке, и как бы между делом бросив ему через плечо:

– И не стыдно вам человека спаивать?

Она открыла дверь и спустила вниз лестницу, а я тем временем поднялся, отряхнулся, сказал мужчине, что шляпа его – в вагоне, на каком-то другом мужчине, если вдруг он её тоже ищет, и вышел.

10

Зря я пил тот чай. Не поеду я в Гонолес. Всё-таки не поеду. Лучше поздно, чем никогда. Я выйду на этой станции, и дальше я никуда не поеду.

– Мужчина, – услышал я сзади, – Гонолес дальше! Это Симферополь!

Я обернулся, чтобы увидеть растерянное лицо проводницы (как быстро сменялись её образы!), и только и сказал:

– Стакан должен быть на моём столике.

Я снова посмотрел вперёд, отрекаясь от каких-либо связей со всем этим комичным вздором, и пошёл – к вокзалу. И пока я шёл, я думал о чём-то маловажном, о чём-то таком, о чём можно было не думать, но я не знал, чем бы ещё заняться, кроме как своими мыслями в пылающих извилинах, в моём скорченном мозгу. Я шёл и потел, потел всё больше, и скоро с меня уже стекали капли, и я думал: ну вот, докатился ты до такой жизни. Тебя никто не заставлял, ты сам сделал свой выбор.

Но ведь все писатели, художники, музыканты проходили через лишения судьбы, прежде чем достичь вершины. Так или не так? Прав я или не прав? В ответ я слышал молчание сфер и звуки уходящего вдаль поезда. Катись себе по Малой Спасской. Господь с тобой. Мне всё это неинтересно, потому что я весь уже насквозь промок, хоть до вокзала и рукой подать.

Я попытался на глаз оценить расстояние. Так, нужно перейти пять путей, потом одолеть два киоска, площадь – с Лениным, понятное дело, – потом ещё одну палатку и – вот тебе вокзал. Что-то около трёхсот метров, прикинул я и порадовался, что здание так близко. Зайду, возьму билет обратно – до Минска, может, ещё возьму чебурек, и не буду больше ни о чём думать. Потому что думать можно без конца: каким образом, например, направляясь в Гонолес, я очутился в Симферополе?

А лучше нет, не буду я брать билет. Хреновы поезда! Лучше словлю такси у входа, и поеду как человек. Хотя в такси, если попадётся какой-нибудь бомбила или кавказец, или то и другое в одном лице, мало того, что обманет, так ещё и трещать будет всю дорогу, а дорога из Симферополя, куда ни едь, неблизкая. Нет, лучше уж сяду в какой-нибудь полупустой автобус. А ещё лучше, конечно, было бы оказаться в самолёте. На них летать приятно и разговаривать там не обязательно. Пару часов – и я дома. Но где аэропорт и почём билеты? В редакции, если узнают, как безалаберно я транжирю деньги, возможно, откажутся от идеи вручать мне гонорар. У нас ведь как принято: до гробовой доски наскребать по копейке себе на горшок для опорожнения, экономность не просто почитается, а принимается за нечто само собой разумеющееся, на широкую же ногу у нас живёт только чиновье. Поэтому лучше всё-таки автобус...

Переходя второй путь, я обратил внимание, что вспотел уже настолько, что с меня откровенно лило на асфальт. Я посмотрел под ноги и увидел там лужи. Я покраснел. Как же так! На глазах у всех – опозориться! Бестолочь! Негодяй! Телекобт!

Я заметил, как кто-то пробегает мимо меня с зонтиком, и поднял глаза к небу. Боже, так это дождь! Дождь накрывает меня ручьями! И я, значит, не потею, и не опозорен я прилюдно! Это всего лишь дождь! Посмотри на это грубое небо! Оно выливает на тебя свою влагу, так будь благодарен за это. Будь благодарен за то, что крылья твои отломались, не успев отрасти, ибо не так больно падение с высоты своего роста, как больно оно с высоты небес...

Но если бы во мне кто-то нашёл изюминку, так стоял бы я разве сейчас здесь, промокая и бесцельно растворяясь в тумане капель? Мои бывшие девушки – ни одна так и не смогла найти это нечто особое, кроме подбородка моего, что выделяет меня из толпы посредственностей, и поэтому все они поуходили кто куда, разбредились по углам и переулкам существования. Но они мне и

не нужны. Мне лучше, чтобы люди, те, которых я никогда в своей жизни не видел, посторонние, которых не встречал, вскричали, будто дотла знают моё исподнее и что готовы открыть меня и мой талант всему Земному шару. Вот тогда бы я взлетел без страха упасть, а когда бы упал – так уже было б поздно страшиться. Над серыми массами людей – дзыыыны! – парил бы я и сам говорил бы дождю, где ему падать: вот сюда падай, а сюда не надо, не видишь, человек без зонтика пытается дойти до вокзала? Я бы долго и без усталости – дзыыыны! – наращивал скорость и устремлялся вдаль – дзыыыыны! – пока однажды машинист поезда на пути номер два что-то не закричал из окошка, увидав эфемерную тень меж двух рельсов, и не дернул бы сразу за два рычага: за гудок – дзыыыыны! – и за стоп-кран в виде увеселительного крюка...

II

Я разомкнул веки, выныривая откуда-то и куда-то, только чтобы понять, что глаза всё это время были открыты, – так что же я, спрашивается, разомкнул? Спина моя прилипла к креслу, я часто дышал. Что это было? Сколько прошло дней? Я уже туда ездил или только собираюсь? Я посмотрел на монстера в углу комнаты, потом на опунцию рядом со мной... Может, флора даст мне ответ. Мне нравились опунции. Нравились потому, что росли в основном в Мексике, а в Мексике я не бывал. Надо побывать в Мексике. У меня много знакомых туда летало, и никто ничего толком об этой стране рассказать не мог, потому что они круглые сутки там только и делали, что пили текилу, жрали кактусы и всячески безбожно угорали. Оттого Мексика представлялась мне загадочной и необъяснимой, по-кридовичски непонятой. Я бы с удовольствием попрыгал там в зарослях чапарала, как Кастанеда, уелся бы пейотля тоже и потом бы всю ночь разговаривал с прозрачной добродушной собакой. Так там, в его книге, было? Мне жуть как захотелось в Мексику, я уже было потянулся за телефоном – выбрать какой-нибудь тур, но вспомнил, что телефон остался в спальне и вообще пандемия. Снова раздался звонок.

Ну обожди у меня. Вот узнаю, какой нечестивец в такую рань обрывает мне линию, – напущу на него скверную порчу, несварение, допустим, пусть помучается, падаль, пусть страшно ему станет и беспокойно. «А вдруг что-то срочное?» – раздался гнусный голос, но я его тут же погасил, как сильный человек гасит своим величием слабого, – мыслями о Мексике. Потом я вспомнил Канаду. В Канаде я был. Там в зимнюю пургу я праздновал свой двадцать восьмой день рождения. Где-то затерянный среди Скалистых гор лежал я в джакузи и пил пиво с незнакомками, пока нас заносил снег, а потом уже в Эдмонтоне спустя сутки накидывался с другом палёной русской водкой. Но то другая история... Это уже сколько?.. Четыре года прошло... А в следующем году будет пять. Как быстро идёт время.

Я раньше не придавал этому значения, но после третьего десятка оно понеслось с такой скоростью, что мне стало тревожно, не по себе. Недели теперь пролетали как раньше дни, а год в тридцать лет можно было приравнять к одному месяцу в двадцать. Это было подло, низко, но я не знал, кого винить. Подло – да, низко – да, однако, позвольте, кто этот подлец и низкий мерзавец, что заставляет меня глотать сутки пачками? Может, всё дело в том, что я бросил выпивку? Ну, если бы не бросил, так до тридцати бы, наверное, и не дожил, поэтому что бросил – это правильно. Дело в другом. Так в чём же?

Мне папа говорил – а он всегда был меня на тридцать три года старше, он созерцал меня с высоты своих лет, – что время, оно такое – летит, не успеваешь заметить. Я удивлялся. Время для меня тогда было бесконечным, долгим, залежавшимся, как какой-нибудь продукт в непопулярном супермаркете, да и я, наверное, тоже мнил себя относительно бессмертным. Я говорил: папа, успокойся, это тебе показалось, это чушь... У меня, говорил я, время не то что стоит на месте, оно, можно сказать, даже идёт вспять – так медленно оно тянется. Я ему, в общем, не верил или не хотел верить. Потому что это несправедливо – как так? Один живёт быстрее, чем другой, который живёт намного медленнее первого. Что это за дебилизм такой? По какому праву?

Нет, всё должно быть иначе. Только вот как? Ну как-как, если спросите, то я вам отвечу. Должно быть так: встречи назначаются исключительно по месту, без привязки ко времени, то есть я го-

ворю, например: «Встречаемся у городской ратуши». Всё. Таким образом, никто никого не ждёт, даже если кто-то опоздал на неделю, потому что времени всё равно не существует – как кто-то может ждать? Ну или время существует, но оно у всех идёт одинаково медленно, как будто его и нет вовсе, и многие даже не догадываются, что оно есть. Идёт медленно и вязко, неуверенным шагом в пещерное будущее. А как о нём догадаешься? Кроме старости, смерти и часов я нигде не вижу признаков времени. Мы сами, человек сам себе придумывает проблемы, как он придумал часы и минуты. Можно было ничего не придумывать и жить, как жили. Ориентироваться по Солнцу, Луне, морщинах в уголках глаз и звёздам. Вот кто-то назвал эту кучку огоньков Кассиопеей, а эту – Стрельцом, и я вглядываюсь в невидимые линии, пытаюсь мысленно провести хоть один между бледными точками на небосводе пунктир и представить: что думал древний человек, когда давал этим фигурам названия?

Это мне неизвестно, зато что я знаю наверняка, так это что Солнце в момент моего рождения, когда появилась моя плоть и мой дух зародился на этом свете, оказалось как раз в Стрельце, где-то в районе его мошонки. Гороскоп это лишний раз подтверждал. Всё так и было: я действительно нетерпелив, люблю большие шумные компании, внимание люблю, мне нужно, как воздух, признание, я вспыльчив и прочее. То есть – самый типичный Стрелец. Всё как будто писали с меня под копирку, ни одного лживого слова. Но каждую неделю гороскоп у них немного разнится и меняется. Может, и сейчас почитать? Я посмотрел в коридор. Обычно все газеты (то есть одна или её половина) валяются у меня именно там – на тот случай, если вдруг приду с дождя и нужно будет под грязную обувь что-нибудь срочно подстелить. Но на полу ничего не было, кроме баланс-сборки и утюга, которым я уже как вторую неделю намеревался погладить рубашку.

Хм... Целые две недели? Значит, не выходил две недели? Ну да, получается, не выходил, раз рубашку так и не погладил. Это раньше я мог выйти в мятлом, плевать, а теперь набрался ума и стыдливости и позволить себе такой роскоши более не могу. Вернее, это она мне не позволяет – совесть.

А перед этими двумя неделями – куда ж я выходил? Я стал с интересом перебирать в памяти все места, которые посещал в начале месяца. Я выходил в парк Уго Чавеса. Также я выходил в парк Обрывистый имени Ким Чен Ына. Там на меня нападали вороны, это я хорошо запомнил.

Я прогуливался с утра в воскресенье, в приподнятом настроении, с уверенностью в собственной исключительности почему-то, и остановился у ивы послушать, как где-то в её листьях красиво щебечет жаворонок или синица, но тут подлетела неухоженная потрёпанная ворона и стала каркать, перебивая всю красоту птичьего пения. Я на неё ругнулся, махнул, расстроенный, рукой и побрёл дальше – сквозь парк, устремляясь ко МКАДу, где по обыкновению ворон не водилось, где водились только смог и шум автомобилей. Я думал, она отстанет, увидев, что я отказался от идеи слушать хрустальные трели, но она не отставала, а преследовала меня вплоть до самой кольцевой, зазывая при этом своих сородичей. Под конец в небе парило не меньше тридцати ворон, и все с высоты вероломно обдавали меня своим могучим карканьем, в чём-то осуждая, а я шёл и продолжал про себя ругаться: да что я вам, скотинам, сделал?

В тот день я невзлюбил ворон и по сей день их не люблю. Так вот, ещё я выходил на почту: мне приходила какая-то посылка из-за рубежа, кажется, копия оригинальной рукописи Керуака, – там я и купил очередной номер «Звезды». Но почему она сейчас не лежала, как положено негодному печатному слову, в коридоре? Я стал смотреть вокруг и вместо неё обнаружил под ногами «Книгу полезных советов» пятьдесят четвёртого года выпуска. Хорошо, подумал я, что теперь сижу здесь и что мне не нужно выбирать из семи книг, которые я сейчас читаю одновременно. Возьму-ка, что бог послал.

Я поднял книгу и стряхнул с неё толстый слой пыли. Давно ли она здесь валяется? Она по наследству перешла моей маме от бабушки, а до начала пандемии я успел прихватить её у мамы, сказал, что почитаю. Получалось, что соврал, потому что так к ней и не притронулся. Как чего-то нет, так, кажется, без этого жить не можешь, а как появляется – думаешь: боже, на кой чёрт оно мне сдалось? Сейчас исправлюсь.

Я открыл книгу наугад, на шестьдесят шестой странице. Читаю: «В щах составной частью овощного гарнира, преобладающей по количеству, является капуста белокочанная (свежая или квашеная), садовская, а также капустная рассада (молодая)». Я слотнул, в животе заурчало. Нет, надо всё-таки встать и что-нибудь приготовить. Ты ничего не завтракал, а если хочешь дожить хотя бы до конца пандемии, то есть придётся, никуда не денешься.

Да, наверное, ещё долго придётся, очень долго, потому что конца эпидемии не предвидится никакого. Уже полгода торчу здесь, как истукан, практически безвылазно, только разве что в парк вот или на почту, и ничего лучше с тех пор не стало, нам никто не сказал: «Добро пожаловать в безопасный мир, выходите». Каждый день умирает по несколько тысяч человек. Ежедневно в мир иной отходит парочка «Титаников». И это я ещё отстранился от новостей, это я сужу только по слухам, до меня доходящим. Если б я читал или смотрел новости постоянно, так меня б давно грусть заела, я бы давно стал меланхоличным и безэмоциональным. Дзызыыны!

Может, это папа звонит? Ну перезвонит, если что срочное. Леня вставать, сказал же. Даже вон – пожрать себе приготовить не могу, что уже говорить о каких-то срочных звонках. Не буду отвечать. Подожду. Если пять звонков и меньше – значит, ничего срочного. Значит, кто-то от нечего делать взял трубку и хочет потрепать языком, ну или просто номером ошибся. Одну цифру с похмелья перепутал и звонит, думает, что на поминки звонит, к Егору Кридовичу, а на самом деле мне – писателю, тревожит моё писательское существование, которое и без того тревожно. Конечно, тревожно, до сих пор же ни одной моей книги не выпустили, как тут быть спокойным. Если же звонков от пяти до семи – тогда это по какому-нибудь делу, но не такому важному, чтобы прямо вот сломя голову бежать и отвечать сейчас на их звонок. А уж если больше десяти – тогда беда. Тогда действительно что-то произошло недоброе. Я знаю: люди о хорошем редко так трезвонят, они так трезвонят только о чём-нибудь плохом, а если мне звонят, чтобы сообщить плохие вести, – лучше мне об этом и не знать. Мне и так забот хватает, подумал я и внезапно посмотрел на чайный столик: что-то привлекло моё внимание.

Под чашкой (кружкой? стаканом?) остывшего чая лежала и непринуждённо смотрела своим заглавием в сторону ангелов «Звезда», целая, целёхенькая, нетронутая. Я отложил «Книгу полезных советов» и взял в руки газету. Первая статья называлась «Пад крыльями анёла». В школе мы учили белорусский, да, и мне знакомы многие интересные словечки вроде: «пыска», «хмарачосы», «плявузгаць», «недатыкальнасць» – но, хоть убей, я не знал, что такое «анёл». Хотя слово, я вынужден был сам с собой согласиться, забавное. М-да, забавное, ничего не скажешь. Анёл, анёл, анёл... Забавное и такое... немножко матюгальное, да? Вот если сказать кому в лицо, кратко и тихо, набожно так, как сатанист на вокзале: «Вы, гондон, подобны анёлу», – что он, интересно, ответит? На «анёл» больше обидится или всё-таки на «гондона»? Ничего, наверное, и не ответит, а только замахнётся, как я в вагоне, и треснет мне в лицо стамеской или увеселительным крюком. Я на всякий случай ощупал лицо и подбородок. Хорошо, всё хорошо. Ни синяков, ни ушибов. Ничего не болит. А то мало ли...

Я быстро пролистал газету в поисках гороскопа. «ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион», «Гарызонт, Камволь и Крыён», «Я ўсё сам сабе ўжо даказаў», «Мясцовыя віды паліва», «Отчёт о прибылях и убытках». Я дошёл до конца газеты, пытаюсь тщетно понять логику, по которой часть статей была на русском, часть – на белорусском, но гороскопа так и не нашлось. Тогда я пролистал газету ещё раз, в обратном направлении, – гороскоп не появился. Я в смятении отбросил её на диван. Нет так нет. Дался мне тот гороскоп. Я и так всё про себя знаю, каждый свой тайник, красивый и не очень, и могу без усилий предречь ближайшее будущее, вот, слушайте: остаток недели я никуда не выйду и буду продолжать думать о признании, литературном бессмертии и культурной благодати.

А как же гонорар, как же редакция! Я чуть было не встал от внутреннего волнения, но заставил себя успокоиться и глубоко три раза вдохнуть. Чего это я так разволновался? В печать первую часть романа уже отправили – значит, будут и другие. Не могут же они отпечатать первую часть, написать «Продолжение следует...», а потом никакого продолжения не опубликовать? Не могут

и не станут, потому что народ восстанет, сейчас в редакциях себе такого не позволяют, какой бы мёртвый воздух в них не царствовал. А гонорар – что гонорар? Гонорар подождёт до лучших времён. В их порядочности я не сомневаюсь: ведь сами же наперёд предложили всё выплатить, а их не о чём не просил. Не пропьют же они его, в самом деле...

12

И тут я опять всполошился и почти встал на прямые ноги, потому что понял: ещё как пропьют, если уже – не пропили!.. Ну, во всяком случае, если пропили – так и дёргаться тогда нечего. А если ещё пропьют – то, может, успею? Как знать... Главное всё-таки – чтобы напечатали. Я ещё раз взял в руки газету, с раздражением её пролистал и, не найдя в ней ничего интересного, положил на стол, где на сей раз заметил засаленный пакетик сахара.

Я аккуратно поднял его и посмотрел на просвет, но ничего особенного там не увидел. Не знаю, что я хотел там увидеть. Тогда я помял его между пальцев. Сахар скрипел, как на камбоджийском пляже. Я сильнее и сильнее его растирал, вспоминая белый песок под ногами, по которому ходил пару лет назад, как блаженный. Вот бы оказаться сейчас даже не в Симферополе – хоть и там, бесспорно, хорошо и тепло, – а в Камбодже, на том пляже, где песок не хрустит, а скрипит – большая разница. Под пальмами. Всосаться в кокос и испивать его влагу, без пауз и антрактов. Там меня ничто не будет беспокоить, там я буду ровен и безучастен...

«А то ты здесь сильно напрягаешься», – сказала совесть, в её словах послышался укор. «Представь себе, – ответил я, – мне непросто. Я полгода в заточении. Ещё чуть-чуть – и у меня совсем поедет крыша». – «Ах ты, бедненький какой! Поедет крыша! Вы посмотрите на него! Как с ним обошлась судьба! Ай-ай-ай». – «Ты бы вот не паясничала, а лучше сказала бы мне, почему сейчас билеты в Камбоджу или в Мексику, например. В Канаде-то я ведь был... Впрочем, откуда тебе знать...»

Она ничего не ответила. Перед мысленным взором моим замаячили вперебивку какие-то безобразные римские цифры, и хоть неясно было, что они значат, но по количеству чёрточек я сразу догадался, что суммы эти громадны и что пока мне не выдадут весь гонорар, мне нечего и рассчитывать на заграничные поездки. Хотя что это я несу за окоlesiцу такую... Ты где живёшь, братишка? Гонорара этого разве что на бутылку и хватит, если сразу сто тысяч тираж не отпечатают, конечно. А они не отпечатают, не обольщайся. И вообще, ты человек зажиточный, чего прибедняться? При желании я мог бы снять пол какого-нибудь пятизвёздочного отеля на Карибах или в Алжире под полный пансион со шлюхами, и быть там и ни о чём не думать.

Но это с оговорками: при условии, что границы не закрыты, – посмотри вокруг, все уже давно забаррикадировались, среди всех стран только одна Беларусь и открыта, только она одна считает своих жителей бессмертными горцами и выше любых пандемий и вирусов, поэтому нечего даже и думать. Надо набраться терпения и ждать. Того и гляди, всё закончится, не успеешь заметить. С тем, как сейчас проносятся дни, недели, месяцы, можно вообще не переживать. Просто сиди и перекидывай страницы календаря в ожидании скорой старости.

Так чем же всё-таки заняться? Я ещё раз посмотрел на монстеру и ещё раз – на опунцию. На каждую по разу. Вид у них хороший, здоровый, листочки с иголками лоснятся, значит, поливать не надо, тем более что вчера же поливал. Или не поливал? Ничего уже не помню. Это всё из-за монотонных дней. Они превратились в одни нескончаемые сутки, и порой трудно сказать, где кончилось вчера и где начинается сегодня. Я могу часами сидеть и гадать, где тот предел, за которым я вообще сойбюсь со счёта, зарыдаю и перестану различать день и ночь, луну и солнце, год и секунду, парк и сон.

Я посмотрел в окно. Дождь. Когда он начался? Я не заметил, а лило уже так, что дом напротив лишь угадывался в пелене своими неестественно резкими очертаниями. Ну вот. Всё познаётся в сравнении, всё, опять же, относительно. Теперь, на фоне этой водной стены, моя мокрая спина не кажется больше чем-то неудобным, зазорным, доставляющим дискомфорт. Скорее наоборот – раз у меня мокрая спина, раз сам я вспотел от своих ярких видений или что это было, то, зна-

чит, у меня есть кров над головой, а это причина радоваться. Я попробовал порадоваться, но не получилось. Тогда я попробовал ещё раз. Снова ничего. Дробь дождя по подоконнику вызывала во мне тревогу, хотя и не тревогу, а скорее какую-то запущенную бытовую элегию и слезливость. Захотелось увидеть родителей, у домашнего очага сыграть с отцом в шахматы, побыть там, где я вырос, где впервые достал бутылку ликёра из родительского бара, нахлеставшись втайне до потери памяти – святое было время... Но до отчего дома триста километров, а поэтому, пока доеду, уже явно распогодится и мне захочется обратно – в столицу, к движению, средоточию деятельности. Или не захочется?

Я продолжал гадать. Нет, не захочется. Мне порядком надоело сидеть в четырёх стенах и каждое утро паялиться на самого себя, красавчика, в зеркало, одними и теми же движениями чистить зубы, одинаково принимать душ, с минимальными модификациями посещать уборную, готовить однообразный завтрак. Всё как-то машинально и бездумно, по накатанной, словно занимаешься сексом с куском подогретой пластмассы. Бесчеловечно, как в нацистской Германии. Я научился жарить шампиньоны, прошёл курс переговоров с террористами, разучил прыжки со скакалкой – всё ради имитации широкого ассортимента занятий, чтобы не сдохнуть со скуки, – почти сел на шпагат, но всё-таки не сел, и, наконец, сотворил эту книгу – за шесть дней, с нахрапу, а седьмой день, то есть вчера, я, конечно, отдыхал. Её редакция, собственно, к печати и приняла. Это хорошо, да, хорошо, что что-то решили опубликовать, а то я уже, между нами говоря, подумывал забросить это дело.

Как часто я менял профессии! Переводчиком – был, кассиром, таксистом – был, был и грузчиком даже как-то раз, был музыкантом и фотографом, и партийным, и мясником, и предпринимателем, и – тут уже поинтересней – был скупщиком овечьих шкур, внештатным редактором статей на порнотематику, хотел даже устроиться проводником в поезд «Москва – Владивосток», но меня, слава богу, в последний момент отговорили. Числился также рядовым рабочим в фирме своего отца, но только числился и получал зарплату, а на самом деле – никакого отношения к фирме не имел и ничего не получал. Был зызыкалой, распространителем флаеров, перевозчиком кошерной мебели. В уме я подвёл промежуточный итог этой фазы своего существования. Что ж, на самом деле список не такой уж и обширный, чего это я вдруг начал задаваться, будто всё испробовал, всё испил и, мол, доля моя паскудна? Список, можно сказать, даже слабенький, его стыдно кому-нибудь показать: засмеют, как с крюком. Поэтому не буду показывать, но в голове подумать о всех своих заслугах очень приятно.

Последний крутой поворот в профессиях произошёл не так давно. Фотография к тому времени надоела, меня выворачивало от свадеб и холёных влюбленных пар, обречённых либо на скорый развод, либо на монотонное существование, ай, думаю, раз такое дело, раз от фотографии тошнит, стану писателем! Удобно. Никуда идти не надо, ни с кем разговаривать, кроме случайных редакторов, тоже не нужно, да и вообще – можно спокойно себе пребывать в тех самых условиях, в которых я варюсь последние шесть месяцев. Легко! Ничего не стоит. Просто сиди и настукивай по клавишам свои мысли, слово за словом, пока не вырастут они в нечто монументальное.

А сегодня же ничего, зараза, не написал. Ни одной, ни единой строчки! Я фыркнул. Подумаешь! Ещё ведь не вечер, правильно? До вечера точно что-нибудь накорябаю. А не накорябаю – так, значит, и не надо. Отложу на завтра. Если мысль не идёт, её гнать не надо, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Свой предыдущий роман я так и писал – с трудом вымучивая каждое слово, и вот посмотри, что получилось. Совсем ничего и не получилось. И за это, кстати, тоже стыдно. Лучше бы не вспоминал...

Пойти, что ли, написать строчку-другую?.. А ты уже придумал, о чём писать будешь? Не придумал. Ну вот посиди, может, чего и придумаешь. Не перед белым же экраном тебе куковать? Там, перед ним, нет никакого вдохновения. Ты уже должен был это усвоить, раз и навсегда...

Кажется, я начинал шевелить губами и даже проговаривать некоторые слова, приходявшие в голову, – так, казалось, мысль складывается легче и легче находятся ответы. Дождь не прекра-

шался – но и не прекращались мои мысли, и, может, через минут пятнадцать я уже во весь голос, никого не стесняясь, говорил сам с собой:

– Да я-то всё уже давно понял. Нет там никакого вдохновения, да. Но с другой стороны – дисциплина...

– И что твоя дисциплина? Думаешь, шедевры дисциплиной создавались? Вот была ли у тебя дисциплина, когда ты писал тот роман, что сейчас в редакции?

Я вспомнил эти дни. Нет, никакой дисциплиной там, положительно, и не пахло. Я сидел, когда попало за стол и так же когда попало писал. Бесцельно, но с душой, от всего сердца.

– Вот я о чём и говорю. Не иди ты никуда, не ищущая, а сиди и вдохновляйся.

Дождь вдохновлял, но не на письмо, а на романтику, грусть и самоубийство. За этой бесцветной простыней я чувствовал себя одиноким, о котором никто не знает, о котором забыли все. Хотелось, чтобы кто-нибудь обнял и сделал какао с корицей, как ребёнку. Пусть бы возникла передо мной некая женская особь, я б, может, и не стал просить от неё какао, а положил бы аккуратно на овечью шкуру, снял бы с неё бельё и ласкал бы, нежно-нежно, любя-любя, без намёков.

Как бы могли её звать? Кассиопея. Вот, отличное имя. Я бы даже хотел, чтобы её так звали, потому что ещё ни одна Кассиопея не имела возможности меня бросить, Стрельца, а значит, она обладала некоторой презумпцией невиновности, и я бы не стал её сразу прогонять и выставять на мороз после первого минета.

Я бы с ней поговорил сначала по душам, обо всём на свете. Спросил, что она предпочитает: аудиокниги, вырубку лесов Амазонии или всё же электронное чтиво? «Ах, как я люблю шелест страниц!» – призналась бы она, лья ко мне всё ближе, а я бы её в шутку, по-доброму отталкивал в рёбра, намекая уже на что-то большее, чем просто разговоры, но она бы всё лгнула ко мне и лгнула, и задавала бы вопросы, а я бы отвечал ей своими вопросами, и так бы мы друг друга до конца и не узнали... Я бы не узнал, что ей ближе: удовлетворение своих эстетических потребностей или забота о природе, – и именно это незнание, это несовершенство нашего знакомства сблизило бы нас так, что я бы наконец мужественно взял её за ляжки и прямо в глаза её бы спросил: готова она или мне взять её силой? Я бы услышал томный стон, ну а дальше...

Дальше лучше и не думать, потому что совсем истоскуюсь по женской плоти. Эх, мягкая податливая женская плоть... Нет, если бы не карантин, я бы пошёл в центр города и стал бы беспрядочно знакомиться с барышнями, аморально ластя и заискивая, – что-нибудь бы да выгорело. Но не теперь. Теперь у меня такие условия, что я развиваю свой дух и свою стойкость и ни перед чем не должен давать слабину. А впрочем, если хорошенько вдуматься, то женщин у меня уже не было так долго, что влечение из огромного всепожирающего монстра превратилось в маленького хитрого карлика, высовывающего свои вилицы лишь изредка, когда совсем становится скучно. Тогда я могу залезть в тиндер, позёвывать, его полистать и, ничего не найдя, пойти лакомиться поджаристыми шампиньонами или грызть свежесваренную кукурузу. Сейчас сезон, не стоит пренебрегать овощами, особенно учитывая, как быстро в последнее время проходят дни. Ну и, к тому же, витамины...

Не успеешь оглянуться – снова нагрянет зима с её грузной поступью по хрустящему снегу (я снова теребил в руках пакетик сахара), с её скованными тёмными глазами, медленными задиристыми движениями, с её холодной, цепкой и расчётливой хваткой, витамины все уйдут в рябину, хиус подует с севера, закомкав тебя в клубок одежды и ледяных слёз, и тебя не будет отпускать ровно до весны, когда всё начнётся заново. Но до тех пор, до весны, время – не то что сейчас – будет плестись и тянуться в своих неподъёмных кандалах, и ты будешь ходить из комнаты в комнату, недоумевая: как такое возможно, чтобы всё лето пролетало за день, а зима продолжалась оставшиеся триста шестьдесят пять дней, если год високосный? Таков закон жанра, и чем старше становишься, тем этот жанр становится прочнее, и уже никуда от него не деться, не спрятаться, не убежать, даже если ты полупрофессиональный бегун, живо представляющий настигающего тебя петуха покаяния...

Нет, я не хочу, чтобы наступала зима. Зимой у меня только один любимый день – и тот мой день рождения. Ну, по крайней мере, так я думаю летом. А как зима окутывает город, так, впро-

чем, и не так уж всё плохо кажется. За окном бесовский минус, никуда выходить не хочется, да и не надо, и поэтому зимой хотя бы нет этого дурацкого, ничем не обоснованного чувства вины, как сегодня.

Вот сейчас шпарит дождь – и отлично. Потому что из-за него я не чувствую себя виноватым, что мог бы по идее куда-нибудь пройтись, где не людно, да не прошёлся, что-нибудь сделать полезное, да не сделал. А вот с самого утра, когда светило солнце – было так себе, хреново. Каждую минуту в голове, как колокол, звенело и проносилось: во-о-от, сидишь ты, а на улице солнышко греет, люди загорают, что-то придумывают, чего-то хотят, к чему-то стремятся... А ты сиди-сиди. Гляди, до пенсии досидишься.

13

...О чём это я там думал? Кассиопея, кажется, аудиокниги... Да, так может, аудиокнигу включить, раз уж всё равно ничего не делаешь? Хотя бы на фоне чего-нибудь послушаешь. И нервы успокоятся, и как будто что-нибудь параллельно и выучишь. Как, помимо твоих шампиньонов, правильно готовить яйца пашот, например. Ты ж ни разу в жизни по-нормальному их не сделал, презренный! Пойдёшь ты в город, перезнакомишься, приведёшь какую девку – и что ты ей покажешь? Газету «Звезда» за двадцать седьмое июля или светопреставление у себя в спальне? Может, опунцию перед ней поставишь или расскажешь, как часто поливаешь монстеру и что она у тебя до безобразия капризна?

Глупости... Зато представь: приведёшь, заведёшь на кухню, не снимая грязной обуви, и покажешь: вот, мол, смотри, женщина, какие у меня яйца пашот оригинальные! Она тут же с себя всё скинет самостоятельно, без твоего участия, и востребует: бери меня без остатка и даже силой, не медли!

Я прервал мысли. Бесплезно думать об этом дальше, потому что аудиокниги – тоже на телефоне, а телефон – сам знаешь где. Не помешает посидеть и в тишине, говорят, способствует обмену веществ и хорошему метаболизму, и послушать, как стелет дождь по нагретому асфальту, а мысли вязкой лавой плаваются в голове и обволакивают тебя изнутри, чтобы что-то тебе сказать, но я не понимаю, что именно, допытываюсь, но никто мне не отвечает: даже совесть, и та теперь замолкла и ничего не говорит, и становится так одиноко, так тоскливо, как тоскливо бывает муравью, которого амбиции отобрали у родного муравейника и увезли за триста километров от родного дома в столицу.

Дождь продолжал барабанить, и снова кто-то звонил – уже, если я правильно понимал, в третий раз, а я медленно опускал свинцовые веки, но в последний момент их резко открыл, смело и без колебаний взял в руки чай, отпил его, крепко заваренного, и опять мои глаза округлились, и я почувствовал, как внутри, по жилам, замельтешила кровь и вибрации, и больше всего мельтешили они в голове, давая пищу размышлениям.

Я ещё раз решил провести инвентаризацию дел. Растения, скорее всего, полил вчера, уборку сделал на этой неделе или позже, еду... не буду думать о еде... так, толчок тоже отдраил до фантастического блеска, что ещё? Пробежал вчера пятнадцать километров, значит, сегодня день отдыха. (Так всё-таки выходил ты из дома?) Можно принять ванну. Хорошая идея. Я её запомнил и продолжил. Написать что-нибудь. Это уже проходили. Сегодня писать необязательно. Спокойно подождёт до завтра. И так уже написал прилично. Картину Французской революции, что стояла в прихожей с начала пандемии (я эти дни никак не решался сходить в гипермаркет за дюбелями), тоже как-нибудь повешу, ибо месяц назад всё-таки насмелился и за дюбелями пошёл. Надел на лицо три слоя бесполезных масок и пошёл. Моё эго уже давно перестало следить за тем, как я выгляжу на людях, поэтому я мог идти хоть с масками, хоть без, хоть в штанах, хоть без – никакой не было разницы. Но, несмотря на это, на такую мою новую свободу, я всё же за собой ухаживал и старался по мере возможности ходить в штанах. Мне и людям это было приятно.

Иначе, не холи я себя, себя я не лелей, будь я подобен бомжу, которых в своё время в избытке навиделся в Америке, пришлось бы каждое утро наблюдать в зеркале страшное отражение не-

знакомца. Я бы себя не узнавал и содрогался. Что за хрен осматривает меня из зазеркалья? Так же я светился и пылал, и хотел бесконечно собой любоваться, с этой стороны, и с той, и со всякой, потому что не было ничего краше в этом доме... Разве что заглянет какая-нибудь красавица на ночь и представится: «Кассиопея»...

Я даже научился сам себя стричь. Не стричь – грубо остригать, потому что использовал я кухонные тупые ножницы, которые непреднамеренно вырывали из моей шевелюры куски, вместо того чтобы скользить по ней, как по вазелину. Мой личный парикмахер, когда карающая рука вируса замахнулась над Европой, вдруг решил внезапно и несвоевременно эмигрировать в Румынию, – в поисках лучшей жизни? – он умотал, бросив клиентов, и плевать на клиентов, но бросив меня, – и мне ничего не оставалось, кроме как первые три месяца себя запустить, так что я стал похож на какого-то ободранного койота, не получившего свой положенный обед, на развалюху, на отчаявшегося родственника Генри Дэвида Торо с безумным взглядом, а потом сорваться, яростно вбежать в ванную и обкорнать себя со злости, раскидывая клочки волос по всему периметру равнодушного кафеля. А получилось, кстати, ничего, даже лучше, чем у моего парикмахера-румына, отметил я и потом ещё долго удивлялся – может, у меня талант?

Хотя иногда – вру – совсем не хотелось на себя смотреть, хоть и выглядел я прекрасно. Чёрт, да я выглядел гораздо лучше своей собственной версии, скажем, пять лет тому назад! В некоторой степени меня спасала окладистая борода. Даже не знаю, что бы делал, если бы не густая растительность на моём лице. Именно борода добавляла мне несколько необходимых лет, чтобы я начинал выглядеть хотя бы приблизительно на свой возраст. А через год-то – возраст Христа, между прочим...

Да, до тридцати трёх он много чего сделал. Истоптал пустыню, набрал толпу легкомысленных почитателей и менее легкомысленных врагов – был, как в том фильме, настоящей суперзвездой. Правда, в те времена звёзды были другие. Всё было другое. Так ведь обычно твердят старики? Я вот тоже часто думал: что, если (зачёркнуто) когда стану известным? Когда изюминка будет изобличена наконец, найдена не где-то в глубинах моей воспалённой фантазии, а на самом деле, в этой объёмной вещественности материи и духа. Испорчусь ли я, стану ли высокомерным? Начну ли раздавать всем пощёчины? Впрочем, в реальности мне не было на что жаловаться. Редакция в Гонолесе, приняв рукопись, бесспорно, тем самым подтвердила, что догадывается если не о моём гении, который мне очевиден, то хотя бы о наличии этой изюминки, этого своеобразия моего высокопарного таланта. Но – и тут я смеюсь – ведь это всего какая-то редакция в Гонолесе! Кто о ней знает? Кому о ней известно в мире?

Заранее зная, что скоро сяду за написание новой книги: что-то во мне было беспокойно и томилось, – я просидел, наверное, около месяца, ища в интернете издания, от которых бы не хотелось сразу сунуть шею в удавку (или галстук, да, лучше, конечно, в галстук). Много хороших я не нашёл. Но нашёл с добрую дюжину более-менее сносных, таких, которые можно было читать, пусть и плевать, но читать. В наше время их встретишь нечасто. Все печатают какую-то ахинею. «Пад крылами анёла»... Что это вообще значит? Анёл... Нельзя ли было подобрать слово позвучнее, чем это? Так они все сейчас и работают, «пад крылами анёла» известного, простите, презервативного свойства.

14

Один мой знакомый, писатель, как-то подсказал: найди, говорит, газету, которую никто не читает, и начни там публиковаться (у меня такие идеи, если помните, проскакивали). Проблем, мол, не будет. У них дефицит с материалом, им нужно что-то печатать, чем-то занимать пустые полосы, потому что инвесторам необходимо отмывать деньги, им белая бумага не понравится. А куда, говорил он, идут потом эти газеты? На прилавки, в киоски, где под лучами беспощадного солнца желтеют и комкаются, желтеют до тех пор, пока не настанет пора их позорно выкидывать. Но никто их не выкидывает. Продащицы уносят их домой и используют в качестве туалетной бумаги, для мытья окон или чтобы заворачивать таранку. Мне кажется, это он придумывал, на-

счёт бумаги, окон и таранки, но часть правды в его словах всё же была. Таких газеты – сотни. И это в одной только нашей стране.

А весь мир? Если взять весь мир и тряхнуть его как следует, сколько посыплется никому не нужной макулатуры, которую никто не читает и не стал бы читать даже под дулом заряженного пистолета? Там публикуются неизвестные авторы, и потом в их статьи брезгливо заворачивают сушёную рыбу из ближайшей поймы, а где-то не гнушаются и подтираться. Мне не хотелось, чтобы моими произведениями подтирались, нет, и тем более чтобы они становились последним пристанищем для какой-то таранки (я теперь, когда не пью, таранку разлюбил).

Но Андрей настаивал. Он говорил, что только так можно пробиться. Что только так автора заметят. Сам Андрей ещё не пробился, и его не заметили, но рецепт успеха знал наверняка. Тогда я возразил, что не вижу в его словах логики: публиковаться в газетах, которые никто не читает, – так кто же тебя тогда заметит? Он откестился от меня, как от Иуды, как от «претендующего», бесперспективного представителя литературной жизни, как от предателя, в конце концов, и продолжил пить свой кофе.

А я кофе не пью, я только чай пью, поэтому я пил чай и думал: где логика? В конце концов Андрей, не выдержав соседства с ним тупизны и крайней в моём лице узколобости, объяснил, что таким образом я смогу составить что-то вроде собственного резюме. «Резюме?» – спросил я. Я ненавидел резюме ещё с тех пор, как устраивался менеджером в офис – с поддельными, разумеется, бумагами, на которых расписал весь свой несуществующий стаж работы. «Да, резюме», – ответил он. Там будут, говорил он, сотни газетных публикаций, и это будет не враньё, а чистейшая, мраморная правда. В этом и заключался хитрый трюк.

– Думаешь, как я попал в википед – ю? – спрашивал он меня, чтобы потом самому ответить на этот вопрос, пока мы сидели в полуподвальном помещении какой-то кафешки, рассматривая стены, увешанные различными символами ностальгии по советской эпохе: уютю на углях, плакат «Пить не буду», приколотенная книга «Архипелаг ГУЛАГ», статья Луначарского «О быте: молодёжь и теория стакана воды», портреты Коллонтай и Клары Цеткин, какие-то броские выдержки из закона о тунеядстве, белорусские «зайчики», кровавый флаг СССР.

Мы пили кофе и чай.

– А сделал я так. Стал публиковаться в этих газетёнках, потом нашёл человека, который был редактором в википедии, но самое главное – продажным редактором, не чистым на руку, у меня на таких нюх, заплатил ему сто пятьдесят зелёных и бутылку шнапса и скинул своё внушительное резюме. Вуаля! И теперь я на страницах информационного гиганта. Статус, мол. Понимаешь? – и добавил задумчиво: – Только зачем он мне...

Так же думал я и о газетах. Ну опубликуюсь – а оно мне надо? Будет ли от этого радость, творческий оргазм, придёт ли счастье, хотя бы маленькое? Я заранее знал, что не придёт. Я уже не на том уровне, чтобы приходило. Если в двенадцать лет я радовался своим посредственным, наивным обзорам игр в газете «Компьютерные вести», но теперь такая публикация могла только повергнуть меня в уныние. Если бы где-то вышла моя заметка в одной из таких газет, мне бы пришлось ездить по всей стране и скупать сначала бензин, а потом тираж, чтобы потом в чаще соснового бора, подальше от людских глаз, ошетилившись, всё это сжечь – и больше нигде не публиковаться.

В общем, большинство тех изданий, что я находил, в самом деле печатали полнейшую муру, от каковой даже последний подлец бы не воодушевился. Я вспомнил, что на почте кроме газеты купил ещё какой-то журнал. Я долго рассматривал полки и выбрал самый дорогой и самый глянцевый. На меня с благоговением смотрела вся очередь. Куда я его закинул? Со своего кресла я бросил взгляд в прихожую: там его не было, только балансбورد и уютю, слава богу, не на углях. Диван в зале, столик, ноутбук – нигде. Я уже от безнадёги стал шарить под своим сидалищем, с одного места на другое переложил «Книгу полезных советов» и даже заглянул под кресло, на котором сидел, – и тут же радостно запищал, как стриж в вечерней заре: там не было клоуна с византийской ухмылкой, уже только от этого можно было бы завизжать, но захолустно валялся

ещё позабытый журнал. Может, повезёт, и в нём найдётся гороскоп? Очень уж интересно, что они мне предскажут на этой неделе.

Я листал скользкие страницы, и мне становилось всё грустнее. «Прогулка по Карнаби-стрит даёт прочувствовать дух свингующего Лондона...», «Я всегда с собой беру... санитайзер, мыло и влажные салфетки», «О своей личной жизни Ана не распространяется, но что может быть красноречивее её совместных фотографий с Беном Аффлеком?», «У меня лучшая в мире профессия – я фельдшер скорой помощи», «Я одеваюсь так, как одеваюсь». Я уже собирался откинуть эту вульгарщину подальше, желательно в сторону уборной, как вдруг на последней странице увидел:

«СТРЕЛЕЦ, – говорилось там заглавными буквами. – Азарт – ваше второе имя, но сейчас горячую голову хорошо бы немного охладить. До следующей недели избегайте риска и авантюры, даже если безрассудство и выглядит очень соблазнительным. Это Меркурий морочит вам голову. Дождитесь второй половины месяца (а лучше августа), и уже потом дерзайте».

Я бросил журнал на пол. Меркурий морочит мне голову. Неудивительно, что они не публикуют анекдоты. Зачем? Когда есть такое. Здесь можно читать и обхохотываться, пока не потонешь в собственных слезах от конченного юмора. Меркурий морочит вам голову! Избегайте риска и авантюры. Да уж. Я ожидал от этого чтива посредственности, но не настолько. Хотя в чём-то они были правы, надо признать, по крайней мере насчёт авантюры. Значит, мой астролог не ошибался, но всё же мне было интересно, какие сейчас могут быть риски у человека, который круглые сутки заперт у себя дома и выходит, только чтобы размять свои кости и послушать пение птиц, – да и то, по возможности, избегая любого общества? Который по десять раз моет руки, прежде чем к чему-либо прикоснуться – какие у него риски? Это можно назвать авантюрой?

15

Я почему-то думал, что авантюра – это когда с одним веслом и на дырявой лодке отправляешься через океан без запасов пресной воды и провизии, но не когда ты на самоизоляции во время всемирной эпидемии коронавируса сидишь, опечатавшись, дома. Какие риски могут быть у человека, который, чтобы спуститься со своего восьмого этажа на первый, уже полгода не пользуется лифтом и вместо этого идёт по лестнице, в надежде, что там за сутки проходит меньше людей? И не просто идёт по лестнице, а бежит по ней, как угорелый, потому что если не бежать, то задержанного дыхания может до первого этажа не хватить, и вот тогда придётся вдохнуть, а это – риск. Он же не идёт даже на самые минимальные риски, даже лишнего вдоха не делает. Даже не встречается с девушками и не вызывает никого на дом, хоть тяжёлые времена и требуют отчаянных мер. Взрачивает своё либидо до невероятных размеров, чтобы в один день энергия кундалины, не в силах больше сдерживаться, взорвалась и всех женщин в радиусе десяти километров сразило моими феромонами наповал.

Но такого не будет. Просто однажды я открою адресную книгу в телефоне и начну подряд циклично набирать всех женщин, несмотря на их возраст и свои предпочтения, которых когда-либо встречал, но которых по разным причинам подозревал в проституции, и приглашать их к себе домой так, чтобы ближайший месяц был расписан поминутно. Вот именно так я и поступлю. Это тоже будет – своего рода авантюра. А сидеть дома и ничего не делать, как делаю (или не делаю) это я, – далеко от любых рисков, что бы там в этой постыдной периодике не писали.

Хотя... Нет, надо подумать. Есть ли какие-то в этом риски? Ну единственный, который я теперь вижу, – это что могу двинутся всеми шпалами одновременно. А может, уже и двинулся, ведь это я сегодня сам с собой вслух разговаривал? Я. Чем тебе не помешательство? Вполне сойдёт за начальную стадию шизофрении. Я пытался общаться с людьми по телефону, ещё когда всё только начиналось, но надолго меня не хватило, моё терпение лопнуло раньше конца первого же разговора. «Как дела?» – «Хорошо. А у тебя?» – «Тоже...» – и так далее в том же скучном и безынтересном духе. То есть это суррогат, пилюля, понимаете? Таким сыт не будешь, да и не очень-то соблазнительно поддаваться самообману, я такое перерос. Только теперь и остаётся, что с собой разговаривать.

Вот это риск, да. Сколько съехавших, интересно, с катушек выплеснется на улицы городов после того, как ВОЗ объявит, что с пандемией покончено? Это будет карнавал безумцев, и я не уверен, что хочу его увидеть. Но ничего, ничего... Это хорошая духовная практика. Мне всегда хотелось разобраться в своих мыслях, покопаться, посмотреть, устаканиться, потому что их столько... Но никогда как-то не представлялся подходящий для этого случай. Я всё суетился (благо были примеры для подражания), куда-то спешил, бежал, что-то спрашивал, тараторил и ничего не слышал в ответ – только свои угнетающие мысли. А теперь – куда спешить, зачем суетиться?

Вот я и взял спокойно ручку, лист бумаги и стал не спеша искать издания литературных журналов. Почему журналов, а не полноценные издательства книг? А хотелось мне, чтобы книгу мою будущую публиковали медленно, частями, чтобы читатель смаковал каждую главу, да и журналы мне были как-то привычнее. Как я уже сказал, несколько если не достойных, то таких, от которых не хотелось с ножом кинуться на издателя, я нашёл и отправил им свой роман. Я ни на что не рассчитывал и даже собирался в тот же день об этом забыть, что отправил, как меньше чем через сутки мне неожиданно пришёл ответ (а как же бесконечные месяцы мучительного ожидания?) – от одной из редакций, той, что в Гонолесе:

«Павел,

Нам редко присылают шедевры. Прочли запоем. Отличная вещь, особенно спекуляция по поводу того, что Гонолеса не существует! Первую главу вне очереди ставим в следующий номер. Тираж у нас небольшой: читает нас в основном деклассированный элемент местного вино-водочного завода – но свою аудиторию вы, уверены, найдёте. Люди в Гонолесе любознательные, любят всякое такое.

Вы упомянули, что гонорар необязателен, но мы считаем своим долгом вас вознаградить. Приезжайте в следующую среду. Заодно убедитесь, что город настоящий. Ждём с нетерпением.

С уважением,
К. и редакция»

Я несколько раз перечитал письмо. Неужели хоть кто-то понял, что им в руки сыплют не слова, а золото наивысшей пробы?! Я читал письмо снова и снова, по диагонали и справа налево, и всё больше расплывался в самодовольной улыбке дебютировавшего писателя. Ну вот, сказал я себе, свершилось. Ты пробил потолок своим словом, какие у тебя чувства? Я пошёл в ванную и посмотрел на себя, улыбающегося, в зеркало. Мне идёт улыбаться. Мне надо чаще улыбаться. А чтобы так было, необходимо, жизненно необходимо, чтобы во мне чаще находили талант и чтобы меня чаще за что-нибудь благодарили.

И эта борода... Она придаёт мне какую-то солидность. Без неё я выгляжу на двадцать пять, хотя в свои двадцать пять я выглядел на все тридцать три, и причём тогда бороды у меня не было. Такой вот парадокс. Я пил как сапожник и был оттого грустным и печальным. Мой взгляд в те времена даже трудно описать. Он был пепельным и ненужным, с изредка проскакивающей искоркой затухающей, но борющейся жизни. Хотя для некоторых своих друзей, у которых взгляд был точно такой же ненужный, как и пепельный, для них я был живее всех живых. Им было со мной интересно, потому что я пил и никогда не останавливался. Можно было в любой день недели, в любую пору года, в любое время суток позвонить мне и спросить: «Где?» – я бы назвал очередное заведение, где сижу и всё дальше опускаюсь на дно стакана, предаваясь греху во всём его полулитровом объёме.

А теперь без бороды – двадцать пять, с бородой – тридцать два. Скоро уже тридцать три. Так многое ли я сделал за эти годы? Не так уж много. Множество раз эмигрировал в различные страны, оба раза неудачно, и вот он снова я – там, где и должен быть. На своей родине и без особых свершений позади. Побывал в разных ипостасях, но в итоге – здесь. И мне здесь нравится, особенно сейчас, когда никуда не надо.

По идее, я должен был бы возненавидеть своё жилище за время заточения, но почему-то не возненавидел, а ещё больше в него влюбился. Я навёл порядок, такой, которого эти стены не помнят с самого две тысячи седьмого года, когда они были возведены безымянным строителем. Мне

всё здесь стало нравиться. Хлюпающий звук стиральной машины, приглушённые голоса соседей, потрескивание свечи на ночном столике. Книги я аккуратно расставил по полкам, ароматизатор расфасковал по запахам и воздействию на ЦНС, подкрутил в стульях гайки, купил специальный столик для чайных церемоний, освятил пространство своим длительным присутствием.

Что ещё? Да много чего. Нет смысла перечислять. Главное было не перестараться, потому что бывало и такое. Навожу порядок, навожу и тут вижу: нет, слишком чисто, слишком идеально. Так идеально, что хочется застрелиться, не дожидаясь пенсии. Не хватает ваби-саби – важнейшего качества любой нынче жилплощади. И тогда швырну какой-нибудь пододеяльник на пол или раскидаю еду по квартире – и тогда гармония восстанавливается. Я снова улыбаюсь.

Я сидел и улыбался. Да, хорошо здесь. Никуда не надо. Или, может, всё-таки надо? В редакцию, например. Они говорили «в среду». А сегодня – вторник. Я нахмурился. Стоп, а точно сегодня вторник? Может, всё-таки среда? А ещё, не дай бог, четверг? Да какая вообще разница? Я всё равно не хотел изначально никакого гонорара, так что если и не заберу в итоге ни сейчас, ни когда-либо потом, то ничего по большому счёту не потеряю. Даже наоборот – я буду чувствовать себя чуть ли не святым, что такое великолепное произведение отдал им задаром, с барского плеча. И тем более – первую часть они в любом случае опубликуют.

А всё-таки смеха ради можно было бы отправить какой-нибудь фельетон в газету, даже вот в эту «Звезду». Их скудные умы любую записку сочтут за второе пришествие. Андрей мне скинул список тех, которые – он лично проверял – не читает ни одна душа в республике. И если никто не прочитает мой фельетон – это будет не позор скорее, а насмешка над социумом, оплеуха порочному строю. Какой замечательный план, однако! Да, я таким тонким ироничным способом как бы высею их, поставлю на место. Но надо всё просчитать. А что если кто-то всё же сдуру купит газету, не пожалеет денег и прочтёт? Тогда это уж будет совсем не насмешка, а как раз-таки – мой позор. Тогда насмехаться будут надо мною, а мне это совсем бы не хотелось.

Ограничусь пока публикацией в гонолесском журнале. Окей. Когда время придёт, тогда в википедию и попаду, если мне это в самом деле будет нужно. Или если это надо кому-нибудь ещё – я не буду сопротивляться. Пускай публикуют. Весь мир должен знать о том, что один из писателей начал свой непростой путь с журнала в, как принято говорить, выдуманном месте – Гонолес.

Я почувствовал, как любопытство подкрадывается ко мне, дребезжа, струится из-под коленок, по бокам, позвоночнику проникает прямо в мысли. На карте я смотрел – Гонолес есть, он совершенно точно существует по крайней мере на картах. Но люди всё равно настырно утверждали, что это выдуманное место, что только на картах-то оно и есть. Тогда из какой же редакции мне писали? И писали ли вообще? Чувь. Да и, судя по тому, что я начал разговаривать сам с собой, утверждать что-либо однозначно было бы слишком опрометчиво с моей стороны. Воздержусь, как говорят фригидные люди. Поэтому положим, что город этот наполовину вымышленный, наполовину – реальный. Осталось только выяснить, в какой из половин расположилась редакция...

16

Раздался громкий стук. Я притворился, что мне показалось, и не сдвинулся с места. Я посмотрел на свой чай, отхлебнул немного и тихо, чтобы не услышали за дверью, и мысли набросились на меня с новой силой, уже совсем не щадя ни мой мозг, ни мою душу: они лили ко всему, на что бы я ни посмотрел, что бы я ни услышал, они, казалось, уже стали выливаться из моих ушей уродливой патокой и сочиться из носа. Тогда я посмотрел в окно: дождь не прекращался, стало темнее. Скоро, возможно, начнётся настоящая июльская гроза, подумал я и снова про себя порадовался, что никуда идти не надо. Никакой абсолютно вины за собственное бездействие – что может быть лучше?

После непродолжительной паузы в дверь опять постучали. Я выпрямился в кресле, готовый идти. Мои стороны, левая и правая, синхронизировались. Обе были в боевой готовности к маршброску. Я подождал пару секунд, не повторится ли стук, и стук не повторился, и я снова рассла-

бленно впал в кресельную обивку. Ну вот кому понадобилось стучать мне в дверь? Так ли это необходимо? Неужели нельзя оставить человека в покое, чтобы он мог вникнуть в суть бытия, расслабиться, целиком и полностью? Неужто это так много – попросить у мира тишины и штиля, одинокого забвения, когда именно оно так дьявольски и нужно? Зачем беспокоить почти уже вникнувшего в нечто и расслабленного совсем человека? Кому может взбрести такое в голову? Нелюди.

Я бы никогда так не сделал. Я бы сначала позвонил, предупредил, не настаивая... А если... Так ведь это они мне и могли звонить на телефон, правильно? Хотели, может, предупредить, а я бес тактно не поднимал трубку. Точно, это они. Только кто – они?

«А ты встань, скотина ленивая, и поди посмотри». – «Никуда я не буду вставать. Я только сел. И попрошу без словоблудия». – «Прямо ты только сел, огрызок недоеденный, что вот уже почти обед, а ты всё даже никак и не встал ни разу?» – «Как обед? Какой обед?» – взвинтился я, посмотрел на часы, но часов на руке не было: те тоже предательски остались лежать в спальне. Пожалуйста, это она меня подзадоривает, она меня изводит. Только я обрёл подобие покоя в окружении дождевой завесы, как совесть снова возникла, буквально из ниоткуда, со своими нравоучениями. «Никакой сейчас не обед», – сказал я себе и выпрямился. Если бы было обеденное время, мне бы хотелось есть, а есть я хотел, может, полчаса назад, может, час или минут десять тому, но сейчас уже, как бы там ни было, перехотелось, и есть я не желаю. Значит, до обеда ещё далеко. До обеда ещё можно расслабиться...

Снова стук, теперь уже громче и истеричнее. «Здесь что – пункт выдачи бесплатных надежд и наркотиков, чтобы так рваться?» – крикнул я или подумал, что крикнул. Вот же сволочь! Я продолжал кричать. Ты бы лбом лучше об дверь побилась, чем стучать в неё руками! Возьми лоб и шлёмни его об морёный дуб из-за плеча! Дверь у меня хорошая, крепкая, голову любого идиота выдержит. Не пойду я никуда, сказал же. Я никого не жду, не ждал и ждать не собираюсь. Надежды мне не нужны, от наркотиков я отказался. Придумали – с утра пораньше наводить в доме шорох. Что это за манера, блять, такая?!

Может, включить телевизор, чтобы не действовали на нервы? Заглушу стук, если опять додумаются стучать. Будут новости, я заранее знаю, о чём там будут говорить. Одна и та же пластинка изо дня в день, вот уже на протяжении долгих месяцев: коронавирус, бла-бла-бла, предстоящие выборы нынешнего президента, бла-бла-бла, где-то кого-то случайно зарезали, а кто-то случайно и сам утопился, бла-бла-бла и всё такое прочее. Этим не вдохновишься, а мне сейчас именно вдохновение и надо – сколько можно повторять? С новостями заземляешься, становишься тяжёлым и густым, а мне надо – парить, расправляя крылья, дышать. Иначе кто будет читать мои книги? Кому они будут нужны?

Вот у меня на полке стоят: Платон, Ницше, Замятин, Гурджиев. Таких не стыдно поставить на полку, чтобы там стояли. Они стоят, а я на них изредка с любопытством поглядываю. Хороши, сволочи, хотя Ницше, сколько раз ни читал, ни разу до конца и не понял. К чему вот у него вся эта псевдобиблейская заумь? Да что там, я его вообще никак не понял. Все его идеи оказались для меня непостижимы, далеки и туманны. Но я доверяю мнению некоторых авторитетов, что утверждают, будто это великое чтиво и знания цивилизации, поэтому не стал его выбрасывать на помойку вместе с колоколами, а поставил на самое видное место. Пусть всё-таки стоит, а я буду искоса поглядывать. Как зайдёт какая-нибудь Кассиопея, уже после того как я ей покажу свои кухонные яйца пашот для гурманов, так и упадёт в обморок на овчинную кожу: настолько великолепным ей покажется, что у меня на полке томик Ницше, невзрачный, но сверхчеловечный.

Ещё там стоят Маяковский, Гончаров, Кастанеда, Бродский. А нет, Бродский уже давно успешно обосновался в туалете. Хорошо он почему-то читается на унитазе. Я вот же думал сегодня выучить какой-нибудь стих для развития памяти, и это был не какой-то каприз или прихоть: я в самом деле недавно заучил один стих Бродского, только теперь не помню ни строчки. Что-то там было про «мартабрь» – это он так искусно совместил март и октябрь. Я тоже так могу, но не стану. Февраль, например. Июнь. Август... Мне продолжать?

Чуть ниже – две упаковки восковых свечей. Я их использую для аромалампы. Когда мне не хочется ничего делать – я наливаю пять капель ладана и утопаю в религиозных испарениях фимиама. Я переносусь в какую-нибудь церковь и вижу, как идёт служба. Поп с кадилом обходит прихожан, что-то бормоча себе в седую бородку, дым медленно, неохотно поднимается под высокий потолок по обе от него стороны, а потом устремляется выше – в купола, но до этого он ещё томно повисает в воздухе и думает: подниматься или не подниматься? Как и я думаю: открывать или не открывать? Нет, решено ведь: открывать не буду, это опасно, риск, авантюра. Никогда не знаешь, кто там, за дверью. На пороге может быть прокажённый или просто кто-то с популярным нынче вирусом – что я тогда ему скажу? «С Новым годом?» Пусть других заражает.

И дым в итоге решает, что надо всё-таки подниматься, на него ведь смотрят десятки людских глаз. О нём плохо подумают, если он так и зависнет на одном месте и никуда дальше не сдвинется. Вскоре все в этом ладане задохнутся и начнут выбегать из церкви с криками, что кадилом орудует не поп, а опопевший сатана. Дым медленно поднимается вверх, и все вдыхают ароматы и начинают чувствовать какое-то блаженство и успокоение, но не могут и не хотят его описывать, а просто чувствуют и покорно молчат. Все в чёрном, и я не знаю почему. Я смотрю по сторонам в поисках объяснений, но взглядом натыкаюсь только на облачённых в тёмные одеяния людей и на их по-нурые лица, которые трудно разглядеть во всех подробностях: они как будто размыты широкой смелой кистью авангардного художника, и вся церковь трещит от позолоты и сотен икон, тяжело взирающих на прихожан сверху, чтобы добить их самолюбие, с высоты стен своим величием растоптать и уничтожить.

И тут я понимаю, что это та самая панихида, а над входом читаю небольшую табличку: «Церковь святителя Николая архиепископа Японского г. Гонолес», – тогда уж становится совсем всё понятно. Панихидная служба по не в срок спившемуся, но не открывшему никому своей тайны Егору Кридовичу. А где же тогда мужик в шляпе? Поблуждав взором немного по залу, я наконец нахожу его в отдалении, у восточной стены алтаря, богохульно держащегося за семисвечник и еле стоящего на ногах, из кармана торчит фляжка, хоть нахожу и не сразу, потому что сразу я искал шляпу, но потом абстрагировался и сосредоточился на лицах – так вот, у него одного было внятное лицо, которое удалось рассмотреть. Лёгкая небритость, впалые щёки, но не оттого, что человек хворает, а оттого, что пьёт, красный округлившийся нос и взгляд нечто знающего человека. А сверху – каряя вязкая неприкрытая шевелюра. Я смотрю на него и думаю, и понимаю, что это тот мужик из тамбура, потому что именно у него я шляпу и отобрал, а тому, что был в вагоне, я её наоборот – вернул. Следовательно, это тамбурный мужчина. Вот и стоит с непокрытой головой, выделяясь.

17

Только как же я здесь оказался? Точно помню, что выходил раньше станции Гонолес или позже неё, в Симферополе, в общем, но никак не в Гонолесе, потому что, если б я там вышел, я б уж как-нибудь об этом да помнил. И если бы я вышел на станции Гонолес – так разве стал бы я соваться на чью-то панихиду? Да никогда в жизни! Разве только мужик этот без шляпы меня нарочно уломал на сие предприятие, уговорил, может, как-то. Дескать, раз уж вы тут, так уважьте присутствием мёртвого алкоголика. Но сделать этого он не мог.

Это раньше меня можно было подписать на сомнительные мероприятия любого толка. Можно было просто подойти, показать мне бутылку и произнести, как заклинание: «Идём, тебе сказано», – и я бы пошёл, не спрашивая куда. И чем дороже содержимое бутылки, тем дальше бы пошёл и тем меньше бы спрашивал. Значит, у мужика должно было быть что-то ну прям очень дорогое и заморское, диковинное, коллекционное, может даже, чтобы я добровольно согласился смотреть на эти неотёсанные бескультурные лица и на эту тошнотворную службу. Только есть один момент: я не пью, а поэтому ничем даже запредельно дорогим, диковинным, заморским искусить и увлечь меня у него не было бы шансов.

Значит, добровольно, что ли, припёрся? Господи Иисусе... Я не выдержал, развернулся и вышел, стеснительно расталкивая народ локтями, на улицу. Дождь. Я было подался обратно в церковь, чтобы не намочнуть, но тут же себя одёрнул: если ты то как бы верующий, то как бы и нет, и мечешься между мирским и духовным – на что это похоже? Неудобно. Они тебя даже не растопчут – это ещё можно было бы выдержать, – они на тебя наплюют, разодрав твою сущность в клочья. А с другой стороны, мне на них наплевать ещё больше, и что бы они обо мне ни подумали и как бы куда ни плюнули, мне будет ни жарко ни холодно.

Тем не менее я не стал возвращаться. Я попробовал уместиться под козырьком, но он был такой маленький и скупой или я такой всеобъемлюще-могучий, что про себя я выбрал того, кто сделал его таким убогим и не догадался, что иногда козырёк священного места выполняет определённую социальную функцию, а именно: защищать паству от проливного дождя. Он об этом не думал? Что я говорю! Воистину, зачем ему об этом думать? В этой стране вообще думать не принято. Тут надо запомнить всего лишь несколько цифр: когда магазины открываются, в семь или в восемь, когда закрываются, со скольких до скольких у тебя работа, если ещё не уволили, и какая у тебя зарплата, до тех пор пока не уволят, – и всё, можно жить и ни о чём не думать. Можешь спокойно прожигать лучшие годы, потому что, как известно, всё худшее ещё впереди. И поэтому народ наш с оптимизмом о прошлом настоятельно пропивает себя в абсолютно никчёмное будущее.

Никто, когда это строил, ни о чём не думал. Может, только поп подумал о чём-то высоком, о бже, может, подумал или о восьмцилиндровом Феррари. Моя правая, активистская которая, половина промокла, я решил не мелочиться и вышел под струи дождя весь. Мокнуть – так целиком. В конце концов, это просто дождь. Да и спина у меня всё ещё мокрая. Пожалуй, здесь лучше, чем внутри. Внутри я вижу только безвыходность и чрезмерную серьёзность, как будто решается судьба израильского народа.

Мне никогда не нравились церкви. Они у меня ассоциировались с кончиной любых начинаний, наверное, потому что один из первых трупов я увидел именно в церкви. Это была какая-то дряхлая старушка в некрасивом, наскоро сколоченном гробу. Было так же людно. Первые ряды надрынно стонали и плакали, вторые и третьи молча сопереживали, пытались изобразить как можно более сочувственные и драматичные лица, а с четвёртого ряда и по бесконечность люди рассказывали друг другу анекдоты, делились последними сплетнями и вообще, казалось, не обращали никакого внимания на происходящее. Моя бы воля – я бы их выгнал оттуда вонючей шваброй, но швабры у меня в те годы не было, и я был слишком мал для таких категоричных действий, поэтому стоял и смотрел на сморщенную бабулю.

А потом вот точно так же: взял и выбежал. Только дождя тогда не было. Проклятый дождь. Как я поеду домой? В таком виде дай бог чтобы меня в транспорт пустили. Да я и сам, может, в таком виде в него не войду. «Тебя такого...»

– Замолчи! – крикнул я. – Замолчи, подлюга!

– С вами всё в порядке? – раздался приятный женский голос, приятный – в отличие от голосов обслуживающего персонала железнодорожных линий, совести и низкого баса священнослужителя.

Я обернулся. Из-за дверей выглядывало милое личико молодой девушки. Она была похожа на какую-то принцессу, хотя принцесс я никогда не видел, но почему-то был уверен, что по крайней мере лицо у них – именно такое. Слегка овальное, беловатое, с выразительными глазами и тоненьким немного вздёрнутым носом. Её волнистые белокурые волосы развевались на ветру, то поднимаясь, то опускаясь, то и вовсе закрывая собой пол-лица, но она, казалось, к этому привыкла. Она была чем-то озабочена, хоть и пыталась это скрыть за прелестной улыбкой.

– А, нет-нет, всё в порядке. Почему...

– Я просто увидела, как быстро вы вышли, и подумала, что вам плохо, а потом услышала, что вы с кем-то разговариваете...

Она озадаченно посмотрела вокруг, пытаясь, видимо, найти моего собеседника.

– Не обращайтесь внимания, – успокоил её я. – Это я так... Со мной, в общем, бывает. Просто вот – захотелось подышать.

Она искренне улыбнулась, как дурачку, не веря, конечно, ни единому моему слову, и аккуратно наполовину вышла из-за двери – так, чтобы не намочнуть. На ней было лёгкое летнее платье светло-голубого цвета и такого же цвета босоножки. «Нет, чёрт меня раздери, самая настоящая принцесса!» – удивился я, поругал себя за святотатство и тут же удивился снова, почему она, во-первых, в таком наряде в таком месте и, во-вторых, как это я мог её не заметить среди всей этой безликой толпы горюющих по Егору. Теперь я осыпал себя бранью за невнимательность.

Пауза затянулась, и я сказал первое, что пришло в голову:

– Я что-то вас внутри не видел...

– А я вас – видела, – сказала она с кокетливой улыбкой и вопросительно замолчала.

Что же она хочет? Я должен что-то ответить? С виду хороша собой, прекрасна. Лик ещё не испорчен полком обманувших её надежды мужчин. Интересно, сколько ей лет?

– Вы знали Егора Кридовича? – спросил я, чувствуя себя смущённым красотой дегенератом.

– Не-а. А вы?

Прямолинейность и непосредственность – вот что выдаёт настоящих пантер, скрывающихся за непорочным образом и голубыми платьями. И ещё кокетство. Ей, наверное, двадцать три, что ли?

– Я тоже, – признался я.

– Так как же вы здесь тогда очутились? – она была удивлена.

Я улыбнулся:

– Вот это же я хотел спросить и у вас.

Она замаялась, посмотрела на меня от пят до макушки и сказала:

– Вы так и собираетесь стоять тут и мокнуть?

Я показал на козырёк:

– Под ним для нас двоих слишком мало места, – сказал я трагично, но она, кажется, не уловила крёстно-отцовского юмора, хоть для виду и хихикнула неловко. – Да и не так уж тут плохо. Хотите тоже?

Она с изумлением на меня посмотрела, потом на мои ботинки и сказала:

– У вас все ботинки испортились.

– Это они только набирают красоту. Ну так как? – я протянул ей руку.

Её оценивающий взгляд ещё раз скользнул по моему телу, и после небольшой заминки она выпрыгнула из-под козырька, подставив дождю своё невинное лицо без косметики.

18

Вот! Вот что приковало к ней моё внимание, как только она показалась из-за этих массивных дверей! Никакой косметики! Сегодня это такая редкость. Я пока сюда доехал, столько видел...

Как же я сюда доехал? Я смотрел на девицу и расплылся на две мысли одновременно: какая она красивая и как, чёрт возьми (я опять мысленно и строго отругал себя за богохульство, уже с мазохистским наслаждением), я здесь оказался? Первая мысль никаких дополнительных размышлений не требовала, ибо была риторична и самоисчерпывающа. А вот что касается второй, то тут я был сбит с толку, но как только увидел капли, рассеянно стекавшие по губам девушки и исчезавшие на груди за платьем, меня осенило. Никаким поездом я сюда и не добирался! Вспомнил! То был сон, помешательство, вот! А дождь идёт, потому что начался он сегодня почти с самого утра, потом я сидел, долго думал, рассуждал, даже с собой разговаривал, потом постучали в дверь, два раза, и вот уже на третий я не вытерпел и встал, и подошёл к двери, и посмотрел в глазок. Я, помню, спросил, максимально недовольным тоном:

– Кто? – мой собственный голос показался мне необычным и отстранённым, как будто говорил не я.

Из-за двери ответили:

– Может, сделаете эту чертовщину потише?!

Я опешил, отошёл от двери, прошёл до шкафа и обратно, безуспешно пытаюсь выловить из тишины некую громкую чертовщину, о которой шла речь, и снова посмотрел в глазок. Был еле

различим силуэт какого-то мужчины. Невысокий, с лысиной и толстыми очками на переносице – это всё, что я смог выхватить из коридорного мрака.

– Вы там обо что-то, верно, хорошо так стукнулись? – предположил я твёрдо и с дерзостью, ведь и мне дерзили. А кроме того, нас разделяла надёжная дверь из морёного, как я уже сказал, дуба, поэтому я мог позволить себе развязные интонации в своих ответах. – У меня дома тишина минус сорок децибел.

– Дебил?! – послышалось.

Это уже было просто смешно. То, что ему говорят, он слышит плохо, а то, чего нет, слышит превосходно. Я закричал:

– Я говорю – де-ци-бел! Децибел! Тихо у меня дома, вот что! Ясно?

– А у кого тогда с самого утра Егор Крид надрывается?

Я ещё тогда подумал: это ж надо, какое совпадение – Егор Крид и Егор Кридович... Тут я опять вспомнил поезд. Именно там мужчина рассказал мне о поминках. Но если то был сон, то как тогда я в конце концов действительно на них оказался? Тоже, что ли, совпадение?

Я ответил:

– А мне почём знать? Я вам не справочное бюро. У меня тихо.

– Ну и что прикажете делать? – спросил голос из-за двери, как будто это я должен был решать его проблемы.

– Откуда я знаю? Что хотите – то и делайте.

Я смотрел в глазок. Мужчина постоял на месте, повертелся, как селезень, и ушёл.

Меня потревожили в самый неподходящий момент. Помнится, мысли уже начали смириться в порядок, я перестал метаться от одного мысленного дела к другому, я уже почти смирился и успокоился. Я думал о том, как Андрей в советской кафешке сказал, что сперва нужно подождать лет этак пять, – и тогда, может, если Меркурий перестанет морочить голову, звёзды сойдутся так, что мир обо мне узнает и заговорит, и не будет больше смолкать никогда. Моё имя не будет сходить с телеэкранов и передовиц жёлтой прессы... Блюда в ресторанных табльдотах будут называть в мою честь. Какую-нибудь из автобусных станций даже нарекут моим именем! Ну, последнее – это уже я сам добавил и не вслух – так ослепительна и желанна была для меня слава. И тогда я прикинул: два года уже пишу, значит, три осталось. Вопрос в том, будет ли это через три года ещё актуально?

Я знал свои тенденции. А тенденции у меня были очень простые: я загорался каким-нибудь делом, лихорадочно и с головой в него погружался, ничего более не замечая, отказываясь от еды, сна и секса, буквально тонул в нём, а через месяц-другой мне всё это осточертевало, я начинал грустить и переходил к чему-то новому, столь же беспрецедентно бесполезному, как и прошлое хобби. Это только с писательством я протянул два года. А всё остальное...

Вот, например, пианино. В прошлом году заказал себе белое электронное пианино из Японии. Мне везли его два месяца, и два месяца я представлял, как буду выходить на огромную сцену и сражать всех своей виртуозностью. Мне его привезли, я пару недель на него смотрел, приценивался, потом разучил какую-то примитивную мелодию и наконец с фатальной разочарованностью себе признался, что просто так на сцену даже шутов не пускают и что надо работать аки вол, работать и работать. Работа, однако, мне претила в любых своих проявлениях. Я предпочитал размышлять, это да, или что-нибудь кому-то советовать – но уж никак не работать. Тогда и решил – а ну его. Пойду лучше чая поем или борща попою – так я подумал. И пошёл, и забыл про пианино. Так, разучил однажды кое-что романтическое, чтобы быстрее склонять сомневающихся дам к разврату, и на этом дело закончилось.

Я себя знаю. Хорошо знаю. Поэтому будет ли писательство актуально через какой-то неопределённый срок, в особенности через три года, – мне неизвестно и известно станет только через три эти самые года. А это нужно ждать, а ждать мне лень, тем более что до этого момента придётся пережить три, соответственно, зимы, когда время тянет кота за яйца так, что по субъективным ощущениям это уже будет не три года, а все тридцать. Или тридцать два. Так вот, тридцать два

года я ждать не готов. Лучше уж борща или чаю и какое-нибудь обыкновенное, простецкое существование.

А ещё я подумал: на кой ляд мне та известность? Что я с ней буду делать? Сколько историй, когда очередная «звезда» затухает в собственном особняке на окраине Лос-Анджелеса, спиваясь, или варится в котле одних и тех же тусовок, одних и тех же харь, потому что нормально даже в ресторан сходить невозможно: по закону добра и славы ты не доешь свой филе миньон и не допьёшь вино из Калифорнии, без того чтобы сто ополоумевших фанатов не сунуло тебе под нос тысячу клочков бумаги в надежде заполучить желанный автограф. Это в хорошие дни и в безветренную погоду. А в худшие что происходит, об этом ты вообще предпочтёшь не распространяться. Незамеченным не поёрднешь даже в кустах своей виллы. Разве это жизнь? Слишком часто я задаю себе этот вопрос...

Слава – это такой гнусный, мерзкий инструментик, которым это тешит своё самолюбие, тешит и тешит, ещё и ещё, и оттого раздувается, шваль, до невероятных размеров. Это ненасытная тварь, и чем больше её кормишь, тем больше она требует взамен. Здесь нет и не может быть никакой справедливости. Поэтому, решил я, тридцать лет или три года – неважно. Я ждать не буду, потому что мне эта слава до фени, до одного она мне места. Я, если так подумать, и вовсе её не желаю. Даже как бы напротив: хочу стать рекордно безвестным, и, если получится в таком состоянии не унывать, это будет значить, что дух мой силён, крепок, как ягодичные мышцы тяжелоатлета, и меня не сломить никакими ментальными штучками. Это будет значить, что я с собой смирился и обрёл долгожданный покой, – вот тогда и можно будет искать настоящих лучей славы, и то только потому, что они мне уже нужны не будут.

Ну и вот сижу я, как было сказано, уже почти обретший покой и сам с собой смирившийся, не желающий ни славы, ни признания, ни бабы, ни чего-либо ещё, как тут настойчиво начинают колотить в дверь моего дворца. У, сволота!

19

Но, в общем, я на этого педераста посмотрел в глазок, понял, что не может он причинить какого-либо вреда моему величию, что он совершенно безвреден, как салфетка на столе или бычок на полу тамбура, и перестал на него злиться. Ради бога, подумал я. А вместо этого, когда он ушёл, стал придумывать, чем бы всё-таки заняться. Аудиокнигу ли послушать, журнал ли почитать, или, может, включить звериный ритм вандальского бибоба и ещё раз, на всякий случай, протереть пол для пушей чистоты? Может, в конце концов, подвязать монстеру? На прошлой неделе я начал её подвязывать, её распавшиеся ветви, но моего терпения не хватило, и я бросил на половине, как это со мной часто случается, ну вы и так уже поняли. Теперь только пять из, наверное, сорока ветвей были подвязаны. Она занимала целый угол, без спроса сокращая мою жилплощадь на пару дорогих квадратных метров. Надо было это закончить, но сегодня не такой день, чтобы что-то заканчивать, и тупому понятно, поэтому я стал думать дальше.

Я пару минут постоял в прихожей на балансборде, ловя равновесие и пытаюсь сделать стойку на одной ноге. У меня никогда она не получалась и в этот раз тоже не получилась. Я разочарованно сошёл с доски и только теперь заметил, что не чувствую обеих ног. Пока я восседал в кресле, думая горькие свои думы, ноги совершенно затекли, позабыв о том, что рождены были с важной стратегической целью: держать меня над низменным тленом, поверх всей суеты и праха. И как только я это почувствовал, они перестали слушаться моих команд, стали ватными. Я даже чуть не упал, как-то неуклюже покосившись в сторону, но успел вовремя схватиться за шкаф и удержать себя на месте. Так я стоял какое-то время, ожидая, что же произойдёт. Ожидая и страшась, потому что я абсолютно точно знал, что произойдет, и в этом не было никаких сомнений. Дальше начнётся покалывание в ноге, потом оно перейдет на другую, и это будет терпимо, но покалывание станет стремительно нарастать и нарастать, пока не превратится в ужасающую экзистенциальную пытку внутри моего тела, при которой ничто не помогает: чеши не чеши, а зуд будет только усиливаться, пока и он в свою очередь не превратится в голубой безграничный шар кундалини – я

в это время уже буду падать на пол – и не взорвётся феромонами так, что все бабёнки в округе попадают в обморок.

И поползут слухи: в сорок девятой квартире, по такому-то адресу, первый и единственный подъезд, восьмой этаж от лифта налево, если заходили в обычный, и направо, если в грузовой, живёт такой человек по имени Павел, и у Павлика этого – и тут все переходят на шёпот, как на заседании ж/д комиссии, чего-то то ли стыдятся, то ли боясь спугнуть кого-то, кого не понятно, – у этого Павлика такие нежные руки и такие щекотливые ноги, что он лучший повар на свете, и ещё никто не видел, чтобы так изящно готовили яйца пашот или жарили шампиньоны, но и это не главное – тут уж все совсем замолкают и начинают общаться мыслями, – самое главное, что Павел этот, кудесник наивысшего уровня и запредельной степени, бывший пьяница и дебошир, он раз в неделю, когда засидится, взрывается облаком кундалини, корчась на полу своей скромной прихожей, и вот тогда у местных женщин не остаётся никаких других вариантов, кроме как пойти по вышеуказанному адресу, в любое время после обеда, и слиться с ним в каком-нибудь нечеловеческом экстазе.

Все шепчутся мыслями, а я смотрю по сторонам, и мне неуютно от такого внимания – поэтому я опять выбегаю из здания, вдыхаю полной грудью, что-то кричу, а сзади меня раздаётся:

– Вы тут что?!

Наваждение. Не обращай внимания. У тебя очень сильно чешутся ноги, от и, так сказать, до. В этом всё дело. Ничего сделать нельзя – и ты это знаешь. Поэтому единственное, что сделать всё-таки можно, – это перетерпеть. Замолчать, стиснуть зубы и перетерпеть, как терпишь ты посредственную литературу и изворотливые улыбки. Каждый раз ты терпишь, и то же самое придётся сделать сейчас.

Я стиснул челюсть до боли в зубах, аж в ушах зазвенело. Как хорошо иметь зубы! Сколько раз я искушал судьбу, а она ни разу на них даже не позарилась. Ей мои зубы были безразличны и неинтересны, а может, и казались интересными и даже привлекательными, но она меня жалела и не подавала виду? Не хотел бы я, чтобы меня кто-нибудь жалел. Лучше я сам кого-нибудь пожалею. Так, когда я приходил к своему стоматологу, а стоматологом моим была великолепная девушка с блистательной улыбкой, я поступал следующим образом: вместо того чтобы жалеть себя и думать о том, как же сейчас будет больно, а будет больно, это я знал, я начинал мысленно жалеть её, стоматолога, и про себя приговаривал: Василина Игоревна, эх, Василина Игоревна, да за что же с вами так жизнь обошлась! За что выпали на долю вашу такие зверские испытания? Стоять раком восемь часов в день, ковыряясь в чьём-то орале. О, Василина, о, Игоревна!

Потом я ещё смотрел на икону, которая предусмотрительно была повешена прямо перед креслом пациента, чуть выше. Она, как в церкви, должна была со своей высоты и своей непогрешимостью всякий раз напоминать тебе, что ты существо по своей сути обречённое, мерзкое, склонное к дебилизму, она должна была унижать и раздавливать. И каждый раз, как я её видел, а на ней – образ непорочной девы Марии с младенцем в руках, серьёзную, словно решает, заказать ей шашлык или лучше сразу приступить к терпкому десерту, я не мог удержаться от смеха, смеялся, и начинала смеяться Василина Игоревна, потому что это так странно, когда человек, которому сверлят Ст без анестезии, смеётся, а потом смеялась уже и её помощница и та, что сидела на ресепшене, и никто не знал, над чем это все потешаются. И вот через пару минут смеялась уже вся клиника, и тут я останавливался и думал: боже, как же жалко-то Василину Игоревну, как нелегко пришлось ей в своём стоматологическом существовании, поза раком требует нечеловеческой выдержки!..

Нужно всего лишь перетерпеть, не жалея себя, повторял я опять и опять.

Между прочим, так было и с моей принятой к публикации рукописью. Я не знал, что есть какой-то разумный предел скорости, поэтому наивно подумал: чего мне мучиться, напишу книгу за неделю. Почему вообще люди не пишут романы за неделю? Это такой хороший срок – неделя. Семь дней. Но потом, потом решил, что неделя – банально и что лучше уж шесть дней, по образу и подобию Всевышнего. И написал. Понедельник, вторник, среда...

А что у нас сегодня? Сегодня как раз среда (наверное, всё же не вторник)! Из редакции писали, чтобы я приезжал в среду... Да, но эта боль в ногах... Лучше всего писать книги за неделю, в одном порыве, без сюсюканий и баловства, без уныния. Как викинг – сел и написал, и никаких отговорок! Пусть строки берут своё начало в первичном хаосе, в разрозненности дум. Пусть пальцы твои идут впереди твоей мысли!

На позапрошлую свою книгу, для примера, я потратил около полутора лет своей блистательной, ни с чем не сравнимой жизни, и теперь мне совсем не хотелось опять погружаться в эту трясиину забвения и напряжения. Полтора года мрака! За полтора года можно дважды эмигрировать и сменить несколько сексуальных партнёров. Пожить триста семь дней в Симферополе (снова), завести парочку курортных романов, в оставшееся время заделаться бунтарём и радикалом, выучить наконец один этот чёртов стих поэта Бродского, под которым в туалете завелись какие-то гнусные твари, но тебе их жалко, можно над ними сжалиться, как над Василиной Игоревной, распиливающей тебе зубы, совсем неинтересные твоей искушённой судьбе, сжалиться и не раздавить насекомых, а вместо этого аккуратно накрыть их обратно килограммом стихов и поблагодарить Бродского за участие и поэзию, что она дала убежище паре страшненьких пресмыкающихся. За это время – ха! – да за это время можно что вообще угодно!

Даже за полгода можно – вон сколько всего! Кроме переговоров с террористами, я научился читать рецепты по диагонали, точить нож из дамасской стали под верным углом, узнал, что цуккини – это почти те же кабачки, а кабачки, в свою очередь, не баклажаны. Кухня стала моим алтарём, моей религией, потому что а что ещё делать на самоизоляции? Я начал усилием воли и почти без ошибок распознавать чашки и стаканы, при этом синхронно отличая их от фужеров с кружками. Я погрузился в молчаливое одиночество и стал в нём процветать, как сирень на клумбах под моим балконом. За это время я успел подружиться с чайками, что свили гнездо на моей кухонной лоджии, и в прах разругаться с воронами парка Ким Чен Ына, которые постоянно на меня набрасываются, как на миссионера капитализма. Можно совершить бесконечное количество нужных и не очень дел.

Да кого я обманываю – я бы просто не выдержал ещё одной ненавистной мне книги и такого изнурительного, стахановского труда. Я подумал: да, неделя – это хороший срок. Неделю, пожалуй что, и вытерплю. Даже не неделю, а шесть дней – для красоты мемуаров. Поработать шесть дней и, богоподобно, снова ничего не делать на седьмой. Кто-то творил мир, а я создаю собственную вселенную, в которой, догадайтесь, кто царь. Я безотлагательно взялся за дело.

20

В среду вечером заварил себе крепкого чифуру, из расчёта по два литра на день, сел за стол и начал отбивать слова по клавишам, сосредоточенно и ни на что, кроме чая, не прерываясь. Так вот, я говорю, я не знал ни о каких пределах, – и поэтому было твёрдо решено: чтобы за неделю написать небольшой роман, нужно выдавать около семи тысяч слов каждые сутки. Соответственно, я столько и выдавал, а иногда и больше, и тогда совсем не оставалось времени на сон, потому что одну часть времени я печатал, другую – либо умывался, либо принимал душ, либо сидел в туалете с Бродским и насекомыми, либо о чём-то напряжённо думал в кресле. К следующему вторнику книга была полностью готова, а я совершенно измотан из-за бессонницы, но доволен проделанной работой. Текст сиял на моём планшете, я его каждую минуту открывал и смотрел на буквы в эсхатологическом восторге: так красиво, буйно и изысканно я не писал с десятого года!

На большое произведение я сейчас не способен. Я здраво оценивал свои возможности. Это месяцы нудной кропотливой маеты, редактуры, выверки. Тут глагол не такой, здесь деепричастие не к месту, вот тут лучше сказать так, а от этого совсем избавиться. Кошмар, кошмар. Это как загореться идеей, а тебе кайфоломщики и говорят: что ж, неплохо, только придётся подождать лет этак пять.

– Какие пять лет?! Нафига? – возмутился я, но Андрей не шутил. Это и было самое страшное: он не шутил. Он был не из шутников.

– Да, пять лет, всё так. Я ждал пять лет, и знакомые мои ждали пять лет, и их знакомые – тоже...

– Почему именно пять? Зачем ждать? Чего ждать-то? Откуда такие цифры? – спросил я, чувствуя, как надежда гаснет вместе с идеей стать писателем.

– Никто не знает, но почему-то именно пять. А зачем ждать – вопрос философский. Так надо, видишь ли. Законы Вселенной. Наверное, за этот срок ты обрастаешь жирком, все убеждаются в серьёзности твоих намерений и всё такое. Надо, Федя, надо.

Я посмотрел на флаг СССР. Мои намерения серьёзны – бог свидетель, – как этот флаг, но столько ждать я не собираюсь. Теперь флаг больше не казался таким кровавым, скорее был привлекательным. В Союзе не нужно было ждать пять лет, там не было хороших писателей, потому что тех, что были, просто-напросто не печатали. Там можно было себя не мучить и спокойно идти на завод, а по выходным для друзей пописывать чего в общей тетрадке. Ну или эмигрировать без возможности возврата.

– А как же, – я подскочил на месте, вспомнив про копию рукописи «В дороге», которую недавно получил по почте, – Керуак? Он же свой хит сразу написал, три недели или сколько там, – и ничего ждать ему не приходилось!

– Э-э-э, нет, – протянул Андрей, с умным видом поправляя очки. – Во-первых, он несколько раз пробовал написать эту книгу, начиная с сорок седьмого года, и только в пятьдесят первом у него это получилось. А во-вторых, он ещё шесть лет её потом мучал, редактировал, прежде чем ту взяли в печать в пятьдесят седьмом. Так-то...

«Ходячая прям энциклопедия, ёб твою мать», – сказал я себе ненавистно.

В любом случае, ввиду этих фактов мне пришлось отменить идею объёмной книги. Никаких марафонов, никаких эпосов. Когда я пишу, когда я словами бегу длинную дистанцию, где-то посередине я начинаю рассеянно терять нить повествования, оглядываться по сторонам, забываю, что было в начале и что хотел написать в конце, и в итоге вся эта груда разваливается, превращаясь в печальные руины бессвязных слогов, на которые-то и смотреть тяжковато, не то что редактировать: от редактуры вообще тошнит и хочется закопаться под линолеум.

Я взглянул на пол. Линолеум лежал ровно, идеально, бесчувственно. И зачем я хотел положить вместо него пробку? Линолеум очень практичен. На нём можно вот так вот сидеть, упав, и никто тебе ничего не скажет. Сидеть или лежать и бить ногами об пол – и никто, ни одна душа на свете не станет тебе перечить. Другое дело, если заведёшь себе девушку... Как-то некрасиво я, впрочем, выражаюсь... «Заведёшь». Как собаку. Тебе точно нужен пёс. Ирландский сеттер или золотистый ретривер. «Когда вступишь в отношения». Вот, да! Когда вступишь в отношения с девушкой... Всё равно не то. Пафосно как-то, как у Кобзона. Когда вы начнёте встречаться с девушкой... Кто вы? Ты и тот хач, к которому ушла твоя вторая? С вас получился бы отличный любовный треугольник, без сомнений... Чёрт, я уже редактирую собственные мысли... В общем, когда мы с какой-нибудь девушкой решим, что у нас всё серьёзно, тогда уже не получится сидеть вот так на полу раскорячившись – на линолеуме ли, или на пробке. Поэтому наслаждайся одиночеством, это раз, и не пиши ничего длиннее большой повести или короткого романа, это два. Ведь прошлую книгу ты вроде как и написал, да только вот закрыл её и никому не показываешь.

Лучше уж в таком случае просто писать гороскопы в какой-нибудь гламурный журналчик для девочек-подростков, интересующихся пирсингом в причинных местах и тяжёлой депрессивной музыкой, а также самыми безобидными видами суицида. Там хотя бы не будет никаких мучений и угрызений совести, что делаешь что-то спустя рукава. Как можно спустя рукава писать дерьмовые, лживые гороскопы? Как можно спустя рукава писать: «азарт – ваше второе имя...», «избегайте риска и авантюры...», «Меркурий морочит вам голову»?

В таких лингвистических координатах, с одной только осью икс, а иногда и без неё, даже теоретически невозможно ошибиться – настолько низка планка подобной писанины. Что угодно пиши, хоть про то, будто бабушки в окне – это к спелым помидорам. Всё сойдёт, тебя ещё похвалят. И выдадут гонорар. И попросят написать для следующей недели. А потом заключат контракт

на год или на пятьдесят, чтобы уж точно не потерять твоё лжеталантливое перо с твоими лжеталантливыми мозгами.

«Сторонитесь спрятанных в осоке пряников и как можно чаще участвуйте в электронных торгах». «Понедельник будет первым днём недели, вторник – вторым, а среда уже четвёртым, поэтому будьте осторожны на крутых поворотах, если ваши поворотники вдребезги разбиты». «Не берите взаймы – вас ждёт сюрприз, а также, возможно, беременность». «На вас благотворно влияет низкое атмосферное давление и кокосовое масло, которое вы ещё не купили». «Благодарите начальника, переходя на кетодиету, и ни за что не просите повышения». Высший пилотаж. Баби-саби.

21

Вариант оставался один: яростный скачок в безбрежное и запредельное. Туда, где дым не поднимается вверх и не падает на землю, а застывает, где почти возник, рядом с кадиллом, в очаровании мгновением и всем, что его окружает. Мне надо было выплеснуть всю свою воду, осушить чашу так, чтобы на дне ничего не осталось, потому что слишком долго я копил то, что копил, и вот теперь накопилось.

Зазвонил телефон. Тогда я ещё, кажется, держался на ногах. Да сколько можно!!! Четвёртый раз или третий? Чёрт! Не имеет значения, потому что надо циркулярной пилой аккуратно, не спеша лишить рук тех, кто звонит так некстати! Меня ведь уже подняли с кресла – так что мне стоило снять трубку? Я был буквально на полпути к спальне, пару метров – и я у телефона, разговариваю с незнакомцем, а поэтому с удовольствием пошёл бы и ответил, кто бы это ни был, и выложил бы им/ему/ей всё, что о них/нём/ней думаю, прямо как в девяностых, когда на было определителей, послал бы на три буквы, потому что и здесь накопилось, и здесь мне нужно было выплеснуть всю свою воду, осушить чашу, но ноги не слушались, и я так и стоял, как старый инвалид перед военной гвардией, опершись о шкаф в прихожей и бессильно, мучительно смотря в сторону спальни.

Сейчас начнётся, думал я и ждал. Ждал и страшился. Звонок. Сейчас заколет. Сейчас заколет так, что я мигом утону в печали, потом начнётся неудержимая щеколка, и я скрючусь в агонии над своими ногами, не зная, что с ними делать, и буду ждать, и терпеть, и преодолевать, потому что ничего другого не останется, и единственное, что можно будет сделать, – это не делать ничего.

Я не ошибся. Через минуту закололо в левой икре, потом в правой, потом тысячи маленьких иголок вонзились в мои бедра одновременно, стали подниматься выше, пока не дошли до самого паха, и наконец все вместе, как в сыгранном хоре с очень хорошим ловким дирижёром, знающим своё дело назубок, разом переросли в нестерпимый зуд верхней октавы, и я согнулся пополам, я присел и стал судорожно разминать их руками, но от этого чёс становился ещё нестерпимее, и я говорил про себя: боже, боже, да когда это закончится?! А оно всё не кончалось, и мысли мои впивались в ноги, как спицы, а когда ощущения стали совершенно невыносимы, я плюхнулся на задницу и забил ногами по полу, как капризный ребёнок, и стал думать обо всём на свете, лишь бы не присутствовать при этой инквизиции.

Что мне делать? Чем-то надо заняться, кроме всего вот этого вот позора. Что я делал сегодня? Сегодня я ничего не делал. Спал ли я? Нет, кажется, не спал. Как же это я, однако, не спал, когда перед утром была ночь, а ночью я по обыкновению исследую царство Морфея? Что же я тогда делал? Я не знаю, что я делал ночью, но я точно не спал. Может, я просто закрыл глаза, не мог заснуть, хоть и пытался? Это возможно. Так, а какой сегодня день? Забыл опять. Пара напряжённых секунд – и приходит неуверенная мысль: пятница? Нет, не пятница. Так, может, среда? Вот среда – это возможно. Точно, среда. А значит, что позавчера я только всё и дописал, так, что ли, получается? Почему же мне казалось, что прошло две недели? Ну как почему, отвечал я себе. Да потому, что не спал ты всю ночь, вот и показалось тебе, что прошло столько времени. А когда же я успел отправить всё в редакцию? Вот вчера до обеда, значит, и отправил. Всё просто. Отправил до обеда, а после обеда – они тебе ответили, потому что не могли не ответить: такое это гениальное произведение!

«Думаешь?» – спросил я кого-то, но никто, как обычно (я уже начал привыкать), не ответил, потому что, кроме меня и моих бедных, бедных моих ног, тут никого не было. Я массажировал их, корчась от боли и одновременно смеясь от щекотки, меня буквально разрывало на части, я плакал. Успокаивала только одна мысль: что когда-нибудь этому тоже настанет конец.

Я встал на колени, как будто в молитве собирался поцеловать чью-то руку, и пробовал раскачиваться взад-вперёд, ища её, пока – дзызыыны! – телефон продолжал звонить и звонил всё громче, и тем громче, чем сильнее чесались у меня ноги. Я растирал их ладонями, мял, а в голове проносилось: никогда, никогда, никогда это не кончится! Ты, может, всё это и заслужил! «Ты, никчёмный писака, заслужил этого и гораздо больше!» – «Что же именно я заслужил?» – зло осклабился я, распластываясь на линолеуме. – «Как знать, может, ты заслужил чуть-чуть признания, и это больно, потому что что может быть больнее, чем знание, что ты немного талантлив». Я скривил губы. Она права. Лучше уж, чтобы обо мне не знали. Так будет спокойнее. «Вот я о чём и говорю! Не надо тебе никуда ехать! А ещё лучше – напиши в редакцию, что запрещаешь им публикацию, даже первой части!» – «Но как...» – «А вот так! – говорила она во мне своим противным голосом, перебивая, не дослушивая. – Так и напиши! Не смейте, мол, убогие! Руки прочь от Вьетнама». – «Так и сказать?» – «Так и сказать».

Ну уж нет, дурачка нашла, сдавленно хохотнул я. Как же. Это саботаж. Вот теперь так точно возьму, соберусь и поеду! Потому что неведомы мне никакие преграды и пределов я не знаю! И ни на какое «чуть-чуть» и «немного» я не согласен. Если уж идти до конца – так идти до конца и не думать. Не слушать разум, не слушать совесть, слушать только интуицию. А для этого было бы неплохо, кстати, чтобы первые два заткнулись, потому что орут они так, что никого другого не слышно.

Боль в ногах тем временем утихла. Я всё ещё потирал их руками. Какое нелепое зрелище. Писатель сидит посреди прихожей и растирает ноги. Какое жалкое зрелище. Хорошо, меня никто не видит, а то бы презирали меня и перестали здороваться, стали бы обходить за километр. Я поскорее заставил себя встать, придерживаясь за шкаф, боясь в собственных глазах так и запомниться: беспомощно сидящим в прихожей на поливинилхлориде вместо белёной пробки.

Что-то похожее уже бывало не раз, но это было в те времена, когда я баловался запоями. Я не только сидел в прихожей. В прихожей я лежал, спал, совокуплялся, и рвало меня в прихожей, и чего только в прихожей со мной не происходило. Как правило, это были не мои прихожие. Мне опротивели эти воспоминания, я не хотел об этом думать, поэтому встал, потоптался на месте, чтобы убедиться, что твёрдо держусь на ногах, и, прихрамывая, на манер зомби подволакивая ступни, пошёл в спальню.

Телефон лежал на подушке. Что ж, подумал я ехидно, сейчас и узнаем, кто считает, что у него три жизни – по одной на каждый совершенный звонок. Посмели меня тревожить! А вдруг я чем-то был занят? Вдруг, в конце концов, спал после недельной бессонницы? Неужели нельзя проявить немного сострадания и предусмотрительности, для начала позвонив в дверь, и только потом уже набирать мой сакральный номер? написать сообщение и только потом уже звонить? Это кажется нелогичным, но именно так поступать и следует, если только ты не плебей с узкими взглядами на мир и манеры. Может, мне неохота ни с кем разговаривать? Может, я в каком-нибудь трауре?

Сейчас всё узнаю. Я наберу неотвеченный номер и вкрадчиво скажу, смакуя каждое слово: «Тварь, смертельной поступью иду я по твою душу. Назови свой адрес и время, когда можно будет тебя там застать». Я с улыбкой беру телефон, но он не включается. Пару раз вжимаю кнопку питания – бесполезно. Сел. Твою ж мать... Дешёвая обивка не очень, а всё же в ней гораздо уютнее, чем стоя на предательских ногах посреди собственной спальни. Я поставил телефон на зарядку и в нетерпении заходил по комнате. Впрочем, сам виноват. Если бы не сидел на одном месте, ноги бы и не затекли. Да и вообще, стареешь ты, парень...

«Ещё год – а что же ты сделал?» Может, пробежаться, подумал я, не обращая внимания на её навязчивые реплики. Я посмотрел в окно. По-прежнему лил дождь. Он, кажется, стал ещё плотнее. Теперь совсем ничего не было видно: ни деревьев, ни даже намёка на противоположный дом.

Только крупные мутные капли дождя. Ясно. Бег отпадает. Что ещё? Какие варианты? «Тридцать три тебе будет в этом декабре – и что же ты скажешь Господу шестнадцатого числа?» А что я ему скажу? Надо ли ему что-либо говорить? Я, может, просто пожму плечами, как мужик в вагоне. Или скажу, что пусть сначала покажет мне дым, а потом...

Нет, дым такой я уже где-то видел. Только где? Да неважно. Может, и не видел. Может, всё же приснилось или привиделось. Я столько дней не спал, что вполне могу галлюцинировать наяву, а если не галлюцинирую, так тем более удивительно. Да, но всё же – такой ведь дым, который не шевелится, а стоит на месте, ты уже где-то видел? Ну видел, видел, и что? Тут обрывки каких-то видений стали вразнобой всплывать в моей памяти. Церковь, дождь, девушка, танец... Вот я среди тёмных печальных людей, поп с кадилом ходит между рядами, и дым из кадила этого выходит и так и повисает в воздухе в раздумье, отправляться ли под купола. Вот где я это видел!

22

Я выбежал на улицу, девушка... Что было дальше? Я быстро и взволнованно замельтешил по комнате. Когда это было? На прошлой неделе? Не может быть, я ведь писал книгу и никуда не выходил. Да, но вчера ведь ты бегал, был на пробежке? Значит, всё-таки выходил, это мы уже установили, поэтому и на прошлой неделе выходить мог... Одна мысль перебивала другую. Кажется, что книгу я дописал уже как две недели назад, да, но ведь это только кажется, верно? Я отправил – до обеда, они ответили – после. Скорее всего, было по-другому. Скорее всего, я просто не спал эту ночь, верно, и мне показалось, что прошла уйма времени, вот я и суечусь, как *Bombus*, а меж тем стоило бы присесть и успокоиться. Я начал было садиться, но тут же встал. Я постоял у постели, сожалея о том, что всё-таки не сел, потому что, если бы сел, – не увидел бы, что постель не убрана и скомкана, как будто в ней спал дьявол. Я увидел этот бардак, и садиться мне перехотелось, поэтому я снова зашагал кругами по комнате, переступая расстеленный на полу коврик для йоги.

А йогой – йогой ты сегодня занимался? Да, наверное, и не занимался. Я как встал с утра, умылся, так и сел в кресло и больше не вставал. И думал о всяком. Но йогой не занимался, это уж точно. И вчера тоже не занимался. И позавчера. Словом, забросил любые физические упражнения, сделав ставку на духовность и литературный труд. Только пальцы свои упражнял в скором печатании на планшете. Я ухмыльнулся. Всё-таки неплох ты, Павлуша, неплох. Семь тысяч в день – это солидно. О таком не стыдно рассказать людям. А порой ведь бывало и больше! Так можно за год сколько книг написать? Пятьдесят две – по количеству недель.

Пятьдесят два... Интересно, как я буду выглядеть в пятьдесят два? Уж надеюсь, точно не как этот педрила-мученик из коридора. А если всё же... Нет! Я крикнул: «Нет! Никаких “если” и “всё же”! Я буду выглядеть прекрасно. Мой торс будет копией древнегреческих статуй. Мои очертания будут пленить женщин и наталкивать мужчин на сочинение поэм и неприличные мысли! Вот таким я буду в пятьдесят два! А вот в тридцать три каким я буду – это вопрос...»

Что это – кризис среднего возраста? Исключено: он миновал меня в двадцать девять. А дважды кризис среднего возраста не наступает, иначе бы люди просто поехали крышей, так, как я, поехали бы крышей и уже разговаривали бы сами с собой, сбегая по лестнице и возвращаясь обратно, – с затаённым дыханием и каким-нибудь сюрпризом, или, может, просто беременные.

Я вышел из спальни и вошёл в кухню. Аппетита не было, еды на виду тоже, только, вероятно, в холодильнике, поэтому, пожав плечами, как перед Господом, я вскипятил воду и залил чайник. Я сел за стол, положил голову на руки и подумал: но ведь так нельзя! Нельзя же весь день страдать подобным и ничего не делать! Ты можешь съездить в редакцию. Да, ты можешь и, более того, ты должен, нет, просто обязан туда попасть!

Я боролся со своими желаниями, нежеланиями и здравым рассудком. В редакцию ехать не хотелось, потому что по пути придётся неизбежно столкнуться с людьми, этими вездесущими людьми, а сейчас не та эпидемиологическая обстановка, чтобы с ними сталкиваться. Кроме того, они все как на подбор ужасны. «Ну так надень маску или три!» – приказал я себе строго. Надень и не волнуйся,

и не распускай здесь сопли. Спокойно езжай себе, куда там тебе надо. И тут слышу, опять: «А ты читал о масках? Читал ли, что они не помогают, а порой и наоборот – способствуют болезни? После такого путь один – прямоком на кладбище. Читал, а? Нет, небось, не читал...» – «Да вот, между прочим, и читал, ясно? Но что-то не особо верю». – «Правильно, не верь. Ты всё правильно думаешь. Лучше надень маску – и вперёд в толпу, улыбаться и стихи Бродского цитировать. Давай, чего же ты ждёшь, подонок? Люди ждут твоего пришествия».

Я попробовал только что заваренный чай, потому что тот, что делал с утра, обнаружить на кухне не удалось, и неприятно обжёт нёбо. Я поставил его обратно и заходил вокруг обеденного стола в волнении против часовой стрелки, пытаюсь слухом вникнуть в ритм дождя. Ладно, тут не всё так просто. Надо разобраться. Я же могу поехать на каком-нибудь таком транспорте, где народу практически не будет? И выбрать заодно такое время, когда никто не ездит. Какое это время? Ну, надо полагать, что обеденное. Вернее, чуть позже обеденного. Все только поели, всем лень куда-либо ехать. Как раз что мне надо. Сейчас, прикинул я, что-то около обеда, всё-таки время идёт. Чувствую седьмым чувством. Я и гнусавить не буду, и ворчать перестану, и вокруг меня никто не будет ни ворчать, ни гнусавить, ни вирус разносить. Только я и водитель. Отличный план. Так и поступлю.

В нестерпимом ожидании предстоящей встречи с редколлегией журнала я быстро собрался, побросал какие-то вещи в рюкзак, туда же закинул планшет, потом подумал, что на улице дождь и планшет намокнет, поэтому завернул его в уже сложенные вещи и только тогда снова положил в рюкзак. Подумал вслед за этим и решил, что незачем брать с собой технику, ведь я отправлял рукопись в редакцию – так на кой мне там планшет? Я поставил его обратно на столик в зале, походил туда-сюда. Потом я вспомнил о телефоне и забежал в спальню. Телефон уже набрал зарядка и выдал на экране сообщение о трёх пропущенных звонках из редакции. Редакция! Видимо, хотели напомнить, чтобы поскорее приезжал за гонораром.

Перезванивать я не стал. Всё равно уже совсем скоро я распахну их дверь и, весь мокрый как собака, войду в их мёртвый воздух, чтобы его оживить. Мокрый, мокрый, думал я... К чему это я подумал о мокром... Ах да, на улице дождь! Не забыть зонтик! Я забросил зонтик в рюкзак, забежал в ванную, посмотрелся в зеркало. Отлично. Ты прекрасно выглядишь. Уверенный взгляд, рыжие, как всегда, волосы, улыбка с починенными Василиной зубами – всё на месте. Я чуть-чуть повернул голову налево, потом направо, вспоминая, какая у меня более красивая сторона. Правая, да. Значит, надо зайти в редакцию, немного повернув корпус влево, чтобы они сразу онемели, подобно моим ногам, и зачесались от восторга, что их писатель такой красивый.

Я выскочил из ванной, довольный, тридцать раз глубоко вдохнул и поверхностно выдохнул, по упрощённой до низин наших реалий фридайверской технике, поспешил выйти из квартиры, закрыл дверь и помчался вниз по лестнице. На первом этаже, так ни разу и не вдохнув и тем самым не рискуя и не подвергнув себя излишней авантюре, я вдруг подумал, что мог бы заранее вызвать такси, и чуть было не расстроился, но тут подумалось нечто другое, что в одночасье подняло мне настроение: никто не знает, как далеко добираться до этого Гонолеса, поэтому я, можно сказать, сэкономил теперь кучу денег.

Я рванул из подъезда, уже не думая ни о каком дожде, чтобы с изумлением обнаружить, что дождь перестал и теперь только еле-еле, как немощный старик, сочится сверху. Я улынулся своей удачливости. Какой прекрасный день! Всё складывается по моему плану.

Помня своё последнее не очень приятное путешествие в поезде, я решил на сей раз ехать на автобусе или на маршрутке – что будет отходить от остановки первым. Я сверился с расписанием. Ближайший автобус отправлялся в сторону Минского моря, туда, где должен был по расхожему мнению находиться нужный мне городок, через пять минут. Я спросил у грузной женщины в киоске, есть ли у неё последний номер «Звезды» и что хотелось бы приобрести билетик, а также, если она не против, не могла бы она подсказать, попаду ли я на тридцать третьем в Гонолес. Кассирша

одним кивком утвердительно ответила на все три моих вопроса, протянула мне газету и пакетик сахара и молвила:

– Три пятнадцать.

Я оглянулся по сторонам, думая, что меня разыгрывают, ища взглядом подставу, пару раз сильно моргнул и, никого подозрительного не обнаружив, внимательно посмотрел на кассиршу.

– А сахар-то зачем?

Я знал, что она ответит.

– Идёт в комплекте, – сказала она, ничуть не смущаясь.

Абсурд. Я молча расплатился, не желая вступать в полемику, забрал газету, сахар и билет и стал ждать. Теперь осталось только доехать до редакции, получить свой гонорар, обо всём договориться – и можно следующие полгода ничего не писать, а только делать вид, что пишешь, пребывая при этом в максимальной прострации и наблюдая, как мировая финансовая система коллапсирует под тяжестью несвоевременной пандемии, а база поклонников моего творчества неуклонно растёт. А потом всё-таки снять отель с полным пансионом...

Но лучше бы, конечно, пандемия закончилась пораньше. Мне опять стало одиноко, захотелось к родителям. Взрослый мужик, но я к ним очень привык, в моей жизни они важны. Если это будет продолжаться ещё полгода, а может, кто его знает, и год – это что, я не увижу их до своего дня рождения или, ещё хуже, до следующего июля? Сюда я их тоже не позову, потому что опасюсь за их здоровье – так что же мне делать?

На остановке никого не было, только какой-то алкоголик спал на лавке и по-собачьи дрыгал в тревожном сне ногами. Нелегко, ох нелегко ему придётся в этом крошечном-бодунном аду. Он ещё не знает, что спит, но это ладно – он ещё не знает, что скоро проснётся, и вот тогда, тогда начнутся самые кошмарные мучения, которые только доступны запойному пьянице. Я представил, как он очнётся на палящем солнце, когда небо прояснится, и решит идти в магазин за похмелом – конечно, мы понимаем, что ничего он не решит, так как нет и не было у него воли, он будет слепо повиноваться внутреннему позыву, он будет просто вынужден туда идти, если не хочет остаток дня проваляться в делириумном параличе, осатанев и потрясаясь. Он встанет и тут же рухнет обратно, потому что ноги его к этому времени, ясное дело, замлеют, а мимо будет проходить представитель закона в помятой фуражке и с почти оторванными погонами, но всё же не оторванными, зато с оторванным взглядом на вещи, не имеющим ничего общего с реальностью, и он у него спросит: «Вы пьяный?» А алкаш, уже протрезвев и проглянув в настоящее, разумеется, попытается объяснить, что, к великому сожалению и горю нации, а также всех его родственников до пятидесятого колена, два или три часа он уже как не пьян, абсолютнейше, категорически и безобразно трезв и что ноги его не слушаются только потому, что довелось ему проваляться на лавке в неуклюжей позе достаточно, по его смутным воспоминаниям, для этого долго. Естественно, мент не поверит и участливо предложит провести его до магазина. А проведёт – в вытрезвитель.

И я даже знаю в какой. В РУВД Фрунзенского района, в котором длинный такой пессимистичный коридор для функционеров, налево – медосвидетельствование, направо – оформление, чуть дальше, собственно, вытрезвитель. Когда меня туда забирали, вернее, доставляли моё тело, так будет правильней, я делал всё возможное, чтобы не дать ногам меня подвести. Я двадцать раз отжимался в надежде, что это выгонит промилле из крови. Но промилле никуда не девались, и меня долго и нудно оформляли по всей строгости и формальности процедуры, гоняя из кабинета в кабинет, в коридор и обратно, а потом до утра бросали в промозглую камеру. Вот так и с этим будет, думал я, и мне было одиноко, потому что я уже не пил, да и не желал я пить, но какой-то компании мне всё же не хватало.

Таково наше общество: взаимопомощь не приветствуется, подлянки ставятся выше Конституции.

Подъехал автобус. Как я и думал, в нём никого не оказалось. Я теребил в кармане пакетик сахара.

– Скажите, через сколько остановок Гонолес? – спросил я, но водитель меня не услышал.

Мы мчались дальше, разрывая воздух своими остроконечными телами. Салон был пуст, поэтому я заговорил вслух, чтобы хоть как-то себя развлечь, а водитель с опаской стал на меня озира́ться:

– Не так уж и плохо было в той каталажке, признай. Некоторым, вон, совсем спать негде, на остановках ложатся. Унизительно. Потому что все видят и осуждают. А в вытрезвителе никто, кроме тебя самого, не осудит. Поэтому сиди там, сколько влезет, пока на волю не выпустят, а как выпустят – так уж и иди куда-нибудь в незаметное место или место выдуманное, чтобы тебя не осуждали и не видели. Чтобы не портить другим праздник. Спрячась, исчезни и пей. Три бытовые заповеди революционного пролетариата. Если обобщить, то можно даже сказать, что вытрезвитель идёт в комплекте с алкоголем. Как сахар этот... Зачем она мне его дала? Лишние пятнадцать копеек. Предложу, пожалуй, кому-нибудь в редакции. Там они точно сахар употребляют: я ещё не видел ни одной редакции, где бы плохо относились к сахару. К патриархату и республиканцам – возможно, к таянию ледников – тоже, но не к сахару, никогда. Вот в моей, где я публикуюсь и где никогда нет главреда, – они все спят как сурки, а я всегда смотрю на их столы, и у каждого обязательно по полупустой чашке чего-то, какой-то запрещённой жидкости, а рядом обязательно – неоткрытый пакетик сахара. Им, наверное, выдают их бесплатно. Если бы каждый стоил по пятнадцать копеек, то, я уверен, никто бы не догадался его покупать. Все бы одним махом сели на какую-нибудь кетодиету. Вот кстати, а в ней можно употреблять рафинированный сахар? А тростниковый? А подсластители? Впрочем, какая разница. Все мы одиноки и всем нам надо одно – компания таких же одиноких, чистосердечных, как мы, людей. И, может, чуть-чуть признания, чтобы понимать, как ничтожны мы в своей скромной славе по сравнению с теми гигантами, кого действительно природа наградила недюжинным талантом. А мы, что мы? Мы черви, не более...

24

Так я ехал, снова погружаясь в мрачные мысли, а автобус нёс меня сквозь запахи озона, мокрой резины и бесконечного зноя навстречу неизвестной зиме. В какой-то момент я вспомнил про газету и с интересом сразу раскрыл её на последней странице, там, где гороскоп. Передо мной был точь-в-точь тот же текст, что я читал дома. Да, всё так, это был номер за прошлую неделю. Я положил газету на соседнее место. По меньшей мере в ней не смогут завернуть таранку.

Раньше, чем я предполагал, на табло высветилось «ост. Гонолес». Я даже толком не успел всё обдумать, что хотел, и вышел из автобуса. Пройдя по карте два поворота, я оказался на неказистой улочке, которая упиралась в ивовую рощу, а справа возвышалась церковь и звонили колокола. Редакция должна была быть где-то за церковью. Я подошёл поближе. Внутри что-то происходило, какое-то движение, и я решил, раз уж тут оказался, зайти и мельком глянуть, что там всё-таки происходит. Если что интересное – обязательно об этом напишу в следующем романе. Для писателя пылливость – положительное качество. Чем больше мы оскверняем себе жизнь, тем в прямой пропорциональности у нас больше материала. А если нет – так выйду оттуда к чёртовой бабушке и забуду, как страшный сон.

Здесь я так и оказался. То есть всё-таки добровольно. Так и получилось, что, пока я был внутри, впитывая окрыляющий запах ладана и нестерпимую вонь мирры, снова пошёл дождь, и вот теперь стоял я под его леденящими струями, дышал полной грудью, потому что меня переполняла любовь, когда я видел её глаза перед собой – так она была великолепна! Она смотрела на меня, а я говорил, протягивая руку, что-то наподобие:

– Ну что же ты ждёшь, окаянная, выходи и вкуси настоящей стихии!

Девушка захихикала, решила, наверное, что перед ней блудный поэт, коим я, может, и являлся, во всяком случае мои произведения для меня никогда не были приземлённой прозой, они своим слогом бросали вызов основам поэзии. Она прижала указательный палец к своим губам в знак того, чтобы я говорил тише, и, вжав свою крохотную прекрасную головку в плечи, как будто это могло ей помочь, выбежала мне навстречу и стала под дождём, запрокинув лицо к

небесам. И вот тогда-то я и посмотрел, как капли стекают по её губам, устремляясь по тоненьким ключицам к небольшому, но таким манящим грудям, и взял её за пояс и воскликнул:

– Я ждал тебя неизвестно сколько!

А она ничего не ответила, только засмеялась с закрытыми глазами, залилась смехом, и я её так, с закрытыми глазами, и поцеловал, и она не сопротивлялась. Она отдалась в мои руки целиком и расслабилась, а я её крепко держал и целовал, и не мог поверить своему счастью! Неужели я больше не одинок? Вот он – ответ на мои непроизнесённые молитвы? Конец душевному заточению! Теперь я буду безвольно сидеть на линолеуме, а она будет меня нежно упрекать и просить пересесть в моё любимое кресло, чтобы быть больше похожим на гомо сапиенс, а не на проказливую мартышку, и написать уже что-нибудь годное.

И почему я не боюсь? Почему не страшно мне, что у неё может быть коронавирус, просто пока что она об этом не знает? Почему я так мужественно в неё проникаю своим змеиным язычком? Потому что как она не знает о коронавирусе, так любовь не знает о страхе – вот почему! И поэтому я всё крепче сжимал её в своих руках, пока она куда-то не растворилась и я не увидел себя, стоящего у церкви, воздевшего руки к небу, промокшего до нитки и что-то нечленораздельно вопящего вверх. Рядом, в дверях церкви, маячило чьё-то старческое, покрытое морщинами лицо, которое недовольно мне шипело:

– Вы тут что?! А ну-ка заткнись, проходимец! Не видишь, что ли, служба идёт? Пошёл вон, пока милицию не вызвала!

Таково наше общество. Подлянки выше Конституции. Я посмотрел на женщину и сказал, в своё оправдание:

– Так ведь я к Егору Кридовичу, на панихиду...

– Видела я, как ты его поминаешь, алкаш недоделанный. Пошёл вон отсюда, я сказала, а не то!..

Она сделала какое-то опасное движение, как будто собирается выйти из дверей, я не знал, что у неё в руках, может, швабра, которой она нападёт мне по морде, как кретину, поэтому я тут же отступил, кинул последний взгляд на церковь с её надписью, уже почему-то с этой стороны, с парадной – «Церковь святителя Николая архиепископа Японского г. Гонолес», и выбежал за ограду, всё ещё безмерно радуясь, что Гонолес всё-таки существует, по меньшей мере эта его половина, даже если не существует той девушки, что мне причудилась!

А всё-таки жаль, что меня посетило такое обманчивое видение и что я на него купился. Как жаль. Думал, всё, теперь не бывать одиночеству, больше не буду скитаться по городским улицам, не поеду в центр знакомиться с кем попало, даже тиндер не открою, потому что вот оно – моё, которого я так долго ждал. Сколько же я ждал, получается? Выходит, чуть больше полугода. Полгода тщеты и безумия, тёмных холодных ночей и запретного молчания. Жуть. Я как с последней в декабре расстался, так больше никого и не заводил. Ну вот, опять «заводил». «Тебе, никак, пса не хватает!»

Я кивнул. Да, пса действительно не хватало. Золотистого ретривера или ирландского сеттера. Куда мне без пса-то? Мимо проплывали заборы, асфальт, ямы в асфальте, редкие мусорки, а окно всё мутнело и мутнело, и вот я уже опять ничего не видел, только сплошной какой-то уродский импрессионизм кисти уже не умелого художника, а посредственного гроссмейстера, который только и умеет, что фигуры переставлять, а по недоразумению вообразил всё же, что художник, хотя и переставлять, не отрицаю, тоже уметь надо. Первый раз вогнал меня в краску индус – владелец вегетарианской кафешки, в которой я с недавних пор заделался постоянным клиентом. Мы всегда здоровались, но никогда не спрашивали имён друг друга. Я был высшей кастой, он был добрым и приветливым эмигрантом. Его интересовало, всего ли хватает, как сегодня палак панир, не желаю ли добавить сабджи, хорошо ли обслуживают, может, чего-нибудь ещё? Я говорил нет, спасибо, ничего больше не надо, потому что и так стол ломится от блюд, здесь явно больше, чем я могу осилить, говорил я из порядочности, а сам думал: пускай бы и принёс, что ему. Ну в общем, он меня в первый раз в шахматы под звуки какой-то индийской певицы, плавающей в бархатистой микрохроматике Востока, и сделал.

Мы пришли туда с другом и обедали, когда в моё поле зрения попала шахматная доска. Она одиноко стояла у стойки с восточными сладостями. В последний раз я играл с отцом лет этак двадцать назад, но ничего, подумал я, память я пропил не всю, и мастерство тоже. Мы уже закончили трапезу, послеобеденная лень вселилась в наши члены, болтать языком было влом, поэтому мы наугад расставили фигуры и начали любительский поединок. Посреди партии над нами склонился этот индус, молча и довлеюще. Он сразу распознал во мне способного и азартного игрока, поэтому, сжалившись над оппонентом, которого, вероятно, ждал разгром, стал подсказывать моему другу. Под конец так получилось, что напротив меня уже сидел индус, а друг, обескураженный, не понимающий что к чему, стоял в сторонке, молча наблюдая за партией. Мы играли долго и на износ, я выпил пять порций масалы, предложенной индусом за счёт заведения, несколько раз сменилась пластинка: с индийской на поп, обратно на индийскую и снова на поп – и в конце концов он поставил мне такой детский мат, что мне стало очень стыдно, я быстро расплатился, в том числе и за бесплатную масалу, и ушёл, забыв о друге.

25

А что ещё я забыл? Мыслей с утра так и не убавилось. Это я помню. Деньёк, однако. Что же будет вечером! Так что же я забыл? Чай – забыл чай дома выпить! Заварил и не выпил. Ну и пускай, с другой стороны, к вечеру хорошо настоится, и потом нормально так почифрую. За всех талантливых писателей мира почифрую, которых ещё меньше, чем сносных журналов в этой стране. Беда, беда в мире творится! Куда мы катимся... Или всё-таки что-то я пил? Ещё забыл зонтик с рюкзаком! Ага, вот оттого и идёшь как сквозь воду, и уже твоё остроконечное тело тебе не помогает. Я пару раз напряг мышцы, от ног до головы, чтобы хоть немного согреться. Я вглядывался в смазанную пустоту перед собой, но ничего не мог рассмотреть – да и нужно ли мне было что-то? – однако я шёл в сторону редакции – это я знал и чувствовал даже, интуицией. А разум напряжённо молчал, что-то предвкусывая.

Всё произошло не так, как я думал. Сначала охранник не хотел меня пускать, потому что решил, будто я пойду по кабинетам просить милостыню. Пришлось достать свой телефон последней модели и тыкнуть ему этим гаджетом в рожу, чтобы он успокоился и осознал, что поблуждающие такого при себе не носят. Я видел в его взгляде сомнение, может, я где-то его украл, но всё же, подавшись моему давлению и попросив записаться в журнал, он пропустил меня внутрь. Я поднялся на четвёртый этаж (как и в моей редакции) в поисках девятнадцатого кабинета. За мной тянулся мокрый след ботинок.

Ну вот, и это ещё забыл – ботинки! В смысле нет, ботиночки мои дряхлые исправно болтались на ногах – я забыл надеть порядочную обувь, такую, как на праздник или в магазин за водкой в свои времена регулярных поддач. Всё-таки для чего, а для редакции стоило бы позаботиться о том, чтобы быть при минимальном параде. Иначе что они решат?

Я забывался. Мне не было никакого дела до чужих мнений. Пусть думают, что хотят. Мне это безразлично, напомнил я себе строго. В конце концов, это их головы, а это – моя, и в ней я имею право думать тоже, что захочу. И слава богу, что живу я в этот век, а не чуть позже, лет этак на сотню, потому что к тому времени, уверен, уже научатся читать чужие мысли, и вот тогда никому мало не покажется. Всех поперекажут, как в тридцать седьмом, остальных расстреляют, а оставшихся либо запишут в союзники, либо опять же – сначала посадят, а потом расстреляют или наоборот. Потому что в мыслях наших все мы, без исключения, изверги.

Я чего только за свою жизнь не думал, но писать об этом, конечно, не буду, потому что тут же кто-нибудь смеянет, приедет, скрутит и посадит, предварительно не выкопав, – настолько ужасные мысли приходили мне в голову. Обещайте никому не говорить. Вот зашёл я однажды в магазин и подумал: отрезать бы всем таксистам уши, чтоб не слушали Кобзона, а голодных африканских детишек – утопить в Ниле, плюс продавщица – я посмотрел на продавщицу, – ей бы кляп в рот и на костёр, чтоб не обсчитывала, и так далее. Почему я так подумал – чёрт его знает. Но это я, конечно, в шутку, и тем не менее: с какого перепугу я так подумал?

Ещё много чего подобного лезло мне в голову. Например, ем инжир под смоковницей, а сам думаю: вот бы присвоить Трампу почётное звание героя Советского Союза, а на Бангладеш сбросить три миллиарда кубометров священного коровьего дерьма. Или позакрывать в субботнее утро все магазины района на амбарные замки и сесть на лавочку поодаль лицезреть отчаяние на пропойских лицах. Или – вот бы всех шахматистов... к чёрту всех – вот того индуса из кафешки, обыграть бы его, замечтался я, не замечая, как прохожу кабинет за кабинетом. Закончится пандемия – а она когда-нибудь закончится, учёные в этом сходились, – я приду к нему и нагло так, высокомерно поставлю ему уничтожающий шах с матом. Потому что с отцом мы уже много месяцев ежедневно играем, повышаем квалификацию, то друг у друга выигрывая, то друг другу проигрывая, и ни разу ещё не было так, чтобы выиграли мы оба. И нас это не расстраивает, потому что мы знаем: каждое поражение делает человека ближе к победе.

О мыслях, ни моих, ни чьих-либо других, лучше никому не знать и никому не рассказывать. Лучше тихо-мирно заниматься себе своим делом и сильно не высовываться. Иди, куда идёшь, в общем, и помалкивай. Я и шёл, и вроде бы даже молчал, пока не упёрся в стену и не понял, что редакцию, видимо, пропустил. Тогда я развернулся и пошёл обратно.

26

Я смотрел на номера кабинетов и искал девятнадцатый номер. Из дверей иногда выходили люди – все они шли в тот конец, вернее, начало коридора, откуда я пришёл. Мне стало интересно, чего это они все туда прутся, поэтому пошёл туда сам, на время забыв о редакции. Здесь было тускло и тепло, и если приглушённое освещение меня никак не волновало, то тепло за последний час я быстро так научился ценить. Было приятно расшагивать в этом коридоре просто потому, что здесь не лило как из ведра. Когда я заходил, мои пальцы были окоченевшие и белые, так что я даже как следует не смог в журнале вывести свою подпись – получились какие-то подозрительные каракули. Будь я на месте охранника, вот честное слово, не пропустил бы даже с дорогим телефоном! Хороший охранник, спасибо ему.

Это всё химиотерапия. От неё что-то не так стало с сосудами, и вот даже по сей день незначительный холод делал мой средний палец на правой руке символически белым, кровь от него отливала, и нужно было хорошенько повертеть рукой, чтобы восстановить кровообращение. Когда мне, посреди очередного запоя, диагностировали рак, я резко и как-то без сожалений бросил свои идеи с эмиграцией и бухлом и незамедлительно вернулся из штатов, где на тот момент проживал уже пять лет, на родину (мой кризис среднего возраста начался именно тогда).

Природа что-то пыталась мне сказать, а разум и совесть орали так, что я ничего, говорю, не слышал. Подозреваю, что посыл был следующего содержания: хватит мучить себя чужими хлебами, возвращайся обратно и делай что-то на благо страны. Дома хорошо. Я вернулся, но на благо что-то делать так и не взялся.

Дома было прекрасно. Я год лечился и вылезился, потому что поставил себе такую цель: вылечиться. Тут не то что третьего, тут второго не было дано. Вторым была смерть, долгая и мучительная, но неотвратимая. Я не стану вдаваться в подробности, но до сих пор этот палец выдаёт во мне прошедшего через ад. Поначалу даже вены болели, столько сквозь меня прогнали химии. *Per aspera ad astra*. Готовишь, например, салат, а у тебя болят вены. Или смотришь новости, по которым ничего хорошего не показывают, а у тебя – болят вены. Весь день вены только и болят, и, что бы ты ни делал, ни предпринимал, твои мысли заняты исключительно венами и тем, когда же они болеть перестанут.

Не жизнь, а пруха! Я радостно шёл вперёд посмотреть, куда все идут, но не обнаружил там ничего, кроме общественной уборной, где все сообща курили и, возможно, делали что-нибудь ещё. Я машинально помахал перед собой руками, как бы прогоняя едкое облако дыма, и направился обратно к девятнадцатому кабинету. По пути я читал таблички: «ОАО “Слуцкий Мясокомбинат”», «Ваша вывеска в аренду за 1 руб.», «Центр психического здоровья» (надо заглянуть),

«Оплата услуг», «Нотариусы», «Родник Игуменщины». На роднике я читать перестал, потому что опять улёлся в противоположный конец коридора. Ебёна мать, да что это такое!

Я развернулся и расхлябанной походкой пошёл обратно. Где-то ближе к началу я почувствовал запах мертвечины. Вот оно, подумал я! От меня не спрячешься. Меня не проведёшь! Именно так пахнут редакции: они отдают трупом. Это только снаружи – статус, бумага, глянец, словишки и сарказм. А внутри – гниль и разложение, упадок, закат цивилизации. Я убедился, что передо мной девятнадцатый кабинет: номер «19» криво висел на кривом же гвозде, – откашлялся, поправил галстук, которого не было, выдохнул в ладошку – всё хорошо – и, слегка повернув свой корпус влево, отворил дверь и категорично шагнул внутрь.

Сначала я испугался и вышел обратно, ещё раз посмотрел на табличку: всё так, девятнадцатый кабинет, да, гвоздь и две цифры, – и снова зашёл, как под конвоем, в помещение. Это была один в один моя редакция, в которой я уже давно печатался и которую знал как облупленную. Два чело- века внутри предсказуемо спали, безвольно обронив головы на стол. Я ещё раз откашлялся – ноль реакции. Я стал подходить к одному из них, когда сзади послышался знакомый уже голос:

– Вы, наверное, к нам?

Я обернулся, и колени мои подкосились. Это была она. Та самая. Я откашлялся.

– Эм... Как вы догадались. Да, я к вам. Я ищу...

– Главного редактора, – продолжила она за меня, улыбнувшись и поправив свои кудрявые волосы. – Я и есть главный редактор. Или редакторша, как вам угодно. Можно даже редакторесса, если хотите. А вы, должно быть, Павел?

– Так и есть, да, Павел.

– Ну так вы рановато, Павел. Мы же писали вам – в следующую среду. И звонили три раза, хотели напомнить, что в следующую, а не сегодня.

Я так и стоял посреди спящей редакции.

– А сегодня что? – неуверенно спросил я, хотя, конечно, уже догадывался сам. Можно было не отвечать и не спрашивать.

Она улыбулась ещё шире:

– А сегодня – среда, только не следующая. Но мы можем пойти навстречу и оформить аванс.

– Вот оно как... – замаялся я в растерянности, не зная, как быть дальше. – А это не вы случаем...

– Да, – перебила она, наперёд меня целиком предугадывая, – случаем я. Бедный Егор Кридович. Пил много, а умер рано. Оксюморон какой-то. Мне кажется, я вас там видела – это не вы выбежали посреди церемонии?

Я почувствовал, как кровь приливает к моим щекам, среднему пальцу и почему-то даже – как нехстати! – к области паха.

– Мне дурно стало, мирра плохо на меня действует...

– Бывает. А вы его откуда...

Я не дал ей договорить, чтобы она не стала выведывать у меня подробности и не заставила меня врать и что-либо придумывать при первой же встрече, чтобы не поняла, что никакого Егора я не знаю, а на панихиде оказался совершенно случайно.

– Да так, было дело... – замаялся я, на ходу соображая. – Мужик один в шляпе...

– Мужик в шляпе? – переспросила она с недоверием.

– Да-да, общий знакомый, у него такое имя, низкопробное, как Вася, лучше вслух не произносить, чтобы не потревожить сладкий сон ваших сотрудников. Кстати, никому сахар не нужен?

Она залиvisto рассмеялась, кажется, в отличие от меня, совсем не заботясь о сне своих подчинённых. С каждой минутой, вспоминая, как целовал её у церкви, я становился всё уверенней.

– А вы знаете, – сказал я, наконец сдвинувшись с места и медленно подходя ближе, – мне кажется, я вас тоже уже где-то видел.

– Ну конечно, – подсказала она: – на панихиде.

– Нет-нет, я не об этом. Где-то, может, ещё? Вне, так сказать, похоронных процессий, или, если быть точным, вне зданий? Под дождём?.. – я всё пытался намекать, заходя издалека и подбываясь ближе и ближе.

– Это вряд ли, – сказала она, начав зачем-то перекладывать на столе бумажки.

Я её, должно быть, смутил. Она что-то от меня скрывала или просто боялась вспомнить наш интимный мокрый эпизод. Я почувствовал чрезмерное давление в паху, и немедленно прикрылся. Эта девушка действовала на меня, скажем так, не совсем обычно. Она снова посмотрела на меня:

– Итак, гонорар, верно?

Я кивнул.

– Да, – сказал я двусмысленно, – гонорар. Но гонорар может подождать до следующей среды, вы же понимаете.

Она волновалась, а я всё нагнетал и думал об анёле, приближаясь к разгадке этого слова: чем-то оно мне напоминало ангелов, – и о своей писательской карьере тоже почему-то думал. «Может, мне выгодно с ней переспать?» – закралась ко мне шальная дума. У редакторессы есть все необходимые контакты, меня начнут раскупать, если я всё по уму налажу.

– Нет-нет, зачем вы так? Аванс мы вам всё же выдадим, раз уж приехали. Не отпускать же вас с пустыми руками. Может, – предложила она, неожиданно перескакивая на другую тему, – выйдем покурить? Я хочу вам с глазу на глаз рассказать, в каком мы восторге от вашей рукописи.

Я не стал ей перечить, я всё понял сразу. Только голоса крутились у меня роем в голове. «Сигареты? – говорил кто-то. – Как не идут ей сигареты!» Кто-то ещё ему вторил: «Такое хрупкое создание, а в свой рот суёт табак и что попало». Я слышал: «Павлик, побудь скотиной хоть раз в жизни, вкни её в свою постель из соображений выгоды!» и прочее в том же духе. Мы вышли из кабинета, и я смотрел, как её светло-голубое платье сказочно скользит по телу, из стороны в сторону, сверху вниз, представляя, что там, под ним, какая жаркая плоть скрывается под этой тканью. Может, и вкину, рассудил я, в очередной раз отмахиваясь от облака дыма, бездвижно повисшего у местного сортира, куда общий марш-бросок работников продолжался.

27

Мы спустились. Охранник проводил меня неодобрительным взглядом. Я почему-то сказал ему «до свидания» и немного даже в жесте благодарности поклонился, чего от себя никак не ожидал, я не раболопной натуры, хотя мы ещё собирались вернуться – собственно, за авансом. Только когда мы вышли на улицу, под козырёк, который здесь уже был нормальных вразумительных размеров, мы поняли, что оба не курим и смущённо замолчали. Мы смотрели по сторонам, словно не замечая друг друга, а я про себя радовался, что мадам всё-таки не курит. Ей бы так это не подошло... Она не выдержала первой:

– Ваше произведение... – начала она, но договорить не успела, потому что я уже держал её в своих объятиях, волоча под дождь, скользя ногами по ступенькам, а руками – по шёлковой материи платья, спускаясь всё ниже, она же неуклюже постанывала и как бы даже отталкивала, и я гадал, притворялась ли она, что не помнит первого, священного нашего поцелуя, или у неё действительно отшибло память.

Мы кружились под дождём, она извивалась, и я целовал её, как прежде, впиваясь в её нежный горячий рот, словно в чебурек, как будто и не разлучались мы вовсе. А потом, промокая, я просто и незатейливо предложил ей поехать ко мне, на ушко, шёпотом, как те мрачные люди, и она не думая согласилась, будто бы и вовсе не придавала значения моим грязным ботинкам.

Обувь эта многое повидала. Что-что, а вот ботинки свои я никогда не променяю. Кожа, говорят, ягнёнка. Разве что на сердце этой красавицы. Откуда она взялась такая? Кто её мне подсунул? Пока мы ехали обратно, на такси (мне уже было не до экономии), я всё украдкой разглядывал её, как хрупкий мираж, и боялся, что она снова исчезнет. Я специально сказал водителю: «Видите, со мной дама?» «Вижу», – ответил он. «Смотри мне», – пробурчал я себе под нос и снова стал водить по ней взглядом. Какая же она неземная! Это за все мои страдания подарок. За всё, через что мне пришлось пройти, за всю ту химию, что прогнали по моим венам. Вот оно – воздаяние, вот она – справедливость!

А она меня всё что-то спрашивала, хвалила роман, но я уже ничего не слышал, потому что был растворён в любви и в ароматах её французского парфюма. «Шанель номер пять» – я хорошо

знал этот терпкий жасмин и прованскую розу. Ужасная безвкусица для молодой девушки, я знаю, и запах этот я ненавидел – ровно до того мгновения, пока он не стелет с её кожи и не ударил по моему мирозданию, да так крепко, что оно, мироздание это, состоящее из букв, стремления к любви и ещё раз букв, пошатнулось и чуть было не разбилось вдребезги, и всё-таки не разбилось, потому что я ещё копил свою кундалини, копил до тех пор, пока мы, мокрые от возбуждения и непредсказуемой погоды, не ввалились ко мне домой, и здесь уже я не мог сдержаться. Я схватил её за руку и повёл на кухню. Я приготовил ей яйца пашот, и она зачарованно смотрела, как я аккуратно и ловко разбивал фермерскую скорлупу со своеобразным отливом и специальным кручёным движением вливал содержимое в кипящую подсоленную воду.

Потом я провёл ей небольшую и быструю экскурсию по дому, быструю потому, что, откровенно говоря, ни мне, ни ей было не до экскурсии. Мы оба хотели её избежать. Но я человек высоких моральных принципов, соблюдаю приличия и не могу так сразу, поэтому предварительно показал ей балкон, рассказал, что здесь раньше закатывали пьянки, но уже как два года ни одна нетрезвая нога сюда не ступала (редакторесса одобрительно кивала), рассказал, что в спальне моей она вечером увидит светопредставление, если фортуна улыбнётся, а пока что для этого рано, поэтому давайте (иногда я случайно переходил на вы) пройдем лучше в зал, там у меня японское пианино и пара невзрачных цветков. И я открыл пианино и сыграл ей несколько песен, от волнения промахиваясь мимо клавиш и нещадно фальшивя. Как странно обернулся этот день! Не знал, что делать, а теперь столько навалилось, что не знаю, за что браться.

Песня, несмотря на фальшь, действовала. Главред присела в моё кресло, отметив его крайнее удобство, и попросила сыграть что-нибудь ещё. Но я сказал, что сейчас не время, кроме того, больше песен я не знал, и попробовал прочесть ей какой-нибудь стих, но кроме «мартобря» в голову ничего не приходило, поэтому я просто подошёл к ней вплотную и спросил:

– Как же вас зовут, о, прекрасная?

А она сказала, просто так:

– Кассиопея, – и добавила, для уверенности: – Меня зовут Кассиопея.

Кассиопея? О боги... Я взял её на руки и бросил на овечью шкуру, как пакетик самого сладкого сахара, а что было потом, уже никто не помнит...

Может, Кассиопея помнит. Но мне она ничего не говорит. А я ей всё хочу объяснить, почему не помню ничего сам, по уважительной причине не помню, однако Кассиопеи уже нет и, кроме прочего, у меня не хватает духу сказать ей правду, признаться в беспамятстве, поэтому я успокаиваю себя: «Согласись, после химии ты немного отупел и подзабылся. В этом всё дело». Да, память не сравнить уже с той, что была. Я мог поесть щи, как Лимонов в своей нью-йоркской гостинице, а через пять минут уже стоять у плиты и варить новую порцию, забыв, что только что ел. Я мог куда-то идти, а потом остановиться и думать: куда же я шёл? – и, так ничего и не придумав, развернуться и направиться обратно. И вот когда я уже подходил к самому началу своего пути, тут вдруг вспоминалось, куда я шёл до этого, я разворачивался и т.д... Как будто этого было мало, так я ещё обижался на людей, что они со мной не здороваются, и никто не понимал, в чём дело, ведь он (она) только что со мной поздоровался(ась).

Именно поэтому писать длинные тексты представлялось мне сложным и утомительным. Через пару глав приходилось возвращаться к первой странице, всё перечитывать, пытаться сложить осколки воспоминаний во что-то единое, осмысленное, целое и так, таким рваным темпом, медленно продвигаться дальше. Это сильно выматывало, на каждой главе я терял по килограмму. В хороший день я мог выдавить из себя только какую жалкую тысячу слов, потому что большая часть концентрации и усилий уходила именно на воспоминание того, что было написано раньше, на яростные напряжения памяти, мозговые конвульсии. Поэтому это было как нельзя более кстати, что я открыл для себя такую элегантную в своей простоте форму: шестидневный роман, как на курорте. Многие мои отношения с прекрасным полом столько, между прочим, и длились: шесть дней. В понедельник я был по уши влюблён и втрескан, во вторник на колени вставать уже не хотелось, но цветы с конфетами я всё ещё дарил, в среду закрадывались какие-то сомнения, я

с подозрением смотрел на свою понедельничную пессию, четверг проходил в мучительных раздумьях, потому что я уже точно знал, что это не тот человек, с которым я готов разделить остаток жизни, в пятницу я себя от рассвета до заката винил в своей любви и клял в неосторожности, после захода солнца в тот день я свою любовь уже ненавидел всеми флюидами ненависти, не решаясь на откровенный шаг, ну а в субботу, всё-таки решившись, после минета выставлял её за порог со словами: «Мне надо подумать». Над чем, я не уточнял.

С текстами было чуть-чуть проще. За непродолжительное время я не успевал всё забыть и выдохнуться, и поэтому гнался за мыслью, как петух из детства гнался за своим задом, и всё у меня получалось, и не было никаких осколков, никакой злобы и растерянности, потому что была только цельная картина, может, с незначительными где-то пробелами и упущениями, но это уже было дело небольшой редакции. Это пускай выверяют в редакции.

А вообще, лучше попросу Кассиопею, чтобы правок вносил как можно меньше. А то я очень не люблю чужие правки. Мне от них сводит желудок, и тогда в памяти всплывают капельницы и ужасное ощущение в животе, а потом и боль в венах, и побелевшие пальцы. Да, лучше пусть правок не вносят совсем, если им дорого их здоровье и они не хотят преждевременно терять зубы. Пусть исправят грамматику, где надо, расставят запятые, многоточия, но больше чтобы ничего не трогали. Или она хочет, чтобы мне свело желудок? Не хочет, конечно, не хочет. Хоть про моё лечение она так до сих пор и не знает. Это я тоже не решался ей поведать.

Она думает, это я про алкашку. Якобы от правок меня тошнит, как на утро, бывало, от водки с пивом, когда я ещё был не против пропустить по стаканчику. Я не возражал, только молча кивал. Пусть думает, как думает. Зачем развешивать иллюзии? Человек не может жить без иллюзий. Они – твёрдая почва его существования. Если пошатнуть хоть одну, пошатнётся весь его мир, как сегодня пошатнулся мой, и человек может не выдержать и запить или удавиться. Или начнёт ко всем приставать, или окунётся в депрессию, и его посадят в психушку, по примеру одной из моих ненаглядных.

Бехтерева, тридцать четыре. Тогда моя память сбоя не давала, поэтому адрес я помню прекрасно. Я туда приезжал раз в неделю как бы навестить, но на самом деле за скоростным сексом. Теперь как подумаю... Секс в психушке. Не у многих, должно быть, такое бывало. Впрочем, хвастаться тут нечем. Мне стыдно и... «Я тебе никогда этого не прощу! Как ты мог! В таком печальном, светлом месте!» – стучалось в моей груди. Я вновь слушал совесть, и мне становилось мутно, да и я бы не назвал психдом светлым местом, всё очень просто: туда кладут придурков, которых я так люблю, – а потом я вспомнил, что было как-то раз и на футбольном поле, и, более того, в церкви, и тут я окончательно зашёл краской, но постарался так, чтобы Кассиопея, если она тут, не догадалась из-за чего. Она не всезнающа и не всеильна. Я притворился, что вспомнил церковь, на пороге которой мы впервые с ней встретились.

Разница заключалась лишь в том, что в последней была куча народу и панихида и мы не совокуплялись, а в той, в первой, людей, кроме нас, не было совсем, только заканчивалось её строительство, нам намоленное это место снесло головы, и мы... О чём мы только думали? Подлейшее из приключений. Это был самый разгар лета, и там ещё лежал кусок льда у входа, на самом пекле. Откуда он там взялся, этот кусок, я не знаю и по сегодняшний день. Мекка извращенцев, стая безбашенных эксгибиционистов. Я что-то выкрикнул в обвисший целлюлитным дрожанием воздух, чтобы перебить эти разрозненные голоса... На какое-то время они затихли. Затихла даже совесть. Нет, она не затихла, она притаилась, я знаю. Она вечно так: хитро молчит, а в самый неподходящий момент – удар под дых – как выпалит что-нибудь, хоть ты на стену лезь.

Я посмотрел перед собой. Тепло ещё исходило от овечьей шкуры, тепло женского расплавленного тела, этой расплавленной вечности опороченного целомудрия. Меня захлестнула нега. Всё-таки хорош я был, хорош, ничего не скажешь. Главное – не сдался! Не сдался после первого поцелуя и отвержения, а наоборот – раззадорил своё желание и разжёг свою страсть. Хорошо,

очень хорошо, что я пошёл в редакцию. Мог ведь не пойти. Лил дождь, гонорар можно было забрать как-нибудь в другой раз, в конце концов Гонолес не так уж далеко от моего дома оказался. Всегда можно сесть на тридцать третий, в пустой салон автобуса с неразговорчивым водилой, и за полчаса доехать до пункта назначения. Ничего сложного. Но я всё-таки пошёл. Промок до мозга костей, но пошёл.

И правильно сделал, что пошёл. Потому что если бы не пошёл, то не узнал бы никогда про Кассиопею и никогда бы она не лежала здесь передо мной, нагая. Нет, узнал бы как-нибудь позже, когда всё-таки решил бы заехать за денежкой, но тем не менее... Впрочем, и сейчас она передо мной не лежала, а было только её тепло, и я вспоминал, но не мог ничего вспомнить. Память ни к чёрту. Нельзя на неё положиться. А на Кассиопею положиться – можно и, согласно фамильной моей традиции, даже нужно. Я захихикал от своей хохмы и перевернулся на спину, и принохался.

О-о-о, «Шанель номер пять», запах непристойной женщины... Я всегда считал, что с этим пошлым ароматом сочетаются только старухи и дамы в почтительном возрасте с ожерельем на дряблой шее. Они обязательно должны носить натуральную шаль из мохера и жить в самом центре Парижа, недалеко от полей. У них должна быть боязливая прислуга, пугливая собачка и молодой ухажёр. По выходным они посещают могилу Бальзака на Пер-Лашез, по пути перехватывая в кофейне круассан и латте. Им должно быть плевать и на Бальзака, и на ухажёра, потому что раньше они все, как одна, были замужем за каким-то богатым хрычом, который скопытился от диабета или невыносимой лёгкости бытия и оставил им, как они и рассчитывали, огромное наследство. Но прихоть есть прихоть, и они держат при себе молодняк, чтобы не чувствовать себя едкими, угнетающими и высокомерными развалюхами на обочине существования, чтобы чувствовать хотя бы краешек жизни, которая от них давно ускользнула, сев за горизонт, чтобы больше из-за него не подниматься. Они подозревают, что умерли ещё раньше того хрыча с наследством, а именно тогда, когда решили, что нет такого слова «мораль», что нет такого слова «принципы», и за смутную перспективу когда-нибудь разбогатеть отдали все самые сокровенные части своего тела.

Такие женщины и должны были пользоваться «Шанель номер пять», рассказывая этим ароматом печальную историю своей посредственной жизни. Мне их было жалко, хоть лично я ни с одной не был знаком, но такова уж природа, что они обязательно где-нибудь были, и я не хотел бы никогда ни с одной из них встретиться. Пожалуй, я их подсознательно избегал, и не исключено, что ими кишел наш город, просто собой они образовали для меня слепое пятно. Замечал я, по обыкновению, более молодых и эксцентричных, которые понятия не имели, что такое «Шанель»: кусок ли это дорогой ткани или хозяйственного мыла, резная ли окантовка гроба или, быть может, очередной изысканный псевдоним работницы коммерческого секса, жертвы общественного темперамента. У нас тоже хватало подобных «светских львиц». Одну такую я встретил на одном из забегов.

Мы бежали с ней рядом и разговорились. Фигурка, юмор, мозги – всё было при ней. Я уже обнадежился, взял у неё номер и договорился как-нибудь встретиться. А потом на всякий случай решил полистать её инстаграм, провести до встречи смотрины. «Твою ж налево!» – протянул я от физического удовлетворения и одновременно морального неудовольствия, рассматривая её полуголые фотографии на яхтах, её припудренную песком задницу у Бурдж-Халифа, грудную тройку под тенью малазийских пальм, с коктейлями в руках, на пышных простынях великолепных гостиниц, на балах с хрустальными люстрами... И хоть она не пользовалась, вероятно, ни духами номером пять, ни три, ни даже девятнадцать, я немедленно удалил её из своей телефонной книги. Потому что знал такое слово – «принципы».

Мой главный принцип был – жить так, чтобы этой сволочи с гнусавым хриплым пропитым голосом в моей голове или в сердце, где она там, не было что мне лишний раз вякнуть. И тем не менее она всегда находила, к чему прикопаться и, следственно, что вякнуть. Я к этому относился по-философски, с пониманием. Ей тоже нужно чем-то заниматься, ей тоже надо выговориться и быть услышанной, правильно? Если бы я был не собой, а совестью в своём теле – да я бы рвал

на себе волосы от ужаса! Денно и ночью за собой подло следить и высматривать сомнительные решения и неблагоприятные поступки – как монотонно и некрасиво. Ужас. Ужас!

Ну нет, в то время, когда я вёл разгульный образ жизни, она вещала круглые сутки, не затыкаясь, там у неё всё было в порядке с поводами, она ни на что не жаловалась. Всегда был материал для размышлений и угнетения моей персоны. Тогда я и принципов в общем-то как таковых не придерживался, они мне были неведомы. Будь я тогда девушкой, точно бы пользовался «Шанель номер пять», вне всяких сомнений. Были бы и яхты, и ОАЭ, и отели с завтраком в постель.

Но всё же аромат этот был больше присущ дамам в годах. Так я думал. Таково было моё стойкое мнение. А редакторша очень умело развеяла это моё глупое предубеждение. И, по сути, она даже ничего для этого не сделала – просто отдала себя в объятия под июльским дождём. Дважды. Этого было достаточно, чтобы я раз и навсегда уяснил: нет ничего более подходящего для горячей молодой красотки, чем это зашкварное французское амбре. Решительно ничего. Теперь я пойду в магазин и выберу себе, пожалуй, тоже что-нибудь из «Шанель», мужского.

Я глубоко вдыхал и не мог насытиться этим запахом. Он шёл от того места, где мы с ней опустились на пол и забылись безудержной взрослой сказкой. Я вспоминал, мне хотелось вспомнить все подробности: как это было? что я делал и чего не делала она? стояла ли она на коленях, просила ли пощады? умоляла ли задуть? стегал ли я её галстуком, бранил ли или был нежен и заботлив, аккуратен и осторожен? был я чудовищем или принцем? была ли она принцессой или низкопробной шлюхой?

Нет, она была принцессой... Даже если могла она на миг превратиться в шалаву, она бы всё равно оставалась принцессой – такой прекрасной она была, есть и будет. Я ничего не помнил, и это был хороший знак. Значит, мгновения эти были настолько незабываемы, настолько великолепны, что память решила не давать мне к ним доступ, под грифом секретно, строго конфиденциально, ибо моё нынешнее существование показалось бы мне настолько горьким и зазорным, пустым, что я бы не знал, куда деваться. А вместо этого я только пуще расплывался в улыбке, ничего не помня.

Её нигде не было, и я не слышал, чтобы она была в других комнатах тоже. Боже, надеюсь, если она посещала уборную, то не брала почитать томик Бродского и не видела под ним этих уродливых насекомых. Нет, если бы увидела, то, как представитель рода бабского, уж точно бы завизжала, и я бы открыл глаза и подбежал к ней и спас! И тогда снова взял бы её на руки и бросил бы на эту шкуру, и всё бы повторилось.

В проблесках тишины интуиция подсказывала, что Кассиопея ушла. Это тоже хороший знак. Потому что если бы не ушла, так значило бы, что не насытилась, а это в свою очередь говорило бы о том, что я не был на высоте и не выжал из неё все соки. А так вот ушла, получается. Взяла своё, собралась, впрыгнула в свой голубой шёлк и на цыпочках босоножек ушлёпала, стараясь не разбудить принца или чудовище, в зависимости от того, как я себя с ней повёл. Это был первый день, я её без ума любил. Это был мой понедельник. А ещё, может, ей было неловко, что сама была не на высоте – вот и ушла. Дурочка, дурочка. Знала бы она, что в самых глубинах адского подземелья, где даже черти жалуются на невыносимые условия, переработку, сверхурочные, скудный паёк, жару и свою тяжкую участь, она со всей своей красотой просто не может не быть на высоте. Ей ничего для этого не нужно, никаких не надо прилагать усилий. Ну, может, улыбнуться разок, и позволить каплям с ключиц бежать к персям.

А ещё, судя по всему, она сознательная девушка. Потому что несознательные всегда остаются до самого упора, пока не вышвыриваешь их, как утренний мусор. Им хочется каких-то объятий, объяснений, ласки, завтрака. А нам, мужикам, ничего этого после всего уже не хочется. Нам нужны грубость и одиночество, хамство и тоска. Нас надо оставить в покое, до тех пор, пока голод снова не одолеет нас.

Странно, неужели после всех этих дней мне таки удалось заснуть? Писательский марафон, плотно одобренный литрами крепкого чая, не очень благотворно сказался на моём режиме и сне

в частности. Но лучше так, чем мучиться полтора года, успокаивал я себя. Когда быстро пишешь, не успеваешь соврать. Вот. И не успеваешь разлюбить написанное.

Я всегда развивался быстрее, чем писал. А уж писал я достаточно быстро, поверьте. Мне это напоминало историю про Эдджернона. Мышонок, который был беспросветно туп, как и все мыши этого света, но который стал очень быстро уметь. А параллельно с ним один человек-тупица тоже превращался в гения. И что поджидало обоих в конце пути? Правильно. То же, чем довольствовался теперь и я, – яркое пустынное одиночество.

В моём случае, конечно, это была скорее вынужденная мера, но, признаться, в одиноких условиях мне было достаточно комфортно, и я даже радовался, что не нужно выходить из дома. По крайней мере, первые три месяца. Потом начались срывы, перепады настроения, пропадал аппетит, хотелось кого-нибудь покалечить – тогда я и начал потихоньку выбираться на улицу, решив, что это поможет. Я долго гулял, заезжал в соседние деревни за кольцевой, рассматривал клубы дыма из труб теплоэлектростанции, наматывал круги вокруг местного озера, кормил уток, разговаривал с деревьями и травой. Делал всё возможное, чтобы удержать себя в рамках кажущейся вменяемости. Получалось у меня плохо, но я не сдавался.

Никто не разделял моего позыва к затворничеству. Все кругом делали вид, как будто в мире ничего не происходит. Ели колбасу, обсуждали курс рубля, смотрели телесериалы. Тем временем окружающие нас страны предусмотрительно закрыли границы, чтобы препятствовать распространению вируса, а то есть любители попутешествовать и пощекотать нервы себе и окружающим, и только мы, наша независимая республика громко всё отрицала: коронавируса не существует, это, цитирую, «психоз»! Среди моих знакомых люди между тем валились с ног штабелями, будто на войне, и я видел, как они по две недели не могли встать с постели и как некоторых уже были готовы вот-вот подключать к искусственной вентиляции лёгких, что в девяноста процентах случаев значило лишь одно – скорую неприятную кончину, когда захлёбываешься в собственных жидкостях и мрёшь от удушья. Я слишком хорошо это знал, чтобы рисковать или верить госпропаганде.

А ещё от нечего делать я читал гороскопы, вы уже это знаете. И в них почти каждую неделю Стрельцов настойчиво предупреждали, чтобы те без необходимости не рисковали. Необходимость – это когда на кону большая сумма, чья-то жизнь или возможность переспать с какой-нибудь невероятной красавицей. Ну вот – я и не рисковал, хотя бы до того как встретил Кассиопею. Кроме этого, я никому из своих друзей не рассказывал, что когда-то у меня был рак, а в случае с коронавирусом это фактор риска. Меня не понимали, зато я понимал и дополнительный риск на свою жопу, интеллигентную, начитанную жопу не брал.

Я, может, на свою жопу только искал признания, и больше ничего. Было бы хорошо, да, было бы очень здорово. Писали бы хвалебные статьи, приглашали на интервью и званые ужины, спрашивали, как это я умудрился за такой короткий срок отпечатать шедевр, а я бы кокетничал и говорил, что всё это, мол, не я, я лишь ретранслятор божественного: записывал всё, что Господь неутомимо надиктовывал мне в ту неделю. Такая история без морали и вывода, говорил бы я и с благодарностью принимал бы любые лавры. Но чем больше я об этом думал, тем меньше мне этого хотелось.

И что? Месяц-другой считаешь о себе в дешёвых СМИ, наберёшь себе рейтинг и какой-то оттуда отрицательной кармы, потому что если твоё имя засветилось на этих страшных, заупокойных страницах, то и ты становишься сопричастен всему этому массовому помешательству и душевному грабежу и берёшь часть греха на себя – а тебе это надо? И вообще – ты любишь одиночество и рестораны. Помнишь? Ты любишь приходить туда, когда совсем нет людей, в таком случае ты ищешь внимания, или же заявляться, когда там полно народу, тогда чужое внимание тебе противно, ты осознанно отказываешься от него, прячась в самый дальний угол, но в любом из двух случаев ты в конце концов со спокойной душой погружаешься в самосозерцание и поглощение пищи – только так можно получить удовольствие. А что будет, если тебе под нос начнут совать всякие бумажки и просить нацарапать на них своё нехитрое имя?

Будешь ты хорошим человеком или плохим? Плохим, отвечал я себе, не раздумывая. Я буду плохим человеком, это можно сказать с уверенностью. Уже после третьей бумажки я встану и закричу на кого-нибудь так, чтобы все со страху обделались, и выбежали вон, и оставили меня в покое. А потом разорву бумажку с, сяду и буду есть дальше.

Оттого-то лучше наслаждаться тем временем, пока не опубликовали в журнале первую, самую сочную часть. Она выйдет на следующей неделе, ещё смогу понаслаждаться. Да... Так и поступлю. Буду ждать, пока проснётся глас похоти, желание тела, буду ехать в Гонолес на гонорарные деньги, забирать её, привозить к себе среди недели на такси с глухим таксистом, зажигать восковые свечи, вдыхать её запах и шептать что-нибудь приятное на ухо, чтобы она ко мне лънула и сама стягивала с себя платье и влажное исподнее.

А так хорошо, что она уехала. Значит – сознательная. Это только придавало ей больше значимости в моих глазах, добавляло баллов по шкале Рихтера, и я ещё больше невольно улыбался. Вот же как повезло! Какой ты везунчик! Судьба благосклонна к тебе, это следует признать и как-то это оформить. Нужно её благодарить. Я, кажется, преклонил колени, как тогда, в прихожей, параллельно всё ещё вспоминая, была ли на коленях Кассиопея, и вслух взмолился: «Спасибо тебе, кто бы ты ни был, за твою милость и доброту! Я буду помнить эти минуты добра и гуманности всегда и не позволю памяти их забыть – никогда, никогда, ни за что! Спасибо тебе, что смотришь за мной и улыбаешься мне, как призрак! Твоя улыбка стоит тысячи любых самых прекрасных улыбок этого круглого клочка чернозёма в бесконечном пространстве! Спасибо, что подарил мне вчерашнее тело и избавил меня от иллюзий! Спасибо!» Я поднял вверх сжатый кулак и про себя добавил: «Но её улыбка всё-таки лучше...»

Я лёг обратно. Я чувствовал, как слёзы благодарности катятся по моим щекам, и не мог остановиться, и не хотел останавливаться, а только рыдал и смеялся. Это было неопишимо! Как прекрасно, что она ушла и не стала давить меня сейчас своей близостью! Грубость и одиночество! Хамство и тоска! Она тонко понимала мужчин. Откуда же только она так хорошо их понимала?

Я утёр слёзы и задумался. Было ли у неё до меня много поклонников? Нет – любовников, много ли было? А может, у неё и сейчас их есть? Может, я один из них, один из многих? Это ревность, уверил я себя, не бери в голову. Она удушающа и бесплодна; но нельзя не ревновать лучшее, что есть в этом мире – таков закон. Лучшее всегда идёт рука об руку с самыми низкими чувствами, и с этим надо смириться, если хочешь лучшим обладать. Вдобавок, лучшего, если оно действительно такое, всегда столько, что им не должно быть жалко делиться, потому что колодец этот бездонный и из него черпать можно без конца. Так почему же ты страдаешь? Почему не захочешь разделить её с близким?

Я бормотал себе под нос, что хочу, хочу, вы меня не так поняли, конечно, хочу её разделить, с кем угодно, только пусть она остаётся моей и ничьей больше. Пусть спит только со мной и только вот на этой овчине, пусть будет моей навсегда и никогда не отходит от меня дальше, чем на метр, – и тогда буду я готов разделить её и с близким, и с дальним, и с кем ещё захотите разделить.

Я посмотрел на то место, где всё так внезапно произошло: Кассиопеи не было, был только её жевенско-блядский дух да я, полуголый, довольный, улыбающийся, валялся в белом меху и рассматривал потолок, оклеенный обоями, не в силах найти ни одного жучка в бетоне. Эта идеальная поверхность у меня над головой. Вместо неба меня скрывало от пытливых глаз сверху идеальное полотно белой бумаги – о, почему надо мной не небо? Тогда я присмотрелся и увидел, что вовсе не лежу на шкуре, как думал, а сижу в своём кресле и уже оттуда смотрю на шкуру, где нет ни её, ни меня, ни чьего-либо духа. Я хмыкнул.

Так вот, значит, как ты теперь перемещаешься в пространстве! Ни во что не ставишь даже элементарные законы физики? Как тебе не стыдно, душегуб? Я ещё раз хмыкнул: уже давно известны миру квантовые законы, а там всё иначе. Если я писатель и сердцеед, почему это я должен подчиняться обыкновенной, не-квантовой физике? Я мыслю нелинейно, пишу нелинейно, не чуюсь похабщины, нахожу в ней даже отраду, питаюсь зеленью, а значит, и законы мне полагаются нелинейные. То есть если на меня смотря, я действую одним образом, если же наблюдатель

отсутствует, то я из волны превращаюсь в частицу и уже веду себя по-другому. Я непредсказуем, как квант любви.

Нет, подумал я. Всё же не люблю я законы, презираю я их. Даже квантовые. Никакие не люблю и все до единого презираю. И не хочу чему-либо подчиняться, зыблемому или незыблемому. Хочу быть свободным. Дерьмо! Да ведь я свободен уже так, что остальным такой размах только снится. Я подумал: жалко, никого сейчас нет дома. А то так бы были завистники, эти едкие маленькие людишки, своим унижением великих лишь возвышающие, и много бы их было. Но это тоже форма гордыни, разве не так? Ты ищешь почитания и известности, в этом всё дело.

Что ж, во мне есть зачатки нарциссизма, и не только литературного, это отрицать бесполезно. Но я бы посмотрел на вас, если бы ежедневно вы вынуждены были видеть в зеркале такое прекрасное отражение, идеал. В этом меня обвиняют многие, а я не вижу, зачем в чём-то обвинять человека, особенно такого калибра, как я. Ты ведь не можешь обвинять птицу, что она высоко летит? Это было бы глупо. Так чего же обвинять меня? Я такой, какой есть, и со временем кое-как меняюсь, может, не так, как хотелось бы другим. Это их личное дело: чего-то хотеть или не хотеть. Да и вообще, почему я их так трогаю? Чем я им насолил, чтобы меня обвинять?

30

Я и сам признаюсь, вот: я – нарцисс, причём самый злостный. Как вам такое? А они молчат. Нечего уже добавить. Они сложили крылья и присели на пенёк. Предупредительный выпад – и соперник в растерянности, стоит, как обезьяна, с палкой и смотрит на пальму. Если чувствуете, что назревает драка, решительно вмажьте кулаком себе по зубам – тогда драки не будет. Тогда будет стоматология и Василина Игоревна, и, возможно, дурдом на улице Бехтерева, но драки, повторяю, – не будет.

Отчего-то кажется мне, что только нарциссы писать книги и могут. Если автор не занимается самолюбованием через свои собственные слова и предложения – тогда чем же он занимается? Допустим, самолюбования в его действиях нет – тогда теряется весь смысл. Стучать по клавишам, чтобы потом кто-то положил его книжку в туалете и чтобы она стала пристанищем для сколопендр и чешуйниц, и бог знает чего ещё? В чём тогда смысл? Смысла тогда нет, потому что любая буква писателя – это акт непреодолимой силы нарциссизма. У нас тысячи комплексов, мы очень ранимы и скромны, податливы, сердобольны, а потому ищем избавления в таком вот словесном онанизме. И ничего предосудительного в этом нет.

Это даже, по моему мнению, должно поощряться государством. Потому что другие, для самоутверждения, вскидывают на плечо полуавтоматические винтовки, заселяются в люксовый номер 32135 на тридцать втором этаже гостиницы «Мандалай-Бэй», в которой я в своё время мирно квасил мартини и охмуривал красоток, и самозабвенно начинают палить свинцом по толпе, собравшейся внизу немного потанцевать под кантри. Это самые невинные с виду люди, такие, которые никогда не потребуют правильной сдачи от обсчитавшей их продавщицы, которые на слово «мудак» непроизвольно оборачиваются на улице, которые долго, без усталости, смиренно стряхивают свои писюны в общественных сортирах. Из них, пожалуй, могли бы выйти неплохие писаки, но клавиатуре они предпочли спусковой крючок смертоносного оружия. Это предупреждение критикам – не критикуйте сильно наши работы. Знайте меру. Особенно – не критикуйте мою. И редакторы, тоже, пожалуйста, я вас прошу, знайте границы допустимого. Потому что и в вашем доме однажды может раздаться звонок, а из трубки вы услышите вкрадчивый голос обиженного вами творца: «Назовите адрес и время, когда вам удобней снизойти в преисподнюю...»

Всё это весело – но до каких пор? До тех, пока, на удивление даже квантовым законам, я вот так вот мигрирую между шкурой и своим креслом, не поддаваясь обычному мироустройству. До тех пор это весело, да. И забавно. Куда бы мне сейчас полететь? Где бы оказаться? В квартире критика? Это лишнее. Нет ещё такого критика, который бы смог меня обидеть, несмотря на то, что я сказал выше. Обида – это моё, личное, и никому я её не отдам. Я её берегу. Она нужна писателю.

Без неё трудно пишется. И трудно пишется, и долго. Но лучше всё-таки не критиковать, во избежание ненужной драки и ненужных травм.

Лучше окажусь в редакции! И посмотрю на Кассиопею и скажу: «Куда же ты, кудесница, поделалась? Я ведь и завтрак хотел приготовить...» А она ответит: «Какой завтрак, если уже послеобеденное время?» Шутница, ах, шутница! Я несусь по кучевым облакам, перелетаю поля, леса, гастрономы, открывшиеся непонятно во сколько, парки коммунистических лидеров, перепрыгиваю мокрые шоссе и неуклюжих рабочих и влетаю свежим воздухом в маленькую, влажную щель приоткрытого окна. Никого нет, даже тех двух, что спали, когда я приходил, а в углу, где сидела она, тоже никого нет, и я ветром выношусь под дверь в коридор, в уют тепла и запаха недокуренного бухгалтером беломора, и лечу в сторону уборной, потому что они, наверное, пошли испражняться или курить, но там тоже никого нет, только плохой запах и вонь аммиака, и я, нечаянно подхватив с собою оба, с четвёртого этажа слетаю вниз, пролетаю мимо хмурого охранника, на ходу бросая ему снова: «До свидания!», и оказываюсь у входа, где должна быть она. Я не ошибаюсь: она действительно стоит на пороге и разговаривает со мной. Вот я делаю неаккуратный шаг назад, пячусь, входя под дождь, протягиваю ей руку, и она падает в мои объятия.

Я пару раз моргаю. Какие приятные фантазии. Я могу так целый день представлять, как перемещаюсь туда-сюда между Минском и Гонолесом. А ещё говорили – выдуманное место! Позорники. Знали бы они, какие люди живут в том выдуманном месте – не задумываясь перенесли бы столицу в Гонолес. Потому что в столице нам нужны красивые люди.

Зря, что ли, Вашингтон оказался столицей штатов? Наверное, зря, потому что там я не бывал и не видел, какие там ходят люди, а поэтому, наверное, люди там не очень. Столицей должен быть Нью-Йорк. Там люди тоже, по правде сказать, средненькие, но я хотя бы там был...

31

В самом деле, который час? Может, она и права была, что далеко за полдень? Тогда и впрямь завтрак ни к чему. Я повернул голову налево. В пространстве между раскинутыми на метры стелами монстры, подвязанными и не очень, и колючками опунции виднелись светло-серые облака. Они куда-то плыли, никого не спрашивая, можно, нужно ли им плыть куда-то. Дождя не было. Изредка проглядывало солнце, но больше оно ко мне в окно не попадало. Значит, какое-то время всё-таки прошло. Час, два? Четыре? Обед, наверное, я пропустил, потому что сначала поездка в Гонолес, потом все эти миражи и видения, потом ещё назад и т.п., плюс как долго мы провалились на этой бывшей овечке – тоже загадка. По всем признакам действительно было далеко за обед, если не сказать – вечерело.

Лето ж ведь, помнишь? Время летит – не тянется. Но ты погоди, погоди, чего тебе – зима не за горами. Вот тогда запоёшь подснежником под жёлтыми сугробами. Запоёшь тогда и снова возжелаешь лета. Ну это если будет зима, конечно, говорил я, себя в чём-то убеждая, сейчас всё нестабильно, трудно прогнозируемо... Вот в восемьдесят седьмом – совсем другое дело было. Помню, родился, а на дворе не просто четверг, шестнадцатое, – там пурга, метель в двери рвётся, петли выбивает, роддомовское окно третьего этажа, где я появился под счастливым знаком неудовлетворённого кузнеца искусства и вифлеемовской звезды вместо люстры, занесло по самый подоконник, отец к нам с улицы сквозь снег докричаться не может, но я его голос слышу, как-то узнаю и ору что-то в ответ, что-то доброе, обнадеживающее. Вот когда зимы были снежные и тянулись. Нынче всё не так. Длиннее они лета, конечно, но короче настоящих зим.

Сейчас и снег если выпадет хоть миллиметровым слоем под ёлку – так и хорошо, и то радоваться надо. А так всё слякоть, да серость, да малодушие. Раньше своего дня рождения ждал, а сейчас думаю, как бы подольше его не наступало. Или же я просто старею, становлюсь ворчливым, недовольным, несносным и труднодоступным... В этом причина?

Не может быть. Старикам, катящимся под гору, девах в рассвете сил соблазнять не по плечу. Им это не нужно, у них стрелки часов давно опали, как осенняя листва, на смену идёт новое поколение заряженных имбецилов, которые горят и не гаснут, и рвутся в бой, и кровушки им своей

ни на что не жалко. У стариков другие приоритеты: камин разжечь, зубы почистить, геморрой подлечить... Какой там старик! Пойду сейчас, сбрую бороду – тогда посмотрим, кто из нас старей. У меня разрешение родителей на границе спрашивать станут, в самый ближайший зарубеж без него не пустят. А это неудобно, сидеть здесь и никуда не наведываться, поэтому ничего сбрасывать пока не буду, мало ли, может, границы скоро откроют. Но так, на всякий случай, засечку у себя в голове сделал.

Ещё вот почему я из Америки уехал: погода там ненормальная. Я двенадцать штатов объехал, во всех климатических зонах побывал, и выше уровня моря, и на его уровне, и ниже, я видел пустыни, мегаполисы, национальные парки, я ночевал в заброшенных кемпингах при минус сорока, я пил водку под гавайскими пальмами, я в Майами покупал редбулл с водкой за девятнадцать баксов, я стоял нагишом под могучими струями водопада – сколько всего я перевидал! Так вот, объехал я двенадцать эти безумных штатов, а в тринадцатый решил не ехать, потому что знал: впереди – однообразие, скучное однообразие американского быта, которое мне уже колом в горле. Устав от поисков, я осел в самом поганом климате, что только можно было найти: в Сан-Франциско, где зимы почему-то нет, где точно так же нет почему-то и лета, весну можно встретить только в течение пары недель в ноябре, всё же остальное время тебя охаживает осень, зябкая, ветреная, неугомонная осень, – и просто ждал повода отсюда убраться. Хорошим поводом стал диагноз – недолго думая, я уже летел в Минск.

К тому же там не было красавиц, и эту причину я бы даже поставил на первое место. А тех, которые были, уже разобрали чьи-то кавказские волосатые руки из пёстрого райончика Ричмонд, и мне к ним, то есть к этим разобраным, прикасаться, разумеется, не хотелось. «Знал бы ты, кто прикасался к твоей Кассиопее...»

– А ну не смей! – неожиданно для самого себя рявкнул я, стукнув кулаком по хрупкому чайному столику. Чашка загремела, за окном раздался гром, хоть и было уже ясно (интересно, тот алкаш на лавке проснулся?). Право, знак свыше, подумал я, знак, что на сей раз я прав, затыкая рот своей совестью.

Много она себе слишком позволяет, стерва.

– Не смей, – повторил я уже чуть тише, прислушиваясь к собственному голосу.

Я повторил эту фразу ещё три раза или раз пять, чтобы до конца понять свои интонации. Голос снова звучал глухо и напряжённо, как будто я по капле выдавливаю из себя раба, только выдавливаю не раба, а застрявшие в горле эмоции. Как редко я стал слышать свой голос. Хорошо это или плохо? Когда я мог его слышать? Я почти ни с кем не разговаривал, не общался. Иногда, разве что, готовя обед, я мог развеселиться и что-нибудь ляпнуть в воздух несерьёзное, но резко себя осаживал. Я боялся с собой разговаривать. В этом не было ничего страшного, поговорить с собой, рассказать себе какой-нибудь анекдот, просто очень легко таким образом можно самому себе показаться сумасшедшим и сбрендившим, а я, если таковым и являлся, себе таким казаться хотел в последнюю очередь.

Это сегодня отвёл душу и поговорил с собой – где? В автобусе, кажется. Или дома? Что-то бубнил себе под нос, а водитель всё время на меня с опаской или любопытством поглядывал в зеркало заднего вида. Что-то интересное, наверное, я говорил. В следующий раз, если заговорю, так надо будет говорить погромче – пусть слушает умные мысли умного писателя, пусть знает, что жизнь моя нелегка и в последнее время скучна. Его ведь тоже, видимо, скука грызёт. Ездит в одиночестве по пустынной заброшенной линии, да ещё в такие места, как Гонолес, и никто ему слова животворящего не скажет. В следующий раз буду говорить громче, а если он совсем будет интересоваться, то даже заведу с ним какой-нибудь осмысленный диалог. Мне и самому не помешает с кем-нибудь потреться.

32

Впрочем, теперь у меня есть Кассиопея. Зачем мне кто-то ещё? Единственное, что я забыл, – это как-то установить вид отношений между нами. Кто мы друг другу? Одноразовое это знаком-

ство, короткая повесть или затяжной роман? Друзья, не брезгующие постелью, или две взрослые особи, намеренные после встречи друг друга прекратить за ненадобностью поиски второй половинки?

В уме я брезгливо сплюнул себе под ноги – чертовщина какая! Я отвернулся от этих глупых вопросов как от наваждения. Мне все варианты противны. Я предпочитаю никак это не называть. Как получается – пусть так и будет. Зачем всему давать название? Занудство... Джаз, в особенности живой джаз, а не на пластинках, мне всегда нравился и нравится до сих пор – так вот, это только потому, что он никогда не повторяется, а течёт, как мощный поток из прорвавшейся дамбы, наперекосяк, в разные стороны, совершенно не зная правил игры, совершенно не признающий границы, главное – это движение, и тот, кто остановился – сначала чахнет, а потом умирает мучительной смертью спившегося дворника. Река становится болотом, а болото – пустырём. И хуже всего, что сам он этого не видит, тот, кто умирает. Сам-то он думает, что оседлал струю и что мир ему поклоняется, что пить можно бесконечно, то есть много, но долго.

Мне казалось, что я на овечьей шкуре, – а где я оказался? Вот оно – заблуждение века, так люди и попадают впросак.

Надо понять его механизмы, этого заблуждения, и хорошенько пораскинуть также мозгами: обо мне, о ней, о своём произведении. Можно никуда не спешить, время есть. Никто не подгоняет. Подождём пару дней – потом наберу. «И спросишь, сколько раз за эти дни и с кем у неё было...»

– Заткнуться! – проревел я опять и опять стукнул по столу.

Чашка зазвенела. Я никогда не вынимаю ложечку. Я оставляю её там до тех пор, пока не выпью чай. Я привык так с детства. И шнурки я тоже неправильно завязываю: делаю сначала две петельки и только потом связываю их в узел. И не хочу переучиваться, мне нравится. И зубы у меня кривоватые, но оттого улыбаться я не перестаю, наоборот – улыбаюсь тем чаще, чем они кривее. И мне нравится, что они такие. Я смотрел на Василину и вспоминал всех известных мне звёзд эстрады. У всех, как у одного, – зубы белые, как редкий декабрьский снег, и ровные, как ча-стокол, на котором объединённые общественные силы ещё ничего существенного не изобразили. Неинтересно. Никакой восточной философии, никакой тонкости мышления.

Вот если маникюр исцарапан и фиолетов, как у той проводницы, – значит, всё в порядке, значит, человек, хоть, может, и дурак, но не чужд прекрасному. Тут сказать нечего – только молчать в трепете и покрываться благоговейной испариной. Приснилось оно мне, приснилось... Такое может только присниться...

Так неужели я спал? А вдруг не приснилось? Ну по крайней мере вздремнул – после Кассиопеи, так? Немножко-то ведь вздремнул? Иначе как объяснить пустоту в голове и тот факт, что ничего не помнишь? А живот, вернее, желудок – почему он пуст и дребезжит, как харя алкоголика? Есть охота? Ещё как охота! Опять, что ли? Отчего же вдруг?

Я прищурился, как будто от узких глаз мысли становились чётче и яснее. Так, вчера я ужинал, точно помню. Взял кусок хлеба, намазал на него еврейского хумуса, потолще, поаристократичнее, и съел, запивая чаем. Потом взял банан, посолил и выбросил в окно, как в том анекдоте. Ещё поел орехов с мёдом. Орехи я люблю, но не все. Надо знать, какие я люблю, чтобы иметь право заявить во всеуслышание: вот, я разбираюсь в этом человеке. Поэтому я до сих пор никому душу до конца не открыл, и к каким питаю любовь орехам, тоже не поведал. В общем-то и всё. Такой вот выдался простенький ужин, без излишеств. Потому что его по правилам отдать надо врагу. Всё врагу мне отдать не позволяет воспитание, а вот часть с солёным бананом – то, пожалуйста, жрите. Поэтому вторую половину, самую лакомую, я всё же съедаю самостоятельно, без чьей-либо вражеской помощи.

Так что – ужинал. Дальше возникает вопрос: вчера ли ты ужинал или позавчера? И на какой неделе? Я ещё больше сощурился, так что предметы в комнате обрели сказочно-расплывчатые черты того самого неумелого гроссмейстера-импрессиониста. Я осматривал свечи на нижней полке, и мой взгляд медленно скользил вверх, мимо непонятого мной Ницше, странного Платона и суетливого Довлатова, пока не остановился на толстой стопке помятой бумаги. Это мой первый

законченный роман. «Мост в тишину». Он уже два года там ждёт своего времени, лежит, неопубликованный, читанный только мной и отцом, скорбный.

Прочитав это творение, папа прокомментировал: «Отличное, отличное чтиво. Особенно сцене посередине на пять листов. Отличное чтиво!» Я так и понял, что из двухсот оставить полагалось всего пять. Что ж. Когда напишу, кажется: с ума сойти, шедевр, коего свет не видывал! А как начинаешь читать...

33

Поэтому я свои вещи стараюсь всё-таки не читать. Пусть полежит пару лет, может, созреет. Открою тогда список редакций и разошлю всем подряд, потому что Гонолес и его публика для него будут тесны. Ему нужна будет после такой выдержки – как минимум Москва, Петербург, интеллигенция. Пять страниц захватят даже Нью-Йорк с его средненькими людишками. Но не Гонолес.

И всё же спал ты, ещё как спал. Спал как убитый. Просто не помнишь. Я взял в руки чашку, посмотрел внутрь. По стенкам, как при раскопках древних пород, слоями расходились коричневые разводы. Вот этот глоток я сделал в девять часов, этот – без пятнадцати десять, а вот этот уже – в двенадцать, ровно перед тем, как выехать в Гонолес. Остался последний глоток – сейчас (около четырёх?).

Я допил остатки. Я посмотрел на потёртый пакетик сахара. Который это из двух, с которыми я успел столкнуться за день? Из поезда или из автобусной кассы? Я не помнил.

Потом была интересная мысль – её я тоже не запомнил, – а в одночасье перешёл ко второй: говорят, в романе должно быть «путешествие героя», думал я, рассуждая о своём недавнем произведении, герой должен якобы куда-то идти, к чему-то стремиться. Что за пафос! Что за посредственный подход? Кто сказал, что герой вообще должен что-либо делать?! В моей последней рукописи герой даже из квартиры не выходит! Он морально разлагается, в теории и на практике, ему претит любой вид деятельности, он не такой. Он против. Против чего, он ещё не решил, но он не ломается, он всё равно против. Хорошо, может, они имеют в виду путешествие метафизическое, так сказать, внутренний мир и его какие-то устремления. Но и здесь ни черта не сходится. В мире моего героя ровным счётом ничего не происходит, и сам он никак не меняется и меняться не желает, ну, может, только чуть-чуть, из праздности и каприза. Как быть с такой книгой? Что делать с таким героем? Имеет ли он право на существование? Может, они приняли мой роман по ошибке? Или у главаря совсем отсутствует чувство прекрасного?

Исключено. В интернете я читал их журнал, и мне не было тошно. А мне всегда бывает тошно, если я соприкасаюсь с пошлятиной или бульварным чтивом. Меня не вырвало на линолеум и не вырвало бы даже на пробку, когда я узнал, что на последней странице они размещают гороскоп, а перед ней предлагают читателям разгадать сканворды... В любом случае чувство если не прекрасного, то хотя бы намёк на нечто рациональное там присутствовал.

Не стоит заикливаться на этом, подумал я, признавая себе, что со сканвордом они всё же переборщили, и параллельно сравнивая пакетики. Один был зелёный, другой – ничем от первого не отличался, такой же зелёный, такой же пакетик, с таким же, думается, содержимым. Как же их отличить? Сейчас положу оба на стол и перемешаю – всё, след потерян. Я никогда не найду уже тот, что держал в левой руке, равно как и тот, что держал справа. Это так и останется тайной мироздания, и я не буду знать: может, вот этот пакетик – как раз тот, что был в моей правой руке, но с такой же вероятностью он мог быть и в левой. «Хватит!» – воскликнул я безмолвно. Не задавая себе вопросы, ответы на которые недоступны твоему скудному интеллекту. Я положил пакетики обратно.

Так же и с романом. Не могу знать я наверняка о его гениальности. Могу только подозревать. Только догадываться по наитию, предполагать, что он великолепен. Но знать наверняка – увы. Тут я обречён не меньше девятиэтажки, чья судьба подарила ей ровно девять этажей, ни больше ни меньше. Приняли – и приняли. Надо думать, что дальше, в каком направлении двигаться. В на-

чале августа, как раз перед выборами, мне должны привезти печатную машинку. Первую в моей ещё не состоявшейся карьере писателя. Я, несмотря на гендерные цветовые предпочтения, сначала хотел розовую, мне безразличны предрассудки, но розовую уже купили, поэтому я согласился на оранжевую. Какой-то безымянный мастер в Санкт-Петербурге, в одной из крохотных квартир душного прелого дворика, в котором не летают птицы и куда не заглядывает свет дня, прямо сейчас, в этот самый момент смазывает все детали, проверяет, как стучат клавиши: бойко или вяло, мажут или оставляют резкий отпечаток, наконец, звучат они красиво, мелодично, как будто поэт читает хайку, или хрипло и беспокожно, как будто моя собственная совесть хочет опять сказать мне что-то грязное, – бережно собирает он все детали, смотрит работоспособность каретки, убеждается в ровности строк, потому что всё это мне понадобится... и вот тут я спрашиваю себя, вслух или в голове: зачем?

На этот вопрос следовало бы ответить, опять же, если бы ответ был понятен. А так я, как всегда, только догадываюсь. Ну так вот... Если последняя книга гениальна, то её уже не перепрыгнуть, тогда и печатная машинка ни к чему. Вывод? Вывод простой, как желание наркомана: пусть лучше она не будет гениальна. Пусть это будет книга пошиба чуть выше среднего, не совсем плоха, но и не слишком великолепна, потому что иначе, если вдруг признают и скажут мне прямо: «Да, Павлик, вы гений», – я обреку сам себя на постепенное увядание и нежелание писать что-либо ещё. Мне будет страшно, задав такую высокую планку, вновь браться за письмо. Пусть у главреда, этой кучерявой бестии, я согласен, пусть у неё не будет вкуса, зато в постели она...

34

Не отвлекаться. Привезут мне, значит, машинку, заправлю в неё лист – и понеслась трава по кочкам. Слово за словом, абзац за абзацем. Листы будут вылетать, как с фордовского конвейера, и я опять буду выдавать сверхнорматив. Вот оно, это новоиспечённое произведение, пусть будет чуть ближе к гениальности, но снова – не совсем гениально, немного не дотягивает до совершенства. И так далее, из года в год, пока однажды я не скажу, что мне надоело, и уж тогда все хором скажут по чести и долгу, что всё, когда-либо мной написанное, с самой первой буквы, было настолько потрясно, что они просто не решались мне об этом сказать, а так-то они считают, что всякий житель планеты вне зависимости от происхождения и своей расовой неполноценности должен обладать хотя бы одной копией каждой из моих книг. Только тогда, покаются они, в мире высокой литературы люди обретут спокойный сон.

Я кивал своим мыслям, довольный. Позвонили в дверь. Я сжал челюсть. В который раз! Если это снова, извините, педераст со своей жалобой на Крида, я ему... В такое позднее время! Я посмотрел на часы, но часов на руке до сих пор не было. В спальне, в спальне лежат. Плохо. Нельзя быть таким растяпой. Но хотя бы уже звонят, а не стучат, как колхозники. Нашли же звонок, откопали! Во тьме или во мраке, в любви или ненависти, но человек думающий сначала осмотрит дверь, косяки, аккуратно прощупает стены, может, заглянет на всякий пожарный под коврик, оторвёт плинтус, мало ли, и только тогда, если заветная кнопка звонка не найдена, постучит. А тот урод сразу начал лупцевать мою входную дверь, да ещё несколько раз! Где такое видано? Постучал разок – и заткнись. Потерпи, успокойся. Подумай о бже. Человек, может, в туалете, читает? Ему надо дочитать и выйти сперва из туалета, чтобы тебе, колхознику, отворить, а ты стучишься...

Дзызызыны! Звонят, да. Хорошо. Как похоже на мой телефонный звонок. Но это не телефонный звонок. Это звонят в дверь. За пару лет я научился их различать. Мой телефон звонит вот так: дзызызыны. А дверь вот так: дзызызыны. Разница небольшая, в нюансах, но, если прислушаться, есть, причём колоссальная. Надо только прислушаться. Я прислушался. Да, звонят в дверь.

Что делать. Я встал и, не чувствуя вновь онемевших ног, шатко побрёл в коридор, где споткнулся о балансборд и, потеряв всякое равновесие, рухнул рядом со шкафом, как мешок удобрения. Было больно, но больше всего было – обидно: я решил прийти к человеку, спуститься к нему с высоты своих дум, кто бы он ни был, за чем бы он ни пришёл, но вот благодарность – я снова слился с полом и лежу на нём, поверженный, в таком унижительном положении. А ещё звонят...

– Иду, иду! – закричал я с пола.

Второй раз за день поднимают. Опираясь на шкаф, я кое-как заставил себя встать и, похрамывая, доковылять до двери. Я посмотрел в глазок и, немного замешкавшись, открыл. Мне не хотелось никого видеть, но вежливость во мне победила уroda. Манеры всегда портили мне жизнь. Будь я сволочью, жилось бы гораздо проще. На пороге стоял Андрей.

По его лицу трудно было сказать, рад он меня видеть или нет. Скорее, это он пытался понять по моему, насколько я рад или не рад его визиту, и, думаю, несложно было догадаться, что радость во мне напрочь отсутствовала. Но Андрей всё же улыбнулся:

– Старый пёс. Ты до двери доходишь уже, как старик, за целых две минуты.

– Ты засекал?

– Зачем засекал, если ты, старый пёс, чтобы дойти до двери...

– Ладно, ладно, не повторяйся.

Тут я подумал, что мог бы рассказать ему про редакцию, про то, что съездил в Гонолес, побывал на панихиде, там же лобызал главного редактора, и потом ещё многое чего можно было ему рассказать. Я тоже улыбнулся. Не всё же думать в голове. Нет, хорошо всё-таки, что зашёл. Я сказал, как бы убеждая самого себя:

– Хорошо, что зашёл, Андрюха!

– А по тебе не скажешь, – ответил Андрей, разуваясь.

– Это особенность моего лица. Оно чувствует подлецов даже сквозь двери.

– Если твоему лицу понадобится корректировка, мои мощные кулаки к твоим услугам.

Я посмотрел на кулаки Андрея. Они в самом деле были огромные, как у диктатора. Конечно, не у всех диктаторов огромные руки, их почти даже ни у кого нет, но у некоторых они всё же превышают какую-то определённую человеческую норму. Я смотрел на кулаки Андрея. Это всё, думал я, оттого, что пишет много. Он был первым среди моих друзей, кто выпустил книгу и кто сам себя пролоббировал в википедии. И кто печатался в газетах, которые никто не читает. Может, поэтому я и не читал ни одного его рассказа. Даже книг его читать не стал. Я поверил ему на слово, что тексты хороши, хотя знал, что, ничего не прочитав, ничего и не упускаю.

На кухне, пока кровь прилиwała к моим ногам, а я уже начинал чувствовать первые позывы нестерпимого зуда, мы разговорились. Андрей был чем-то подавлен.

– Три книги написал, а толку? Торчать в долбаном офисе, организовывать футбольные матчи – вот это феерия, правда? Работа мечты! Это что, нормально, что ли?

– Ну, многие писатели...

– Да, многие... Я знаю, что многие. Но я же не «многие». Я ненавижу футбол, так хуле мне там делать? Если так пойдёт и дальше, спрыгну с девятого этажа, спорим?

Он протянул мне огромную руку. Выгодный спор, подумал я. Если проиграю, ему ничего не достанется. Я с готовностью её пожал, но сразу же обвинил себя в легкомыслии. Андрей страдал от мимолётных приступов депрессий и таких же мимолётных маниакальных эпизодов. Во время последних он и успевал писать свои книги. А всё остальное время либо сидел в своём офисе, ненавидя работу, либо блуждал по городу, думая о ненавистной работе, либо спал и видел сны, где поджигает свой офис. Нельзя было с ним так, даже больного юмора ради.

– Ты же не будешь...

Андрей выдал из себя нервный смешок:

– Я похож на идиота?

– Только наполовину, – сказал я, продолжая остричь.

Наверное, на моём лице читалось, что вопрос его – риторический с положительным подразумеваемым ответом, безо всяких там «наполовину», поэтому он отчётливо выговорил:

– Не буду я прыгать, – и, подумав, тихо добавил: – Пока...

Я знал, что ему что-то от меня надо. Может, посодействовать в самоубийстве, может, успокоить душу его неприкайнную или ещё что. Я часто выслушивал его жалобы на несправедливость и тому подобное, но они всегда оказывались лишь прикрытием, аперитивом к чему-то более пикантному.

– Ты не про работу пришёл мне рассказывать, верно?

– Нет.

– Ну?

– Что ну? Бросила она меня, вот что.

Я разочарованно вздохнул.

– Разве не каждую неделю она тебя бросает?

– Каждую... Но на этот раз всплыла новая информация.

– Какая же?

– У неё есть... – он запнулся и виновато посмотрел мне в глаза, – другие...

– Другие? – переспросил я. Меня во все времена почему-то заводили шлюхи. В частности, те мои дамы, которые параллельно со мной спали и с другими, возбуждали меня больше всего. Мне казалось это непристойным и дурным, но я ничего не мог с собой поделать.

– Именно. Не другой. Другие.

– Сейчас, что ли? То есть одновременно, я имею в виду?

– И сейчас, и одновременно...

Я заложил руки за спину и важно заходил вокруг стола, как сыщик, напавший на след кровавого маньяка.

– Так или иначе, Андрюша, все бабы по-своему проститутки, – ничего более умного для сыщика в голову мне не лезло.

– Да, но... Вырубает то, что она сама мне об этом сказала. То есть не я где-то от кого-то узнал, не мне сообщил какой-нибудь там её приятель и так далее – сама в открытую всё выложила, понимаешь?

Я не понимал. Я никогда не понимал загадочное иррациональное поведение женщин.

– Понимаю, – соврал я, – отлично понимаю.

– Сказала, что в понедельник была с одним, во вторник – с третьим, а сегодня сказала, что вообще встретила свою любовь и уходит навсегда. Чтобы я о ней забыл. Отдала мне ключи от моей хаты, и ариведерчи. Представляешь?

Учитывая открывшиеся обстоятельства, было необычно видеть Андрея трезвым, но он логично парировал, что больше пить не может. К тому же врач ему не рекомендовал. С маниакальной депрессией выпивать было опасно для общества и для его собственной жизни, которой, скажем прямо, он не так уж дорожил.

Я начинал расстраиваться, потому что как я ему расскажу о своих успехах? О моей любви, о моих чувствах? Это будет край непристойности, если я его сейчас вот дослушаю, все его горести, и потом так: «Ты знаешь, а лично у меня сегодня был самый прекрасный день в году, и вот почему...» А дальше во всех красках описание сосков Кассиопеи, её лона, моего восхождения на литературный Олимп через гонолесскую редакцию... Я не грубиян, я так делать не стану. Поэтому я начал издавать:

– А знаешь, ездил я сегодня кое-куда на автобусе...

Но Андрей был слишком поглощён своим любовным несчастьем, поэтому перебил меня, даже не начав слушать:

– Ты правильно сказал: женщины – все такие. Но в особенности, скажу теперь тебе я, в особенности такие – главреды. Я это уже не в первый раз подмечаю.

«Главреды? Какие ещё главреды?» – подумал я.

– Да-да, главреды, – сказал он, словно читая мои мысли. – У них у всех – никаких абсолютно принципов. Всё по барабану. Вот я ей говорю: коктейль будешь? Она: буду. А шампанское, спрашиваю, будешь? Тоже, говорит, буду. Ну а водку-то ты будешь, допустим, спрашиваю я, совсем отчаявшись. Так она и от водки, говорит, что не откажется! Какие тут к чёрту принципы, если готова пить всё подряд? На уме только журнал и короткие, ни к чему не обязывающие интрижки.

– А я думал, ты не пьёшь... – задумчиво произнёс я.

– Не пью, а вот главредши – пьют без остановки.

Он раньше ничего такого мне о ней не сообщал. Да в общем-то я и не спрашивал, если уж на то пошло. Я тоже был поглощён – только своей нафантазированной гениальностью и собственной писаниной. И прежде, чем я успел спросить у него название журнала, он сам мне его назвал, и я побыстрее отошёл к окну, вперившись пустым взглядом в темневший двор и сжимая пальцами подоконник, чтобы не выдать своего волнения. Она. Точно она. Я ещё на всякий случай уточнил, в каком городе редакция и не кучерявые ли у неё волосы, а он сказал, нервно так и подло:

– Зачем тебе? Хочешь за ней приударить? Хи-хи-хи.

Это был его смех и моя боль: «Хи-хи-хи», – и мне было жаль самого себя, я ещё сильнее сжал подоконник и ещё больше вперился во тьму. Тварь. Похотливая тварь. Блудница. Искусительница. Блядь.

Как она могла? Из рассказов Андрея я знал, что встречались они последние полгода и что она изводила его постоянными расставаниями, но я никогда не вникал в детали. Мне было не до того. Я только смотрел, как Андрей всё больше хиреет и всё чаще упоминает, как бы в шутку, о девятом этаже, почему именно цифра девять его заводила, я не спрашивал и пытался хоть как-то его рассмешить. Я говорил что-нибудь вроде: «Помнишь, как мы пиздили сторожа на ночной стоянке?» Или: «Помнишь, как мы угнали каток, а потом два дня пытались словить глюки от цикарии?» Или: «Помнишь, как однажды ты сказал прохожему, что лучше перепелиных яиц могут быть только сами перепёлки?»

Ничто не помогало. Она уходила от него каждую среду, чтобы вернуться, измотанной и выпрошенной, в воскресенье. А он увядал и увядал. Сегодня он был совсем исхудалый, на нём не было лица, и среди его гнева я даже заметил искру смирения, что было хуже всего.

Да, но я-то не смирюсь! Она ходит по мужикам, как по тротуарной плитке, а сама извивается в моих объятиях под дождём, да так, что не поверить каждому её движению просто невозможно! И я её привёл – в собственные пенаты, показал кухню, вывел, как полагается, на балкон и бросил наконец на овечью шкуру, где не было до неё ещё ни одного женского тела, потому что шкуру я приобрёл только в мае, и с тех пор ни одна женщина у меня не появлялась, а теперь был почти август. Я охранял свою обитель от низкой социальной ответственности. Доохранялся, в общем.

35

Я заскрежетал зубами, но тут обнадеживающая мысль посетила меня, пробиваясь сквозь остальные, пасмурные и не столь обнадеживающие: он что-то сказал про «любовь»? что сегодня, то есть в среду, она встретила свою любовь? что уходит навсегда? Так он сказал? Точно, так и сказал. Так что же, до меня, может, это всё было баловство и шалость? Ведь каждому надо познать грани плотских утех с разными партнёрами. Иначе как она узнает, что вот здесь, на этом человеке, и нужно остановить свой выбор? Значит, уехала от меня и сказала Андрею: «Я нашла свою любовь. Извини?»

Как всё сложно... Я немного ослабил хватку: пальцы начинали болеть от напряжения, – и осмотрел двор. Было не так уж и темно. Было светлее, чем я думал. Ещё даже не зажглись фонари. Во сколько нынче темнеет? Что-то около восьми-девяти? Может быть. Вполне может быть. Я же говорил, летом так всегда: не успел проснуться, как снова надо идти спать... День прошёл, а я толком ничего и не сделал. Только что Гонолес... Я аккуратно заулыбался, так, чтобы Андрею не было видно. Пусть пока пьёт чай и забывается в своём горе.

– Сахар нужен? – спросил я.

– А ты сам как думаешь? Конечно нужен. Хотя что-то будет сладкое в моём дне. Как ты хлещешь этот цифир без ничего?

Я не понял, что он имел в виду: дно или всё-таки день.

– В зале на столике, – сказал я.

– Ты всё кухонное держишь в зале? – говорил Андрей, растворяясь сутулым скелетом неудачника в прихожей.

Я промолчал. Я улыбался во весь рот.

Да, так даже лучше. Если бы до меня у неё никого не было и она вдруг сказала, что нашла свою «любовь», – чего бы я тогда стоил? Стоил бы я тогда вообще чего-нибудь? Я просто бы пал первой жертвой неопытной акулы, по неискущённости решившей, будто любая пища – лучшая пища. Прошло бы время, и она бы научилась отличать скупое качество Китая от итальянского шика, умело приготовленное мясо от грубого шашлыка из бараньей печени, модерн, наконец, от ваби-саби. Теперь же всё указывало на то, что все эти стадии ей уже пройдены, а обучение выполнено неумелыми любовниками ещё до меня, поэта в прозе. Получалось, что до наших объятий она прошла всю палитру от ультрафиолета до инфракрасного и, наконец, выйдя за рамки спектра, обнаружила, что там – целый необъятный мир красы в моём лице, сочетающий в себе умеренный нарциссизм, рыжий цвет волос, остроумие, миндальную радужку глаз, умение достойно держать себя в постели и редкий, редчайший писательский талант. Она обвила меня своими ногами и чарами, вскружила мне голову, потому что не хотела больше отпустить, хотела пристать ко мне как банный лист. Выходило, что я – итальянский шик, настоящее мясо, ваби-саби. Иными словами, лучший. По всем статьям и параметрам.

Завтра же ей позвоню и объяснюсь. Расскажу про свою к ней любовь, она взаимна, хоть и не так бесшабашна, скорее выверена и точна, и признаюсь, что до самого последнего сомневался в её вкусе, сначала это были сканворд и гороскоп в её журнале, потом эти французские духи, наверное, что-то ещё, но больше сомнений не осталось совсем.

Андрей вернулся, как-то неодобрительно прокомментировал мою зелёную скакалку, из-за которой чуть не упал в зале, ссыпал оба пакетика в чашку и взял ложечку, чтобы размешать. Он медленно опустил её в чай и стал водить против часовой стрелки. Я сделал огорчённое лицо, повернулся к нему.

– Это чашка, стакан или кружка?

Не отрывая взгляда от тёмной жидкости напитка, этого страшного напитка, заставившего меня работать шесть дней не покладая рук и сегодня ещё не переставая думать, он ответил, что чашка.

– А ты мне ещё вот что скажи, – начал я задумчиво.

Андрей мельком взглянул на меня и, ничего интересного не увидев, опять устался в не-постижимые глубины своей, нет, моей чашки. Смирился, да. Его лицо было покойно. Вот-вот у него начнётся мания, я знаю. У него всегда так: приступ мировой печали, смирение перед неизбежным, восхождение на Эверест без кислородной маски. Тогда он забудет о Кассиопее, этой львице страсти и повиновения, и я смогу как положено взять её в оборот. Установить с ней вид наших отношений.

– У твоей этой подруги – как у неё с литературным вкусом?

– Честно? – Андрей всё размешивал сахар. – Вот то-то и оно, что не очень. Не знаю, как меня угораздило. Ты её журнал видел? Называется «Беспечный ездки Гонолеса». Она такую дрянь туда выбирает, что не каждый киоск отваживается его продавать, боясь общественного осуждения. Одно название чего стоит...

– Да? А мне вроде ничего, понравилось...

Андрей усмехнулся:

– Во-первых, не разочаровывай меня: я не думал, что ты такое читаешь. А во-вторых, ты, наверное, плохо читал. Дрянь дрянью, говорю же. И вообще странно, что ты его читал.

– В смысле? – нахмурился я, чувствуя приближающееся разоблачение. Мне всегда плохо удавалась ложь, только если я не врал себе.

– Ну это один из тех журналов, которые никто не читает.

У меня внутри всё опустилось.

– Как? Совсем никто?

– Ну, я иногда ещё читаю, если вдруг хочется побыстрее нырнуть в депрессняк. В последнем номере – видел гороскоп?

Я что-то проямлил невнятно.

– Там вот что про Водолеев было написано, я запомнил: «Во второй половине лета звёзды наделят вас естественным магнетизмом». Ты прикинь! Это они такое печатают в литературном якобы журнале. Беспечный, мать его, ездок, ну как же. Мне иногда её, если честно, даже жаль, Кассиопеюшку. И где мой, скажите, магнетизм? Чего это она ко мне не тянется?

Он говорил что-то ещё, я не слушал. С последней книгой, значит, всё понятно. Гроша она ломаного не стоит. Можно без сожаления спустить в канализацию. Что ж... Буду, в таком случае, ждать своей оранжевой печатной машинки. И уже на ней отстучу шедевр. А то – пусть публикуют или не публикуют, мне уже всё равно...

Мы ещё какое-то время поговорили, Андрей сказал, что ему пора: до утра нужно составить план футбольных матчей на следующий сезон и, если повезёт, написать какую-нибудь заметку о падении литературных нравов. Напоследок я посоветовал ему не прыгать с девятого этажа, если всё же надумает, так как он низок ростом и цифра девять негативно скажется на его карме. Ему гораздо больше подойдёт восьмой. Восьмого ему вполне хватит. Мой балкон к его услугам, 24/7. Он сказал, что примет к сведению, и ушёл. Он ушёл, а я остался. Один наедине со своими мыслями. Опять. Через пару минут, дождавшись, когда сторбленное тело Андрея скроется за углом здания, я зачем-то взял зонтик и вышел на улицу. Было сыро. Темнело, фонари до сих пор не горели.

36

Тепло разливалось щиплющей массой по бульварам, как бывает летом сразу после жаркого дня. Двор пустовал, это делало его притягательным. Мне всегда нравилось здесь ходить, когда не мешали люди. Погрузившись в думы, с сложенным зонтиком в руке, я пошёл по круговой дорожке вдоль кустов и невысоких деревьев. Я представлял, что прохожу круги ада, мне это казалось забавным и даже смешным, я иногда негромко смеялся, а потом вышел из двора и направился в парк Обрывистый, тот, что имени Ким Чен Ына.

Этот ублюдок ещё живой? Надеюсь, что нет, раз в его честь уже называют белорусские парки. Такой хороший парк, здесь растут отличные деревья, он зелен и всей своей сущностью девствен, а назван по инициативе какого-то одарённого умника в честь северокорейского диктатора, у которого тоже, наверное, были большие руки. Ирония, правда? Иронию жизнь нам подкидывает в режиме нон-стоп, ей никогда не становится это в тягость. Вот альпинист, заслуженный мастер спорта, брал все вершины мира, а намедни поскользнулся в ванной и головой – о чугун, пожалуйте! Или медик, всю свою сознательную жизнь спасавший чужих людей от витиеватых болезней, не смог спасти родную мать от обычного гриппа. Шумахер, ставший паралитиком после обыкновенного лыжного спуска. Доколе? Я сокрушался и стучал остриём зонтика по асфальту. Доколе это всё будет продолжаться? Зря они так обозвали парк, в общем. Даже нелепое и одинокое «обрывистый» звучало куда лучше. Буду впредь так его и называть, коротко и ясно – Обрывистым.

Мне было интересно, нападут на меня вор'оны или нет. Я никогда не прогуливался там вечером. С утра и днём они почти всегда вздымались ввысь, начинали истерично каркать, а потом пикировали всё ниже, проносясь над моей черепушкой и пытаясь меня запугать. Но я никогда не поддавался на их провокации. Я пытался посылать им сигналы добра и стоял на месте, как стоял. Наконец и они, и я устали от бессмысленной борьбы, и каждый шёл/летел в свою сторону. Я, как правило, куда-то к четвёртой ТЭЦ и кольцевой, они – куда-то в кроны деревьев.

Странное совпадение, но нападать подобным образом они стали около месяца назад, как раз когда я купил себе кожаную записную книжку с изображением на ней вороны, чтобы вести дневник и записывать всё то, что со мной происходит. До этого мне нравились вороны. Они были черны и загадочны. А теперь они мне не нравились. Их первое нападение в этот дневник я и записал. Ирония. Я их ненавижу.

Не так давно я сидел у фонтана и смотрел, как какие-то парни неумело катаются на полуразбитых скейтах. Подлетело несколько нервных ворон, они ходили вокруг да около, не предъявляя конкретно своих требований, но я догадался. Я достал из рюкзака банан (не солёный) и кинул им

кусочек. Они с жадностью на него набросились, и никто из них не стал меня прогонять и на меня каркать или ещё как-то выражать своё недовольство. Может, они из тех, вечно голодных, как студенты, и их просто нужно прикармливать?

Может, и так. Жаль только, я теперь не взял никакого банана. Но вдруг ночью они и не нападают? И не едят? А если нападают и едят – так всё-таки тогда жаль, что не взял. Как бы там ни было, ничего в моих руках, кроме зонтика, у меня не было. И надо было с этим смириться так же, как Андрей смирился со своим горем. Перетерпеть. Каково, однако, совпадение!

Или совпадение, или девица эта настолько популярна среди художников всех мастей и людей творческого склада ума, что прошла уже по всем рукам, и удивительно было наоборот: если бы мы с ней не встретились. В ностальгическом порыве мне хотелось, чтобы пошёл дождь. Я даже пару раз специально открывал для этого зонтик и напевал специальную песенку вуду, но дождь так и не начался. А я хотел, чтобы он пошёл. Как тогда. Мало ли. Вдруг вновь она возникнет из-за двери и скажет мне что-нибудь приятное.

Я шёл, погружаясь в думы и краем глаза наблюдая за окрестностями в поисках ворон. Как назло, даже вороны решили обделить меня в этот вечер вниманием. Было тихо. Редко по кольцевой проносились машины. Вдалеке ТЭЦ клубилась бархатным дымом. Но это был не тот дым. Тот дым вверх бы не поднимался, потому что он уже был бы на самом верху, так наверху, что выше уже просто некуда, и тогда, может быть, тогда отворилась бы церковная дверь...

Я силой запретил себе об этом думать, было сложно, но я запретил. Я два года медитирую на своём йога-коврике, течение мысли иногда мне подвластно. Запретил потому, что ещё не определился насчёт Кассиопеи я. Достояна ли она возникать в моей голове, где пространства меньше, чем нужно для всех моих великих мыслей и заветных мечт о не менее великом романе, или не достойна, а потому пусть себе и далее блудит по художественному элементу, выбирая паршивенькие тексты для публикаций. Я ещё не решил, но уже задумывался, что, возможно, стоило бы завтра ей позвонить, только не для того, чтобы назначить randevu или признаться, а чтобы сказать, нет, заявить, упрямо, сухо и почти односложно: «Я ещё подумаю на наш счёт», – а потом добавить, чтобы они снимали моё скромное произведение с печати. Я не достоин такой чести. Я долго спал после недельной работы, целый день и всю ночь, размышлял и вот надумал: роман мой недостойн вашего глянца со сканвордами, я, может так статья, недостойн тебя и твоих поцелуев, а шкуру тонкорунной овцы, не волнуйся, вышло тебе, если хочешь, первой же бандеролью в качестве утешительного приза или прощального подарка. Но я же ещё не решил. Да, не решил, поэтому не буду торопиться и сжигать мосты. Она может мне ещё понадобится.

Нужно всё как следует обмозговать. У меня есть ещё пару часов, а потом ещё несколько с утра. Всё так. В спешке и на эмоциях никогда не принимаются благородные решения. Надо остудить голову и отрешиться.

Главное – это то, к чему я сегодня пришёл: известность мне улыбается, но безразлична. Разве мог бы я иначе вот так вот прогуливаться? В спокойствии и гордом одиночестве? Неподступный, как юбка девственницы, и обаятельный в своей неспешной поступи? Для меня бы это была невозможная роскошь. Нет, то не жизнь, то мучение. Мне такого не хотелось. Пусть меня атакуют вороны, я буду изредка их из жалости и доброты кормить или растаптывать, будем с Андреем по вечерам обсуждать наши неудачи. И я не буду жаловаться. Так всем будет хорошо. Не нужна мне никакая известность.

Стой, так разве ж я жалуюсь? «Ты вечно жалуешься, как поц, не прошло ещё минуты, чтоб ты не жаловался, и, честно, я не уверена, как много ещё смогу это выдерживать». Я помотал головой, пытаюсь вытрясти оттуда этот хрип, это бляение, но оно становилось только громче. «Чего башкой трясешь? Ты, сукин сын, даже сейчас идёшь и жалуешься. Просто не замечаешь. А не замечаешь потому, что весь поглощён жалобой». – «Вот как?» – спросил я. «Да-да, именно. Именно так. Жалуешься – что не шаг, то жалоба. Вот, смотри». Я стал куда-то смотреть. «Да не туда, болван, смотри, не наружу. Внутрь зри, вглубь! Умеешь?» – «Умею», – соврал я. «Ты даже врать не умеешь...»

Я не смотрел вглубь, и внутрь я тоже не смотрел, как и вширь, и вузь. Мне уже было всё равно. Я смотрел себе под ноги, чтобы опять не споткнуться, и иногда – в сторону приближающегося парка, который источал темноту мистерии, сумрак предстоящей ночи, сгущавшейся в этом усохшем клочке пространства. Я слушал свой мягкий шаг. И вдруг я заговорил, неожиданно для нас обоих:

– Совесть, а, совесть? – сказал я вслух, громко и уверенно.

«Ну, что тебе, слезливый...»

И тут я остановился, ловким движением руки подхватил зонтик, развернул его к себе и остриём вонзил по самую бамбуковую рукоять его в совесть, так что та запищала, закорчилась, закричала, тоже вслух и матерясь, да таким трёхэтажным матом, что я сам про себя удивился: «Вот это да. Воистину неизвестен громадный потенциал человека...»

А она всё изворачивалась и визжала, уменьшалась и тонула, а я только сильнее вкручивал в неё острый зонтик и даже, кажется, специально, с такой мазохистской злостью пару раз его открыл, на что она окончательно завывала, стала умолять больше так не делать, стала пресмыкаться, но я открыл его тогда ещё несколько раз, в назидание всем народам прошлого, – она стала причитать, обещая, что больше не разинет рта, не будет лезть в интимные области моей жизни, что даст мне жить спокойно, а сама будет потихоньку поедать мои мозги, без этого никуда, и душу, но так, чтобы я не чувствовал и чтобы мне не было больно. Я не зря проходил курс переговоров с террористами, потому что из него мне стало известно, что с ними переговоры не ведутся. Я стал бешено открывать и закрывать зонтик, туда-сюда, слева направо и справа налево, а потом открывал его вдоль и по диагонали, и она стонала, стонала, пока стон её не стих в последних карминовых лучах заходящего солнца. Больше она меня не побеспокоит. Никогда и во веки веков. Загорелись фонари.

37

Как-то совсем быстро после этого, если не сказать мгновенно, я увидел себя дома. Обратный путь был как в бреду. Вот я иду вроде к парку, а сам тем временем приближаюсь к дому. Но ведь парк в другой стороне? Как такое возможно? «Это из разряда странного перемещения между овечьей шкурой и креслом, что ли?» – спрашивал я себя, но не находил ответа. Я только в небе искал ворон и смотрел, не горит ли в моих окнах свет. Свет горел. Разными цветами переливалась спальня – это включился светильник, который каждый вечер загорается примерно в девять ноль-ноль вечера и тухнет ровно около полуночи. Ещё была не полночь и давно, значит, пробило девять. Мне это нравилось – засыпать в искусственном северном сиянии.

Свет горел и в зале. А вот это интересно. Зачем он там горит? Я его всегда выключаю, когда ихожу. Да и включал ли я его сегодня? Наверное, всё-таки включал. Или Андрей включил, когда пошёл за сахаром. В конце концов я так и пришёл домой – по пути в парк и так до Обрывистого и не добравшись. Оставался, казалось, метр, вот я уже проходил беседку, в которой алкаши с первыми звуками дня выпивают не первую свою бутылку дешёвого пойла – я с ними часто разговаривал о том о сём, и они мне подробно рассказывали про свои удивительные жизни, это было интересно и увлекательно. Я, с утра пораньше пробегая мимо, мог на полчаса застрять в беседке, пока вороны готовились склевать мне макушку, стоило мне только переступить границу общественной улицы и парка. Алкаши были то добрыми, то злыми, то задиристыми и неводержанными, то покладистыми и шёлковыми, но каждый раз оставались интересными, невероятно интересными, кладёзем эмпирических познаний.

От них я, допустим, узнал, что на прошлой неделе в соседнем дворе осколком из соборного витража зарезали Витьку – за то, что тот ходил под руку с чужой барышней (я теперь, вспоминая этот рассказ, передёргивался и крестился). Я также был проинформирован, что жизнь тяжела, но прекрасна, особенно если это утро и в руках твоих – ещё не до конца выпитая бутылка. Исходя из своего прошлого опыта, я согласился. Ещё они мне рассказали, будто это не случайно, что они всегда ходят втроём. Меня не потрясло и это: я тоже всегда выпивал втроём, кроме тех случаев,

когда мы с братом соображали на двоих или когда я квасил в одно, что называется, рыло, – но я проявил уважение и поинтересовался, почему же. А сам про себя отметил: приятное ощущение, когда в тебе больше не признают бывшего алкоголика. Как, должно быть, расправилось моё лицо от старых морщин, что я теперь каждое утро сияю и даже в зеркало мне для этого смотреться обязательно.

Я вспомнил об этом и ещё о том, что буквально полдня назад какая-то вздорная женщина обозвала меня алкашом. Это заставило призадуматься. Ну, верно, из-за дождя. Я был мокр и ботинки мои были грязны – а кто ещё может в таком виде стоять на паперти перед самой службой панихиды? Да и сквозь этот неуместный водопад трудно было разглядеть мою достойную осанку и выправку настоящего мужчины, писателя с язвительным пером наперевес. Вот и назвала как назвала, и я на неё, пожалуй, не обижаюсь.

Они рассказали, что один человек пьёт, когда всё либо совсем хорошо, либо из рук вон плохо. Если хорошо – так пусть себе пьёт, никто ему не запрещает, и он никому не нужен, а если плохо – то одному пить уже тоскливо и неуместно, и тогда зовёт он второго, чтобы разделить свою тоску. Они начинают выпивать вдвоём, но грусть заразна, и вот уже через полчаса второму становится так плохо, что он выказывает желание надираться в одиночестве. А тем временем первому делается от выпитого так хорошо, что ему уже и не нужна никакая компания. И вот они думают расходиться, каждый в свою сторону, но гениальная мысль приходит кому-то в голову: а что, если позвать третьего, забрать у него все хорошие мысли, а все плохие – ему отдать, не жалея? Вот так образуется известная троица...

Это малая толика тех новых знаний, что были приобретены мной от этих товарищей во время утренних лекций в беседе. Я с грустью посмотрел на хрупкую деревянную конструкцию. Никого внутри не было, стояли одни пустые бутылки у лавочек. Среди недели забуддыги не такие от-важные, чтобы пить беспробудно. Я цокнул языком, повернулся к парку, сделал шаг – и вот я уже снова дома. Сажу в кресле и о чём-то думаю, но мыслей в голове столько, что думать по-прежнему никак не получается.

День прошёл – и слава богу. Только, казалось, почистил зубы – и что, опять чистить? Во всяком случае, это лучше геморроя... И повторил про себя: жаль всё-таки, что вороны и алкаши – утренние существа. Вечером публично не пьют и перед заходом не клюются. Или мне просто не повезло, и я не туда пошёл?

Тело ломило, ног я закономерно не чувствовал, я уже свыкся, но теперь ещё и не ощущал я своих рук. Все конечности замлели. Сколько дней я не спал? Три или пять? За сколько я написал своё сочинение? Если по семь тысяч слов, то... А если по девять с половиной – тогда сколько? От трёх до шести, точно, где-то в этом районе.

Как-то исподтишка и незаметно всё случилось. И книга, и приезд Андрея, и Кассиопея, и всё остальное. Вроде покорился лени – а столько произошло. Вот чудеса...

Сегодня я не ел, так зачем мне чистить зубы? Я художник, я так вижу. Для начала застелю помятую постель. Но это же надо сначала пройти эту комнату, потом всю прихожую, в которой я точно – точно! – опять грохнусь, и только затем войти в спальню и в этом всём разноцветье сиянья... Боже, как же я это ненавижу – стелить постель...

Знайте: я терпеть не могу звук белья, когда его трясут, чтобы расправить, и застилать постель тоже не перевариваю. Издевательство какое-то. Нельзя разве, чтобы всё было просто и минималистично? И желательно – в одном помещении? Поел, поспал, поспрал. Так ли уж это трудно реализовать в нынешних условиях прогресса?

Кто придумал расстояния между предметами, между чашкой этой и моим гением, между издательствами, редакциями и моей невообразимой опунцией, кто придумал три измерения материального, замкнутого на себе мира? Про время я вообще молчу – оно не поддаётся познанию: то бежит, то стоит на месте, как огорошенное, как его понять? Например, та же книга... Почему между ней и признанием тоже очень много расстояния, всякого разного и совершенно не нужного? Было бы неплохо ещё раз её перечитать. Я ни одну книгу ещё не читал с таким удовольствием, как

свою последнюю, хоть своё я, как помните, и не читаю, но в данном случае не удержался, чтобы не сделать исключение. Она вышла добротная, да, её не стыдно показать даже необразованному плебсу, которого только гороскопы и интересуют. Я посмотрел на столик – туда, где раньше лежал сахар. Сахара не было, зато был откуда-то там планшет. Я был уставшим, глаза закрывались, но всё-таки решил перечитать. Это займёт пару часов, до утра я справлюсь. Заодно сделаю какие-нибудь правки, отшлифую стиль. Я открыл планшет. Передо мной была белая, ослепительно, начисто белая страница с одним лишь многоточием вверху, мистически нависавшим над бледной пропастью: «...». А ниже было – пятьдесят тысяч ненапечатанных слов.

Текста, короче, не было. Ни одной буквы. Ни. Одной. Поганой. Буквы. Курсор выжидательно мигал в начале строчки, что-то мне подсказывая, какую-то страшную, ужасающую истину. Я почувствовал, как сводит желудок, как темнеет в широко открытых глазах. Что-то во мне оборвалось, я поблелел и вцепился в кресло, но потом вспомнил, что копию отправил в редакцию. «Вроде как...» – рассыпалось сомнение вибрациями по коже. Смешная шутка, подумал я. Очень смешно, прям обхохочешься. Должен был отправить, да. Так что даже если и не шутка это чьего-то больного воображения, волноваться в любом случае нечего. Я точно, твердил я себе, писал все эти дни и совершенно точно всё, что хотел, написал. Я же помню, как пил литры чая, как был вот ещё вчера четверг, а сегодня – уже середина следующей недели... Всё это было, я вам говорю. Точно, точно. Да, но тогда как же...

Я не стал дальше думать о пустом. Я повторил: «Копия есть в редакции». Должна быть. Да. Нечего морочить мне голову. Я сверкнул улыбкой и обмяк на своём троне. Зубы чистить не буду, стелить постель – тоже. Может, с гонорара нанять прислугу с тёмным оттенком кожи, чтобы и стелила за меня, и готовила? Андрей будет завидовать. Хотя на эти деньги нанять можно будет разве что дворовую псину – глотать кость и охранять дом от незваных мучеников. Но расстояния – это всё же издевательство. Когда будет прислуга, я зайду в мэрию, а ещё лучше – позвоню туда по стационарному телефону, не вставая с места, и предложу: пусть сделают так, чтобы всё было в одном помещении. Чтобы мне не приходилось вставать ради таких мелочей, как зубы и постель, и еда, и прочее. А потом пошлю их в известном коротком направлении по нездоровой привычке... Подумать только: это же каким надо быть садистом, чтобы...

В молчаливом стыде, гордости и возмущении, погружённый в мысли о расстояниях, беседке и алкоголиках, а также о том, во сколько всё-таки открылись магазины, как сильно я постарел и где взошло сегодня солнце, я так и утопаю в кресле. Закрываю глаза после всех этих бессонных дней и ночей и почти засыпаю каким-то тревожным, дёрганым сном, в котором ёрзаю на неудобной лавке и где все алкаши вместе с анёлами мне в один голос твердят, что не было этих дней, что ничего я не написал и, более того, не напишу больше, а потом... А потом как будто рассеивается сизая дымка, я что-то вижу, но не могу разобрать, что именно. То ли чей-то почерк и выведенные им имена «Серёга» и «Лёха», то ли чёрные точки под веками, или, может, это солнце встаёт на западе... Я пару раз моргаю, чтобы предметы стали чётче, чтобы очертания их стали резкими, как у дома напротив. Чтобы проснуться, если вдруг заснул. И вот силуэты проступают сквозь пелену, становятся различимы, как чернила на папирусной бумаге... Вечер.

Я бросаю зонтик на лужайку, громко матерюсь и медленно начинаю ползти к парку, над которым уже в блеклом свете Меркурия поднимается туман...

Андрей СЕН-СЕНЬКОВ

Стихотворение, на которое капнули вином

в берлинской картинной галерее
любимый вермеер

девушка на картине с огромным бокалом вина
закрывающим пол-лица

лена тоже любит из таких пить
это у нее разновидность очков
через них она видит запасные детальки запаха
видит забавно разноцветное моментальное кино
от пересекающихся внутри лучей солнца и луны

ножки бокалов
ножки маленького балета телевидения гдр

Walkman, я скучаю по тебе

самым страшным в восьмидесятые
была не ядерная угроза
и не спид
а зажеванная пленка аудиокассеты
особенно если это *BASF Ferro Extra IV*
или *Sony 50 Metal XRS*
а на нее записан новый альбом *U2*
Blondie
или *The Cure*

музыка начинала искажаться
останавливалась
наступала страшная тишина
ты осторожно вынимал кассету
со спутавшейся коричнево-физической
реально физической болью

Андрей Сен-Сеньков родился в 1968 году в Таджикистане. Окончил Ярославскую медицинскую Академию, живет в Москве. Автор более 20 книг стихов, малой прозы и визуальной поэзии, более десяти книг стихотворных переводов. Лауреат Премии Андрея Белого (2018). Специальный приз премии «Московский счет» (2019). Стихотворения переведены на 29 языков, книги избранных стихотворений выходили в США (премия американского ПЕН-клуба за лучшую переводную поэтическую книгу 2015 года), Сербии, Италии и Нидерландах, Беларуси, Великобритании и Латвии.

словно это твои руки изуродовало
внутри какого-то заводского станка

потом тебя лечили
первые поцелуи и уверенность
что в будущем будет много хорошего
много-много

компакт-дисков

Moona

на луне первый человек
его фамилия армстронг
чернокожий парень из нового орлеана
в юности учился играть на трубе
потом решил стать военным летчиком
потом отряд астронавтов
и вот он здесь
идет по пыльной лунной пластинке
оставляя неглубокие царапины

в это же время на сцене
играет белый джазовый музыкант
по имени нил

*в слове луна должно быть на одну букву больше
чтобы и у этого парня была фамилия армстронг*

Bohemian Rhapsody

собирая разбившийся градусник
и красивые непослушные шарики
вспоминал свои стихотворения написанные о ртути

ненаписанные тоже вспоминал
эти были лучше

потом искал симптомы отравления ртутью

не нашел

нашел симптомы отравления жизнью
эти были хуже

*говорят на меркурии есть кратер бетховена
с врожденной стеклянной музыкой
небьющегося сифилиса*

Сигарета до смерти секунды

очень жаль тех
кто делал красивые необычные пепельницы

сейчас они никому не нужны

в москве был такой клуб *консерва*
пластмассовые пепельницы там были
в виде вскрытых консервных банок

в пражском баре видел пепельницу в виде совочка
а где-то в швеции в форме носа с большими ноздрями

теперь наверно их выбросили

все

целиком

и не вспоминают
теми же странными серыми пепельными клеточками мозга
которыми вспоминают целиком жизнь
за секунду до смерти

Тусклый кружок астрономии

во времена динозавров у сатурна еще не было колец

детки стегозавров и мегалодонов смотрят в школьные телескопы
и не видят это чудо

веская причина даже не умереть а совсем вымереть

плюс нечеловеческий холод

а еще птерозавры искусственные спутники земли перестали летать
и интернет совсем пропал

еды все меньше

родители теряют работу

пьют

и бросают друг в друга
не падающие на землю

обручальные
кольца

Черный брелок в виде ночи

перед тем как лечь спать
берешь брелок к которому прикреплены несколько снов
этот про это этот тоже про это а этот про то
а этот всегда как будто прячется
словно ему самому стыдно присниться

перелистываешь их все как страницы
и выбираешь его

так в магазине
всегда берешь из стопки нижнюю книгу
потому что на нее меньше смотрели
и меньше
трогали

У ботаники есть номер телефона

Лене

хорошо когда у мамы болезнь альцгеймера

звонит через полчаса
после предыдущего звонка
и заново рассказывает о кленах
которые сегодня видела

листья за полчаса правда стали другого цвета
но красивые все равно

а шея наверно болит
два раза подряд запрокидывать голову в восемьдесят четыре тяжело

лишь бы через полчаса снова позвонила

пусть листья хоть какого цвета будут

Московская сука любовь

вспоминать фильм через двадцать лет
это как сидеть на тех местах
что против движения поезда

выхватывать отрывочные кадры за окном
заново выстраивать сюжет

те же кто едет на более удобных местах
уютно смотрят фильм в первый раз

но мы все пассажиры
мы все москвичи
у нас бесконечные собачьи бои мексика мы рычим
у всех течет слюна
даже у той блондинки болонки
мы знаем что любовь победит все
просто надо перегрызть всем остальным глотки

на перроне кинотеатра знаешь точно
что дома все они будут от боли и до боли
грызть свои маленькие розовые поезда
без колесиков

Эва Демарчик : рисуем слегка черного ангела

Гене Каневскому

если в восточной европе спрашивают *нужно ли рисовать ангелов?*
правильно отвечать *нужно*
но без голов чтобы они не походили на живых существ
или старайтесь чтобы они напоминали цветы

польша вспоминает
с раннего детства из меня делали певицу
потому что я была некрасивая
не было на земле цветка который я бы напоминала

пока солдаты под бомбами
вырезают от страха из консервных банок нательные кресты
некрасивая девочка поет
не гортанью не связками а пальцами рук сжимающих горло

в кракове во время засухи у водопоя
ангелы не нападают друг на друга
соблюдая закон водного перемирия
пьют чай с солью
а вместо хлеба у них
тонко нарезанный брюхатый пшеничный ёж

здесь в святого себастьяна воткнули кисточки и карандаши
потому что как сапер ошибся всего один раз

рисую родинки черных польских роялей
с деревянными взрывчиками

но плохие рифмы украшают песню
как хромые собаки украшают дороги

она так ни разу в жизни и не спела на бис
шепотом отказываясь

*давайте не будем рисовать этих ангелов
а отправимся не дожидаясь смерти
кататься на карусели с мадоннами*

Аверкамп, пять промилле

глухонемой художник
рисует шумных человечков
играющих во что-то похожее на хоккей
бьющих клюшками
по круглой теплой уже весенней капле

лед вытянуто скользко и предсказуемо
отрезает коньками облако от живого пушкинского музея
а когда растает
в его исцарапанной крови
обнаружат смертельный уровень дождя

Воспоминание о советской армии времен Ренессанса

микеланджело пишет в дневнике
проклятый торриджано сломал мне нос
он хрустнул как печенье
как крумири

трескающееся пополам словно кость руки плохо нарисованного персонажа
как пасте ди мелига

неловко крошащееся когда угощаешь некрасивого мальчика
как лингуэ ди гатто

запиваемые черным погоном сержантского вина
как савойарди

всегда покрывающееся кракелюрами от прикосновения
как фроллини

напоминающее старую кисточку которую ломаешь срывая злость

слава богу что не как скарпетта

сливочная мужская мышца теста итальянской сср

ЖИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО ЛЕТЧИКА ФРЭНКА ПАУЭРСА
ВО ВЛАДИМИРСКОМ ЦЕНТРАЛЕ

Предисловие

Существует множество публикаций, основанных на документальных источниках и на свидетельствах очевидцев, в которых рассказывается о драматической судьбе американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрс, который был сбит в 1960 году зенитной ракетой во время совершения им разведывательного полета над территорией Советского Союза.

Нам многое известно о его детских годах, проведенных в шахтерском городке штата Кентукки. Об успешной учебе в колледже Миллиган. О последующей службе в военной авиации США в звании старшего лейтенанта, где Фрэнк летал на истребителе-бомбардировщике F-84 Thunderjet.

Ни для кого не секрет и то, что в 1956 году Пауэрс перешел в звании капитана в ЦРУ, где начал осваивать самолет-разведчик U-2.

Подробно описано, как 1 мая 1960 году самолет Пауэрс в районе Свердловска был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса С-75 «Двина». Летчик, не пострадав, приземлился на парашюте на колхозном поле, где был немедленно арестован крестьянами.

После чего Пауэрс приговорили к лишению свободы сроком на десять лет. Однако провел в тюрьме города Владимира, именуемой Владимирским централом, он лишь два года. После чего был обменен на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Нам даже известно, что в февральскую лютую стужу при обмене, состоявшимся на мосту в Восточной Германии, на Фрэнке было добротное зимнее пальто с каракулевым воротником и пыжиковая шапка. Более того, в руках у него был чемодан с подарками. В то время как у Абеля буквально зуб на зуб не попадал, потому что американцы выдали ему на прощание плащик на рыбьем меху и картуз из тех, которыми пользуются заключенные южных штатов США.

Далее в многочисленных статьях и книгах подробно рассказывается о том, что происходило с Пауэрсом после его возвращения в США. Вплоть до крушения вертолета 1 августа 1977 года неподалеку от Лос-Анджелеса, который пилотировал 48-летний Фрэнк. Он погиб как герой, уводя падающий вертолет от детской площадки.

Однако абсолютно ничего неизвестно о тех двух годах, которые Пауэрс провел во Владимирском централе. Этот период жизни американского пилота покрыт мраком и неизвестностью.

Настоящая работа преследует вполне естественную цель гуманистического характера – проинформировать историческую реконструкцию двух лет, на протяжении которых Пауэрс в отсижке горемыкал, но лежавым ни разу не поклонился.

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмоскowie. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. Предыдущая публикация в «Волге» – рассказы (2020, № 9-10).

I

Американский пилот Фрэнк Пауэрс, он же – Гарри, попал во Владимирский централ, будучи горячим патриотом Соединенных Штатов Америки. А освободился спустя два года уже как человек, сомневающийся в ценностях западного образа жизни. Чему немало способствовали регулярные просмотры пропагандистских роликов, которые КГБ с большой производительностью выпускал для западной англоязычной аудитории.

Один ролик произвел на Гарри громадное впечатление. В нем молодая узбекская певица Эльмира Уразбаева исполняла песню «В Намангане яблоки зреют ароматные, на меня не смотришь ты, неприятно мне».

Фрэнк влюбился в Эльмиру. И требовал, чтобы ему во время каждого кинопросмотра прокручивали заветный ролик.

Фрэнк не только повесил фотографию Эльмиры в камере на самом почетном месте, но и добился, чтобы ему сообщили адрес Эльмиры Уразбаевой.

Они стали переписываться. Разумеется, при посредничестве переводчика, который дополнял прямые и незатейливые слова офицера ВВС, а затем и ЦРУ чувственными оборотами.

У Фрэнка создалось впечатление, что и Эльмира Уразбаева его полюбила.

Можно предположить, что эти девичьи первые чувства более чем устраивали КГБ, потому что их можно было использовать для вербовки Пауэрса.

Когда через два года Фрэнка решили выдворить в США, обменяв его на советского разведчика Абея, он категорически отказался, заявив, что намерен остаться в Советском Союзе, чтобы создать крепкую семью с Эльмирой Уразбаевой.

Однако его насильно выпихнули из страны на Глиниском мосту.

Фрэнк, не имея связи с любимой, тосковал в разлуке.

Эльмира Уразбаева, несомненно, тосковала тоже.

И в 1991 году, когда наконец-то появилась возможность, она эмигрировала в США, взяв псевдоним Элли Мирра.

Однако встретиться с возлюбленным ей было не суждено – Фрэнка уже четырнадцать лет не было в живых. Подлые агенты ЦРУ подстроили крушение вертолета, который пилотировал бывший патриот США, который утратил политическую благонадежность.

2

Как только американский самолет-разведчик U-2 1 мая 1960 года сбили под Свердловском, его пилота Фрэнка Пауэрса немедленно доставили спецрейсом в КГБ, где в секретном кабинете сразу же приступили к допросу.

Главный вопрос состоял в том, что Пауэрс успел разглядеть в свою оптическую аппаратуру с рекордно высоким разрешением.

– О, – ответил Фрэнк, потирая ушибленный в результате неудачного приземления локоть, – что я увидеть, то поверг меня в глубокий шок. Я понимаю, что ЮэСэСА – странное государство, достигший технологической высоты неведомый цивилизованным людям способ.

И он чистосердечно рассказал, как на экране секретной оптической системы видел длинные очереди за колбасой и другими продуктами первой необходимости.

Видел очень много пьяных, которые перед тем, как опьянеть, пьют виски прямо из бутылки без специального стакана со льдом.

Видел, как в одном (тут Фрэнк очень долго подбирал слово) ватерклозете с разрушенной крышей люди пользуются не туалетной бумагой, а обрывками газет.

Видел, как в полях стоит очень много поломанных тракторов и комбайнов, которые, очевидно, делают из рук вон плохо. А вместо тракторов и комбайнов работают молодые люди, как догадался Пауэрс, студенты.

Видел, как вместо того, чтобы работать, огромные толпы людей ходят по улицам с флагами и плакатами.

Видел, как бедно и неказисто одеты люди. Как мало у них автомобилей.

Видел, что в российских селах не танцуют твист.

Протокол этого допроса был немедленно строго засекречен и сдан в сверхсекретный архив.

А с Фрэнка Пауэрса взяли подписку о неразглашении.

И, действительно, Пауэрс, вернувшись в США, не стал рассказывать о шокирующем быте, который окружает несокрушимого советского человека.

Фрэнк оказался гораздо порядочнее французского певца Ива Монтана, который, вернувшись с гастролей из Москвы, устроил в Париже глумливую выставку нижнего белья, которое вынуждены носить несокрушимые советские женщины.

Да, военные летчики куда благороднее гнилой творческой интеллигенции. Правда, порой им приходится убивать большое количество людей. Но, во всяком случае, делают это они прямо и честно, а не подло, не исподтишка.

3

Американский летчик Фрэнк Пауэрс, он же – Гарри, чей самолет U-2 был сбит над Свердловском ракетой ЗРК С-75 «Двина», отбывал наказание за шпионаж во Владимирском центре.

Через неделю после «новоселья» Пауэрса посетил в тюрьме посол США в СССР Льюэллин Топмсон-младший. Он пришел в ужас от того, в каких нечеловеческих условиях находится американский гражданин. Посол, вернувшись в Москву, немедленно встретился с министром иностранных дел СССР Андреем Андреевичем Громыко и в жесткой ультимативной форме потребовал существенного улучшения условий содержания в тюрьме американского гражданина Фрэнка Пауэрса. В противном случае, пригрозил он, мы взорвем в космосе водородную бомбу.

(Отметим в скобках, что американцы действительно взорвали в 1962 году на низкой орбите заряд мощностью 1,4 мегатонны. Правда, с непонятной целью, поскольку к тому моменту Пауэрса уже обменяли на Абея.)

В результате Фрэнк был перемещен в трехкомнатную камеру, в которой были установлены все бытовые агрегаты, которыми пользовались рядовые американцы – стиральная машина, то-стер, кофемолка, кофеварка, радиоприемник FM-диапазона и т.д.

В одной из этих комнат был устроен тренажерный зал с соответствующими гимнастическими снарядами, включая электрическую беговую дорожку.

Существенно было улучшено и питание. На обед он ел преимущественно плов, поскольку это было национальное блюдо его возлюбленной Эльмиры Уразбаевой. А по утрам Фрэнк пристрастился к омлету. Пристрастился до такой степени, что это стало почти зависимостью.

Вернувшись в США, Фрэнк потребовал, чтобы жена каждое утро готовила ему омлет. Но из каких ингредиентов он состоит и как его надо готовить бывший заключенный Владимирского центра ничего внятного сказать не мог. Только выписывал руками в воздухе замысловатые фигуры и повторял «Вандефул!».

Через неделю проб и ошибок жена не смогла добиться желанного результата. Отношения в семье обострились, дело шло к разводу.

И тогда жена Фрэнка Пауэрса, умная женщина, съездила на Брайтон-Бич, где и постигла премудрости изготовления омлета.

Случись эта история сейчас, феминистки, несомненно, линчевали бы прославленного пилота самолета U-2. Но в то время они еще не были так сильны и ужасны, как сейчас.

4

Фрэнк Пауэрс, он же Гарри, был чемпионом по армреслингу среди заключенных Владимирского централа.

Однако никакой его заслуги в том не было. Как только он поступил на службу в ЦРУ, ему немедленно сделали традиционную для этого ведомства операцию – вживили в локтевой и плечевой суставы по сервоприводу с гидравлическим цилиндром с управлением от импульсов головного мозга. А мозг у Фрэнка был будь здоров какой мощный.

В семейном архиве Фрэнка Пауэrsa хранится соответствующая грамота.

5

В 1961 году студия документальных фильмов сняла фильм об американском летчике Фрэнке Пауэрс, отбывавшем заключение во Владимирском централье. Для усиления художественного образа «летчик, помещенный в клетку» в персональной камере Пауэrsa установили клетку со щеголом.

К сожалению, фильм так и не вышел на экраны. Хрущев, посмотрев фильм, заявил, что это идеологическая диверсия, подкоп под фундамент развитого социализма. Лента была уничтожена.

Пауэрс и щегол крепко сдружились. И американский летчик, которого досрочно освободили из тюрьмы, решил не расставаться со своим другом.

Однако при обмене Пауэrsa на Глиническом мосту на советского разведчика Абея клетку со щеголом отобрали, заявив, что это социалистическая собственность.

С этого момента жизнь Пауэrsa пошла наперекосяк. И спустя 15 лет он погиб при крушении вертолета.

Щегол прожил еще меньше. Тоскуя по другу, он умер через три дня от разрыва сердца.

6

Американский пилот Фрэнк Пауэрс, он же Гарри, сбитый под Свердловском и отбывавший заключение во Владимирском централье, оставил по себе добрую память в Советском Союзе. И не только среди заключенных и надсмотрщиков тюрьмы, но и в одном женском сердце.

Это было тогда, когда Фрэнк еще не успел влюбиться в узбекскую певицу Эльмиру Уразбаеву.

Однажды в его комфортабельную трехкомнатную камеру вошла медсестра Наташа, чтобы сделать американскому летчику прививку от сибирского энцефалита.

В камере приглушенно горел свет, Элвис Пресли негромко, но необычайно чувственно пел о любви. Наташа была дивно хороша. Гарри являл собой образец настоящего мужчины.

В момент, когда девичья рука со шприцем прикоснулась к стальному телу пилота, между телами проскочила сильная искра.

И камера наполнилась запахом озона.

И они совершили необдуманный поступок.

В результате чего у Наташи через девять месяцев родился сын – Герман Фрэнкович Виноградов.

К сожалению, Пауэрсу не удалось увидеть сына ни разу в жизни. Но он знал о его существовании из писем Наташи, которые заканчивались не такими, казалось бы, естественными словами, как «люблю, скучаю», а штампом «Проверено КГБ».

Фрэнк старался принять посильное участие в воспитании и содержании сына. Но это было невозможно, потому что американские деньги в то время нельзя было пересылать советским гражданам. А советские в США взять было негде. Многократно он отправлял посылки с жевательной резинкой и сборниками комиксов, но они неизменно изымались агентами КГБ как подрывающие устои социалистического общежития.

Наташа с самых младых лет рассказывала сыну об отце, формируя в детском сознании образ героя. И маленький Герман поклялся стать, как и отец, героическим летчиком.

И свою клятву он сдержал.

Окончил Качинское летное училище истребительной авиации. И отправился добровольцем на Афганскую войну. Просил, чтобы ему дали скоростной высотный истребитель-перехватчик МиГ-31. Но в Афганистане более полезны были штурмовики Су-25, совершающие полет на небольших высотах с дозвуковой скоростью. Однако и на штурмовике Герман Виноградов умудрился летать быстрее звука, отвинтив на двигателях ограничительные клапана.

За рейд в логово душманов, в результате которого было разнесено в щепки крупное соединение террористов, Герману Фрэнковичу Виноградову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Если бы Пауэрс был на тот момент жив, то он мог бы по праву гордиться своим сыном.

7

Заключенные Владимирского централа вначале с большой настороженностью отнеслись к американскому летчику Фрэнку Пауэрсу. Подозревали, что от американца ждать добра не приходится. Потому что, как писали в газетах и говорили по радио, все они поголовно милитаристы и угнетатели народов, борющихся за освобождение от колониального ига. К тому же и куклуксклановцы через одного.

Однако вскоре мнение русских воров к Фрэнку переменялось. В нем разглядели человека благородного по воровским меркам. Перед охранниками не заискивал и не гнул спину, добившись уважительного к себе отношения. Мог постоять за себя не только при помощи зычного голоса и твердого и острого, как лезвие финки, взгляда, но и за счет владения приемами джиу-джитсу, чему обучают в ВВС США. Был не жаден, даже щедр. Постоянно подкармливал заключенных шоколадом, сырокопченой колбасой, соленой кетой, тамбовским салом, всем, что ему доставляли в камеру по договору между КГБ и ЦРУ.

Заклученным это нравилось.

Но не только и не столько этим он снискал уважение русских воров. Фрэнк Пауэрс был речист. Усадив вокруг себя русских воров, американец вдохновенно рассказывал им о том, как прекрасен полет на самолете U-2 на высоте двадцати тысяч метров. Куда не в состоянии подняться никакой другой самолет мира. И ты летишь, свободный, как орел в чистом небе, ощущая, что ты и самолет – единое целое, что ты сросся с ним не сердцем даже, а помыслами и чаяньями. И звук двигателя циркулирует в твоей кровеносной системе...

Русские воры сидели и зачарованно слушали.

Рассказывал он и о родном Чикаго, где провел свое босоное детство. Где все еще прекрасно помнили Аль Капоне, а девушки, через одну, носили на груди медальоны с его портретом. И про то, как до сих пор в темных переулках нередко разговаривают расторопные кольты.

Рассказывал и о своей невесте, которой придется ждать своего милого друга, которого подстрелила русская ракета, долгих десять лет. Говорил, какие у нее пышные волосы, пахнущие манго, какие у нее бездонные глаза, до краев наполненные близким счастьем, какие у нее нежные пальцы...

Тут обычно кто-нибудь из молодых и глупых воров добавлял: «когда расстегивают ширинку», но его немедленно пресекали авторитетные воры, знающие толк в прекрасном.

Надо сказать, что и Фрэнк проникся уважением к русским вора. Но вот за счет каких их качеств – о том история умалчивает.

8

Американский летчик Фрэнк Пауэрс, он же Гарри, прекрасно разбирался не только в пилотировании самолетов, но и в конструкции летательных аппаратов.

Во время войны в Корее, когда советские пилоты уничтожили в воздушных боях все американские истребители, он за три дня переделал бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress в истребитель Lockheed F-80 Shooting Star. Получилось настолько хорошо, что инженеры компании Lockheed наградили его именными часами с форсажной камерой.

Свой конструкторский дар Гарри в полной мере проявил во время отбывания заключения во Владимирском центре.

Получив по секретным воровским каналам подробное описание бензопилы «Дружба», сопровождаемое эскизными набросками, он уселся за работу.

Тюрьма три дня соблюдала режим полной тишины, чтобы не помешать мыслительному процессу американского друга русских воров. Воры ходили на цыпочках, не кашляли, не скребли ложками миски во время обеда. Даже «наседка», когда ему всадили в сердце заточку, умер молча, не издав ни единого стога.

На четвертый день Пауэрс провел презентацию винтокрылого летательного аппарата, который изготавливается из двух бензопил «Дружба». Разумеется, опытный образец представлен не был по вполне понятным причинам. Русские воры сгрудились вокруг макета, слепленного из хлебного мякиша, и одобритительно цокали языками и повторяли: ЯХШИ, ЯХШИ, ЗУРКУ, ЗУРКУ!

Через некоторое время чертежи вертолета по секретной воровской почте переправили на одну из сибирских зон, специализирующуюся на лесоповале.

Через месяц вертолет был готов.

Им воспользовался самый главный заключенный.

Он летел над зеленым морем тайги и в восторге, переполнявшем его душу, кричал: ФРИДОМ, ФРИДОМ!

Руководство исправительных учреждений сделало правильные выводы и приняло верное решение: из сибирских зон, специализирующихся на лесоповале, были изъяты все бензопилы «Дружба» и заменены на двуручные пилы. Без корректирования плана по лесозаготовкам.

9

Когда американский летчик Фрэнк Пауэрс, он же – Гарри, находился в заключении во Владимирском центре, ему ежедневно приходило более сотни писем с необъятных просторов Советского Союза. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей ему писали советские девушки, признаваясь в нежных чувствах, которые они питают к мужественному американскому герою.

Эмоциональная насыщенность этих писем имела широкий спектр. От целомудренного до плотского, где эротика зачастую преодолевала черту порнографии. В письма непременно были вложены фотографии девушек, опять же разной степени раскрепощенности, а то и разнузданности.

И все девушки помимо признаний в любви предлагали летчику Фрэнку руку и сердце. В том смысле, что они были бы безмерно счастливы создать с красавчиком Гарри крепкую советскую семью. А уж они в грязь лицом не ударят – будут верными и любящими женами, а когда пойдут дети, то и матерями самого высокого пошиба.

Во многих письмах содержалась информация рекламного характера. Девушки писали, как они прекрасно готовят борщи, плов, салат оливье, какая у них замечательная получается вишневая наливочка, как они могут прекрасно выращивать кур и гусей, как тщательно стирают белье и полощут его в проруби и все такое прочее, что является фундаментом крепкой советской семьи.

Разумеется, восхваляли они в письмах и свою уникальную сексуальность.

Американский летчик Фрэнк Пауэрс, будучи человеком порядочным, прочитывал каждое письмо. Но неизменно отвечал, что у него в Северной Каролине есть невеста, которая преданно дожидается его освобождения из тюрьмы.

Однако это не останавливало поток писем.

В конце концов Фрэнк добился, чтобы в радиопередаче «В рабочий полдень», перед тем как включить песню «Нежность» в исполнении Людмилы Зыкиной, диктор зачитал следующий текст: «Американский летчик Фрэнк Пауэрс шлет привет из Владимирского централа в далекую Северную Каролину своей невесте Дафнии. И поздравляет ее с Днем благодарения».

Но и это не остудило пыл заочных возлюбленных Пауэрса.

Впоследствии, выйдя замуж, они начали в массовом порядке называть родившихся мальчиков Фрэнками и Гарри, а девочек Дафниями. Но в загсы поступило распоряжение переименовывать Гарри в Германов в честь космонавта Германа Титова, а Дафний – в Наташ.

Ну а маленьких Фрэнков и вовсе переименовывали в Никит – в честь красного премьер-министра Никиты Сергеевича Хрущева.

ГО

Во Владимирском центре, где отбывал наказание за безвизовое проникновение на территорию Советского Союза воздушным путем американский пилот Фрэнк Пауэрс, он же Гарри, решили устроить силами заключенных спектакль ко Дню Великой Октябрьской социалистической революции.

Вполне понятно, что в воспитательных целях в труппу включили и Фрэнка, обладавшего артистической внешностью.

Пьеса, оттолкнувшись от реальных исторических событий, происшедших в Петрограде осенью 1917 года, в финальной части должна была завершиться Всемирной революцией со взятием цитадели мирового капитализма – вашингтонского Белого дома. Охранять Белый дом, разумеется, должен был Фрэнк Пауэрс в обличье собирательного образа Дяди Сэма, вобравшего в себя все самое гадкое.

Труппа репетировала целый месяц. И на главном прогоне артисты столь блеснули коллективным сценическим мастерством, что даже вышибли скупую слезу у начальника Владимирского централа.

И, наконец, состоялась премьера. После которой предполагалось направить труппу с гастролями по многочисленным советским тюрьмам и колониям.

Вначале все шло по накатанным рельсам. Революционные матросы и солдаты, повинуюсь воле Ленина, брали в Петербурге всё подряд – почту, телеграф, телефон, вокзалы. Но более всего, разумеется, их интересовали банки, как и было прописано в пьесе.

Когда в Российской империи все было взято и приспособлено под нужды революционных классов, солдаты и матросы отправились через океан на крейсере «Аврора» к американским берегам. То есть в цитадель.

А Фрэнк Пауэрс, то есть Дядя Сэм, в это время сидел на крылечке Белого дома, смастеренного из фанеры. На нем был цилиндр, смокинг и лакированные туфли. Фрэнк важно курил сигару и беспрерывно щелкал бичом, понукая лучше трудиться негров, которые таскали по сцене взад-вперед мешки с опилками.

Наконец крейсер, на котором в океане беспрерывно пели революционные песни, подплыл к берегам Америки. И матросы с солдатами начали приближаться к фанерному Белому дому, который должен был чисто символически защищать Фрэнк.

И тут спектакль пошел вразрез с намерениями драматурга и режиссера. В душе американского пилота проснулись какие-то совершенно зверские патриотические чувства. И он яростно накинулся на матросов и солдат не с кулаками даже, а с приемами джиу-джитсу, которыми в совершенстве овладел в Центральном разведывательном управлении США.

Наступающие дрогнули и начали отступать.

По залу прокатился ропот.

И вот уже первый ряд карабкается на сцену, чтобы восторжествовала идея Всемирной революции. А также чтобы поставить на место этого выскочку, которого приютила у себя советская страна, а он решил отплатить ей черной неблагодарностью.

Но тщетно!

Озверевший Фрэнк управился и с этими, орудуя мечом, которую отломал от крейсера.

Народ на сцене постоянно прибывал. И вскоре практически все зрители приняли участие в захватывающем спектакле.

Фрэнк, у которого из рассеченной брови обильно текла кровь на белоснежную манишку, мужественно держал оборону...

Точку в этом грандиозном побоище поставили охранники с овчарками, которые в конце концов примирили два мира – социализма и капитализма.

Уставшие, но довольные, артисты вышли на поклон.

Все по-прежнему были друзьями. Как это принято в театре, когда после окончания спектакля на авансцену выходят, обнявшись, Гамлет и Клавдий.

После премьеры состоялось торжественное распивание чифиря.

Однако о гастролях по вполне понятной причине пришлось забыть.

В заключение необходимо сказать, что начальник Владимирского центра из столь неоднозначного финала спектакля сумел извлечь пользу, педагогическую. Он регулярно внушал обитавшим в центре ворам: «Если бы вы, сукины дети, любили свою социалистическую родину так же, как любит свою говенную капиталистическую наш общий друг Фрэнк, то у нас давно был бы уже коммунизм».

Сукины дети почтительно выслушивали начальника Владимирского центра, но оставались при своем мнении.

II

Перед роковым полетом на разведывательном самолете U-2, который для Фрэнка, а также Гарри, Пауэрс завершился во Владимирском центре, доблестного пилота для консультации пригласил сам шеф ЦРУ Аллен Даллес.

Фрэнк вошел в кабинет, по-военному чеканя шаг.

Даллес, сидел в кресле, закинув на стол со сверхсекретными документами ноги в пятисотдолларовых ботинках, попыхивал трубкой и отхлебывал из стакана, в котором позвякивали льдинки, виски Jack Daniel's.

Фрэнк открыл рот, чтобы громогласно, по-военному, отпарпортовать.

Даллес поморщился от эдакой солдафонщины.

– Брось, Фрэнки, сынок, расслабься, – сказал Даллес. – Хлеби лучше нашего, родного. В далекой России таким днем с огнем не сыщешь, как говорят русские.

После чего Даллес рассказал, что в уральском городе Свердловске молодой перспективный ученый Геннадий Месяц работает над созданием ЭМИ-генератора, действие которого основано на SOS-эффекте. И Пауэрс должен полетать над Свердловском, обнаружить при помощи приборов наличие генератора, зафиксировать его характеристики. А главное – выяснить точные координаты его нахождения, чтобы можно было в эту точку направить межконтинентальную баллистическую ракету.

На прощание Даллес сказал: «Сынок, великая страна доверяет тебе важнейшую миссию, которую ты должен исполнить ради процветания великой Америки!»

И дал на дорожку непечатую бутылку кукурузного пойла.

Через день Фрэнк поднял в воздух свой выдавший виды высотный самолет и взял курс на далекий русский город Свердловск, который был обведен на бортовой карте красным карандашом.

Все складывалось самым наилучшим образом. Да и погода тому способствовала: светило солнышко, дул легкий попутный ветерок, редкие пушистые облака напоминали Фрэнку о невесте Дафнии, ждавшей в Северной Каролине его возвращения, прильнув к радиоприемнику, по которому должны были сообщить о возвращении на родину героя.

Герою полагалось очень серьезное вознаграждение. И они с Дафнией уже предварительно прикидывали, на что потратят эти деньги. Разумеется, сразу же купили бы ранчо. Два «кадиллака» последней модели и один «форд» для поездок по распродажам. Ну, и по мелочам – по телевизору в каждую комнату, стиральную машину, турбо-пылесос, кухонный комбайн с двадцатью пятью различными насадками...

В автопилоте начала мигать желтая лампочка, сигнализируя о приближении Свердловска. И, действительно, внизу начали появляться определенные признаки наличия людей – какие-то маленькие домики, отстоящие друг от друга на три-пять километров. Потом плотность построек непонятного назначения возросла. Пауэрс понял, что это зона ПВО, поскольку разглядел направленные в небо хищные остроносые ракетные морды.

Однако Пауэрс был недоступен для этих ракет. Его самолет парил в небе столь высоко, что ни одна русская радиолокационная станция не могла его обнаружить. Да и ни одна русская ракета не была способна взлететь столь высоко.

И Фрэнк начал спокойно барражировать над кварталами Свердловска, посматривая на индикаторную панель обнаружителя ЭМИ-генератора. Но создавалось ощущение, что он спит. Лишь в самом низу, справа чуть теплилась розовая лампочка READY.

И вдруг на самой окраине Свердловска, где сгруппировались невысокие корпуса явно не жилищной застройки, определитель начал подавать звуковые и световые сигналы, сообщая о том, что ЭМИ-генератор обнаружен. И что приборы начали производить анализ излучаемого им электромагнитного спектра, фиксируя амплитуду, частоты, фазовые смещения.

Ну, ранчо у меня уже в кармане, подумал Фрэнк, он же Гарри.

Но вдруг тело пилота начали колоть тысячи невидимых иголок.

Сучий SOS-эффект, понял Фрэнк Пауэрс.

И тут же погасла приборная панель. Не работал не только обнаружитель ЭМИ-генератора, но и все прочие приборы – спидометр, индикатор сцепления и уровня бензина, давления в шинах и зарядки свинцово-кислотного аккумулятора.

Замолчал двигатель. И самолет, не реагируя на органы управления, устремился к земле.

Фрэнку ничего не оставалось, кроме как сбросить фонарь и выпрыгнуть из безжизненного самолета, раскрыв парашют.

Вполне понятно, что исходя из того, что ЭМИ-генератор, созданный советским ученым Геннадием Месяцем, был строго засекречен, в газетах существенно исказили событие: «самолет американского стервятника Фрэнсиса Гэри Паурса в 8 часов 53 минуты по московскому времени сбита ракета зенитно-ракетного комплекса С-75 «Двина»».

Во-первых, Фрэнк не был стервятником. Он был добросердечным парнем, надежным и отзывчивым. Он хранил в своем сердце любовь к невесте Дафнии, а также к своей стране, хоть ее руководители и были подлыми людьми. Ведь, как сказал поэт Кушнер, времена не выбирают, в них живут и умирают. Абсолютно справедливо это и в отношении страны проживания и умирания.

Во-вторых, ЗРК С-75 не мог сбить самолет U-2, который находился на высоте двадцати четырех километров, по той простой причине, что максимальная высота перехвата этого комплекса

не превышает двадцати километров. Сбил самолет Фрэнка ЭМИ-генератор, разработанный молодым ученым Месяцем.

Когда после допросов на Лубянке Фрэнк оказался во Владимирском централье, то им овладело не подотчетное сознанию желание во что бы то ни стало повидать молодого ученого Геннадия Месяца. Посмотреть ему в глаза, узнать, почему в России рождаются столь блистательные ученые, которых в США нет. Поговорить, в конце концов, по душам.

Он изложил свою просьбу в письменном виде начальнику Владимирского централа. Тот, будучи человеком широко мыслящим, задумался – а можно ли из этого извлечь пользу для страны, для централа и для себя лично? Передал письменную просьбу в местное отделение КГБ. Те переслали ее на самый верх – в саму Москву.

В Москве рассудили это дело таким образом, что ученому Месяцу неплохо было бы вживую, а не из карикатур Кукрыниксов, посмотреть на матерого врага. Чтобы еще больше родину полюбил. Чтобы в 91-м году, на который на Лубянке строились планы по разрушению железного занавеса, ученый Месяц не перебежал на Запад.

Геннадий и Фрэнк встретились. И долго молча смотрели в глаза друг друга. После чего перешли к вербальному общению.

Геннадий увидел во Фрэнке не врага, а нормального парня, почти ровесника, одураченного американской пропагандой, а также кукурузным пойлом. Вот если перевести его на чистую водочку, думал Геннадий, глядишь, и человеком станет.

Фрэнк ощутил, что от Геннадия исходит какая-то сила, с которой он на родине никогда не сталкивался. И понял Фрэнк, он же Гарри, что сила в правде, которая есть в этом парне и, несомненно, в тысячах и тысячах таких же парней, населяющих Советский Союз.

В конце концов молодой советский ученый и американский пилот договорились, что после отсидки Фрэнк останется в Советском Союзе и станет летчиком-испытателем. А невесту Дафнию ему привезут на подводной лодке агенты КГБ. И они будут семьями ходить в гости друг к другу.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Через два года Фрэнка подло выдворили из страны, обменяв его на русского шпиона Абея.

12

Когда американский пилот Фрэнк Пауэрс во Владимирском централье чистил зубы, всех охватывал ужас. И воры немедленно бросались врассыпную из умывальной комнаты. Хотя и было среди них изрядно людей отчаянных.

– Во, бля, ЦРУ! – качали они головами.

И страшно представить, если бы среди заключенных Владимирского централа оказался агент КГБ.

13

Во Владимирском централье обитало привидение. Обитало с незапамятных времен.

И это привидение очень досаждало заключенным. У них и без того сон чуткий и нервный, поскольку во сне их донимают угрызения совести по поводу совершенных преступлений. А тут бродит что-то бесплотное по коридорам, просачивается в камеры и страшно завывает. От чего заключенные вскакивают со своих шконок и пытаются привидению набить морду.

Однако кулаки проваливаются в пустоту. Заточки царапают стены, а порой и втыкаются в мягкие ткани заключенных, когда привидение пытается отметелить всей камерой.

Но привидению хоть бы хны. Бродит по ночам по Владимирскому централу и стонет о чем-то о своем, насущном.

И на заключенных ему совершенно наплевать. Хотя и само было когда-то заключенным. Отбывавшим наказание за воровство в особо крупных размерах. Сидел он, этот вор, сидел, да вдруг простудился и умер от сквозняка, дувшего через дырку в боку. Произошло это не столь уж и давно – в середине пятидесятых годов, как рассказывали заключенные, которые попали во Владимирский централ в начале пятидесятых.

Чего только не делали не только заключенные, но и администрация тюрьмы, чтобы избавиться от привидения. Сейчас бы с этой задачей справились легко. Притащили бы под уздцы поавторитетней, и он отслужил бы соответствующую службу. Тут бы и привидению конец. Ну, не совсем, конечно, конец, просто оно убралось бы туда, где ему и положено быть.

Но тогда религия была вне закона. Поэтому все сеансы экзорцизма опирались на сугубо материалистические методы. Мазали углы кислотами и насыпали разнообразные химические соли. Светили в темноту то ультрафиолетовыми, то инфракрасными лучами. Распространяли радиоволны сверхвысоких частот.

Но всё тщетно.

И тут начальник Владимирского централа решил прибегнуть к отчаянной попытке, которая могла сулить ему большие неприятности, – обратиться за помощью к американскому пилоту Фрэнку, он же Гарри, Пауэрсу. Поскольку американец обладал высочайшим интеллектом, ведь он знал назубок устройство своего самолета U-2. Больше таких во Владимирском центре не было.

Однако если бы и эта попытка оказалась безрезультатной, то начальника Владимирского централа могли обвинить в низкопоклонстве перед Западом. И посадить в одну камеру с Фрэнком Пауэрсом.

Долго Фрэнка уговаривать не пришлось. Привидение и ему изрядно осточертело. Поскольку мешало видеть во сне невесту Дафнию, которая дожидалась в Северной Каролине возвращения любимого на родину.

Фрэнк напряженно думал целые сутки.

А потом велел принести из тюремной библиотеки всего Шекспира, который там был.

Целую неделю Фрэнк читал Шекспира. И заключенные все это время, дабы не мешать работе мысли американского пилота, ходили на цыпочках.

Наконец он вызвал к себе начальника Владимирского централа.

– Тут, – говорит Фрэнк начальнику Владимирского централа, – дело тонкое, семейное. Надо сюда доставить сына этого привидения. Приведение ему сообщит что-то крайне для него важное и успокоится. То есть навсегда скроется.

– Да как же я его доставлю? – изумился начальник Владимирского централа. – Сюда могут попадать только преступники.

– Ну, это не моя забота, – сказал Фрэнк и пошел умывать руки.

Однако начальник Владимирского централа нашел выход из этой непростой ситуации.

Отыскали сына, который работал на номерном заводе токарем, вытачивая детали для ракет, одной из которых сбили самолет Фрэнка. Сфабриковали дело о хищении разводных ключей. И дали сыну год тюремного заключения с отбыванием в особо строгих условиях.

И из зала суда – напрямик во Владимирский централ. Где сыну и объяснили, что от него требуется.

Через три дня ночью состоялось свидание сына и тени отца сына.

О чем они говорили, разумеется, никто ничего не узнал. Потому что начальник Владимирского централа пообещал выпустить кишки из всякого, кто спугнет привидение.

В общем, все сработало. После встречи с сыном привидение исчезло навсегда.

Все вздохнули с облегчением. Кроме сына, которому оставалось сидеть еще триста шестьдесят два дня.

Но настал день освобождения. Сына тепло провожали на волю всей тюрьмой. Ведь доброе дело какое сделал!

Сын, оказавшись на свободе, вернулся к своему токарному станку. Потому что ехать из Ивана в Тверь, где отец спрятал в тайнике, о котором и поведал, громадные деньги, не имело никакого смысла. Хотя на эти деньги и можно было бы раньше жить привольно и вольготно до конца жизни. Да еще детям и внукам осталось бы.

Шел 1962 год. А в 1961 году Никита Хрущев провел реформу, введя новые деньги. И, стало быть, старые можно было бы сжигать в топке парохода, который, шлепая по воде колесами, шел по Волге из Углича в Астрахань.

Однако сын, имя которого история до нас не донесла, внакладе не остался. Благодарные воры направили из Владимирского центра множество маляв своим коллегам, которые были на воле. И те буквально озолотили сына.

Он бросил свой родной номерной завод. И кинулся в омут разгульной жизни. Стал носить шикарные костюмы, жить в дорогих гостиницах Крыма и Черноморского побережья Кавказа, пить в ресторанах дорогие коньяки и закусывать их изысканными блюдами, тратиться на роскошных женщин сомнительного поведения.

В конце концов эта красивая жизнь вывела его на кривую дорожку. И через некоторое время он опять очутился во Владимирском центре. Но уже совершенно заслуженно.

Что же, угодив в трагедию Вильяма Шекспира, вряд ли стоит рассчитывать на хэппи энд.

14

Во время отбывания наказания во Владимирском центре американский пилот Фрэнк Пауэрс, он же Гарри, вступил в Коммунистическую партию Советского Союза.

Случилось это по пьянке – на День благодарения, который в 1960 году выпал на 24 ноября.

Фрэнк пригласил в свою просторную трехкомнатную камеру на торжественную вечеринку около полусотни самых закадычных друзей, с которыми успел сойтись на почве общности взглядов по самым разнообразным этическим вопросам.

Приготовил предварительно индейку. Распаковал коробку с бутылками кукурузного виски. Зажег свечи. И попрятал ножи во избежание непредсказуемого развития сюжета.

И, разумеется, объяснил гостям, которым были ведомы традиции только советских праздников, что в этот день положено благодарить друг друга.

Эта традиция ворами понравилась. И они начали благодарить друг друга, благодарить искренне, за то что кто-то у кого-то что-то не украл, а если и украл, то отдал по первому же требованию, что если и бил когда-то, то бил несильно, не сделав калекой, что не воткнул заточку в бок, не перерезал горло заточенной крышкой от консервов...

И так далее, и тому подобное.

И до того они в конце концов напились кукурузного виски, что начали благодарить советскую власть и Коммунистическую партию Советского Союза.

За то, что не пьют сейчас тошнотворную водку, запивая ее отдающим мочой пивом. Не закусывают килькой с хребтом гнилого посола. Не вздрагивают от каждого шороха на поминках поделника, опасаясь милицмейской облавы. Не трясутся в вонючих поездах в надежде украсть чемодан...

Благодарить за то, что советская власть и Коммунистическая партия Советского Союза поместила их во Владимирский централ, где тепло и сухо, где можно пить прекрасный кукурузный виски и закусывать фаршированной индейкой.

За то, что добрая советская власть и мудрая Коммунистическая партия Советского Союза сбила под Свердловском американский самолет, а его пилота Фрэнка, чудесного парня, друга всех воров Советского Союза, поместила во Владимирский централ, чтобы он поил воров кукурузным виски и кормил фаршированной индейкой. И все это так культурно, при свете свечей, без поножовщины и даже без сквернословия.

И от тех проникновенных слов Фрэнк Пауэрс, американский пилот, сильно возлюбил советскую власть и Коммунистическую партию Советского Союза. И спросил у воров: можно ли ему стать советским и вступить в Коммунистическую партию Советского Союза?

И ему ответили: что два пальца обоссать!

Среди приглашенных на вечеринку нашлись два коммуниста. Один – директор камвольного комбината, севший за растрату средств, выделенных на закупку технологического оборудования. Другой – начальник геологической партии, который во время экспедиции на Бодайбо продал старовеерам лаборантку в обмен на указание места залегания кимберлита.

И Фрэнка тут же, без бюрократических проволочек, без нелепого кандидатского стажа, единогласно приняли в Коммунистическую партию Советского Союза.

Заодно в нее вступили и остальные воры, собравшиеся на вечеринку по поводу национального американского капиталистического Дня благодарения. Вступили, поняв, что тут можно извлечь для себя изрядную выгоду.

На следующее утро Фрэнку, который плохо помнил окончание вечеринки, рассказали, что он теперь коммунист. И торжественно вручили партийный билет, который нарисовал матерый фальшивомонетчик.

С этого момента партийные собрания во Владимирском центре начали проходить регулярно – дважды в месяц.

Воры пили виски и рассказывали, как они будут бороться за переход от социализма к коммунизму, когда выйдут на свободу. Ведь коммунизм для них желанен, поскольку можно будет не воровать. То есть всё, абсолютно всё, будет как бы украдено автоматически у суровой и беспроблемной жизни. Бери украденное и пользуйся им для собственного удовольствия.

Фрэнк также обязался строить в Советском Союзе коммунизм, потому что, во-первых, такова партийная дисциплина. А во-вторых, слишком уж он прикипел душой к этой стране и к ее удивительным традициям.

Однако КГБ не дал ему этого, выдворив через два года из Советского Союза в обмен на русского разведчика Абеля.

А те пятьдесят русских воров, собравшихся на вечеринку по случаю Дня благодарения, действительно, выйдя из тюрьмы, остались верны идеалам, усвоенным во время партийных собраний, проходивших дважды в месяц во Владимирском центре. На воле они начали ожесточенно строить коммунизм.

А вот их дети не только отказались от заветов отцов, но и на хрен поломали социализм.

Что могут поломать дети детей, то есть внуки, и что они способны выстроить – то не приснится и в кошмарном сне на бетонном полу штрафного изолятора Владимирского центра.

15

12 апреля 1961 года Владимирский централ гудел словно растревоженный улей. Шутка ли – в космос улетел первый землянин! И им стал гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин!

С одной стороны, сердца воров переполняла гордость за торжество советской науки и техники. Они были искренне счастливы от мысли, что первопроходцем стал простой русский парень, улыбочивый лейтенант, которому сам черт не брат, который, не задумываясь, мог в огонь и в воду,

не дрогнув ни единым лицевым мускулом. Одним словом – орел, у которого, несомненно, на груди была татуировка в виде трех куполов и серпа с молотом.

С другой стороны, ворам было обидно, что другие вот аж в космос улетают, а они вынуждены тут, как суки какие, сидеть взаперти. Без права на полет.

Сердце американского пилота Фрэнка Пауэrsa, он же Гарри, также наполнилось счастьем. Но для него не имело ни малейшего значения то, что Гагарин – русский. Никакой ревности у Фрэнка, стопроцентного американца, это не вызывало. Важно было, что Гагарин – летчик. И Фрэнк – тоже летчик. И этот полет к звездам прославил всех летчиков планеты Земля! В том числе и французского летчика Экзюпери, который в мыслях тоже совершал межзвездные полеты.

Фрэнк так расчувствовался, что потребовал перо, бумагу... И немедленно написал стихотворение о подвиге Юрия Гагарина. Написал, находясь в то время под влиянием Лоуренса Ферлингетти.

Я ждал когда краснорожие вертухаи дадут промаха
я ждал когда цепь скажет в последний раз свое ДЗИНЬ
и своим обрывком вмажет в лоб Ньютона
и я ждал когда голубка скажет Ною:
брось чувак здесь даже на вершинах всё засрано
двигать чувак посудину надо гораздо выше
Я ждал
Я сегодня дождался
Стрелки дернулись и перепрыгнули на послезавтра
Я дождался
звездный человек шагает по промежуточной планете
с болтающейся оборванной пуповиной
про которую думают
что это шнурок
Гагарин хуяр!

Воры, конечно, заявили, что это никакое не стихотворение, потому что никакого склада в нем нет. Но тем не менее признали, что написано с чувством. Особенно их подкупило слово «хуяр», да еще и с восклицательным знаком.

Однако администрация Владимирского центра настояла на том, чтобы это слово было заменено на «ухарь» с проставленным на втором слоге ударением.

В десятилетие вседозволенности, то есть в девяностые годы прошлого столетия, стихотворение Фрэнка Пауэrsa было включено в книгу «Поэтическое творчество советских заключенных» без указания авторства. Точнее, было указано, что «слова народные». Что поставило литературоведов в крайне затруднительное положение, которое в десятые годы уже нового века было принято называть «когнитивным диссонансом».

16

Фрэнка Пауэrsa тепло провожали на волю всей тюрмой, всем Владимирским централье.

По этому случаю состоялась торжественная церемония, зародившаяся еще в конце XVIII, когда по высочайшему повелению Божиею поспешествующею милостию, Ея, Екатерины Второй, Императрицы и Самодержицы Всероссийской, Московской, Киевской, Владимирской, Новгородской, Царицы Казанской, Царицы Астраханской, Царицы Сибирской, Государыни Псковской и Великой Княгини Смоленской, Княгини Эстляндской, Лифляндской, Карельской, Тверской, Югорской, Пермской, Вятской, Болгарской и иных, Государыни и Великой Княгини Новгорода,

Черниговской, Рязанской, Ростовской, Ярославской, Белоозерской, Удорской, Обдорской, Кондийской и всей Северной страны Повелительницы и Государины Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей и иных наследной Государыни и Обладательницы и была построена тюрьма, над которой было не властно время.

Которая выстояла и во времена нашествия Наполеона, и в Гражданскую войну, и в Великую Отечественную.

Потому что императрица строила на века, понимая, что данное заведение будет необходимо всегда. То есть пока будет существовать Земля Русская. А просуществует она, по непреклонному убеждению Государыни и Обладательницы, до второго пришествия.

А может быть, чем черт ни шутит, будет востребована и после оного.

Тот памятный для всего Владимирского централа день начался с торжественного построения. На котором Фрэнку Пауэрсу зачитали приказ об освобождении.

Потом был торжественный обед. Столы ломились от яств, и не было ограничений в пенном пиве.

После обеда Фрэнк, а заодно и всех сидельцев развлекал ансамбль гусяров, наряженных по торжественному случаю в белоснежные расшитые косоворотки.

В три часа пополудни прозвучал выстрел тюремной пушки. И Фрэнк отбыл на волю в антикварной карете, запряженной парой гнедых коней.

Родина, то есть США, приняла Пауэрса крайне нелюбезно. Даже подло. В стране свирепствовал маккартизм, и, можно сказать, национального героя кинули в застенки. То есть доставили на полицейском катере на остров в заливе Сан-Франциско и заперли в тюрьме Алькатрас.

И пьяный надсмотрщик в чине капрала заявил Пауэрсу, что с теми, кто продался русским коммунистам, у них тут разговор короткий.

Однако заключенные Алькатраса отнеслись к Фрэнку по-доброму. Что было вполне естественно, поскольку тюремщиков они люто ненавидели. И жили по принципу «враг моего врага – мой друг».

Они обступили Фрэнка и заворуженно слушали его рассказы о русских ворах, обитающих во Владимирском центре. Вполне понятно, что и русских воров они стали считать своими друзьями.

В результате Алькатрас и Владимирский централ стали тюрьмами-побратимами.

Наладился контакт.

Через океан стали летать туда-сюда малявы, в которых американские и русские воры рассказывали о своей нелегкой жизни. Делились сокровенным. Спрашивали советов. Коллективно обсуждали наиболее насущные проблемы международного криминального движения.

Эта связь между тюрьмами существует и поныне. Сходки, стрелки и прочие мероприятия, регламентированные воровским законодательством, осуществляются на секретном сайте, обнаружить который безрезультатно пытаются и ФСБ, и ЦРУ.

Фрэнк Пауэрс умер, но дело его продолжает жить.

Его имя носит тайная литературная премия, разыгрываемая в двух номинациях, – прозаической и поэтической.

При крещении его имя дают младенцам.

Его фотографии, как когда-то и фотографии группы «Битлз», тайно продают на рынках, в подземных переходах и пригородных электричках. И многие бывшие советские люди покупают их, чтобы повесить на стене рядом с изображениями Есенина и Хемингуэя.

Дети бывших советских людей до сих пор играют в «американского летчика Фрэнка», который сбивал фашистские самолеты. Эта игра столь эмоциональна, что зачастую дело заканчивается ссадинами, синяками и хлещущей из носа кровью.

Фрэнк Пауэрс по праву стал частью русской культуры.

Его изображают на жостовских подносах, на палехских шкатулках, на гжельских чайниках, на хохломских ларцах, на павловопосадских набивных платках.

Его фигуру, как и его самолет, лепят из глины, расписывают и обжигают в Дымкове, в Жбанникове, в Каргополе, в Плешкове, в Романове, в Старом Осколе, в Филимонове.

Фрэнка Пауэрса вырезают из дерева в Абрамцеве и в Богородском, и из кости в Холмогорах.

Большой популярностью у иностранных туристов, особенно китайских, пользуются матрешки в виде Фрэнка Пауэрса.

В молодежной среде шестидесятых годов была крайне популярна самодельная песня, которая исполнялась на мотив Rock Around the Clock. К сожалению, до нас дошли лишь два куплета этого крайне интересного документа той эпохи:

Он летел на высотном У-2
А внизу колыхалось море тайги
И лишь три слова вмещала его голова:
Здесь одни лишь враги, одни враги!

Но под Свердловском ракетой был сбит
На парашюте спустился в овраг
И тут один друг, а не враг говорит:
На-ка хлебни самогона, чувак, чуууу-вак!

ФРЭНК ПАУЭРС ЖИВ!

И вряд ли хоть кто-нибудь способен это опровергнуть.

Евгения ИЗВАРИНА

Взапуски – не проблески ли одни,
где – перегони – убегали дни
по осколкам винного хрусталя,
и переставала держать земля,
где летело время, текла вода –
письмами из некогда в никуда,
кознями в сечении золотом,
просьбами – некстати и не о том...

Осень сколько вытерпишь – не испортишь,
фоторазрушениям благодарен,

ветер – сизой ретуши перевёртыш:
небо его – мимо исповедален,

дело его – слово, что дышит еле,
не в органе сгорблено, так в горниле:

непростительное, как снег в апреле,
поступательное, как сад – к могиле...

...тень ивы говорит себе: «Не смей!»,
но – падает за тенью человека
в сухую в осень, где всего ясней:
страсть – кузница.

...Но жизнь – библиотека,
слова – подвох, но письмена – покой:
ни обвинить, ни повиниться – в чём тут?
Защиты – никакой,

Евгения Изварина родилась в г. Озерске Челябинской обл. Окончила Челябинский государственный институт культуры. Живет в Екатеринбурге, работает редактором отдела в газете Уральского отделения РАН «Наука Урала». Автор восьми книг стихов, публикаций в отечественных и зарубежных журналах, альманахах, сборниках и антологиях. Лауреат литературной премии им. П.П. Бажова.

самой строкой,
кто б ни вчитался, – перечёркнут.

Звук недоказуемый, фальш-пробел,
недоскрипка,
полусмычок...

Что ли, зря ты в кружево проржавел –
потанцуй, жестяной волчок,
пустырей воронка...

Идя на дно,
машет кронам издалека
человек – оцифрованный, как вино,
припаркованный, как река...

пир безымянных с ладонями у висков
стены и лестницы, троя, багдад, ростов
крылья фанеры сколочены из кусков

эти объятия – ветер с больших мостов
эта вода – без слёз и со стороны
смотрит, не видя, как будто пришла с войны

травы в неё, как окна, отворены
губы над ней – как солнцем обагрены

Рассудок выщерблен, как посох,
прохвачен заморозком лист...

Так ведь и свет Твой – отголосок,

где перелесок водянист,
лови его, звезда морская,
на леску льда,
на рыбий клей,
вмешайся в кроны, распуская
вязь незапамятных ветвей –

так станешь сумерками,
дымом,

потерей той иглы в стогу,
что кровью – угол и дугу
сшивает через не могу
в паденье неостановимом...

Прикормивший ли спичками тьму –
сам себе круговая могила?
Ничего-то не нужно ему –
дым одел и вода напоила,
в лёд разошедшаяся: её
шелуха,
 чечевица,
 двойное
мелкотравчатое чутьё,
насекомое – и неземное...

Голову выше –
глядишь, за снегами
кто-нибудь, кубок подняв пред богами,
смотрит на опустошённые блюда,
но ничего не меняет, покуда
совы мышиным прельщаются писком,
ночь учиняет допрос – обелискам,
плитам, гранитным скамьям у холмов,
памятным знакам на крышах домов,
пролитым винам, забытым словам,
царствам, сосчитанным по головам...

Нагишом в порошах нехороших,
намотай, бродяга, на кулак
сорные слова: *полушка, грошик,*
четвертак...
Минутка просто так
выпади – о жизни бы мечтали:
разве даст такая слабину –
сыгранная девятью смычками
на одной струне?
За ночь одну
вырастает тополь из колодца,
на базаре, пьяных веселя,
надкусивший яблоко клянётся:
в сердцеvine – агнец и змея...

ШАПИРО С УЛИЦЫ ШАПИРО

Щепотка того, горстка этого

После живости восточного шука киевский рынок – само благочестие. Никто не брызжет слюной, не тычет в лицо бурекасы с картошкой, никто не жонглирует спелыми томатами, не вопит с остервенением «тапузим! клемантина! тапузим!». Никто не обещает осчастливить вас немедленно, не сходя с этого места, за шекель, ну, в крайнем случае, шекель тишим (т. 90).

Вы не уворачиваетесь с грациозностью гимнаста, идущего по проволоке, от требовательных и целеустремлённых потребителей с тележками и бездонными сумками на колесах. И даже приближение йом шиши (дня шестого и заключительного в созидании вселенной) вас не очень смущает. Вы навсегда (хотя как знать) избавлены от морока приближения конца всего, ну, в буквальном смысле от угрожающего затишья улиц и безмолвия заколоченных лавок перед всеобщим субботним благоденствием. Вы больше не мчитесь, прижимая к груди пакеты, на последний автобус, который (ах, какая жалость), щеголевато вильнув синим боком, уходит прямо из-под вашего носа.

Ничего, ничего, савланут, хамуда (терпение, милая), – бормочет некоторое существо не вполне разборчивого пола и возраста, но, однако, обладающее философским подходом к мелким жизненным неурядицам.

Ихие беседер¹, – примирительно шамкает он коричневым ртом, посылая мне, стоящей неподалеку, флюиды такой силы, что я и впрямь расслабленно выдыхаю, – да ну его, этот автобус, и какая разница, что я опять ничего не успела, я лузер, полный лузер, и даже пакеты, набитые всякой дребеденью вроде куриных окорочков, малосоленого сыра и острых оливок, не делают меня удовлетворенной (кто говорит о счастье, счастье это абстрактная величина (а несчастье – абсолютно конкретная, потому что его отсутствия вполне достаточно для счастья)), – но, видимо, в том и секрет постижения простых жизненных истин – абсолютная тривиальность набора, не претендующего на уникальность – лук, петрушка, щепотка того, горстка этого, все сыты, живы и спокойны.

Ихие беседер, – щелкает языком мой собеседник, маленький, смуглый, со сморщенным обезьяньим личиком и голыми лиловыми пятками, – он кутается в безразмерное нечто вроде пёстрой женской шали, щелкает темными пальцами и поет во весь голос, и небритый кадык на его желтоватой шее ходит туда-сюда, – на улице зима, неважно, что это израильская зима, не очень уютно выглядят эти лиловые растрескавшиеся пятки и тощая желтоватая шея, обмотанная женской шалью, но разве счастье и уют это одно и то же? Разве острый момент счастья, влюбленности не может настичь нас в любом месте и состоянии, с бумажником полным и бумажником пустым, в юности и на склоне лет, в болезни и в здравии?

¹Ихие беседер (ивр.) – все будет хорошо.

Внезапный солнечный луч подчеркивает и проявляет яркость салатного пучка, а лёгкий морозец пробуждает здоровое чувство голода, обостряет чувство причастности к этому (уже уходящему) дню, с его тривиальными заботами и обыденной продуктовой корзинкой. Щепотка того, горстка этого. Никто не торопит, никто не торопится, груды citrusов золотятся в царственном безмолвии, россыпь гранатов радует глаз, соленья щекожут обоняние, и пожилая Мальвина в кокетливом тулупе и перчатках с обрезанными пальцами, с густым кирпичным румянцем, накладными ресницами и фиолетовыми тенями, выхватывает бокастый пупырчатый огурчик, с треском надкусывает его и хрипло хохочет, являя миру золотое убранство ярко раскрашенного рта.

Счеты бабы Фиры

Полноватая женщина с добрыми, изрытыми оспой щеками (шестимесячная завивка, синий халат поверх цветастого платья, господи, как же ее звали) шлепнула по столу туго набитой папкой и, с явным сомнением глядя в мое «вечно отсутствующее» лицо, произнесла: ну, в общем, это, вот тебе, зарплату надо посчитать хлопцам. Справишься?

Справлюсь ли я! Смешной вопрос! Конечно, да мне это на один зуб, чуть ли не воскликнула я, понимая, что это провал.

Завтра, да нет, уже буквально сегодня они все поймут. Все, что я сама о себе давно понимаю. Что все годы я не училась, а «делала вид», что я в ужас прихожу от вида цифр, что дробь дробится в моей несчастной голове и никогда не приходят к какому-то там общему знаменателю.

– Счетная машинка есть? – ватным голосом спросила я, развязывая тесемки на папке.

– Какая еще тебе машинка, вон, у бабы Фиры счеты возьми, ты ж на счетах можешь?

Ну, на счетах, спрашивается, кто же на них не может, бормотала я, заливаясь краской еще не стыда, но ужаса.

Баба Фира обитала на первом этаже. Ее комнатка вплотную примыкала к цеху, и это было единственное человеческое место на всей территории. Там всегда кипел чайник, в вазочке уютной горкой лежали пряники, конфеты «Мишка на севере», в углу стояли тапочки и веник, а сама баба Фира в наброшенной телогрейке (если не носилась по цеху в своих знаменитых обрезанных валеночках) сидела над дымящимся стаканом крепчайшего индийского (того самого, из желтой пачки со слонами) чая.

Если вы еще не поняли, баба Фира была личность. С ней советовались директор и главный инженер Заславский. Ее любили рабочие. Ее окрика боялись, с ее мнением считались. При том, что я ни разу не видела ее «вне себя». Вне себя как раз были чаще те, кто бежал к ней за помощью. Она строила всех.

Маленькая, в заношенной растянутой кофте (кажется, даже аккуратные заплатки присутствовали), в наброшенной на плечи телогрейке, в уютных своих валеночках беззвучно она появлялась то тут, то там, за ухом ее торчал химический карандаш, губы шевелились, производя расчеты. Поздуреваю, что Фира была гений. Тактик и стратег. Счеты – это так, маскировка. Но, тем не менее, с какой виртуозностью порхали ее бледные в веснушках пальцы, как будто это были не тяжелые деревянные счеты, а клавиши «Стейнвея».

Костяшки весело подпрыгивали, разлетались и тут же превращались в цифры, написанные убористым бабы Фириным почерком.

– Деточка, что же вы будете делать со счетами? – глаза ее недоуменно взирали из-под круглых стекол перебинтованных в нескольких местах очков на понуро стоящую меня, – господи, они все знали, они все видели и понимали, эти подслеповатые глаза, от них ничего не укрывалось.

– Что же вы будете делать со счетами, деточка? – спросила старшая (и главная) нормирующая Фира Наумовна, приподнимая седые кусты бровей, и я, не скрывая отчаянья, прошептала: не знаю, расскажите, как.

Чему же вы там учились, деточка, возьмите уже конфету и смотрите сюда.

Час в каморке бабы Фирмы пролетел как одно мгновение. Прижимая к груди громоздкий инструмент, гораздо более надёжный, нежели плюющаяся перфокартами вычислительная машина, я взлетела на второй этаж.

Решительно раскрыла папку с тесемками. Наконец наступил тот самый полный ясности и гармонии миг, которых за всю мою жизнь случалось не так уж и много. Первый – когда я (неожиданно для себя) прямо на экзамене решила сложнейшую задачу из учебника Сканави, который до последнего момента представлялся мне пыточных дел мастером в злобещих нарукавниках.

Второй – в пустеющем после окончания рабочей смены здании, на втором его этаже, посреди громоздящихся папок с тесемками. За каждой цифрой, запятой и точкой стоял человек. Его дни, часы и минуты, помноженные, господа, на что? На что же?

Жалкие обрывки чего-то однажды усвоенного, – «производительность труда, производительность труда».

Завод казался муравейником, в котором каждый муравей знал, куда и зачем он тащит свое бревно. Цеха, этажи, подсобки, закутки, кабинет главного, стрекот пишущей машинки, стрекот каблучков Верочки, секретарши, шлейф ее дорогих духов, курилка, глаза мужчин, женские губы, смех, очередь за авансом, тускло освещенное помещение столовой, стаканы со сметаной и свеклой, борщи, свекольники, перловка, лысина главного инженера, белый костюм директора, плотно сбитого мужчины, довольно интересного, сплошь состоящего из бугров и сухожилий, его красный джемпер, его тяжёлая походка, скрип его подошв, запах одеколона, движущаяся очередь с подносами, долгожданный рабочий полдень, концерт по заявкам, послеобеденная скука, сумерки, запах котлет, гул первого этажа, подлинность цеховой жизни, похабные словечки, спецовки, рукавицы, грубость и притягательность другого мира с оседающей на одежде и волосах черной пылью, с ее душевыми, в которых распаренные потоком воды люди смывают с себя долгие часы, помноженные на...

Наморщив лоб, я тарახтела костяшками, пытаюсь имитировать движения бабы Фирмы, их лёгкость, отточенность, непринуждённость. Ведомости, разбросанные в живописном беспорядке, пестрели цифрами. Пальцы мои чернильные, язык мой сизый, юность моя печальная, – казалось, я сижу не час, не два, не три, – всю жизнь, уподобившись бабе Фире, я проведу в затхлом помещении, неуютном, бедном, залитом холодным синеватым светом.

Я захлопнула папку. Утро вечера мудренее, повторяла я, подпрыгивая на остановке троллейбуса. Светились огни, праздничная иллюминация, был канун Нового года.

Уже на проходной я кое-что заподозрила. Ощувив некоторый холодок вдоль позвоночника. Но значения этому решила не придавать. И все же, каждый свой шаг я ощущала как будто внутри холодного полого шара.

Ах да, ведомость. Я вспомнила о ней, увидев ту самую круглолицую, в синем халате, которая отбивалась от парня в шинели поверх спецовки.

Да не я это, не я, это новенькая! Да вот же она, только что прошмыгнула!

– Пройдите в кабинет и закройте изнутри (лицо главного было одновременно торжественным и тревожным, страшное слово «аутодафе» молнией блеснуло в голове), – и да, захватите папку. И не открывайте никому. Вас могут побить. Вы поняли? Праздники, зарплата. Вы хоть понимаете, что натворили?

Из коридора доносились сдавленные звуки, бабьи причитания, увещевания, топот, шарканье подошв, ровный гул, похожий на жужжание в растревоженном улье.

Раскрыв злополучную папку, я смотрела в окно. Человеческие фигуры отсюда казались маленькими, будто вырезанными из бумаги, тени их скользили по гладкой белой поверхности, звенели трамваи, светились окошки универмага «Украина». Стоило только представить себе, что творилось на его этажах! Сколько соблазнов! Сколько волнений, предвкушений, суеты! Отдел

косметики, игрушек, запах финского стирального порошка и выброшенных на прилавок духов Фиджи. Огромные ёлочные шары укладывались в выложенные ватой ячейки, шуршал серпантин, сыпались конфетти.

А там, вдалеке, развернулся ёлочный базар. Далёкий аромат хвои щекотал ноздри.

Все это напоминало театр, стоило только устроиться поудобнее на подоконнике, обхватив руками колени.

Вздохнув, я придвинула счёты. Те самые, бабы Фирыны, тяжелые. Нашупала в кармане «Мишку на севере». До Нового года оставалось несколько часов.

Свои

Ну и, конечно, высшей кастой считался конструкторский отдел. Давид Залманович Канторович, Мирра Иосифовна Трипольская, Илья Борисович Шпильман, Боря Кнорр, Сима Рыбакова – всякий, случайно попадающий в эту компанию аристократов, в этот джентльменский клуб, ощущал себя либо «среди своих», либо, увы, слоном в антикварной лавке с редчайшими вещами.

Как, однако, красивы были эти люди! Какой иронией светились их глаза! Сколько в них было блеска, мудрости (не лет, а веков, жизней), сколько негибимой силы и независимости.

Да, люди эти были необычайно сильны, каким-то особенным, передающимся из поколения в поколение знанием.

Отдел жил своей жизнью (внешне мало отличимой от прочих), но детали, детали.

У них не было рабочего полдня и концерта по заявкам. Они пили кофе (отличный, кстати) и курили в любое neurочное время. Там можно было услышать антисоветский анекдот, записаться в очередь на свежий «Новый мир», поделиться впечатлениями о вчерашней джазовой программе на радио Свобода, купить забойные шмотки (один из элементов этой самой свободы), увидеть породистых женщин с осанкой библейских цариц (ах, что за подъем был у Симочки Рыбак), наблюдать, как закидывают они ногу на ногу в изящных итальянских (пощупайте кожу) сапожках, как курят они, как смеются, как красят губы, как примеряют эти самые шмотки.

А остроумие мужчин! Их живость! Особая, ни с чем не сравнимая мимика, лепка лиц и выразительность жестов.

Обаяние этих людей заключалось в их абсолютной неформальности. В особой системе взаимоотношений, оповещений, приязней и не.

Они быстро вычисляли своих, и отсеивали чужих. Да и чужому сложно было задержаться в этом мирке избранных, в сетях и проводах иносказаний и полунамеков. В атмосфере интеллектуальных игр, сарказма (часто довольно жёсткого) и антисоветского шарма.

– ...послушайте, кто взял номер «Нового мира»? Он здесь лежал, под вязанием в первом ящике! Лев Борисович, вы случайно не брали?

– ...господа, вы читали «И дольше века длится день»? А «Альтиста Данилова»? А Солженицына, Шаламова, Разгона? Воспоминания Мессерера? (список произволен).

– ...и тут я говорю ему, – да, я аид, и что дальше?

– ...господа, у Илюши провода. Завтра в семь на Саксаганского.

Это было поколение ярких, раскрепощенных людей, позволявших себе максимум свободы в заданной системе координат.

К слову сказать, таких лиц я больше не вижу. Или почти не вижу.

Не знаю, в чем тут дело. В системе координат, которая у каждого в общем своя? (К счастью, конечно, к счастью, но сложно сказать, стали ли мы по совокупности счастливей их, и стали ли счастливей они, оказавшись вне системы (которая душила, давила, травила, уничтожала, все так,

но и оттачивала искусство продираться сквозь глухие стены и безнадежные тупики (если не убивала, конечно), и создавала такие вот островки, дрейфующие в океане льдины).

Свобод стало гораздо больше, исчезла необходимость в полунамеках, знаках, иносказаниях, исчезла общность людей, транслирующих их.

Исчезла потребность в коротких волнах.

Исчезли смеющиеся в курилке между вторым и первым этажами. Исчезли кухонные анекдоты. Порой я очаровываюсь пытливым из-под бровей взглядом, но при ближайшем рассмотрении мне становится скучно (и чем реже исключения, тем они ценней). Как сложно стало вычислять своих! Как скучно листать свежий, пахнущий типографской краской номер.

Его почти не с кем обсудить. И незачем.

Шапиро с улицы Шапиро

Я уже почти согласилась, – обреченно ступая вслед за широкозадым работодателем в крошечной, венчающей необъятное тулово кипе, – парня звали то ли Фима, то ли Рома, – хорошо, пусть будет Фима, – «короче, не работа, а чистое удовольствие, – эфиопы народ чистоплотный», – в качестве доказательства Фима наклонился и провел пухлым белым пальцем по ступеньке (раздался несколько обескураживающий, но не оставляющий сомнений звук) – палец действительно остался чистым, но тягостные предчувствия одолевали меня, – я, знаете ли, небольшой любитель уборок, – но тут – по случайному звонку от шапочной знакомой – меня убедили, что работа абсолютно непыльная, – отказаться всегда успеешь, – сходи взгляни, что, жалко тебе, что ли?

И вот, в бессмысленной попытке что-то доказать (себе ли, окружающим?) я встретила с великаном в несвежей футболке и едва сходящихся на рыхлом животе шортах, – Фима, – представился он, с явным огорчением разглядывая переминающуюся с ноги на ногу меня, но, все же, не теряя по всей видимости присущего ему человеколюбия и оптимизма, повел (сначала на автобусе, потом пешком), пока не оказались мы в светлом чистом здании с арками, белыми колоннами и скользкими ступеньками.

Короче, – держи ключи, – от входной двери – щетка и тряпка – вот здесь, в кладовке, – тяжело пыхтя, Фима нагнулся, и... о, боже, я опять сделала, конечно же, вид, что ничего ровным счетом не слышу, боже сохрани, – я готова была показаться глухонемой и даже незрячей, лишь бы не видеть багрового Фиминого лица, усеянного россыпью коричневых веснушек.

Я понуро плелась за Фимой, опасаясь того, что он вновь нагнется за чем-нибудь, и мне вновь и вновь придется притворяться глухой, да еще и начисто лишенной обоняния.

На этом, собственно, моя так блистательно начавшаяся карьера уборщицы эфиопского дома культуры (в котором каждую среду собирались представители многочисленной эфиопской общины, чтобы там радовать друг друга, угощать вкусными эфиопскими блюдами, делиться проблемами, горестями и напропалую веселиться), завершилась, так и не успев толком начаться.

Далее целесообразно было бы описать мои злоключения в кабинете дантиста (итальянца по происхождению).

Сладкоглазый мужчина опереточной внешности, (на мою беду) оказался страстным меломаном, и, забыв о своих прямых обязанностях (о тряпке и швабре), я до самого его возвращения, развалившись на диванчике, слушала блистательную коллекцию джаза и классики, – опомнилась часам к пяти, – после чего, разумеется, мне было отказано в том, чего я и сама не очень желала.

И если разобраться, то отказы чаще всего совпадали с моим явным нежеланием и абсолютным несовпадением с местом, обстоятельствами и, по сути, являлись истинным благом для потерпевшей.

Куда-то пропали израильские сны. Помню, мне часто снился дом на улице Шапиро. Нет, я никогда не жила на улице Шапиро. Но там жил один банковский служащий с той же фамилией.

Отчётливо помню его. Живот, широкие брюки, очки в тяжёлой старомодной оправе. Пожилой, с коричневым добрым лицом, иракский, разумеется, еврей. Похож на добермана. Как звали, совершенно не помню. Но помню, что он предпочитал «нескафе им халав вз капит сукар» (растворимый кофе с молоком и одной ложечкой сахара). Ави́ва (немолодая девушка с клоунским макияжем на тяжёлом, несколько непропорциональном лице) – «нескафе бли сукар» (растворимый без сахара).

Шмулик с первого этажа употреблял боц (кофе по-варшавски) с полными двумя ложками сахара. Шмулик был прыщавый и астеничный, с вечно холодными влажными руками. Как правило, он забегал за своей порцией кофе в крошечную пристройку.

К тому времени, когда привозили сэндвичи (с пастромой, жёлтым сыром и малосолёным белым), все сотрудники уже выпивали по порции-другой.

– Хамуда (милая), – полцарства за чашечку кофе, – ну, на иврите это звучало не совсем так, но смысл был примерно такой.

Выпитый до официального ланча кофе считался неформальным. Заглядывая в кухню, сотрудники банка, и без того довольно расслабленные, уже на пороге выдыхали с облегчением.

Всё-таки кухня – место сакральное. Прообраз дома. Здесь можно, прислоняясь спиной к шкафчику с посудой, поговорить о личном.

Стоит отметить, – в присутственных местах в Израиле в целом царит неформальная обстановка. Не стоит удивляться, если посреди приема пкида (служащая) с невинной улыбкой трехлетней девочки заявит «рак рэга, ани оলেখт лаасот пи́пи» (минутка, я пойду пописаю).

Как-то пакид (чиновник, служащий), возглавлявший одно из отделений банка «Леуми», – интересный мужчина с ухоженной сединой, венчающей благородных очертаний бронзовую голову, с фигурой заядлого теннисиста, сокрушенно вздохнув, заметил: смотри, хамуда, у меня нет оснований не доверять твоей платежеспособности. Во первых, ты красивая. Во-вторых, образованная. Уверен, ты вот-вот найдешь подходящую работу.

Сочувственно вздыхая, он виртуозно вел несколько телефонных бесед, убажал капризного клиента, увещевал трепетных ашкеназских старушек, щекотал розовый живот дамской собачки с шелковым бантом на шее, гладил по головам чьих-то буйных двойняшек, прихлебывал из прозрачной чашки. Его появление скучающие в очереди посетители приветствовали чуть ли не аплодисментами. По его ладной энергичной фигуре было ясно: вклады клиентов в надёжных руках.

Первым моим банковским откровением стал знойный июльский полдень девяносто четвертого года. Единственная (тогда) русскоязычная служащая (пкида) в хорошо кондиционированном зале первого этажа.

Это была необычайно притягательная женщина.

Дочь польских евреев, она родилась в Израиле и говорила по-русски с обаятельным акцентом.

Звали ее Маша. Человек, наделённый обаянием, преображает самое тривиальное учреждение. Оказавшись в банке, я первым делом искала глазами сдержанную, элегантную, улыбчивую Машу.

Даже овладев азами иврита, я все равно занимала очередь именно к ней. Женщин такого обаяющего шарма я встречала нечасто. Ни в Израиле, ни на исторической родине.

Ужасным разочарованием стал перевод Маши в другое отделение. Место ее заняла тоже владеющая русским служащая, уже из алии девяностых. Она была похожа на надутого клеща. Полная необъяснимого чванства, недоброжелательности, даже некоторой брезгливости в отношении вкладчиков. Впрочем, брезгливость ее довольно быстро сменялась заискивающей любезностью перед особо уважаемыми клиентами и теми, кто оказался выше на ступень. Я предпочитала любого ивритоязычного пакида (служащего) этой особе.

Переступая впервые порог израильского банка, я даже вообразить не могла, что однажды окажусь по ту сторону кулис. В завидной роли. Той самой, которая «кушать подано». Я продержусь в этой почетной роли недолго, усвоив, впрочем, полезные навыки вроде удержания равновесия с переполненным подносом. Бог знает, каким волшебным образом, удерживая баланс, взлетала я с этим самым подносом на второй этаж.

Значит так. Шмулику – кофе по-варшавски, Ронит – нескафе с сукразитом (заменителем сахара) и каплей молока (один процент), Ицику – черный, без молока, покрепче, Овадьё – господа, про Овадьё я забыла. Овадьё не пьет кофе. Только зелёный чай.

Я первой открывала банк. Гремя ключами, важно прохаживались по пустынному, довольно затхлomu (до включения кондиционера) помещению. Тянула на себя рубильники один за другим. На кухоньке домывала стаканы после неформалов, опрокидывающих порцию-другую перед закрытием.

Блаженную тишину прерывал вкрадчивый голос заведующего отделением, – приземистого восточного (кажется, персидского происхождения) мужчины со слащавой улыбкой на смугло-желтом лице. Этот голос вызывал у меня стойкое ощущение гадливости. И не случайно, как выяснилось. Несколько позже этот джентльмен предстал на скамье подсудимых по обвинению в сексуальных домогательствах по отношению к банковским служащим, в том числе и к работницам кухонной пристройки. Оказалось, женщины годами и десятилетиями (зная друг о друге, о новых увлечениях и стойких привязанностях босса), терпели прикосновения его толстеньких, будто подрубленных пальцев.

К счастью, то ли я казалась ему слишком непонятливой, то ли отстраненной, то ли (к счастью) была не в его вкусе, но дальше заваривания чая в металлическом чайничке «для босса» (почти чифирь) и приготовления кофе по-восточному для важных арабских клиентов наши отношения не развивались. Хотя, конечно же, лопатками и позвоночником я ощущала присутствие этого самого «босса» и выдыхала, когда он покидал территорию кухни.

Он, помнится, ужасно гордился тем, что чай в подстаканнике и кофе на подносе ему приносит человек с высшим, так сказать, образованием, и охотно делился своей гордостью со своими гостями.

Ах, какой она варит кофе, – ашкеназия, интеллигентит! – закатывая крохотные заплывшие глазки, босс со вкусом вытягивал жирные, будто смазанные курдючным салом губы. Арабский гость (чаще всего это был статный мужчина в ослепительно белом костюме, почти шейх), благосклонно взирав со своего кресла, удостоив едва обозначенной на чеканном лице улыбкой.

Счастье в том, что любое место работы я полагала временным, и потому была абсолютно убеждена в том, что искусство равновесия с полным подносом я вряд ли смогу применить в дальнейшем.

Любое завершение карьеры (будь то раскладка молочной продукции, работа в керамической мастерской либо продажа мужской обуви) казалось удачным и своевременным освобождением от тягостных обязанностей.

Исключение, пожалуй, составила работа в книжной сети «Стемачки» и бойкая продажа дисков в отделе классики и джаза.

После моего скандального ухода сгорел знаменитый супермаркет «Пиканти», а заводделением банка «Леуми» сел на скамью подсудимых (за растление банковских служащих). Хозяйка керамической мастерской оказалась на грани разорения, продажа музыкальных дисков в одночасье потеряла актуальность.

Насчет книжной сети «Стемачки» ничего не знаю. Пожалуй, книжный подвал был единственным местом, откуда мне не хотелось бежать.

Ирина КОТОВА

Слепые глаза птиц

в этом году урожай ягод –
пишет соня в мессенджер
ягоды – слепые глаза птиц
так пытаются всех обмануть
чтобы дать себя съесть – отвечаю

потом время варится в выварках
как грязное белье
из дома терпимости

мой муж выворачивает мне руки
желает смерти – пишет вновь соня
сегодня лбом я разбила
стекло автомобиля
он резко затормозил
он спе-ци-ально-за-тор-мо-зил

муж сони – священник
седая голова кадила
выглядывает между его ног
выглядывает из подрясы
традиционных семейных ценностей

ладан оставляет копоть на ладонях и черепах
как рваные языки огня
на походных котлах

в лесу слепых птиц

Ирина Котова родилась в Воронеже. Окончила Воронежский государственный медицинский институт и Литературный институт им. М. Горького, доктор медицинских наук. Стихотворения публиковались в журналах «Вестник Европы», «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Зеркало», «Интерпоэзия», «Новое литературное обозрение», «Новый мир», «Новый берег», «Цирк "Олимп" + TV» и др., ряде антологий и коллективных сборников. Автор трех сборников стихотворений. Лауреат нескольких премий. Живет в Москве.

Так напевает время

1.

бока берeditь беременным бременем
кожу натягивать неводом –
вот уж и ножкой бьет

спой девица спой
спи женщина спи
с книжкой-подушкой домострой
под головой
под беременным животом

я бы носила ещё и ещё
рожала бы и рожала
если бы не каждый встречный-поперечный мужчина
был наполовину гипсовым
наполовину – пьяным

так напевает время в животе
любой женщины

2.

четыре стены картонной коробки – беременный живот
в нём ставит младенца в угол до рождения
женщина напоминающая листья ивы
вблизи цементного завода

ребёнок берет информацию от всех
кто был с ней до биологического отца – пишут ученые
и будет позже – добавляет женщина
но
когда материнское плато перегорает
ребёнок – сам по себе

всегда – сам по себе
всегда – сам

так напевает время
в любом зародыше

3.

в процессе монтажа выставки высокой моды
отдельные её элементы безобразны
в процессе монтажа любви
отдельные её элементы –
мужчины

и они говорят – любите нас
они

похожие на игральные автоматы в атлантик-сити
они
напоминающие смерчи
что вьются в море
говорят – любите нас
их мятые помидоры лиц
притворяются новостройками
притворяются мягкими диванными подушками
они поднимают женщин собак деревья
в небо
и возвращают на землю
обручальные кольца хвосты щепки
остальное – так и живет на небе

лю-
би-
те
нас
рас-
тво-
рай-
тесь
в нас

как гомео-
патические шарики

так напевает время
в любом мужчине

Годовые кольца лавочек

каждый слой краски на лавочке во дворе –
как годовое кольцо дерева
все слои обнажаются весной
показывая скучный фильм о твоей жизни –
самые безлюдные кадры
зелёного
коричневого
синего

но потом вдруг
накатывает
жизнь на краю смерча
самой острой его поверхности
напоминающей жужжащую циркулярную пилу

и начинаешь встречать
плотников с оторванными пальцами

Закат

море крови уносит кости
убитых кости
разбрасывает во дворе домов
особенно – под детскими колясками
особенно – под белизной белья

ты говоришь: война
ты закрываешь уши-нос-глаза
ладонями
ладоней не хватает

шепчу: отдай
отдай ладони
закату
это не война
не то
пока не то

быть может
это
например
любовь
или
собака не нашлась

Стихотворение написанное во время перевода Готфрида Бенна Алёшей Прокопьевым

размазанная дворниками грязь на лобовом стекле
стирает очертания машин-пешеходов-углов домов
но ты не снижаешь скорости

маневрируешь между своими платьями
развешенными на плечиках
по бельевым веревкам улиц
платья заполняют всё пространство
строгими очертаниями под горлышко и длинной ниже колена
(по статистике именно такая одежда провоцирует насилие)
попутно ныряешь то в один то в другой рукав

когда-то мёртвые тела набивали опилками
для сохранения формы
так ты набиваешь платьями автомобиль-дом-воздух-фонари-
полицейских

будто нет иных способов для сопротивления
будто нет иной скорости

Солнышко на качелях

однажды
я решила сделать солнышко на качелях – победить свою голову
теперь мои брови разной формы
хотя шрама давно не видно

пере-
вер-
нуть-
ся
через голову –
пере-
вер-
нуть
голову

моя тень до сих пор делает это
даже если
тело сопротивляется шрамам

иногда я раскручиваю качели
рукой
без головы
ради солнышка

так ощущается
нелюбовь

Шелковый путь

Веронике

1.
шёлковая лента шёлкового пути
изгибается в каждой морщине/трещине/впадине тела пустыни
многие-многие дни караванных дорог –
одинаковость созерцательного безмыслия
солнце — горячий чёрный камень
вот-вот споткнётся о небо/покатится с бархана
под зыбучие звуки поющих песков

раньше из Китая – караваны шелка-чая-пороха
обратно – лошади-ковры-нефрит-кораллы
в конце двадцатого – дешёвый ширпотреб
распиленные советские станки/танки

погонщик верблюдов трёт затылок –
американские туристки влажными салфетками
обрабатывают потертости у верблюдов
словно нижнее белье
надевают чёрную верблюжью кожу
на свою – белую
отказываются двигаться дальше

сам шайтан им друг – раздражается он
это транспорт транспорт
как машина — understand?

отгоняет мух от сочного мяса
в надежде на чаевые

2.

из самолета разрушенные уйгурские храмы как пустые коробки
подле вино-водочного магазина

со стороны границы –
цивилизованность страны определяется
количеством ржавчины на колючей проволоке

раньше на рынках – овцы-сушеные-ящерицы-змеи
брадобреи на улицах раскрасневшись орудуют опасными бритвами
со сторожевой башни – далеко-далеко видны караваны и марево

теперь – из набитого трупами военного грузовика
на дорогу
на играющую в солнечных лучах
новую колючую проволоку
капает кровь

как в сезон дождей

3.

в пещерах тысячи будд дуньхуан
от углекислого газа дыхания людей
выцветают краски
статуи чернеют от кухонного чада

здесь приютились рваные куски-обноски-оголодавшие огрызки
белой армии
где найти нитки чтобы сшить
все эти мундиры-сапоги-лица-нервы-души

как они шли через горы-курганы-реки
заросшими тропинками шёлкового пути
чем поджигали дрова под походными котлами
как тайно в уме вычисляли очередность смерти попутчиков
как работали санитарями-плотниками-гробовщиками
навсегда – не дома
как драчили-дурачились-смеялись
как любовались огненными мазками заката на стенах скал
что сеяли-мололи-пекли
как направляли дула винтовок без патронов
на парящие консервные банки орлов
в колодце неба
как бродили скелетами с вытянутыми руками
в чёрных сгустках пещер
судорожно хватаясь за развязанные шнуры темноты

в пещерах дуньхуан –
будды с выцарапанными глазами

русские выцарапывали их
ночами
от страха –
объясняет экскурсовод –

это как эффект 3d
во рту у вечности

РАССКАЗЫ

Журфак

Я сидел на работе и читал газету за прошлый год.

Внезапно внимание мое привлекла статья о пожаре в селе Каменный Брод.

К счастью, все тогда обошлось без жертв и все спаслись, включая пятимесячного ребенка.

Об этом ребенке, младенце, было написано с юмором: «Он был как домовенок: весь в копоти, ручки-ножки обгорели – уголек!»

Я посмотрел в конце статьи и прочел имя автора: Богдан Луцина.

Были в статье и возвышенные места: «Человек так и не смог приручить огонь за сотни лет, как он его развел, он только и ждет вырваться из-под контроля, пожирая все на своем пути, пусть это даже будет женщина или ребенок. И нужно помнить, особенно у кого печное отопление, что в доме у них находится неукрощенное чудовище!»

– «Пожирая...» – зачарованно повторил я...

Я с удовольствием читал дальше: «Стоим, разговариваем у калитки. А чуть поодаль стоит женщина, погорелец, с печальным ликом Мадонны».

Я забыл имя автора и опять заглянул в конец: Богдан Луцина.

Статья заканчивалась тонким педагогическим обоснованием пожара: «Стало быть, неважная, плохая это мать, раз не объяснила раз и навсегда детям, что стулья и другие легковоспламеняемые вещи надо не ставить возле печки!»

Черт возьми, это замечательно, клянусь Кафкой!

Иногда, зачитавшись газетой, которой застелен мой стол, я невольно думаю: все мое сочинительство – туфта, фигурянье, пустопорожнее переливание – а вот же, вот – жизнь-то – так и играет, так и искрит, говорит-разговаривает!

Что мои выдумки по сравнению с криминальной хроникой глухого райцентра? Не буду приводить цитаты, тем более заголовки – зависть, зависть гложет меня! Ах, кто мешал мне кончить в молодости журфак и стать как Богдан Луцина?

Но за журфак переживала единственно моя учительница русской литературы Лиина Афанасьевна, я же мечтал записаться в подпольную секцию карате.

Стоило это дорого – пятнадцать рублей в месяц; тайные сеансы проводились в лесу на Корбутовке. Сенсеем был один стоматолог по фамилии Иванчихин; он учился у японца; у него был зеленый пояс. Я же мечтал хотя бы о скромном белом – какие тут могли быть журфаки в такой момент? О, как бредил я стилем «шотокан»!

Сергей Зельдин родился в 1962 году в станице Ярославская Краснодарского края. Жил в г. Волжском, с 1974 года в Житомире. В «Волге» печатались рассказы (2017, 2018, 2019, 2020), также публиковался в журналах «Крещатик», «Новый берег», «Дружба народов» и др.

Лиина Афанасьевна почему-то была в отчаянии. Она уже давно умерла. А училка по химии Алла Матвеевна еще жива и гуляет по городу, ужасно похожая на Жанну Агузарову, прибывшую с Венеры.

Когда-то она говорила:

– Зельдин, прекратите клоунаду у доски! – с улыбкой, без злобы; она знала, что я дуб.

Не понимал я ни по химии, ни по физике, ни по математике.

Так же не был силен в истории, языках и литературе, и поэтому очень любил писать сочинения.

Почему-то писать сочинения боялись и не любили все, даже наши три медалиста, вернее два – Саша Хузман, мастер по шахматам, и Наташа Сичкарь, толстая девочка, потом закончившая университет с красным дипломом и потерявшаяся в каких-то заводоуправлениях.

Они боялись, а я любил.

Учительница Лиина Афанасьевна снова и снова приходила в отчаяние – я писал сочинение, не читав произведения.

Мои творения она читала всему классу вслух, с мечтательным лицом, пока меня не стали дразнить Достоевским и писюком.

Под конец она вконец расстроилась и вклеила мне четверку в аттестат.

Как ни странно, в аттестате об окончании школы у меня не было ни одного трояка, а было девять пятерок и девять четверок.

Но недолго я любовался этим хорошим аттестатом: провалившись на экзаменах в политехе (папа был в отчаянии), я поступил в ПТУ. Меня долго не хотели принимать, но потом приняли.

В ПТУ я был на самом хорошем счету и научился вытачивать напильником молоток и зубило из отливки.

Но потом я влюбился в Ирэну Кислицкую, семнадцати лет, с ребенком шести месяцев, муж которой, знаменитый хулиган с Нижней Полевой по кличке Кислый, служил в армии, но скоро должен был вернуться.

Первая робкая любовь, особенно первый сексуальный опыт, полученный мною в ночных подъездах, совершенно меня очаровали. Я скатился в ПТУ на двойки, пропуская занятия, и почти разучился вытачивать молотки. Все же, с трудом, но я его закончил.

Увидев, что я понес вещи из дома и уже начинаю поговаривать о браке с любимым существом, папа побежал в военкомат, надавил на все пружины (он был большим электрическим начальником), и меня взяли в армию.

В армии я служил в химических войсках в Риге.

Учебку я закончил бравым строевиком, и поэтому меня взяли в секретное подразделение при штабе округа, чтобы я подтянул всех этих художников, радистов и прочих шифровальщиков и держал их в ежовых рукавицах.

Сначала я их держал, пользуясь навыками, полученными в нашей зверской учебке (кстати, знаете ли вы, что такое ЗОМП? Нет? Ну и ваше счастье), но потом так разленился, что за два года ни разу не был в отпуске.

Такого залетчика не знало ни одно секретное подразделение на свете. Это был редкий случай, когда получивший в учебке звание младшего сержанта так в этом звании и был уволен.

Да и уволился ли бы я вообще, если бы не умер Брежнев? (В штабе округа долго ожидали немедленного начала атомной войны.)

Был дан приказ уволить всех по-быстрому и подчистую.

Это было тем более своевременно, что мне предстояло на прощание отсидеть пятнадцать суток (по пяти сложились начхим округа и два полковника, его заместители) на Рижской гарнизонной гауптвахте.

На этой гауптвахте, в старинной тюрьме на берегу Даугавы, где, по легенде, сживала еще жена Ленина, Крупская, в этом царстве насилия и питомнике огромных рижских крыс, где и трое суток продержаться было мудрено, я бы, конечно, гогнул.

А так я дембельнулся и, купив папе «Рижский бальзам», а маме ликер «Старый Таллинн», очень радостный, вернулся домой, в милый, тысячу раз снившийся, Житомир.

Ирэну я давно разлюбил, тем более что за время разлуки она бросила своего хулигана, вышла замуж за другого и уехала в Архангельск.

Чтобы сделать приятное папе, я решил получить высшее образование и для этого окончить политех.

Для начала нужно было поступить на «нулевой курс», то есть на подготовительное отделение.

Я начистил значки, приехал в Киев в шинели и сапогах, и на вопрос комиссии, помню ли я что-нибудь из школьного курса, честно ответил, что нет, и тут же был зачислен.

Вот тогда-то я видел в последний раз свой красивый, без единой тройки аттестат о среднем образовании – я сдал его в канцелярию и больше никогда не видел, потому что через два месяца бросил нулевой курс, пошел на мебельную фабрику, был выгнан, женился, родил Шурика, поступил на стекольный завод, ну а там настала украинская независимость, и это уже совсем другая история, почище гарнизонной гауптвахты, где якобы сидела Надежда Константиновна.

Теперь мне пятьдесят семь и, почитывая «Субботу» с программой у себя в сторожке, я иногда думаю, что как бы сложилась моя судьба, окончи я журфак, о чем мечтала Лиина Афанасьевна, моя покойная учительница литературы?

Забор в тени жасмина

В этот вечер, по-весеннему томный, хотя был еще февраль, Егор Васильевич лежал на диване в маленькой комнате.

Прикрыв рукой глаза, засунув палец в ноздрю, такая у него была привычка, Егор Васильевич слушал «Песню Сольвейг» из оперы «Пер Гюнт» Эдварда Грига.

Дослушав «Песню», смахнув слезу эстетического наслаждения, Егор Васильевич потянулся, зевнул раз, другой, а на третий, распахнув пасть как чемодан, зевнул ужасно, окончив зевок полустоном-полурывком:

– А-у-ы-ы!..

– Животное! – крикнула с кухни жена.

Егор Васильевич полегал и пошел на кухню. Жена варила куриный холодец из крылышек и когтистых лап, навевающих мысль о фильме «Парк Юрского периода».

– Попочка, ты совсем заругала своего маленького Гогушу! – игриво сказал Егор Васильевич.

– Вампир ты! – сказала жена. – Слон сиамский!

Она ловко раскидала курятину по глубоким тарелкам, кинула морковку, покрошила веточку петрушки и принялась разливать бульон.

Егор Васильевич, проглотив слюну, пошел в туалет и вскоре так увлекся кроссвордом «Ассоциации», что спохватился только тогда, когда у него затекли и чуть не отнялись ноги.

Он погулял, разминаясь, по комнате, включил телевизор и залег на диван.

На экране кричали, ругались и говорили друг о друге страшные вещи депутаты с министрами. Зрители в студии, какие-то старики и изможденные женщины, равномерно хлопали каждые полминуты.

«Кстати о вампирах, – подумал Егор Васильевич, глядя на политиков. – Если это не они, тогда кто же?»

Нет, это матерые, оголтелые упыри. Может, они и не летают по ночам под видом летучих мышей, но уж кровь пьют почище Дракулы.

А сколько энергетических вампиров, просто деться некуда, так и сосут, так и сосут энергию!

«А самый первый из них – наш директор Тютюнник! – мстительно подумал Егор Васильевич. – Развел фаворитов, Король-Солнце, твою мать, а другим зарплаты не надо! Собака!»

Егор Васильевич работал в юротделе «Житомирсвета» юристом, не старшим, а таким, куда пошлют, в суд съездить закинуть бумажку, или наоборот, забрать, но все-таки это не повод получать только пять тысяч.

«Да, деньги, – подумал Егор Васильевич. – Деньги-деньги, дребеденьги!..»

Вдруг неизвестно почему, но ему вспомнилось далекое босоное детство, первая робкая эрекция, безумная, бурная любовь к Мирей Матье, книга, которую он украл в библиотеке и по-пался, и как мама выписывала «Литературную газету» и журналы, и как они их читали.

Особенно Егору Васильевичу запомнилась одна повесть, «Забор в тени жасмина».

Там так, короче: один мужик, алкоголик, жил в квартире. И вот, когда он однажды допил до ручки, вдруг видит, из норы вылезает крыса. Алкаш, настроенный более чем философски и думая, что это бред, крысу не шуганул, а кинул ей хлеба, или сухаря, не важно.

Крыса схватила хлеб, побежала к себе, но вскоре вернулась, катя перед собой маленький бумажный шарик. Мужчина, думая, что вот она какая, «белка», бумажку тем не менее развернул и вдруг видит, что это никакая не бумажка, а пятьдесят рублей. Полтинник!

Чтобы понять до конца, чем был советский полтинник, вам нужно было бы родиться советским алкашом: поллитра «Столичной» стоила три шестьдесят две; плавленый сырок «Дружба» – 14 копеек, кружка пива – 22. Полтинник! Пятьдесят рублей! Это была куча, это было море, гора денег! Пик Коммунизма!

Нужно ли говорить, что при следующем явлении крысы алкаш опять кинул ей кусочек хлеба, и та прикатила ему новую бумажку, на этот раз в сто рублей, свернутую, скорее сжеванную, в шарик.

Тут жизнь алконавта вступила в новую фазу, он почувствовал себя обладателем золотой жилы, даже лучше – Али-Бабой в чудесной пещере.

Он не старался разгадать эту жгучую загадку, догадываясь, что имеет дело с мистикой, может быть даже с параллельными мирами.

А о чем думала крыса, неизвестно, но, наверное, тоже чувствовала себя Али-Бабой и баловницей фортуны.

Долго они потом кормили друг друга, и в данном случае «друг» и «друга» были не пустые слова – он крысу сыром «Пошехонский» и сухой колбасой, она его – стольниками и пятидесятками.

Пьяница, этот Али-Баба, забурел, приподнялся и зажил утонченной жизнью, перейдя с «Золотой осени» и «Алжирского» исключительно на коньяк.

Жизнь рисовалась ему в самых теплых тонах.

Как вдруг все закачалось и рухнуло.

Не в добрый час пустил он к себе переночевать одного знакомого хмыря, а сам куда-то пошел или поехал, это уже не важно, забыв в радостной суматохе предупредить гостя насчет крысы.

Та себе выбегает вечером, заранее катя перед собою деньгу, в надежде получить свой сыр, и получает молотком по башке и подыхает.

Этот возвращается домой, видит родной серый труп, выслушивает хвастливый рассказ, что вот, мол, Коля, избавили тебя от грызуна, так и так, мол, с тебя, Коля, пузырь, – и, в пароксизме горя и отчаяния, хватает и убивает убийцу тем же молотком. Или топором, это уже не было важным.

И садится в тюрьму, несмотря на состояние аффекта.

Как потом оказалось, в одной из соседних квартир жил то ли фарцовщик, то ли валютчик, то ли еще какой-то расхититель социалистического имущества. Его посадили, а тайник с деньгами, спрятанный в стене, не нашли, и он остался. А рядом жила одинокая бедная крыса, и использовала хорошие бумажки для утепления своих апартаментов, а может для красоты, эстетические наклонности крыс еще мало изучены. Конец. Все.

Егор Васильич внутренне крикнул, как будто это он лишился таких чудесных, легких денег.

– ... Оглох? – как сквозь воду услышал он голос жены. – Марш за хлебом!

Егор Васильич поплелся обуваться.

– И горчицы купи, «Российской»! – крикнула вдогонку жена.

Егор Васильич горько улыбнулся: «“Российской”... Мне бы ваши заботы...»

Весь вечер, ночью, вставая покурить, утром, по дороге на работу – думал Егор Васильич, как бы он наложил лапу на крысиные сокровища, если бы не сел за мокруху.

Понятно, что вариантов тут много, но ни одного, дающего гарантированный успех.

В переполненной маршрутке по пути в суд прикидывал Егор Васильич так и эдак, и вдруг внутренне вскрикивал:

«А если!...», но тут же говорил: «Та не, абсурд...»

Не хочется даже перечислять все фантастические планы, приходившие в голову Егору Васильичу, самым реальным из которых была натасканная на деньги крыса-наркоман.

Продумав до самой ночи, Егор Васильич сдался, плюнул и лег спать.

И снится ему сон. Писатели любят описывать сны, такие что зачитаешься. Но тут был сон самый обыкновенный, так что даже нечего рассказывать.

Очень может быть, что гениальным или просто чересчур талантливым людям, депутатам, поп-певцам, генералам снятся великолепные, редкостные сны, говорящие об их нетрадиционной душевной ориентации и о мистической связи с межзвездными мирами. Но Егор Васильич простой юрист и сны видит самые обычные, как вы или я.

Гармония Вселенной

Сергея любил астрономию как не знаю кто. Если он натыкался на передачу на эту тему, то смотрел как привязанный.

Было, конечно, много чуши и ахиней про тайны мироздания, но были и четкие варианты, особенно когда показывали реальные, а не нарисованные, съемки планет. Глядя на смутный шарик Сатурна или тем более Нептуна, Серега, затаив дыхание перед этим величием природы, только и мог, что прошептать:

– Ни ху-ху себе хо-хо!..

Рассусоливаний об инопланетянах Серый не любил – нет значит и нет, нечего брехать, выдавая желательное за действительность. Тем более он слышал в одной передаче, как один авторитетный батя сказал: «Энэло – це бисовство, с точки зору православной церкви Киевского патриархату».

Но все же допускал, что где-нибудь, у черта на рогах, в одной из ста миллиардов галактик, могут жить какие-нибудь шестикрылые семих... «По закону больших чисел», – говаривал Серега в курилке.

А иногда, когда задерживали зарплату или Наталья «причесывала» его, что мало получает, Серега, нервно курая на балконе, думал: «Интересно, в других галактиках тоже надо блевать кровью, чтобы прокормить семью, да купить дочери айфон, чтобы ее в школе не чморили, да съездить на море в июне на пять дней под Одессу? Не говоря уже взять в кредит сраный «Ланос» или, упаси Боже, лечь в больницу с чем-то дорогим?»

Ему казалось, что это как-то не вяжется со вселенской гармонией, о которой по телеку рассказывает Алекс Филиппенко. Не может быть, чтобы везде царило такое же мракобесие, как в Солнечной системе. Просто с нашим еврейским счастьем нас занесло на планету, где без денег жизни нет, а в иных мирах, может, живут у Христа за пазухой, типа как при коммунизме: «Каждому – безвозмездно! Каждому – сколько влезет!»

Это очень могло быть.

Но могло быть, что и вся Вселенная, все сто миллиардов звезд в каждой из ста миллиардов галактик, как утверждает современная астрономия, опираясь на телескоп «Хаббл» – это юдоль страдания. И куда не прилети со скоростью света – везде то же самое – «бьюсь как

рыба, а денег не надыбал!»; и олигархи купаются в деньгах как свиньи в грязи, и судьи берут взятки, и депутаты проститутки, и минимальная пенсия впереди, и попробуй еще доживи до этой пенсии...

Да, и это тоже могло быть, и даже, говорил Серега в курилке, скорее всего.

И коллеги по работе сурово сплевывали и говорили:

– Сто процентов.

Оптимист

Ноябрьское утро источало такой бодрый оптимизм и оптимистическую бодрость, что казалось совершенно непонятным, отчего людей так тянет совершать самоубийства.

Анатолий Стахович Перетятко свистал «Как прекрасен этот мир» и спотыкался в тумане.

Оптимизм распирал его, и если бы ему вздумалось подпрыгнуть, то он улетел бы в небеса, как один дядя в «Трех толстяках».

Мрак посветлел, и Анатолий Стахович шел, радуясь ледяной мороси и сволочному ветерку, несшему запахи промзоны.

«Нас утро встречает прохладой», – мурлыкал он.

Несколько спустя Анатолий Стахович обнаружил себя уже в центральной части города, причем термос с тормозком пропали.

Анатолий Стахович остановился и поговорил с кандидатами в мэры, висящими на заборе, видимо, давая им избирательский наказ, а потом двинул дальше.

Увидев полицейских, он бросился к ним, сунул руку за пазуху и закричал:

– Аллах акбар!

И они обняли его как брата, и прекрасная дева-коп сделала с ним сэлфи.

На углу Киевской и Шухевича Анатолий Стахович купил бесплатно букет и пошел, помахивая хризантемами.

Целый день гулял Анатолий Стахович по улице Бандеры и примыкающим – Сечевых Стрельцов и Героев Второго Майдана, приставая к женщинам со своим желтым букетом и гоняясь за скейтбордистами, пока его не потянуло домой.

Провальсировав в сумерках по двору, Анатолий Стахович вбежал в квартиру, кинулся на одно колено перед Анжеликой Петровной, протянул ей букет цвета разлуки и запел нездешним баритоном:

Дым сигарет с менто-олом,
Калейдоскоп а-гней!..

Тут и закончились его похождения. И это очень жаль, ведь оптимистов в наше время раз-два и обчелся, да и то они все в телевизоре.

Поздние грибы

У Вити Баландюка мать заболела раком.

Витя давно был к этому готов, поэтому не сильно удивился.

Не то что он был плохим сыном или бесчувственным, но просто этого всегда ждут – и для себя, и для других.

То и дело слышишь: «Слышал, у того-то и того-то – рак обнаружили? Поджелудочной. Пацан в шоке!»; «Я тебе рассказывал, у директора на работе – жена? Онко – последняя стадия!..»

Так что Витек был морально всегда готов, но, конечно, вначале как будто током трухануло. Витя был электрик, ездил по области, делал проводку; однажды даже в Киеве, в особняке у одного депутата.

Так что деньги у него были, не в том дело.

А иначе не о чем бы было и говорить.

Но ведь всем известно, как оно связываться с медициной – высосут из тебя до копейки, а мамка все равно помрет, это ясно.

Но все платят этим кашалотам сколько скажут, чтобы потом не видеть косые взгляды, что пожалел родной матери или деду.

А у кого нет никого стоячего, сына или внука, те сразу едут домой, ложатся, отворачиваются к стене и ждут, когда умрут, главное, чтобы было с обезболивающими нормально.

Некоторые не хотят дожидаться – и вешаются; прыгают с крыши; стреляют из ружья себе в рот; поджигают хату, чтобы не досталась банку; режут вены – кто как.

Но у Витьки деньги были, не в этом дело; не сильно много, но хватит, чтобы платить за лечение до самой смерти.

Матушка ничего не хотела.

Она всю жизнь проработала на «Химволокне» и знала, как эти денежки даются.

Но единственное, что ее волновало, это что на Витюшу останется ее второй муж, а его отчим, Ефимович, лежачий инсультник. Покормить с ложечки, подмыть, перевернуть, помассировать от пролежней – это же все кому-то надо делать.

И взваливать такую обузу на сына было Витьковой матушке хуже чем ножом по горлу.

Вот в чем была для нее дилемма. А умирать она не боялась. Да и кто сейчас боится? Лишь бы по-быстро, желательнее – во сне.

А Витька, конечно, сгоряча не соображал, что его ждет, и больше думал за матушку, чтобы она тихо, мирно и прилично отошла в мир иной.

Он вытащил из заглазника все свои свободные бабки, которые были на этот момент, и повез маму в областной онкоцентр.

Мать прошла химиотерапию, облучение, но легче с метастазами не стало.

– Ну что бы я вам посоветовал, молодой человек, – сказал один врач, как говорили в коридоре, очень знающий, хотя и недавно после института. – Я бы вам посоветовал попробовать купить вытяжку из акулиных плавников. Дорого, но...

И Витек ехал в ту единственную заветную аптеку и покупал этот акулий фуфел.

Из родителей у Вити осталась одна мать, а отца уже не было – он пырнул мать кухонным ножом, отсидел, забомжевал и помер. Витька его после этого знать не хотел, ни копейки не дал, когда тот подыхал.

Так что скоро предстояло ему стать круглым сиротой, в его-то молодые 43 года, и это его почему-то сильно угнетало и расстраивало.

Он поехал в «Спутник» и нажрался как свинья.

Но кому и когда помогала водяра? Никому. Пить надо на радостях, в приличной компании, а не с синяками из-под гастрономов.

Витька наскандалил, получил по роже, сел в свой «Опель Комбо», поехал на Малеванку и открыл дверь своим ключом.

Мать сидела на кровати и смотрела в окно. Луна серебрила ее седую дульку на голове; худые ноги свисали, не доставая до пола.

Сынок сел рядом, обнял маманю, и они поплакали вместе.

Проснулся Ефимыч и тягуче заныл, прося утку.

Мать сползла с кровати и понесла утку, а Витек поехал домой. Зинаида звонила уже сто раз.

Витек лег спать и завел будильник на шесть; утром хотели потнуться за грибами.

Осень была такая сухая, что грибы полезли только сейчас, в конце октября, после дождей, теплых ночей, густых туманов – маслята, черные опята, немного краснюков и совсем мало белых.

Профессия – сторож

Нет никакого сомнения, что представители древнейшей профессии вовсе не проститутки, ибо желание спереть родилось раньше всех других желаний.

Надобность в сторожах возникла в самом начале Бытия, сразу же после кражи яблок из райского сада.

Какое-то время со сторожами была напряженка, и первые люди, Адам, Ева и их сынки, спали вполглаза, как в плацкартном вагоне, держа все свое добро при себе.

Но вскоре, по мере прироста населения, в сторожа хлынули опустившиеся интеллигенты, инвалиды легких групп, менты-пенсионеры, и кадровый вопрос был смягчен, хотя текучка навсегда осталась бичом этой профессии.

Время шло, рождались культуры и погибали цивилизации.

В древнем Вавилоне, Египте, а также Греции сторожа уже были влиятельной, почтенной кастой, наряду с магами, акробатами и философами.

Так, прославленный Диоген-киник, ученик Антисфена, подрабатывал ночным сторожем в Синопе.

Незаметно пронеслась еще пара-тройка тысячелетий, и наступили наши дни.

В наше время профессия сторожа сохранила свою актуальность, невзирая на все усилия науки и техники.

Сторож есть явление психологическое.

Пьет ли сторож на рабочем месте? – Несомненно.

Дрыхнет ли в самый разгар дежурства – с полуночи до шести? – Бесспорно.

И все же никакая техника, пусть даже заимствованная у космических пришельцев, не заменит живого человека, нашего скромного героя в валенках и с берданкой.

И какое хозяйское сердце не изболится, если хозяин не будет знать, что вокруг его склада ходит день и ночь дозором он, былинный Черномор, солдат Швейк правопорядка, старый добрый сторож, раньше с колотушкой, а сейчас с китайской рацией «Хас Фенг» на груди?

Фигура сторожа всегда была овевана романтической дымкой.

Сколько непризнанных гениев пера, композиторов-песенников, обогнавших свое время, сколько философов не хуже Ницше находили приют под материнской сенью сторожки, этой альма-матер неудачников!

Самые лирические поэты посвящали сторожам свои пронзительные строчки:

И, как пьяный сторож,
Выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе,
Приморозил ногу.

Но не всегда живется сторожам сладко, не всегда сторожится припеваючи.

Подобно тому, как у птички есть ее естественный враг – кошка, а у кошки, в свою очередь – гуляющий без намордника питбуль, есть враг и у сторожа – это молодой, энергичный директор.

Часто это юноша, обритый наголо, но с бородой, вымещающий на бедных сторожах свои детские обиды.

Среди них попадаются совершенные, законченные чудаки.

Так, один директор купил и повесил за свои деньги видеокамеру, маленькую и подслеповатую, одну на всю территорию, которая захватывала своим чахлым объективом лишь маленький пятачок под фонарем, тоже единственным. Это средство визуального контроля было вовсе не для того, чтобы помочь сторожам ловить воров, а наоборот, для того, чтобы визуально ловить самих сторожей.

По замыслу этого неумного директора, сторож должен был ночью каждый час подходить к фонарю и махать в камеру, как бы говоря: «Ку-ку! А вот и я!» – чтобы было понятно, что это именно он, сторож, а не какой-то посторонний грабитель.

По утрам молодой директор прокручивал запись и делал свои драконовские выводы.

Мне это напомнило «В исправительной колонии» Франца Кафки. Там тоже один солдат, денщик одного офицера, ночью был обязан просыпаться каждый час и, став во фронт перед офицерской дверью, отдавать ей, двери, честь.

В сущности, это был простой и ясный приказ, не требующий от солдата каких-то особенных усилий.

Но однажды офицер проснулся ровно в полночь, выглянул и увидел, что солдат не только не отдает честь, но спит под дверью, свернувшись калачиком, как собака.

Офицер, естественно, избил бунтовщика до полусмерти, отдал под трибунал, и солдата приговорили к смертной казни в хитроумной машине для пыток.

Но машина дала сбой и убила не денщика, а офицера, не этого, с дверью, а другого, палача, в чем, конечно, была своя доля несправедливости.

Ясно, что тут у Кафки символ, а какой, можно только догадываться – то ли крушения католической религии, то ли рождения фашизма, то ли вообще чего-то третьего.

Вот так и живем мы, сторожа, то ничего себе, не хуже Диогена, то как у Кафки.

И невольно вспоминаются бессмертные строки из Пушкина:

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем.
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зарядим картечью пушку,
Зададим гостям пирушку!

Но до этого, слава Богу, редко доходит.

Нет, быть сторожем очень хорошо! Иногда я даже думаю, отчего все не идут в сторожа?

Но ведь сторож – это призвание, состояние души, это, как говорят остроумные девушки, диагноз.

Профессия сторожа бессмертна, она никогда не умрет и никуда не денется, все по тем, древним, причинам.

Скорее уж отомрет проституция, исчерпав свою социальную базу.

Богдан АГРИС

От звёздного закутка
до блёсткого всхлипа лип
ломаются скосы воздуха на кровлях напололам.

От лунного завитка
до гибкой основы рыб,
смотри – прорастают искоса сгущения орифламм.

Война кольцевых дождей,
расхлѣст солевых дорог –
и, кажется, уже нечего ловить в этой чертовне.

Есть искусы поважней,
чтоб выскользнуть за порог.
Есть поводы понадѣжнее себя уводить вовне.

Сдвоѣнные небеса,
взъѣрошенный воробей,
холмы у истока воздуха, их оттиск вересковой.

Да полные полчаса,
в которые не робей –
и всё, что было потеряно, вернѣтся к тебе с лихвой.

и дом, подраненный в лакуне световой,
и снег, распластанный вдоль тени боковой,
и фонаря скрипучий подмалѣвок.
о как же ты, зима, бываешь непроста,
когда проходишь вдоль покатога клеста
и подмороженного клѣва.

Богдан Агрис родился в 1973 году. Проживает в городе Химки. По образованию – философ (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова). Публиковался в журналах «Новый Мир», «Волга», «Знамя», «Новая Юность», «Плавучий мост», онлайн-порталах «Сетевая словесность», «На середине мира», «Прочтение», «Флаги». Автор книги стихотворений «Дальний полустанок» (М., 2019). Готовится к выходу вторая книга стихотворений.

в трамвайных прорезях, приплюснутых и узких,
тогда глядят на божий свет полярные моллюски.

луна отчётливей, чем некогда была.
в её беспрекословном свете
по улицам пройдут двустворчатые дети
и рассмеются добела.
и дом, оставленный в репризе вековой,
и снег, расправленный вдоль стен осведомлённых,
осуждены держать высокий контур клёна,
в котором – никого.

Элегия

Что за смерть у воробья...
В. Шубинский

Я буду умирать с твоими воробьями,
зима, затёртая во параллелограмме,
у пристяжных застав – у нарвских ли, тверских...
Синюшных этих звёзд овалы так близки,
и звякает луна-жестянка напоследок,
а воздух плотяной так известков и едок,
так лживы фонарей набрякшие глаза,
что впору не молчать, а просто выйти за.

Я буду воскресать с твоими визави,
о город мой – влитой, скворешневый, птенцовый.
Я буду начисто тобой перелицован.
На что я отзовусь? Не бойся, позови.
Вдруг эти времена закружатся впервые,
вдруг на меня сойдёт мой воробыный сон,
где буду я вести проулком колесо
и видеть жизни беловые.

на ветке ласковый стремглав
под веткой воронёный сыр
от недалёкого угла
бежит проталина лисы

стремглав стремглав ты был крылов
махни двухплоскостным крылом
а вон твоя ворона
не меньше легиона

мы молодой весны тельцы
мы засланы вперёд
мы угловые образцы
того как тает лёд

витийствуй талая лиса
тебе даётся полчаса
а там войдут иные
ребята лубяные

На смерть воробья Поли

Воробей, о мой воробей – приготовь
мне в лесу моём стол-кров.

Домовитый ты наш, домовый –
соверши-ка нам дом новый.

Натаскай поболе зерна.
(Гляди, какова луна.)

А сыскать говяжьих лядвей –
в помощь вороны две.

Вздеть повыше стропила –
на то голубиная сила.

Там голубей хороших,
как во стручке – горошин.

где ягода моя ты не упоминай
во солнечное стекло восходит адонай

и падает ладонь во пустошь облепихи
народ безмолвствует но говорят языки

рябина хороша когда на ветке дрозд
попробуй не спеша ввести рябину в рост

се птичий новодел се говорок синицын
мы с ягодой в гнезде мы с буквицей в деснице

рябина во дроздах смородина в снегу
и всё я в городах рябиновых бегу

– как в этой смерти непрямой
ты так поднаторел зимой

– летите долгие озёра
под жировой прослойкой льда
летите снобы и позёры
нецелевые города
летите голуби летите
вы упираетесь в юпитер
а мне – что значит слово я –
и делать нечего друзья

о, мне подводные пещеры
о, мне палёные мещеры
и поселковые пиры
а ну точите топоры

произнесённые задаром
замазанные скипидаром
как заво(д/з)ные деревья
восходят лешие слова

– как в этой смерти туповатой
ты разобрался торовато

всё видимся мы велики и вольны
а это душа на пороге луны

туманом и паром широким сычом
сама сухопарым поводит плечом

мы вольные души в краю золотом
на море и суше мы всё не о том

поводим поводим рассветом плеча
нам наша душа вековая печаль

где хвощ-перелесок да пласт моховой
какого отвеса нам будет с лихвой

какие ореховые города
какими прорехами наш нотр-дам

в прореху закатится лунный сантим
в глубины ореха давай улетим

зима бы приветила нас задарма
но где же на свете такая зима

о для чего вы ходите мне сёстры
в своих таких улыбчивых каштанах
в своих румянцах неперебелённых?

я буду рядом с вами корень-город
я буду летом валуном и вещью
и совестно спросить – я рядом буду?

на корень – корень, на валун – окатыш
на лето – лепет, что до сáмой вещи
какая же ей может сбыться пара?

льняные сёстры иволоджи лики
ресничий всполох в небесах стотельчих
я буду только оборот и образ

о кровельные воды мне
о вровень эти годы мне

зевота зимнего двора
неведомая детвора

перемещение во трибы
рябиновые перегибы

в апреле образ водяной
белёсое веретено

ещё заплещет по старинке
звезда раскосая во крынке

и на огромные дворы
ответить нечем до поры

ДЕВОЧКА ИЗ КОММУНАЛКИ

Рассказ из цикла «Вперёд и наискосок»

Всё реже включаю свет. Днём хватает солнца. Мутное бельмо, размазанное по январскому небу. Вечером загораются уличные фонари. Их свет до скрежета в глубине черепной коробки напоминает болезненное свечение кварцевой лампы. Москва в январе похожа на больницу. На хоспис или лепрозорий. Кажется, ещё немного, и услышу похмельное дребезжание больничной аппаратуры. В этой квартире я живу уже двадцать лет. За это время, наверное, только распоследний идиот не выучил бы дороги из кухни в комнату. Пускай даже в темноте. Почему проще без света? Не знаю, наверное от лени. А может, какое-то животное желание уйти в спячку, спрятаться в тёплом и тёмном углу, спать беспробудно до весны с её рваным небом и ветром, пахнущим жизнью.

Попробовать вспомнить ещё раз? Что, питаться этим всю зиму, что ли, собираешься? Будешь теперь обмусоливать. Как медведь лапу сосёт, так ты будешь воспоминания обсасывать? А я всё равно припомню. Хотя и опять навру, что-то приукрашу.

Всё расплывается, от самого начала... Откуда я тогда шел? Из Некрасовской библиотеки. Откуда я ещё мог идти по Бауманской улице к метро? Вряд ли просто гулял. Только мазохист, отъявленный, уже уставший от иголок во все возможные места, пойдёт гулять по Бауманской улице. Сплошная разруха и смерть. Домики грязно-канареечного цвета, узкий бугристый тротуар, на второй линии панельные башни, постоянно туда-сюда снуют трамваи без пассажиров, и голый пустырь, где когда-то стоял рухнувший рынок. Был бы я Свидригайловым, пришел бы на этот пустырь «уезжать в Америку».

Значит, точно из Некрасовки шел. Потом кончились сигареты, магазин, остановился в арке, – это я помню наверняка.

С какой она подошла стороны? Каблочки, стучали каблочки.

«У вас не будет сигареты?» Ну какой я ей вы? Даже, наверное, младше.

«Конечно, на здоровье». Всё остришь? Старо как мир. Хотя она улыбнулась.

Как она выглядела? Похожа на маму, только моложе. Все они на маму похожи, когда всё между вами заканчивается. Универсалия такая. Конкретнее, вспоминай. Как же трудно припоминать внешность девушек, красивее которых, казалось, нет никого на свете. Память сама себя от разочарования предохраняет, стирает всё начисто, не дай бог окажется, что фея – обыкновенная тёмненькая, по-татарски смугловатая девчонка (именно девчонка) с самыми заурядными карими глазами. Ничего выдающегося ведь. Даже в прямом смысле. Грудь у неё не было. Точно помню, на её смуглом лбу белел островок небольшого шрама, оставшийся от давно выдавленного прыща.

А что потом? Смазанная грязной лапой краска. Взял за руку. Так быстро? Сам удивился. Она не против. Рука руку греет. И гулял по Москве ветер. А мы с ним вместе.

«Может, выпьем. Угостишь?» Уже были на ты. Сначала за руку, а потом на ты? Не наоборот? Нет, не наоборот. Сначала за руку, а потом на ты. Снова магазин, какое-то вино.

«Да ладно тебе, может, что покрепче?» Это она или я? Взяли покрепче. Виски. Водку не признаю. «Барство какое». Это она. В её стиле.

«А я в коммуналке живу, ничего же?» Это тоже точно она. Никогда не был в коммуналке, это даже как-то не по-московски, всегда думал, что только в Питере коммуналки остались.

Дом был похож на готический замок из экзальтированной фантазии русского сентименталиста и заводскую постройку одновременно. Краснокирпичный, с башенками непонятного назначения. Снять бы этот дом в роли здания ГубЧК в фильме о ранних годах советской власти. Вокруг пустырь, строительный мусор (что он там делал?), вдалеке – купола церкви и трубы ТЭЦ. Скользкий подъезд, бесконечные повороты ключа и лязганье задвижек.

«Сим-сим! Откройся». Опять остришь. Клоун ты, Слава.

Ожидал отклеивающиеся обои, лампочку Ильича и одинокую табуретку. Так оно всё и было. Влево – кухня, там кто-то копошился или что-то копошилось. Очень по-тараканьи. «Это соседи, забей, привыкнешь ещё». Как будто оправдывалась. Неужто у меня на лице было написано недоумение и отвращение? Почему привыкну? Уже тогда знала, что я ещё приду.

Потом пили в комнате, из гранённых стаканов, сидя на выдавшей и лучшие времена тахте. Говорили обо всём, но больше, конечно, о Москве. О ней я, кажется, могу говорить вечно, по суждению об этом городе угадываю своих, угадываю тех, кто привязан со мной веревкой к одному дереву. Она хорошо говорила. Она точно была умнее меня. Какое это наслаждение и какая обида, когда девушка умнее тебя! «Меня, знаешь, от Арбата трясёт. Бэк ту девяностые. И ряженные эти в костюмах. Пидорасы гнутые!» Было в каждом её матерном выражении, которые она вворачивала явно не без удовольствия, что-то похожее на удар хлыста по белой коже. «А что такое Патриаршие? Позор. Эти сладкари светские, богема недобитая, ну что им там, как мухам, что ли, намазано?» Мы ругали Москву, ругали высшее образование. На кого она училась? «На безработную». Тоже острила. Как же мы были похожи.

За стенкой надсадно кашляли. «Это соседка, бабуля, божий одуванчик». Бабуля кашляла так, будто за раз выхаркивала не меньше ведра собственных внутренностей. Виски жёг покрепче водки. Закусывали чёрным хлебом. «Почитай что-нибудь, ты же филолог». Она прикрыла глаза и улыбнулась. Я понял, что, видимо, ночевать останусь здесь. Что было потом?

Её руки в моих волосах, голое плечо, кашель за стенкой, вечный кашель за стенкой. По голове стучало: «С этим кашлем ничего у меня не получится, чтоб ты сохла, старая пизда». Кое-как получилось. Курил в форточку. Она подошла сзади, спиной почувствовал, как меня касается её грудь. «Какие у тебя волосы. Дал бы поносить?» Неоригинально. Уже тогда понял, что это не про свадьбу и долгую и счастливую? Да.

Потянулись мои коммунальные дни. Приходил. Не стесняясь, пачкал вздувшийся, так похожий своими буграми на тротуар Бауманской улицы, линолеум осенней грязью. Без стука во вторую налево по коридору комнату, всё чаще смотрел не на неё, а на купола церкви и бесконечно изрыгавшую дым трубу. Как там пелось? «А из нашего окна превосходный вид на ТЭЦ».

К непреходящему кашлю привык, как привыкают к шуму поездов живущие возле путей. Читал ей стихи, она делала вид, что слушала, всё больше убеждался, что она похожа на маму. Только моложе. Плохой был знак. Хуже бабы с пустым ведром или говорящего ворона.

Выучил наизусть её грудь и плечи, стало скучно. Потом перестал оставаться на ночь, придумывал предлоги. Читал тогда Стриндберга и Сёдерберга и, уходя от неё, бродил по кирпичному лабиринту между Авиамоторной и Бауманской, фантазируя, что вокруг продуваемый всеми ветрами Стокгольм. Этих прогулок после ждал больше, чем всего, что до. Курил на заброшенной стройке. Под ногами, как свежий снег, бутылочными осколками хрустели чьи-то горе, радость, песни с упавшей на грудь головой и прочие страсти. Глядя на проносящиеся по третьему транспортному машины, представлял, как сам еду по магистрали длиной в жизнь куда-то за горизонт, и всё реже представлял её рядом. Потом вообще перестал.

Она была неглупая, очень похожая на меня, только умнее. «А как мы расстанемся, знаешь? Хочешь, расскажу?» Я тогда опять курил в форточку. Где-то далеко бесконечно и надсадно лаяли собаки. Промолчал. Думал сойти за умного.

«Ты просто не приедешь. Просто не приедешь, и всё. Всё у тебя будет по-старому. Даже лучше, исчезнет лишний винтик рутины, отдохнешь, а там и новая какая девочка с плеером-веером». Лениво парировал.

«Хватит. А я в этой коммунальне останусь. Состарюсь никому не нужная, прямо как ты. Буду харкать, как Марина Степановна, а там, где она пока что живет, какая-нибудь молодая дура будет ебаться с молодым дураком вроде тебя. Сансара дала оборот». Щелчком отправил сигарету в полёт с высоты пятого этажа.

Молчали. «Останешься?» Не хотелось, но остался. Специально остался, чтобы по горло ей насытиться, чтобы наутро уже затошнило, специально хотелось так сделать, чтобы она права была. «Превосходный вид на ТЭЦ. Вечерами ого-го, по утрам – такой пиздец», – так там пелось.

Она и оказалась права. Через пару недель я вообще перестал приезжать. Не помню, как мы виделись в последний раз. Скорее всего, ничего необычного и драматичного. По-настоящему видиться мы перестали после тех её слов. Тела наши касались друг друга, это без всяких сомнений, но уже в полной темноте, под кашель бессмертной Марины Степановны. Друг друга мы уже не видели.

Вот и припомнил. Посмаковал. Через денёк-другой не забудь снова повспоминать, только деталей добавь. Соски её получше себе опиши, или, там, как пахла кожаном её новая косуха их «Зары». Когда совсем будет неважно, рукой себе помоги. Дотянешь до весны на этих воспоминаниях, а там другая подвернется. Нанизывай на нитку бусы с расплывшимися, похожими на ритуальные маски, лицами. Девочка из Рязани, девочка с Тёплого Стана, девочка из Керосинки, девочка с ирокезом, теперь девочка из коммуналки на Бауманской. Нанизывай, места на этой нитке всегда хватит. Сиди в темноте, вылезай оттуда только чтобы вспышкой ворваться в чью-то рутину, и так же молниеносно исчезнуть. В этом скука твоей жизни. А потом поженишься и остепенишься. Опять враньё. Станешь старым эротоманом. Хуже этого – ничего. Молодым эротомания прощается, даже больше – она им свойственна, а сексуальное желание у старика – это всегда заигрывающее с извращением. Горче всего будет, когда нитка твоя истончится и порвётся, рассыплются твои бусинки, не соберешь их трясущимися руками маразматика. И только ветер всё так же будет гулять по Москве, но уже без тебя.

Евгений ЧИГРИН

ВОТ ГРАНИЦА, А ВОТ ВАМ ТАМОЖНЯ

*...притча описывает мост, который настолько
слаб, что на него и птицы не могли сесть. Мост
символизирует переход в загробный мир.
Из староголландской литературы*

Собака-дьявол приоткроет рот,
И вспыхнет образ: воронье и кости.
Три чёрных духа задом наперёд
Пройдут во мгле, смахнут листву и звёзды.
Бес-коробейник в чьей-то голове
Несёт в коробке проданную душу,
Так происходит во второй строфе,
Где зазеркалье зазевалось в лужу,
Поскольку осень шастает кругом:
Состарилась, бормочет, как старуха,
Взмахнёт косой, и дом пойдёт на слом,
Вздохнёт легко, и гром встревожит ухо.
Так лепится притянутый катрен,
За уши поднимая идиому.
...Собака-дьявол, черепа – контент.
Средневековые шарится по дому.
Возможно, осень есть нетвердый мост?
Присядут птицы – рухнет хрупкий мостик,
И выпадут птенцы из сонных гнёзд,
И о себе вздохнёт туберкулёзник.
И не заснёт до самого утра,
Не видя – за спиною ангел-фельдшер
Идёт к окну в пастельном свете бра,
Готовясь прыгнуть, как профессор Плейшнер.

Что мне завтра, когда под Селеной
Жук-олень, пролетая, – разбился,
И Борей захлебнулся в смятенной,

Евгений Чигрин родился в 1961 году на Украине, жил на Дальнем Востоке. Автор 6 книг стихотворений; публиковался в журналах «Арион», «Новый мир», «Новый журнал», «Континент», «Дети Ра», «Дружба народов», «Нева», «Интерпоэзия», «Звезда», «Урал» и др., в российских и зарубежных антологиях. Лауреат 7 литературных премий. Живёт в Москве и подмосковном Красногорске.

Крепкой ноте в трёх метрах от пирса.
И река заворочалась пеной,
Не заплакал, но вытеснил воздух
Старый призрак с игрушкой-гиеной,
Притворяясь при сумрачных звёздах

Тем, кого я узнаю едва ли.
Рваной шторой навесилась туча
Над рекой цвета тёмной эмали...
Загадай – и фантазия щучья
Не случится, так скрипнет калиткой,
За которой в бессмертье возможно
Забрести с виноватой улыбкой:
Вот граница, а вот вам таможня.

Никуда не уйдёт от тебя зима,
Ибо снег не вокруг, а в тебе опять.
Перепутаны сны, в одеяле – тьма,
Не Мореной, а кем-то другой кровать
Заколдована так, что кошмар внутри
Муравьём огненным атакует стих.
Эти твари пришли из другой земли.
Побледнел от безумия твой ночник.
Это так или вовсе не так, дружок?
Киноварный термит, а за ним другой...
Ну, закрой-ка глаза, ты ещё не плох,
До утра доживает нелегко.
Засыпай. Забывайся. Скрипучий март,
Накрутив циферблат, принесёт хоть что...
Хочешь птиц африканских увидеть, брат? –
Говорит кто-то белый в твоём пальто.

После схватки с ведьмами Муми-тролль
Ощущает, что постарел. Тупик.
Снегопад давно потерял контроль,
Золотой фонарь нацепил парик...

После взглядов фурий, других змеюк,
Похорон Снусмумрика подустал,
Вот и смотрит чаще всего на юг,
Там когда-то с музыкой отдыхал.

После боя с теменью в голове
Остаётся аспида взгляд пустой,
Что ещё? Не спрашивай. На софе
Закемарил правильный наш герой

В Муми-доме, дом окружают сны,
Постаревший тролль говорит Ему:
Мы в быту бывали подчас смешны,
А теперь приходится самому

Защищать покой, Ты там слышишь, нет?
Говорю Тебе не в мультфильме я.
...Кем размётан снег, кем оставлен свет?
В чей домашний кров заползла змея?

Сколько биться мне Ты ещё велишь?
Старикам, как есть, отдыхать пора,
В сновидениях много лунных крыш,
Под которыми жизнь ещё тверда.

С добротой снег размешай нам, Бог,
Распечатай свет, заслони луну.
Я Твоих врагов победить не смог.
Но, как мог, ходил на Твою войну.

Трепыхнётся в могиле живой,
Полетает над городом мёртвый,
Под фарфоровой (вышла) луной –
Точно сыр полутвёрдый.
Не смотри, – говорила она, –
В жёлтый ад неадамовых яблок,
Души – демоны тянут до дна,
Распухают и набок.
Не смотри, позабудешь меня,
Поменяешь на сущности мрака,
Дальше – больше: пойдёт мельтешня
С метастазами страха.
Слишком много обещано нам,
Было – сплыло на глобусе счастья,
А вчера-то мне снился Адам
И звериная каста,
И ещё, этот самый, ну как? –
Змей с лицом переменной Евы,
Пятна ада на белых руках...
Колоритные дебри.
Ты не слушай. (Абсурд, чепуха.)
Пролети над чудовишной бездной
До того, как пробьёт петуха
Обратиться в чудесный
Крик предутренний... Помню, как ты,
У киношки меня поджидая,
Эндемичные спутал сады
С колокольчиком рая.

Саммер ЛЕНЦ

СОБАКА СУТУЛАЯ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ КАССИОПЕИ КИРПИЧНИКОВОЙ

*Яне Костаревой.
Она знает, за что.*

Дамку забирают

В один собачий приют как-то утром пришёл мужчина и сказал, что хочет усыновить Дамку. Дамкой звали красивую большую собаку. Она была очень грустной, всё время лежала в углу вольера и шумно вздыхала.

– А почему вы хотите взять именно Дамку? – спросила хозяйка приюта.

– Мне очень понравилась фотография в газете, – признался мужчина. – Всегда хотел собаку.

– А почему не заводили? – насторожилась хозяйка.

– Квартира была маленькая, негде собаку держать. А сейчас я в деревне живу, места много.

– Вы её на цепь посадить хотите?!

– Мне обидно, что вы так обо мне думаете. Нельзя собак на цепи держать. Мне нужна собака для прогулок по лесу.

– Вы охотник?

– Нет, просто люблю гулять в лесу.

Хозяйка какое-то время с подозрением разглядывала мужчину, а потом сказала:

– Хорошо, мы отдадим вам Дамочку. Но я буду следить за вами, чтобы вы нашу собаку не обижали. Вы на машине?

– Нет, пешком.

– А как же вы Дамочку поведёте домой?

– А я всё с собой принёс, – ответил мужчина, и достал из карманов куртки не распакованные даже шлейку и поводок.

– Я гляжу, вы подготовились, – всё ещё с подозрением сказала хозяйка.

– Да, – с достоинством ответил мужчина.

– Хорошо, сейчас я приведу Дамочку.

Вскоре хозяйка привела на коротком поводке Дамку, ласково воркуя, что сейчас Дамочку заберут жить в дом, где её будут любить и часто выгуливать. Дамка не слушала. Она думала о кошке, которую почти догнала во сне.

– Ну, идём, – сказал мужчина и бодро зашагал восвояси.

Дамка покорно пошла следом.

Саммер Ленц родилась в 1984 году в поселке Жуланово Соликамского района, окончила факультет филологии и массовых коммуникаций Нижнетагильского социально-педагогического института. Участвовала в сетевых литературных конкурсах. Дебютировала в пермском журнале «Вещь». Живёт в Красноуфимске. В «Волге» публиковалась проза (2019, 2020).

Дамке не разрешают

За приютским забором пахло весной, машинами, другими собаками, но особенно вкусно пахло мусором. Дамка то и дело останавливалась, чтобы сожрать какой-нибудь полиэтиленовый кулёк, в котором раньше была колбаса, или булочки, или чипсы. Но мужчина неласково дёргал за поводок и рывал:

– Нельзя! Брось! Выплюнь дрянь!

Дамка терпела. Она знала, что у людей странные представления о вкусном. Даже когда у неё прямо из пасти вырвали восхитительного дохлого голубя, она не огрызнулась. Только подумала, с укоризной поглядев на человека: «Вот жмот. Сам не ам, и другим не дам».

Шлейка, которую на неё напялили, неприятно пахла, поводок был ярко-оранжевым и бросался в глаза, а мужчина норовил почесать ухо, хотя чесалось у Дамки между лопатками, как раз под шлейкой.

Дорога была длинная, и Дамка уже начала беспокоиться, что её сейчас заведут в лес, привяжут, да там и оставят. Такое уже однажды было. Но боялась она напрасно, потому что вдруг они пришли.

Котинька и Польша

Новый дом оказался действительно новым, не очень большим, но и не очень маленьким. Вокруг дома раскинулся огромный двор. Во дворе росли берёзы, сосны, ёлки, было много травы и полевых цветов. «Неплохо, – подумала Дамка. – Интересно, как тут кормят?»

Они обошли дом и поднялись на крыльцо. Здесь мужчина сказал: «Стоять!», и Дамка подумала, что это и так понятно – дверь-то закрыта. Тем временем мужчина крикнул:

– Котинька, дай, пожалуйста, тряпку, а то у нас лапы грязные.

«Та-ак, – сообразила Дамка, – у него, значит, здесь кошка хозяйничает... Ну, ничего, сейчас она вынесет тряпку, и я покажу, кто здесь главный!..»

Дверь открылась, но кошки за ней не было. Там была женщина в странной розовой шубе с глазами на затылке. В руке у женщины была тряпка.

– О, пришли, – сказала женщина. – Польша, собака пришла!

«Нифига себе котинька», – разочарованно облизнулась Дамка. В доме явно жили сумасшедшие. «Может, это Польша – кошка?»

Но и Польша оказалась не кошкой. Так звали девочку в такой же странной шубе, как у женщины. Только голубой.

– Это Дамка? – спросила девочка у мужчины, пока он вытирал Дамке лапы.

– Да.

Дамка становится Касей

Когда лапы были протёрты, Дамку впустили в дом. Первое, что она увидела внутри – большую лежанку из толстого поролона. Лежанка была укрыта голубым пледом.

– Это твоё место, – сказал мужчина.

Дамка нехотя взошла на лежанку, и даже прилегла. Не то чтобы слишком мягко, но лучше, чем в приюте. Дамка положила голову на лапы и посмотрела на людей. Люди стояли у лежанки и смотрели на неё.

– Она устала? – спросила женщина.

– Она, наверное, есть хочет, – предположила девочка.

Дамка резко подняла голову, а потом и вовсе вскочила на ноги. «Конечно, хочу. Где?!»

Люди отчего-то рассмеялись. Девочка убежала в другую комнату и принесла большую миску с кашей. Каша пахла мясом.

– Ой, сколько слюней!

– Она не похожа на Дамку.

Дамка посмотрела на Польшу. «И на кого это я тебе похожа?»

– А на кого она похожа? – спросил мужчина.

– А видишь, у неё на морде пять пятнышек в виде буквы эм? Так созвездие Кассиопея выглядит. Назовём её Кася?

– Полина, Кася – это польское имя.

– Так я сама – Польша.

Мужчина и женщина рассмеялись.

– Ладно, пусть будет Кася. Ты согласна, Кася?

Никакой добавки

Дамке было всё равно. Она громко чавкала кашей, возюкая миской по полу. Всё семейство выстроилось рядом и с умилением смотрело на Дам... теперь уже Касю. Впрочем, долго умиляться новым хозяевам не пришлось: Кася съела всё едва ли не в три глотка. Тщательно вылизав миску, она вопросительно посмотрела на новых хозяев.

– Кхм, – мужчина почесал затылок. – Это всё.

Кася сделала вид, что не поняла, хотя, конечно, поняла всё сразу. В приюте есть давали куда меньше, чем здесь, только чтобы не помереть от голода, но досыта она не ела уже давным-давно. И потому продолжала стоять рядом с миской: вдруг кто-нибудь дрогнет и даст добавки?

Но мужчина никому дрогнуть не дал.

– Хватит с тебя, иди на место.

Кася опустила голову, громко цокая когтями, прошла к лежанке, где бухнулась на бок и со-крушённо вздохнула. Семейство на цыпочках разошлось по комнатам, и Кася от расстройства заснула.

Сон

Снилось Касе, что они с Гуляем гонят зайца. А заяц такой здоровенный, размером с лося! А Пахомыч, на которого они выгнали зверя, стоит и цветочки нюхает, и ничего вокруг не видит.

– Стрелей, Пахомыч, стрелей! – кричит Гуляй, а заяц оборачивается и лапой по губам: мол, тсс, чего орёшь! И Гуляй послушно замолкает. А Пахомыч и вовсе уже спит, и заяц мимо него на цыпочках, даже сапоги снял, и Гуляй тоже тихонько норовит, и Кася... но когда она через Пахомыча начала перешагивать, вдруг видит – ружьё!

Она это ружьё в лапы, прицелилась и – бдыщь! бдыщь! Дуплетом! А ружьё только тихонечко – пууук, пууук... – будто тоже не хочет Пахомыча будить. И так обидно Касе сделалось, что она даже залаяла. Тут уже и Гуляй оглянулся и знаки делает: тихо, разбудишь! Но Кася продолжает лаять на убегающего зайца и будит Пахомыча.

– Кася, ты чего? – удивляется Пахомыч.

И Кася просыпается.

Кася случайно себя выдаёт

– Пахомыч? – удивилась Кася.

– Чего?! – вскрикнула Польша.

Оказывается, это была она, а не Пахомыч.

– Тихо! – шикнула Кася на девочку.

– Чего?! – хором воскликнули хозяин и хозяйка.

«Опять проболталась», – с грустью подумала Кася. А вслух сказала:

– Собака сутулая...

Кто такой Пахомыч

– А кто такой Пахомыч? – спросила Польша.

Кася лежала, отвернувшись ото всех, но было поздно: все бегали вокруг и кричали: она говорящая! меня никто не предупредил! может, это игрушка? или робот? ага, и жрёт кашу? не жрёт, а кушает! поучи ещё отца, поучи! Митенька, успокойся! я спокоен, котинька, я совершенно спокоен...

– Касенька, – Польша осторожно погладила её по спине. – Ну, расскажи. Или это тайна?

– Это мой бывший, – буркнула Кася. – Выше почеси, пожалуйста.

Все замолкли. Ладонь Польши поднялась к самым лопаткам Каси и почесала там.

– Вооот! – блаженно выдохнула Кася.

– Ты говори, говори, не отвлекайся, – сказала Польша, ласково скобля Касину шкуру своими тонкими пальцами.

И Кася рассказала

– А чего рассказывать. Сергей Сергеевич Пахомов, его все Пахомычем звали. Мы у него с Гуляем жили, он нас на охоту водил. Потом он состарился и отдал нас с Гуляем Толян. А Толян нас Димону, и Витюхе, и Рафику, и кому только не давал. Они нас в лес увезут на охоту, а сами начинают водку пить. Мы с Гуляем бегаем, дичь распутываем, а они часик-два подождут – и уезжают без нас. А нам ни спасибо, ни до свидания. Ни еды, ни питья, в какую сторону домой – вообще не ясно. Несколько дней добираться назад, а тебе дома – где шлялись? Обидно! А потом, когда мы в последний раз потерялись, Гуляй с голодухи крысу дохлую съел, а она отравленная была. И помер, собака сутулая. А я одна осталась. И решила к Толян не возвращаться.

Пора гулять

В это время хозяин, которого, если верить Котиньке, звали Митенька, посмотрел на часы.

– Кстати, – сказал он. – Действительно, пора гулять.

– Я с вами! – вскочила Польша.

– А уроки ты сделала? – спросил Митенька.

– Ну паап...

– Никаких «нуап», живо делать уроки. Кася, вставай, гулять идём.

Кася с готовностью вскочила и подбежала к двери.

– Куда? А шлейка? А поводок?

– Что я – маленькая?

– Маленькая – не маленькая, а порядок быть должен!

– Ну Митенька... – заныла Кася.

Котинька и Польша засмеялись, а Митенька рассердился.

– Не Митенька, а Дмитрий Олегович, – строго сказал он. – Я обещал, что не буду тебя отпущать на самовыгул, так что будь добра соблюдать правила!

Кася закатила глаза и покачала головой, но позволила застегнуть на себе шлейку и поводок, бормоча под нос «собака сутулая».

– И без фокусов, – предупредил Дмитрий Олегович.

Они вышли на крыльцо. В воздухе струился едва заметный сизый дымок – кто-то топил баню и жёг прошлогоднюю траву.

– Куда пойдём? – Дмитрий Олегович посмотрел на Касю.

– В лес! – сказала она.

И они пошли.

И они пошли

Некоторое время они шли по грунтовой дороге, по обе стороны которой стояли дома – деревянные и кирпичные, за высокими заборами и за низкими. И из-за всех заборов яростно лаяли собаки.

Кася шла, деловито обнюхивая эти заборы, а кое-где и присаживаясь. Дмитрий Олегович в этот момент тактично смотрел в сторону.

Потом дорога вильнула влево, потом вправо, и выпрыгнула прямо на оживлённую трассу, через которую туда-сюда сновали машины.

– Стоять! – прикрикнул Дмитрий Олегович, дёргая за поводок.

– Стою, стою...

Дождавшись, когда поток транспорта стихнет, Дмитрий Олегович с Касей быстро перебежали на другую сторону, и по широкой тропинке вошли в высокий хвойный лес с густым подлеском. Кася моментально нырнула в кусты.

– Куда?!

– Мы же гуляем!

– Давай гулять по-человечески – по дорожке, а не через буераки.

– Что я – маленькая?

– Кася, ты, разумеется, не маленькая. Но и я не мальчик, и не могу скакать за тобой через поваленные деревья. Давай так договоримся: вечером мы гуляем по моим правилам, а утром – по твоим.

– Ладно.

Кася пошла по дорожке чуть впереди, приняв себя. Запахи весеннего леса будили в ней жажду деятельности, хотелось бежать, искать и выгонять.

– А вот скажи мне, Кася, – спросил вдруг Дмитрий Олегович. – А все собаки разговаривают?

– Да все разговаривают, – ответила Кася, обнюхивая кротовую нору. Крот был где-то далеко, и докапываться до него сейчас было пустой тратой времени.

– И ты со всеми можешь поговорить?

– С собаками-то? Могу, конечно.

– А с кошками?

– Дмитрий Олегович, обидные ты вещи говоришь. Я с едой не разговариваю. И тебе не советую.

– Почему?

– Голодный останешься. И не отвлекай меня, я работаю.

Дмитрию Олеговичу было очень неприятно, что собака не разрешает ему с собой разговаривать, но решил, что, если уж они гуляют по его правилам, Кася имеет право хотя бы на молчание.

Плохая фамилия

Домой они вернулись только часа через два, вдоволь напетлявшись по тропинкам. Дмитрий Олегович был слегка шокирован, что Кася при нём разорила несколько птичьих гнёзд и задушила крота (а есть не стала), и поэтому не стал рассказывать об этом жене и дочери. Жену, как выяснилось на той же прогулке, звали Ирина Валерьевна, а фамилия их была Кирпичниковы.

– Вот собака сутулая, – ворчала Кася, пока они возвращались домой. – Плохая фамилия.

– Почему это? – ревниво спросил Дмитрий Олегович.

– А как вас сокращённо звать? Кирпичи?

– А зачем нас сокращённо звать?

– Ну, мало ли... А вдруг заяц?

– Что – заяц?

– Ну, вдруг он выскочит...

Дмитрий Олегович непонимающе покачал головой. Открывшаяся способность собаки вести осмысленную беседу его уже не шокировала, но вскрывала кучу проблем морально-этического характера. И думать об этих проблемах он не хотел.

Чай и закат

Ирина Валерьевна и Польша встречали их, стоя на террасе.

– Вы чего здесь? – удивился Дмитрий Олегович.

– Мы пьём чай и любим закатом, – сказала Ирина Валерьевна.

– Я тоже хочу пить чай и любоваться, – с воодушевлением сказал Дмитрий Олегович и ускорила шаг.

Он быстро протёр Касе лапы тряпкой, которую заранее приготовила котинька, разулся сам, и они вошли в дом.

– Кася, а ты пьёшь чай? – спросила Польша.

– Не пью.

– А закатом любишься?

– Нет. Каша ещё есть?

Дмитрий Олегович проворчал, что кому-то вредно есть на ночь, но каши всё-таки положил, потому что, когда все пьют чай и любят закатом, тому, кто этого всего не любит, нужно хоть чем-нибудь утешиться.

Пора на боковую

Часов в десять Польшу отправили совершать вечерний туалет и готовиться ко сну. Вслед за ней спать отправились и Митенька с котинькой. Кася долго лежала в полумраке комнаты с открытыми глазами и не могла заснуть. С одной стороны, попала она вроде удачно: люди с крепкой нервной системой, толерантные и не жадные. С другой стороны, она себя скомпрометировала, и это могло закончиться чем угодно: секретной лабораторией, бродячим цирком, или даже телевизионным ток-шоу. Конечно, в семье жить спокойнее и сытнее, но мало ли... Не пора ли рвать когти?

Кася прислушалась. Во дворе копошились землеройки и нудно звенели комары, в деревне собаки – все наверняка сутулые – облаивали припозднившегося путника. Семья Кирпичниковых уже крепко спала: Митенька тревожно храпел, котинька тоже изредка всхрапывала, Польша сладко сопела. Сон их был спокоен, потому что они ещё не знали самой страшной тайны.

Самая страшная тайна

Ровно в полночь дом сотрясли чудовищный грохот и лязг. Кирпичниковы в панике выскочили в зал, ожидая увидеть грабителей или... нет, пожалуй, только грабителей. Вспыхнул свет, но никаких грабителей не было. И Кася лежала на своём месте, стыдливо закрывая морду передними лапами.

– Кася, это ты?! – в ужасе спросила Ирина Валерьевна.

Ужаснуться и впрямь было отчего. Весь пол был залит растительным маслом, бутылка от которого, изгрызенная, валялась в углу. Яблоки, оставленные с вечера на столе, тоже были разбросаны и надкушены. Кто-то вытащил из посудомойки и разбросал посуду, а красивая миска и ложка со львёнком, пользоваться которыми предпочитала Польша, оказались на лежанке у Каси.

– Нет, – Кася убрала с морды одну лапу, но открывать глаза не стала. – Это Гуляй.

– Кто?!

– Гуляй.

– Ты же говорила, что он... – Дмитрий Олегович немного пожевал губами, пытаясь тактичнее выразить свою мысль.

– Подох в прошлом годе, – подтвердила Кася. – И меня одну оставил, собака сутулая.

– Он что – призрак?! – спросила Польша.

В голосе Полины не было страха, только восторг и любопытство.

– Полина, что за дичь?! – возмутился Митенька.

– Призраков не существует, – твёрдо сказала котинька.

– А что такое призрак? – спросила Кася.

Гуляй

По совокупности косвенных признаков, а именно: невидимость, неосязаемость, пунктуальность, повадки, а также настойчивое преследование Каси, Кирпичниковы выяснили, что это и впрямь призрак Гуляя, пса, с которым Кася – тогда ещё Дамка – жила бок о бок почти десять лет.

Кася в приюте грустила именно по той причине, что в течение года её брали к себе домой едва ли не каждую неделю, но выдержать этого ужаса никто не мог. Каждую полночь являлся Гуляй и учинял разгром. Разумеется, делал он это не со зла, а потому что хотел есть. Увы, насытиться он не мог, ведь желудка-то у него не было! А так как с хозяевами Кася по вполне понятным причинам не разговаривала, они думали, что все эти бесчинства устраивает она.

– Каждую ночь?! – котинька беспомощно опустилась на диван.

Дмитрий Олегович же мужественно вытирал пол от масла. Он считал себя виноватым, что не выяснил все обстоятельства с самого начала.

– И что, теперь так будет всегда?!

– Успокойся, котинька, мы что-нибудь придумаем. Кася, а в приюте то же самое было?

В приюте было то же самое. Опрокидывались миски с едой и водой. Рвались мешки с кормом. Грохотали сетки вольеров. Поэтому все собаки вокруг и не любили Касю. Бедная Аня, хозяйка приюта, постоянно ходила в слезах, не зная, отчего такая катастрофа.

На свежую голову

– Вы меня теперь обратно вернёте, да? – спросила Кася.

Кирпичниковы переглянулись и в один голос сказали:

– Нет.

– Не для того я собаку брал, – развернул краткий ответ Дмитрий Олегович, – чтобы назад её возвращать. Этот Гуляй ещё вернётся сегодня?

– Нет, он только раз в сутки появляется.

– А ты можешь узнать, чего он хочет?

– Жрать он хочет, собака сутулая, говорила же я!

– Хм... – Дмитрий Олегович некоторое время тёр подбородок, а потом сказал: – Вот что, девочки. Это очень серьёзная проблема, и решать её нужно утром, на свежую голову. Всем спать!

Последствия безобразия, устроенного Гуляем, совместными усилиями были устранены, поэтому все разошлись по местам и легли спать. И на этот раз всё обошлось без приключений.

Спали Кирпичниковы, спала Кася, спал лес, спала деревня, спал где-то собачий приют, затих призрак Гуляя. Даже половинка луны в небе спала, закрывшись набежавшей тучей. Спали все.

Правила Каси

Зазвенел будильник. Дмитрий Олегович встал, оделся, нацепил на Касю поводок и сказал:

– Идём гулять.

Мог и не говорить, потому что Кася давно уже не спала и бесцельно шлялась по дому в ожидании прогулки.

Но на улице она вдруг остановилась.

– Ты чего? – спросил Дмитрий Олегович.

– Кто-то вчера обещал, что утром гуляем по моим правилам.

– Кхм... И каковы правила?

– Я гуляю без поводка.

– И всё?

– И всё.

– Ладно... – Дмитрий Олегович, предчувствуя, что ещё пожалеет о таком опрометчиво данном обещании, отстегнул карабин от Касиной шлейки.

– Эх! – радостно подпрыгнула Кася.

И они пошли по вчерашнему маршруту: мимо домов и заборов, через трассу, в лес. Какое-то время Дмитрий Олегович думал, что всё будет как вчера, только без поводка, но едва шум машин заглушил шум ветра в деревьях, Кася нырнула в подлесок и исчезла.

Поиски

Какое-то время ещё было слышно, как Кася азартно кричит: «Ах, ах, ах, белка! Ах, ах, ах, птичка! Ах, ах, ах!», но возгласы эти быстро удалялись, а вскоре и вовсе прекратились. Какое-то время Дмитрий Олегович прислушивался, но вдруг зазвонил телефон.

– Алло.

– Здравствуйте, Дмитрий Олегович. Это Аня, из приюта. Как у вас дела?

Дмитрий Олегович похолодел. Он и забыл, что Аня обещала звонить каждый день, чтобы узнавать, как дела у Дамочки.

– Здравствуйте, Аня, – как можно беззаботнее ответил он, обходя завал из сухих веток.

– У нас всё хорошо, прямо сейчас гуляем в лесу.

– Всё в порядке, никаких приключений?

– Э... – Дмитрий Олегович нечаянно задел плечом намокшую еловую лапу, и его окатило водой. – Очень скучно. Просто идём, и всё.

– То есть вообще всё нормально, без происшествий?

– Золотая собачка – ест и спит.

– Вы мне потом фото пришлёте?

– Обязательно. Извините, здесь плохая связь, я перезвоню, – соврал Дмитрий Олегович и выключил телефон.

Стыд какой, думал он. Собственная собака обманула. Сам виноват, нужно было договариваться до того, как поводок снимать. Так, спокойно, она не могла уйти далеко. Нужно только погромче звать.

– Кася! – крикнул он. – Касенька!

Напрасно Дмитрий Олегович орал на весь лес. Напрасно бегал свозь мокрые кусты, прыгал через сколько поваленные деревья, брёл по зарослям свёрнутого в рулетики папоротника. Во-круг щебетали щеглы, зяблики и прочая пернатая мелкота, скрипели могучие стволы над головой, далеко вверх кричал коршун, но Каси слышно не было.

«Поймаю – уши надеру, собака ты сутулая», – подумал Дмитрий Олегович и обречённо полез в непролазную чащу.

Лужа

В какой-то момент ему показалось, что между деревьев мелькнула чья-то тень. Победно заорав «Кася, Кася», Дмитрий Олегович бросился вперёд. И вдруг оказался на лесной дороге. Он

посмотрел налево, направо, но были видны лишь мачты высоковольтной линии электропередач. Ни человека, ни зверя, ни птицы. Хотелось есть и пить, а ещё бросить всё и идти домой.

Дмитрий Олегович посмотрел на часы. По всему выходило, что он бегал по лесу почти пять часов. Позвонить домой он не мог, потому что связь здесь не брала. Дома, наверное, все с ума сошли. Вернее, с ума сошла Ирина Валерьевна, Полина должна быть в школе, и с ума сойдёт только потом, когда узнает о пропаже Каси.

– Кася! – в последний раз крикнул Дмитрий Олегович.

Но ответа не было. Он тяжело вздохнул, оглянулся напоследок, и тут же увидел Касю. Она склонилась над лужей и тихонько лакала воду.

– Немедленно иди сюда, – строго приказал Дмитрий Олегович.

Кася посмотрела на него, не прекращая пить. И Дмитрий Олегович уже собрался надрать обманщице уши (может, она и про Гуляя всё наврала? А может, она и говорить-то не умеет?!), но тут взгляд его упал на влажный песок, и приоритеты моментально поменялись. Он быстро подскочил к Касе, застегнул карабин на шлейке, и потащил собаку прочь.

Босяк

Какое-то время Кася шла за Дмитрием Олеговичем послушно, но минут через пять начала капризничать.

– Куда ты меня тащишь?!

– Домой.

– Чего так быстро?

– Кася, кто из нас охотничья собака, ты или я?!

– Ну, я.

– Без ну, пожалуйста. Ты видела следы босых ног рядом с лужей?

– А, ты босяка испугался...

– Какого босяка?! Я точно знаю, что это были медвежьи следы!

– Я так и сказала. Пахомыч его босяком звал.

– Да, я испугался босяка. Думаешь, напрасно?

– Босяк, конечно, опасен, – согласилась Кася. Говорила она через раз, язык вывалился у неё из рта, и по нему обильно стекала вода. – Только он прошёл ещё до рассвета, и сейчас далеко отсюда. Ну, хватит бежать, давай отдохнём.

Домой

Дальше они уже шли медленно, и Кася останавливалась у каждой лужи, чтобы напиться.

– Не ори в лесу, как потерпевший, – говорила она. – Твоё счастье, что босяк давно прошёл, а то бы услышал тебя, собака сутулая...

Дмитрий Олегович поёжился. Он боялся босяков. Казалось бы – всего пара километров от дома, а вот они, босяки, рядом.

– Я прекрасно слышу, где ты ходишь. У меня работа, я не могу на тебя всё время отвлекаться, – продолжала Кася.

– У меня обязательства перед Аней, – с достоинством ответил Дмитрий Олегович. – Кстати, она звонила.

– Зачем? – насторожилась Кася.

– Узнать, как у нас дела.

– Скажи, что хорошо.

– Я и сказал. Но она попросила фото прислать.

– Так пришли!

– Кася, мне кажется, ты здесь вовсе не главная.

Кася надулась и дальше шла молча. И лишь когда показалась крыша дома, Дмитрий Олегович вдруг спохватился и сказал:

– Что бы ни случилось, не говори, что мы видели медвежьи следы. Иначе гулять будешь только во дворе и только на поводке. Я не шучу.

– Ладно, – ответила Кася.

Дома им попало

– Я тут места себе не нахожу, думаю – вас там медведь съел! – громко и чётко, чтобы все поняли, говорила котинька. – Пять часов! Чем можно заниматься в лесу пять часов?

– У меня работа, между прочим, – попыталась возразить Кася.

– Ах, рабобоота!.. – котинька вся подобралась, будто собираясь прыгнуть, и даже, казалось, хвостик на её розовой шубе встал дыбом. Кася поняла, что сейчас её будут бить, поэтому упала на бок и задрала лапы вверх.

– Немедленно встать! – потребовала котинька.

– Не встану, – сказала Кася.

– Митя, поставь её на ноги!

– Укушу, – предупредила Кася.

– Что?! – возмутился Дмитрий Олегович.

– Я устала! Я сутулая! Я зайца искала! Я есть хочу!

Дмитрий Олегович прошёл к плите и демонстративно поставил на неё кастрюлю, давая тем самым понять и жене, и собаке, что собирается чего-нибудь приготовить.

– Еда в миске на террасе, – сказала Ирина Валерьевна, слегка остыв. – Но учтите – этот разговор не окончен!

Кася открыла рот, но Дмитрий Олегович проворно вытолкал её на террасу, чтобы собака, не дай бог, не сказала чего-то, о чём потом придётся горько сожалеть. Пока Кася чавкала, в доме проходил какой-то серьёзный разговор, хотя говорила в основном котинька.

За компанию

Со своей порцией Кася разобралась быстро. Дмитрий же Олегович старался есть помедленнее, рассчитывая, что котинька успокоится. Ирина Валерьевна и вправду успокоилась, и теперь примеривалась, как удачнее сфотографировать собаку.

– Зачем меня фотографировать? Что я – маленькая? – опять полезла в бутылку Кася.

– Для отчётности, – строго сказала Ирина Валерьевна. – Лежать и изображать счастье, ясно?

По выражению лица и интонациям голоса Кася поняла, что, если она послушается, ночной погром Гуляя будет куском колбасы в каше её жизни. Она вскочила на лапы и радостно завиляла хвостом.

Удовлетворённая результатом котинька погладила Касю по голове. Потом погладила по голове Дмитрия Олеговича.

– Меня-то за что?

– За компанию.

Категорически отказано!

Касино фото, отправленное через интернет, Ане очень понравилось, она тут же выложила его на сайте своего приюта и пожелала Кирпичниковым удачи, а Касе – ни пуха ни пера. Ирина Валерьевна прочитала ответ вслух, и Кася тут же сказала:

– Может, сходим на охоту?

Ирина Валерьевна посмотрела на Касю таким взглядом, что Дмитрий Олегович поспешил выйти на террасу.

– В охоте категорически отказано! – сказала Ирина Валерьевна.

Сказала негромко, но если бы она таким голосом приказала тучам разойтись, то пасмурный день в тот же момент стал ясным. Кася преданно посмотрела в глаза хозяйке и ответила:

– Будет сделано!

– Умница, – похвалила её Ирина Валерьевна. – Хочешь сухарик, собачка сутулая?

Кася очень хотела. Хрустя сухариком, она легла на своё место и подумала: «И правда, зачем мне эта охота? У Митеньки даже ружья нету, как тут охотиться?»

Веха

Вскоре вернулась из школы Полина. Она сходу швырнула тяжеленный ранец в угол, не снимая куртки пробежала к Касе и обняла:

– Привет, Касенька! Миленькая собачка!

Кася подняла на Польшу глаза и нехотя села. А Польша глянула на часы и вскричала:

– У нас же праздник! Круглая дата!

Все удивлённо посмотрели на неё.

– Ровно сутки, как у нас есть собака! Поздравляю, Касенька!

И Польша крепко обняла Касю. Затем она вскочила, открыла холодильник, отрезала толстый кусок колбасы и бросила собаке. Кася поймала кусок из положения лёжа и сделала смачное «ам». Колбаса её несказанно взбудрила, Кася вскочила и подбежала к столу.

– Эй, девицы! – запротестовал оторопевший от такой наглости Дмитрий Олегович. – Так нельзя! Польша, раздеваться и мыть руки! Кася, на место!

– Папа, но ведь юбилей! – Полина сделала ангельское личико и быстро-быстро заморгала.

– Это не юбилей, – отрезал папа.

– Но ведь дата!

– Дата. Но не юбилей. Это такая... кхм... небольшая веха в наших отношениях. И нечего на такую мелочь колбасу переводить. Лучше поешь сама и слегка прогуляй собаку.

– Что я – маленькая?.. – возмутилась было Кася, но Дмитрий Олегович так посмотрел, что возмущаться расхотелось.

Кирпичниковы перестали казаться такими уж дружелюбными. Какими-то они оказались недружелюбными.

Неадекватный незнакомец

Польша быстро закидала еду в рот, не прожевав, умчалась в свою комнату, чем-то там погрела, потом выскочила уже переодетая и, запрыгнув в ярко-жёлтые сапожки, сказала:

– Кася, гулять!

Кася потянулась по-собачьи, позволила нацепить на себя шлейку и терпеливо дождалась, пока Польша справится с тугим карабином на поводке. Вскоре они оказались во дворе.

– Из деревни не выходить! – напутствовала с террасы Ирина Валерьевна.

– Что мы – маленькие? – беззаботно ответила Польша, и они ушли со двора.

И почти сразу столкнулись с незнакомцем. Вернее, это Польша уткнулась лицом в его живот.

Незнакомец Касе сразу не понравился. Слишком высокий, в болоньевом, наглухо застёгнутом коричневом плаще, из-под которого едва высывались носки огромных резиновых сапог. Физиономия тоже была отталкивающая: подвижный розовый нос, хитрые усишки на заросшем лице, золотой зуб, расходящееся косоглазие и огромная вязаная шапка. На улице май, а он в шапке расхаживает!

– Ой, – сказала Польша. – Извините.

– С-смотреть н-надо, к-куда и-идёшь, – пробормотал незнакомец, одним глазом глядя куда-то в лес, а другим – на Касю.

Касе такое обхождение не понравилось, и она зарычала.

– Д-держи с-вою п-псину к-крепче! – незнакомец отскочил в сторону и как-то неуклюже пошёл прочь.

Польша вцепилась руками в шлейку и сказала:

– Тихо, Кася, он какой-то неадекватный.

Кася принялась. Запах у незнакомца был тоже неадекватный: резиново-землисто-лесной, с какими-то растительными нотками, а ещё – сильный и отвратительный запах табака. Негодяй, похоже, был отчаянным курильщиком.

Час от часу не легче

Кася встряхнулась, чтобы перестать думать о подозрительном незнакомце. Польша, судя по всему, о нём сразу забыла, потому что беззаботно зашлёпала по лужам вдоль деревенских заборов. И почти сразу оттуда начали лаять собаки.

Сначала Кася терпела. Когда лают здоровенные псы, посаженные на цепь, им даже в чём-то сочувствуешь. Даже гулять на поводке не очень приятно, а уж сидеть на привязи – это вообще свихнуться. Кася видела таких сумасшедших собак – они даже без цепи бегали лишь туда-обратно и лаяли даже на собственную тень.

Но когда на неё стали лаять из-за калиток козьячковые той-терьеры и непонятных кровей собачонки на самовыгуле, нервы у Каси не выдержали. Она подождала, пока такая сутулая полуболонка-полутакса с шишбарником в свалявшейся шерсти отбежит подальше от своего забора, и рванула к ней.

Мелкая скандалистка не ожидала такой реакции от меланхоличной Каси, взвизгнула и упала на спину, демонстрируя покорность.

– Кася, нельзя! – крикнула Польша и натянула поводок.

Какое там! Кася весила немногим меньше Полины, и потому выдернула девочку из сапожек и потащила за собой, как лошадь сани.

Предательство

И только Кася собиралась как следует проучить обидчицу, как на спину ей упало что-то тяжёлое, а в пасть вцепилось что-то цепкое.

Это была Польша. Настроена она была весьма серьёзно.

– Фу, Кася! – кричала девочка. – Фу! Не обижай маленьких!

Кася от такого предательства даже опешила. Маленькая хозяйка должна была так запрыгнуть на мелкую шавку и вздуть её как следует.

Полутакса-полуболонка поняла, что ещё не умерла, и быстро убежала восвояси, опять с громким лаем. Польша слезла с Каси и пошла за своими сапожками босиком по грязи. Несмотря на жуткий перелай, заглушавший все остальные звуки деревни, Кася разобрала, что маленькая хозяйка плачет.

Кого можно обижать

– Тебе больно? – тихо, чтобы никто не услышал, спросила Кася, вплотную подойдя к Польше.

– Отстань, – шмыгнула носом Полина.

Кася не понимала, почему девочка плачет, но зато знала, что слёзы солёные, а всё солёное Касе очень нравилось. И она начала слизывать соль с лица Полины.

– Не подлизывайся, – продолжала плакать Польша. – Я думала, ты такая... добрая, ласковая. А ты маленьких обижаешь!

– А больших, значит, обижать можно? – спросила Кася, на минуту оторвавшись от вкусных слёз.

Полина снова шмыгнула носом, но плакать перестала.

– А тебя разве обидели?

– Да, – сказала Кася и снова принялась вылизывать щёки Полины.

– А что она тебе сказала?

– Не скажу.

– Это что-то неприличное?

– Не скажу.

Кася не стала признаваться, что собаки лают без желания обидеть, просто ревнуют прохожих к своему забору.

Иннокентий

Польша кое-как отряхнула носки и снова натянула сапожки.

– Не дёргай меня больше! – предупредила она.

Кася уклончиво промолчала. Как можно обещать то, чего ты в любом случае выполнять не собираешься?

Деревенские собаки вроде успокоились, из-за туч выползло солнце, и у Польши вновь поднялось настроение. Она болтала напропалую о том, что с ней произошло в каком-то непонятном месте под названием «школа». Кася почти ничего не понимала, но у неё сложилось впечатление, что «школа» – это что-то вроде притравочной станции и центра передержки. В любом случае, ей было неинтересно.

Интересно началось, когда они вышли на центральную деревенскую улицу. Если прочие улицы были просто грунтовые, то эта была отсыпана щебёнкой, раза в два шире, и по ней время от времени проезжали, брызгаясь, автомобили.

А ещё им навстречу шёл огромный восточно-европейский овчар, без поводка, но в ошейнике и с поленом в зубах. Увидев Касю, овчар сначала замер, затем завилял хвостом, а потом быстро побежал к ней. Полине показалось, что пёс очень рад их видеть и намерен поиграть.

– О, нет, – Кася стала нервно переступать с лапы на лапу. – Собака сутулая, только не он!

– Что такое? – удивилась Польша. – Ты его знаешь?

– Да. Это Иннокентий.

Где полено?!

Кася мысленно попрощалась с жизнью и приготовилась драться. Но едва овчар приблизился на расстояние прыжка, раздался тонкий старушечий голос:

– Иннокентий! Иннокентий! Ты где?

Овчар резко остановился.

– Иннокентий! Где полено?

Овчар оглянулся назад, и Польша, проследив его взгляд, увидела, что чуть ниже, по чётной стороне улицы, из покосившейся калитки выходит маленькая пухленькая бабушка в стёганном халате, обрезанных валенках и в выцветшей войсковой панаме на голове.

– Иннокентий, вернись!

Иннокентий встал на дыбы, сделал почти солдатский разворот кругом, и побежал к бабушке.

– Какой послушный! – восхитилась Польша.

– Быстро идём отсюда, – шёпотом попросила Кася. – Добром это не кончится.

И сама, не дожидаясь, пока Полина сообразит, потрусила обратно. Но тут бабушка как подпрыгнет!

Мадам

– Мадам! Это же Мадам! – закричала бабушка. – Девочка, откуда у тебя Мадам?!

Полина растерялась. С одной стороны, Кася настаивала на немедленном отступлении, и изо всех сил тянула за собой, рискуя вновь выдернуть Польшу из сапог. С другой стороны, обижать незнакомую бабушку Полине тоже не хотелось. К тому же ей было до чесотки любопытно, про какую это Мадам идёт речь.

Бабушка расторопно подбежала к Полине, но никакого внимания на неё не обратила, а попыталась осмотреть Касю. Поводок был длинный, и Кася не давала себя разглядывать, бегая то влево, то вправо. Бабушка некоторое время металась за ней, но быстро устала, строго посмотрела на Полину и сказала:

– Не стыдно? Возьми собаку на короткий поводок!

Полина нехотя подчинилась. Бабушка поправила на носу очки и бесцеремонно ощупала упирающуюся Касю от головы до хвоста.

– Это Мадам! – заключила бабушка, выпрямившись, и сурово посмотрела на Полину. – Откуда у тебя Мадам?!

– Это не Мадам, а Кася, – ответила Полина. – Папа забрал её из приюта.

– Почему это она Кася?

– Потому что я её так назвала. Видите, у неё на носу...

– Ты не перебивай, когда с тобой старшие разговаривают!

Побег

Полина слегка струсилась. Издалека бабушка казалась ей весьма забавной, да и пёс её выглядел, несмотря на размеры, вполне дружелюбным. Но вблизи ничего забавного в бабушке не оказалось.

– Я ей собственноручно кличку дала – Мадам! – сказала бабушка. – Самолично её из приюта домой привезла, накормила, напоила, с Иннокентием познакомила!

– Можно, мы пойдём? – спросила Полина, которой стало совсем страшно.

– Куда это вы пойдёте?!

– Домой...

– Что ты мне врёшь?! Домой она пойдёт!

Бабушка замахнулась на Полину, но сделала она это абсолютно зря, потому что Кася подумала, что бить будут её, и шмыгнула у бабушки между ног. От неожиданности бабушка потеряла равновесие и опрокинулась на спину, потеряв валенок с правой ноги.

На этот раз Полина забыла о вежливости и вместе с Касей задала стрекача. Они пронеслись мимо полураскрытой калитки, откуда выглядывал, вывалив розовый язычище, Иннокентий. Польша не стала смотреть, что предпримет овчар: бросится ли в погоню, или отправится помогать хозяйке. Они с Касей бежали, куда глаза глядят, лишь бы подальше от пугающей бабушки, и остановились только тогда, когда деревня закончилась.

– Откуда ты их знаешь? – спросила Польша у трусливо озирающейся Каси.

Несколько хозяев назад

Это произошло прошлым летом, когда Кася – тогда ещё Дамка – только появилась в приюте. Её уже пару раз брали к себе, в первую же ночь Гуляй показывал себя, и Дамку возвращали назад. И вот однажды за ней пришла та самая бабушка.

Бабушка сказала, что её пёсику нужен компаньон, и выбрала «собачку покрупнее и поинтеллигентнее». В приюте подумали: старушка благообразная, уже имеет собаку, значит, животных любит, и Дамку отпустили с бабушкой.

Поначалу казалось, что всё нормально: Дамке надели намордник, посадили в машину и при-

везли куда-то, где было много домиков, утопающих в зелени. У одного из таких домиков бабушка высадила Дамку, посадила на цепь, назвала Мадам и заставила охранять картошку на пару с Иннокентием, а сама укатила по делам.

Иннокентий тоже сидел на цепи, но далеко от Мадам. Мадам же сразу затосковала, улеглась на солнцепёке и приготовилась умирать.

Едва летний ветерок донёс из города сигналы точного времени – «полночь на часах, а в нашей студии долгожданный автор хитов...», к узнице явился Гуляй. Призрак насмерть загрыз всю картошку, выбил ставни в доме, перевернул там всё вверх дном, переколотил банки с заготовками, напугал до икоты Иннокентия и порвал цепь, на которой сидела Мадам. Она тут же стремглав бросилась бежать, и уже утром наткнулась на какой-то магазин, где стала выпрашивать еду у прохожих. А потом приехала Аня, обняла и увезла обратно в приют. Бабушка туда приехала ещё раз и требовала возмещения убытков, но её никто даже слушать не стал.

Вот вы где!

– Ужас какой! – Полина погладила Касю по голове. – Ты не бойся, мы тебя ей не отдадим.

– А кому отдадите? – спросила Кася.

– Никому! Дураки мы, что ли, – говорящую собаку кому-то отдавать?

– Интересно, зачем нас Митенька с котинькой гулять отправили? – задумчиво произнесла собака.

– Да целуются, наверное, – беззаботно ответила Польша. – Родителям иногда нужно побыть наедине, без детей. А почему ты спрашиваешь?

– Кажется, Митенька бегаёт по деревне и ищет нас.

– Ты это прямо слышишь?! – удивилась Польша.

Кася не ответила, но ей понравилось восхищение и уважение в голосе Полины. Они пошли в обратном направлении, и когда вышли на центральную улицу, то и вправду встретили запыхавшегося Дмитрия Олеговича. Вид у него был крайне взволнованный, если не сказать – испуганный.

– Вот вы где! – обрадовался он. – Немедленно марш домой!

– Мы не виноваты, она первая начала! – попыталась защищаться Полина.

– Кто начал? – насторожился Дмитрий Олегович. – Что ты натворила опять?

– Ничего, она сама упала!

Дмитрий Олегович закашлялся, воровато огляделся по сторонам, и велел:

– Ладно, потом расскажешь. Быстро за мной.

Пока их не было

Оказывается, едва Полина с Касей ушли гулять, во двор к Кирпичниковым забрёл странный незнакомец и стал выяснять, не здесь ли завели собаку.

Папа с мамой попытались выпроводить незваного гостя, но тот никак не хотел уходить. Заикаясь, он объяснил, что собирается на охоту, и ему непременно нужна охотничья собака, и будто ему в приюте сказали, что эту собаку уже забрали.

Папа не мог поверить, что Аня вот так запросто взяла и выдала адрес Кирпичниковых неизвестно кому. Не поверил он и в то, что с таким ужасным расходящимся косоглазием, как у незнакомца, можно было на кого-то охотиться. Правда, вслух он этого не сказал, чтобы нечаянно не обидеть «охотника».

– Мы не отдадим вам собаку, – ответил Дмитрий Олегович. – Мы успели к ней привязаться, и у меня есть обязательства...

– Я заплачу! – перебил незнакомец, и достал из кармана пачку денег.

Папа с мамой не поверили глазам: гость предлагал за Касю полмиллиона! Их недоверие и испуг «охотник» принял за жадность, и достал из кармана ещё одну пачку.

И тогда папа сказал:

– Нет!

И спустился с террасы во двор, к незнакомцу. И хотя незнакомец был выше папы на целую голову, Дмитрий Олегович непримиримо начал наступать на него.

– Уберите ваши деньги, – сказал он. – Это оскорбительно! Это безобразие! В конце концов, это взятка при исполнении! Я требую, чтобы вы немедленно покинули наш двор, и больше никогда здесь не появлялись.

Незнакомец обратился к маме, стоящей на террасе:

– М-может, в-вы?..

Но он не договорил. Мама вытащила из кармана смартфон и направила камеру на незнакомца, словно собиралась по меньшей мере застрелить.

– Я вас сфотографировала! – пригрозила она. – И сейчас вызову полицию. И соседей позову.

Гость спрятал деньги в карманы.

– С-сами же п-потом п-пожалуйста, – сказал он и какими-то нелепыми, будто подпрыгивающими шагами ушёл прочь.

А мама вдруг забеспокоилась и велела папе немедленно разыскать дочь и собаку, что он и сделал.

Пора и честь знать

После того как Полина рассказала об инциденте с неадекватной бабушкой, всё семейство Кирпичниковых устремило взоры на собаку, и Дмитрий Олегович вслух выразил главный вопрос этого дня:

– Кася, немедленно признавайся, что ты от нас ещё скрываешь!

Но Кася не понимала, чего именно от неё, сутулой, хотят. Она знать не знала незнакомца, и ей в голову не приходило, что за неё могут предложить целый настоящий миллион. Она и в страшном сне не могла представить, что ещё раз столкнётся с Иннокентием и его хозяйкой. И уж тем более не ведала, как быть с её полуночным проклятием – вечно голодным призраком Гуляя.

И она твёрдо в этом призналась.

Ирина Валерьевна нервно дёргала себя за ухо, Дмитрий Олегович гремел посудой, Полина сидела на корточках рядом с Касей. Вдруг Дмитрий Олегович посмотрел на настенные часы и сказал:

– Кажется, кому-то пора и честь знать.

– Ну пааап, – заныла Полина.

– Не обсуждается, – строго велел папа. – Стремительным домкратом летишь делать домашнее задание.

Полина со скорбным лицом встала и сказала:

– Не любите меня совсем! – и ушла в свою комнату.

Где логика?

Пока Полина делала домашнее задание, Дмитрий Олегович перемыл всю посуду и приготовил что-то вкусное. Но Касе, как она поняла, этого вкусного съесть не дадут. Она несколько раз подходила к плите и обожающим взглядом смотрела на хозяина, но он не поддавался обаянию. Тогда Кася решила действовать самым наглым и беспардонным образом: она встала на задние лапы, передние сложила на груди, и заблажила весьма немusыкально:

– У Курского вокзала стою я, молодой...

– Господи, Кася! – взмолилась Ирина Валерьевна, едва не получившая от внезапной Касиной рулады разрыв сердца. – Прекрати немедленно!

Из Полининой комнаты донесся истерический смех. Дмитрий же Олегович невозмутимо пошел ложечкой в кастрюле что-то остро и вкусно пахнущее, потом посмотрел на Касю и сказал:

- За такое в моём детстве сладкого лишали. На неделю.

Непонятные люди, думала про себя Кася, возвращаясь на лежанку. Отказываются от миллиона, но стоит тебе запеть – лишают сладкого. Где логика?

От скуки и недоумения она начала вылизываться, и вскоре так увлеклась, что даже заснула.

В такую погоду хороший хозяин...

А погода на улице окончательно испортилась. Небо плотно затянулось тучами, стало темно. Стёкла слегка дрожали от порывов ветра, деревья за окном раскачивались из стороны в сторону. Дождь ещё не начался, но всё говорило о том, что вот-вот – и начнётся. Дмитрий Олегович мрачно выглядывал на улицу и поёживался.

- Как ты думаешь, Кася, – спросил он, когда дождь, мелкий и нудный, наконец повис в воздухе, – хороший хозяин должен выводить собаку на прогулку в такую погоду?

Кася открыла глаза, выглянула на улицу и ответила:

- Хороший хозяин обязан вывести собаку на прогулку в любую погоду. Но я могу и сама...

- Нет! – вмешалась Ирина Валерьевна. – По одному мы сейчас из дома не выходим.

Дмитрий Олегович тяжело вздохнул и начал собираться.

Кого бояться в лесу

На улице было холодно и сыро, и выходила Кася на улицу без энтузиазма. На самом деле ей не особенно хотелось гулять в такую погоду. Но она надеялась, что после трёх-четырёх прогулок в такую погоду Митенька сдастся и будет отпускать её одну.

В лес Дмитрий Олегович заходил уже не столь беззаботно, как это было утром.

- Ты чего? – спросила Кася, когда хозяин заметно сбавил скорость, перейдя через автотрассу.

- А вдруг медведь? Или как ты его там называешь – босяк?

- Да не ходят медведи так близко к людям, – успокоила его Кася.

- Рассказывай. Я сам след видел.

- Я говорила – он на рассвете там проходил. Там дальше база отдыха, у них помойка, они туда всякие объёдки выбрасывают. Вот босяк туда и пошёл. А в деревню он заходить не будет – собак много, да и дорогу переходить опасно. Машины же даже ночью идут.

- Вот мы и перешли, прямо к нему в гости, – поёжился Дмитрий Олегович.

- Эх, не того вы зверя боитесь, – от досады Кася даже передёрнулась вся.

- А какого зверя бояться надо?

Кася осмотрелась по сторонам, потом подошла к хозяину вплотную и тихо что-то прошептала.

- Кого? – не расслышал Дмитрий Олегович.

Кася покачала головой – во тетеря глухая! – и повторила:

- Зайца.

Зайцы

- Зайца? – переспросил Дмитрий Олегович. – Это же безобидный зверёк, он всех боится!

- Все так думают, – ответила Кася. – Это зайцы сами такие слухи распустили. Они на самом деле самые наипервейшие злодеи и мошенники в лесу.

- Чем же они тебя так обидели?

- Меня-то? Меня ничем. А вот Гуляй от них много натерпелся, он рассказывал.

Лицо Дмитрия Олеговича выражало насмешливый скептицизм. Касю это задело за живое. И она рассказала всё, что знала о зайцах.

Во-первых, они вырастают огромные-преогромные, иногда со слона. Если такое произойдёт, то пищи пропало – в древние времена стада зайцев могли растоптать город за час-полтора. Некоторое время люди не знали, как быть, но научились копать противозайцевые ямы. Бросят на дно морковку или капусту, заяц пойдёт – и прямо в яму провалится, там-то его, ушастого, и ловили. Постепенно люди поняли, что нельзя зайцам давать вырастать до больших размеров, и начали отстреливать их, едва ушастые разбойники вырастали до размера кабана.

Во-вторых, зайцы постоянно воруют. На памяти Каси у Пахомыча косые в разные годы спёрли: трактор вместе с мацепурой, телегу с навозом, угнали старый «москвич», три бидона свекольного самогона, шкуру медведя, десять пар лосиных рогов, ванну квашеной капусты, антенну от телевизора, несколько тканых половиков, сломанную швейную машинку и внучкин самокат без колеса. И вообще, если где-то у кого-то что-то пропало – можно быть уверенным, что это зайцы постарались.

В-третьих, зайцы травят собак. Постоянно что-то в еду подбрасывают, пока собаки спят, а потом тошнит и в туалет постоянно хочется. И шерсть лезет.

В-четвёртых, все зайцы куражи. Бывало, выйдешь утром на водопой, а над рекой туман плывёт – это зайцы дымят, в каждой лапе по сигарете. И прямо дышать невозможно, и в носу чешется от чиха.

Список был настолько обширен, что Дмитрий Олегович даже испугался. То есть сначала, конечно, он не верил и даже считал рассказ Каси дикими суевериями и предрассудками. Но ведь и призрак Гуляя он тоже воспринимал как дикость. А теперь, если верить Касе, жить становилось страшно, ведь зайцы опутали своими сетями всю землю, и ни одно злодейство в мире не происходит без заячьего санкционирования.

Кася и Дмитрий Олегович прошли вчерашним маршрутом, и уже ни дождь, ни ветер не казались им чем-то неприятным. Ибо стихия – явление преходящее, а зайцы – те пришли в жизнь человека всерьёз и надолго. К концу прогулки Дмитрий Олегович вздрагивал уже от каждого шороха в траве, и за каждым кустом ему мерещились заячьи уши, и дым из печных труб, который стлался над деревней, казался ему дымом, который зайцы выдыхали из своих сморщенных от продолжительного курения лёгких, злобно при этом щуря свои косые глаза и скаля свои большие зубы.

Что делать

Из леса Дмитрий Олегович с Касей вернулись мокрые как цуцки. Ирина Валерьевна тотчас отправила мужа принимать горячий душ, а Касю вытерла старой плюшевой шторой. Касе это не очень нравилось, она всё время норовила выскользнуть из-под этой огромной тряпки, но котинька надёжно фиксировала её, зажав между ног.

– Между прочим, – спросила она, едва Кася, сухая и разлохмаченная, была оставлена в покое, – что мы будем делать с твоим Гуляем?

– А что мы будем делать? – насторожилась Кася.

– Я не потерплю в своём доме безобразий! – твёрдо сказала Ирина Валерьевна. – Ни от тебя, ни от Гуляя, ни вообще от кого-то ещё!

– И от Митеньки? – ехидно поинтересовалась Кася.

– От Митеньки – особенно, – ответила хозяйка. – Потому что он взрослый интеллигентный человек, и должен вести себя соответственно.

– Кто у нас взрослый и интеллигентный? – спросил Дмитрий Олегович, выходя из ванной. Горячий душ разогнал все его страхи и тревоги. – Надеюсь, это я?

– Да, – Ирина Валерьевна поцеловала мужа в щёку. – И поэтому никаких безобразий, понял?

– Не в мою смену, – пообещал Дмитрий Олегович.

– Так что мы будем делать с inferнальным довеском к нашей собаке? – повторила Ирина Валерьевна вопрос.

– Давайте Касе крестик на шею повесим, – предложила Польша. – В фильмах это от вампиров помогает.

– Во-первых, Гуляй – не вампир, а привидение, – сказал Дмитрий Олегович. – А во-вторых, он собака, которая померла от голода...

Он задумался, глядя во двор. Во дворе, помимо деревьев, травы и забора, имелся ещё канализационный колодец, а рядом с ним стояла большая железная бочка, в которой Кирпичниковы сжигали прошлогоднюю траву и всякие ненужные деревяшки.

– Древние люди, чтобы усмирять духов, бросали еду в огонь. Может, нам в полночь сжечь кусок колбасы?

– Думаешь, поможет? – неуверенно спросила Ирина Валерьевна.

– Пока не попробуем – не узнаем, – сказал Дмитрий Олегович.

Жертвоприношение

Касе было немного обидно. Значит, ей колбасы никто не отрезал, а Гуляю, которого никто из Кирпичниковых и в глаза не видел, вот так, запросто! Она даже пыталась предложить съесть колбасу за Гуляя, а ему рассказать, как было вкусно, но это предложение было отвергнуто как контрпродуктивное.

– Мы тут не ужинать собираемся, а мятежный дух усмирять, – сказал Дмитрий Олегович.

В качестве жертвенника он решил использовать мангал, потому что сухих дров для сжигания колбасы у него не было. Зато у него оставалось немного берёзового угля и жидкости для розжига.

За двадцать минут до полуночи Дмитрий Олегович вытащил во двор Касю, мангал, уголь, решётку для барбекю, пару кусков колбасы и, на всякий случай, несколько засохших хлебных корок. Касю на поводке привязал к ближайшей берёзе, а сам, закрывшись зонтом, поставил бумажный мешок с углем в мангал, хорошенько полил горячим и поджёг.

Ветер, который рвал из рук зонтик и не давал пламени разгореться, вдруг передумал, и начал помогать раздувать угли. Очень скоро они равномерно пылали красно-оранжевым, и капли дждя яростно шипели на разогретых боках мангала.

– Который час? – крикнул Дмитрий Олегович.

– Без двух минут! – крикнула в ответ Ирина Валерьевна. – Давай уже!

– Есть давать!

С этими словами решётка для барбекю, в которой прижались друг к другу хлеб и колбаса, легла на уголья.

Гуляй принимает жертву

Колбаса была жирная, и сразу распространила вокруг умопомрачительно вкусный запах. Кася обеспокоенно втягивала этот воздух.

– Может, он не придёт сегодня? – канючила собака. – Мало ли какие у него дела? Дайте лучше...

Вдруг всё вокруг стихло – и дождь, и ветер. Луна осветила двор, и все увидели, что мангал мелко трясётся. Шкворчание колбасы на угле будто выключили, и запах подгорающей колбасы тоже куда-то исчез.

Густой дым от сгорающих продуктов поднимался над мангалом, но не рассеивался, а становился плотнее, постепенно обретая форму. Ирина Валерьевна и Полина, наблюдавшие с террасы, увидели, что это огромный гончий пёс.

– Мамочка... – прошептала Польша.

Бутерброды стремительно превращались в уголь, а призрачный пёс становился всё реальнее. Он втягивал носом дым от бутербродов, а потом вдруг поднял полупрозрачную голову и посмотрел куда-то в сторону леса, будто что-то учуял.

Ну нафиг, подумала Кася, сейчас Гуляй, чего доброго, оживёт на моей колбасе, и меня обратно в приют вернут. И она громко гавкнула.

Тотчас дым рассеялся, остатки бутербродов рассеялись в прах, а угли потухли.

– Представление закончилось, – потрясённым голосом объявил Дмитрий Олегович. – Всем спать.

Без задних ног

Дрыхла Кася самозабвенно, без задних, что называется, ног. Она и передних-то ног не чувствовала, и хвоста, и ушей, и носа... Вообще ничего. Настолько ей сладко и прекрасно спалось. Снился ей чистый-пречистый лес, без мусора, без бурелома, только цветочки-ягодки да кусты, на которых висела колбаса, и косточки, и яблочки, и ещё что-то, что вчера Митенька в кастрюльке помешивал. И только Кася хотела всё это съесть, неторопливо и с удовольствием, как появились Пахомыч с Гуляем и всю эту красоту ненаглядную проглотили.

– Дамка, ко мне! – говорит Касе Пахомыч.

– Вот ещё! – обижается Кася. – Я уже не твоя собака, а чужая!

– Ко мне, чёртова псина! – сердится Пахомыч.

– Тебе надо – ты и иди, – огрызается Кася.

Тут Гуляй подходит к Пахомычу и говорит:

– Ты что, не видишь – у неё лап нет.

Кася смотрит – батюшки! И правда – лап нет. И хвоста! И ушей! И носа!

– А! – заблуждала Кася. – Украли! Где?!

И видит Кася, что дальше, в кустах, прячется заяц! И тащит этот заяц – что бы вы подумали? – Касины лапы с хвостом, и всё остальное. И хочется Касе крикнуть: отдай! ворюга! а не может, потому что всё заяц утащил. И плачет Кася, а слёз тоже нет, потому что вообще ничего от неё не осталось.

И кто я теперь, думает Кася. Собака я сутулая, меня ж теперь даже в приют не примут.

И только хотела она взвыть от тоски, как кто-то подсунул ей под нос кусок колбасы.

Доброе утро

Кася открыла глаза – а перед ней и взаправду колбаса! Это Дмитрий Олегович в хорошем настроении проснулся и решил Касю взбодрить.

– Ам! – сказала Кася.

– Доброе утро, – поздоровался хозяин. – Гулять идём?

Вот что у людей за глупая привычка – спрашивать об очевидных вещах? Конечно, идём!

Кася вскочила и завильяла хвостом.

– Я только чай допью. А то вчера с тобой...

Без лишних слов Дмитрий Олегович вылил в себя остатки чая, и они вышли на улицу.

Небо было лазоревое, солнце ещё не показалось из-за леса, но все птицы уже вовсю галдели, приветствуя новый день. Хотелось мчаться, распутывать след и выгонять дичь.

– Кася, только давай сегодня не так, как вчера. Как-то цивилизованнее, – попросил Дмитрий Олегович. – Гуляй без поводка, но чтобы я тебя видел.

Колбаса приятно щекотала желудок, и Касе хотелось сделать для Дмитрия Олеговича что-нибудь приятное, поэтому она согласилась.

Ах! Ах! Ах!

Но если бы Кася знала, что случится буквально через минуту – ни за что бы не соглашалась.

Едва они ступили на лесную тропу, в ноздри ей ударил густой, хоть зубами его рви и жуи, за-

пах зайца. Ух, какой это был запах! Заяц издевался! Заяц будто следил за ней и ждал, когда Кася скажет, что никуда от хозяина убежать не будет, а после нагло развалился на тропинке, и не просто развалился, а прямо катался по ней, скакал то на одной, то на другой ножке, плюхался на живот, садился и елозил задом.

– Заяц! – заорала Кася, и шерсть у неё на загривке встала дыбом. – Заяц! Дмитрий Олегович, тут заяц!

– Где?! – Дмитрий Олегович встал в боевую стойку и приготовился отбиваться.

– Да вот же! Тут же был! вот только что! Он туда побежал! – Кася посмотрела влево, в самую гущу подлеска.

– И пусть его, – слегка расслабился Дмитрий Олегович.

– Как это – пусть?! Это же – заяц! Это же – зверь! Ах! Ах! Ах!

– Кася, мы договорились, – с нажимом сказал Дмитрий Олегович. – Ты без поводка, но гуляешь в пределах видимости!

– Так след же простынет!

– Кася! Стой! Немедленно назад!

Обстоятельства непреодолимой силы

Какое там! Инстинкт взял верх над воспитанием, над второй сигнальной системой и над здравым смыслом. Инстинкт схватил Касю за шкирку, встряхнул и сказал:

– Соберись, собака сутулая! Гони ушастого! Одна нога здесь, другая – там!

Кася к инстинкту относилась очень серьёзно. Это вам не какой-то условный рефлекс типа «дай лапу», это наследственность, память предков! Хотя никого из предков Кася не знала, даже с родителями своими она никогда не виделась, хотя теоретически они у неё были – ведь откуда-то же она взялась! И потому она решила, что обстоятельства непреодолимой силы освобождают её от обязательства гулять в пределах видимости хозяина.

– Заяц! Заяц, стой! Ах! Ах! Догоню!

Куда приводит инстинкт

Запах с каждым шагом становился всё более отчётливым. Зверь, оставивший его, был если и не величиной со слона, но всё равно очень крупный: он ломился через лес напрямик, не петляя, оставляя во влажной почве глубокий отчётливый след.

Касе казалось, что она почти видит впереди широкую, как дверь, спину зайца, слышит, как свистит ветер в его огромных, как крылья самолёта, ушах, различает каждый волосок на его маленьком, но всё равно большом хвостике, и вот-вот вцепится зубами в его гигантскую пятку...

– Поймала! Поймала! Пойма...

Земля под Касей вдруг разверзлась, и она с недостойным в её возрасте визгом провалилась в какую-то яму.

А в это время...

Казалось бы, опыт должен был научить Дмитрия Олеговича, что Кася – взрослая опытная выжловка, и искать её по лесу смысла не имеет, сама вернётся, когда набегаётся. Но вчерашний странный разговор о зайцах заставлял испытывать смутное беспокойство. Поэтому Дмитрий Олегович сделал сначала шаг, потом другой, и вскоре уже бежал меж ёлок и сосен, пытаясь разобрать Касин голос.

И поначалу азартные возгласы собаки слышались вполне отчётливо, и даже шум авто-трассы не слишком их заглушал. А потом Дмитрию Олеговичу послышалось, будто Кася завизжала.

– Кася! – закричал Дмитрий Олегович. – Кася, ты цела? Кася, отзовись!
Но Кася не отзывалась.

В яме

Придя в себя, Кася задрала голову, чтобы понять, откуда она упала. Вверху голубел квадрат неба, по краям которого виднелись высохшие зонтики прошлогоднего борщевика. Встав на задние лапы, Кася попробовала дотянуться до одного из краёв, однако её роста тут явно было недостаточно. Вот если бы тут был Дмитрий Олегович...

Мысль о хозяине сначала Касю воодушевила. Сейчас он придёт и вытащит её отсюда. Но в следующий миг она поняла, что не придёт и не вытащит. А виновата она в этом сама. Кричать нельзя: если случайные люди узнают, что она говорящая – бед не оберёшься, ещё хуже, чем в яму провалиться.

Кася огляделась по сторонам, и первое, что она увидела – собачий скелет, обтянутый облезшей и поеденной личинками кожей с клочками шерсти. Скелет лежал в дальнем углу на куче сгнивших тряпок.

Значит, лаять тоже бесполезно. Никто не услышит.

– Бедная я, бедная, – прошептала Кася и заплакала.

И в это время сверху на неё кто-то посмотрел.

Заяц

Это был он, заяц, за которым она гналась. Огромный, больше Дмитрия Олеговича. Вязаная шапка сдвинута на затылок, рваные ушищи задиристо топорщатся, из уголка рта торчит дымящаяся сигарета.

Заяц затынулся, вынул сигарету изо рта, и презрительно выпустил дым в морду Касе. Сквозь клубы она заметила, что левый верхний резец у зайца золотой.

– Ах, ты!.. гад! Это ты меня заманил! Я тебя узнала! Это ты вчера купить меня хотел! Эй, прыгай сюда, собака сутулая! Я тебя порву здесь! – зарычала Кася.

Но заяц не сказал ни слова, просто ушёл. И Кася поняла, что так здесь и умрёт.

Прохожий

Вообще лес рядом с деревней был довольно оживлённым местом. Кроме животных в нём часто встречались люди, как правило – пенсионного возраста. Они ходили по лесным тропинкам, активно перебирая лыжными палками, и называли это скандинавской ходьбой.

Вот и сейчас Дмитрий Олегович заметил прохожего далеко впереди.

– Эй, подождите! – крикнул он. – Вы здесь собаку не видели?

Прохожий будто и не слышал его окрика, шёл себе и шёл, даже не оглянулся. Дмитрий Олегович попытался его догнать, но запутался в молодом ивняке, а когда, чертыхаясь, выбрался на открытое место – дренажный ров, тянущийся вдоль заброшенного поля – прохожего и след простыл.

Рекогносцировка

Дмитрий Олегович огляделся. Метрах в ста на запад мельтешила машинами автотрасса, за ней виднелась деревня. Между автотрассой и лесом, из которого вышел Дмитрий Олегович, раскинулось поле, всё сплошь дырявое от нор землероек. Левый край поля был едва виден, зато справа оно закончилось, и там, вдоль листовенного перелеска и огромных как доисторические папоротники, высохших борщевиков, тянулась заросшая грунтовка, по которой, скорей всего,

прохожий и ушёл. Шум трассы заглушал все лесные звуки, видимо, поэтому прохожий Дмитрия Олеговича и не расслышал.

– Кася! – вновь позвал Дмитрий Олегович. – Ты где?

Кася причитает

– Зачем он мне сдался, это чёрт ушастый! – горевала в яме Кася. – Хорошо же всё было: колбаска, гульки без поводка! Говорила же вчера – никакой охоты! Да у них и ружья никакого! Что бы было, догони я этого подлеца косого? Он бы нас двоих загрыз, как морковку!

На минуту ей показалось, что она слышала крик Дмитрия Олеговича, но эту мысль она быстро отбросила, потому что он наверняка сейчас дома, готовит ей кашу. Думает, наверное, что она нагуляется, потом придёт голодная, а он её тряпочкой лапки протрёт...

От жалости к Митеньке, которого ждёт жестокое разочарование, и к себе, которую ждёт не менее жестокая смерть, Кася заскулила.

– А Польша? А котинька? Они так ко мне привязались, что с ними будет? А потом Аня придет, будет их ругать за то, что потеряли такую хорошую сутуленькую собаченьку!

– Митенька, заberi меня отсюда! – снова заскулила Кася. – Я тебя слушаться буду, тапочки тебе приносить. Домой хочу!

Таинственные звуки

Возможно, именно то, что ничего, кроме шума машин, не было слышно, и заставило Дмитрия Олеговича тщательно обшарить местность. Он пошёл вдоль дренажного рва, и каждую минуту звал Касю. И когда дошёл до борщевиков, плотной стеной стоявших у лиственного перелеска, внезапно остановился

– Кася? – крикнул он. – Ты здесь?

Ответом ему был шум автотрассы. Но Дмитрий Олегович готов был поклясться, что слышал какой-то таинственный звук. Только понять не мог, откуда.

Он снова зашёл в лес и позвал Касю. И опять что-то услышал, не то скулёрж, не то бормотание, но теперь с другой стороны. Покружив так минут двадцать, Дмитрий Олегович пришёл к выводу, что звук доносится из зарослей борщевика.

Треск и хруст

Лезть в этот костяной лес не хотелось. Во-первых, Дмитрий Олегович не любил борщевик. Когда-то он весьма ощутимо обжёгся его соком, который становится ядовитым, попав под солнечные лучи. Во-вторых, там был не только борщевик, но и кипрей с коробочками пуха, и репейник с цепкими колючками, и это означало, что вылезет Дмитрий Олегович из чащи сухостоя похожим на чудище Баскервилей. А в-третьих, больше всего на свете Дмитрий Олегович боялся не медведей или зайцев, и даже не цепкого шишабарника, а клещей, которые вгрызаются глубоко под кожу и заражают ужасными болезнями типа энцефалита и боррелиоза.

Однако он не мог уйти, не попробовав найти свою собаку. Натянув на голову капюшон, спрятав руки в рукава, он начал ломать сухие растения, чтобы было видно, что происходит за ними. Треск и хруст стояли неимоверные, даже гудение автотрассы на какое-то время затихло.

Земля, на которой росли борщевики, оказалась вся в рытвинах: то канава в человеческий рост, то взгорок с человека же. В канавах валялись сгнившие доски, железяки, битый кирпич. Кажется, когда-то здесь была стройка, а потом люди всё бросили и ушли.

– Кася! – позвал Дмитрий Олегович.

И вдруг совсем рядом послышалось:

– Я здесь! Здесь! Митенька, вытащи меня!

Кася, дай лапу!

Квадратное отверстие в земле Дмитрий Олегович увидел, только выломав почти весь борщевик. И даже удивился, как сам туда не свалился, он ведь на этом пяточке долго топтался.

Заглянув в колодец, Дмитрий Олегович с облегчением выдохнул: Кася стояла там на задних лапах, передними опираясь в стену.

– Цела?

– Цела! – Кася нетерпеливо повильяла хвостом.

– Подожди, сейчас я тебя вытащу.

Дмитрий Олегович присел у края колодца и задумался. Спускаться вниз не хотелось, с физической подготовкой у него было не очень, и вылезать потом будет проблематично, если вообще возможно. Глубокая ямища, для чего её, такую, выкопали, да ещё и кирпичом обложили?

– Кася, ты мне доверяешь? – спросил Дмитрий Олегович.

– Как-то мне этот вопрос не нравится, – севшим от переживаний голосом ответила собака.

– Доверяешь или нет?

– Доверяю, – неуверенно согласилась Кася.

– Тогда дай лапу.

– Что я – маленькая?!

– Давай лапу, говорю!

Согнувшись в три погибели, правой рукой упёршись в край колодца, Дмитрий Олегович протянул Касе левую руку. Кася тоже потянулась навстречу хозяину, тоже вытягивая левую переднюю лапу.

Дмитрий Олегович ухватил Касю за лапу и потащил наверх. Кася взвыла от боли, но Дмитрий Олегович не отпускал, хотя ему было и тяжело – тридцать килограмм живого веса! – и жалко собаку.

Через несколько мгновений Кася была наверху.

Два секрета

– Ты мне чуть лапу не оторвал! – обиженно сказала Кася.

– Вернуть тебя обратно и вытащить как следует? – спросил Дмитрий Олегович.

– Нет, – сказала Кася. – Но можно было и аккуратней.

Дмитрий Олегович покачал головой. Угрозило же его взять в приюте охотничью собаку, а не какую-нибудь дворняжку или овчарку. Говорят, те очень любят своих хозяев, и прямо ни на шаг от них не отходят. А Касе, похоже, не так важно, с кем она живёт, лишь бы в лес гулять пускали.

– Ты что, даже спасибо не скажешь? – спросил он.

Кася подняла на Дмитрия Олеговича свои прекрасные миндалевидные глаза с пушистыми рыжими ресничками.

– А без спасибо ты бы меня не спас? – сказала она.

– Конечно, спас бы, что за глупости!

– Так зачем тебе спасибо?

Дмитрий Олегович растерялся. Как ни странно, Кася была права.

– Пойдём домой, – сказал он. – Только никому ни слова, что ты в яму провалилась.

– Как с медвежьим следом?

– Да.

– Значит, у нас с тобой уже два общих секрета? – уточнила Кася.

– Выходит, что так.

– Знаешь, мне кажется, что на этом надо остановиться, – сказала Кася.

– Пожалуй, – согласился Дмитрий Олегович. – Давай-ка осмотрим друг друга, чтобы клещей домой не принести.

Что ему нужно

С себя Дмитрий Олегович снял трёх насекомых, а с Каси – целых шесть. С нескрываемой брезгливостью он выбросил опасных кровососов в колодец, и с чувством выполненного долга повёл Касю домой. По дороге Кася рассказала Дмитрию Олеговичу о злокозненном негодяе, заманившем её в ловушку.

– Я думал, ты мне вчера какие-то поверья собачьи рассказывала, – Дмитрий Олегович наморщил лоб. – Не бывает же таких больших зайцев.

– Вы до недавнего времени думали, что и собаки не разговаривают.

– В этом есть логика, – согласился Дмитрий Олегович. – А зачем этот заяц хотел тебя в яму посадить?

– Не хотел. У него всё получилось.

– Но почему?

– А я знаю? Он мне ничего не сказал. Может, он собак не любит. Ой.

Ой!

Кася остановилась.

– Что такое? – спросил Дмитрий Олегович.

– Аня приехала! – прошептала Кася.

У калитки во двор Кирпичниковых и вправду стояла легковая машина.

– Из приюта? – удивился Дмитрий Олегович. – А что ей... погоди, а почему шёпотом?

– А ты не понимаешь? А вдруг этот заяц вчера у неё был и тоже миллион предлагал? Она решила забрать меня у вас и ему продать.

– Не может быть!

– Да как не может? Приюту деньги очень нужны, там постоянно всего не хватает, а нужно ещё операции делать, прививки, кормить всех нужно... Стой, ты куда?!

– Мы должны всё выяснить.

– Она меня заберёт!

– А мы не отдадим!

– Стой! Лучше отпусти меня, я тут рядом побегаю...

– С ума сошла? Вот тогда тебя точно заберут, и будут правы.

Кася обречённо пошла за Дмитрием Олеговичем, и предчувствия у неё были самые дурные.

Беспокойство

Они даже домой зайти не успели, как им навстречу выбежала Аня. Она сразу же напала на Касю и начала её тискать, лохматить, целовать и гладить, будто не видела минимум сто лет.

– Что-то случилось? – спросил Дмитрий Олегович у жены, которая тоже вышла во двор.

– Вы меня извините за беспокойство, – Аня оторвалась от ошарашенной таким напором собаки. – У нас такая история странная произошла...

Странная история

Вчера утром к Ане в приют пришёл какой-то мутный тип в плаще и вязаной шапке. Заикаясь, он спрашивал о Дамке. Аня сказала, что собаку отдали. Мутный тип не унимался и начал выяснять, кому именно отдали собаку. Это Аню насторожило, и она сказала, что такие сведения

посторонним не сообщаются. Тогда мутный тип достал из кармана полмиллиона рублей и предложил заплатить за сведения.

– А м-можете н-не с-сообщать, – сказал он. – В-вот в-вам е-ещё, п-пусть с-собаку в-вернут...

И вытащил ещё пачку денег. Аня, конечно, сразу его выпроводила, а потом позвонила Дмитрию Олеговичу, узнать, как дела.

– А потом всю ночь не спала, думала: что за тип такой, что так деньгами кидается? Не выдержала, прямо с утра поехала. У вас всё в порядке?

Дмитрий Олегович посмотрел на супругу, и та глазами дала понять, что ни о чём не рассказала.

– Всё хорошо! – соврал он, не моргнув глазом. – Спасибо, что сообщили. Будем держать ухо востро. Чаю?

Например?..

У Ани было много дел в приюте, поэтому чаёвничать она не стала. Потрепав Касю по загривку, она села в машину и уехала.

Кирпичниковы подождали, пока машина скроется из виду, и лишь после этого заговорили.

– Польша в школе? – спросил Дмитрий Олегович.

– Слава богу, ушла раньше, чем Аня приехала, – ответила Ирина Валерьевна. – Но у меня появились вопросы. Кася, ты знаешь, кто этот тип с миллионом?

– Зай... – открыла рот Кася, и тут её взгляд встретился со взглядом Дмитрия Олеговича, выражавшим отчаяние и предчувствие краха. Быстро сообразив, что чуть не проговорила, собака перевела взгляд на хозяйку и с достоинством закончила: – ...мёмся чем-нибудь приятным?

– Например? – с подозрением спросила Ирина Валерьевна.

– Например, поедим.

С этими словами Кася потрусила к дому и потянула за собой Дмитрия Олеговича. Он скроил недоумевающую физиономию и проследовал за ней следом, в глубине души с облегчением выдыхая. Ирина Валерьевна хмыкнула и тоже пошла домой. Не стоять же на улице, когда можно заняться чем-то приятным.

Приключения продолжаются

К величайшему облегчению Дмитрия Олеговича, следующие два часа прошли относительно спокойно: никто не мешал Кирпичниковым спокойно завтракать, и даже Кася свою порцию ела не торопясь, а наслаждаясь каждым кусочком.

На какой-то момент Дмитрию Олеговичу показалось, что все волнения остались позади, и теперь можно безмятежно наслаждаться размеренной сельской жизнью. Горизонт был чист, небо – безоблачно, манная каша – без комочков.

Однако, будто в насмешку, приключения продолжились. Ирина Валерьевна решила подцепить из банки солёный огурчик, взяла вилку, но не удержала, и столовый прибор упал на пол.

И только Дмитрий Олегович открыл рот, чтобы попросить супругу постучать вилкой по полу, дабы не пришла «зубастая баба», оказалось, что стучать поздно. Во двор вошла преклонных лет женщина в сопровождении восточно-европейского овчара и молодого полицейского.

Выйти и зайти как следует

Дмитрий Олегович сразу понял, кто это такая, и выскочил на террасу в одних бриджах, без майки и тапочек.

– Здравствуйте, – сказал он. – Вы кого-то ищете?

Женщина неодобрительно осмотрела полуголого Дмитрия Олеговича и с явным неудовольствием сказала полицейскому:

– Вот, видите, у кого моя Мадам сейчас живёт!

Молодой полицейский, пропустив мимо ушей реплику женщины, козырнул и представился:

– Участковый уполномоченный лейтенант Телегин, – в подтверждение своих слов он продемонстрировал служебное удостоверение, и оно подтверждало слова участкового. – Вы не могли бы что-нибудь накинуть на себя, а то гражданочка стесняется.

Дмитрий Олегович сказал «минуточку» и вернулся в дом. Ирина Валерьевна, работавшая за компьютером в наушниках, на эволюции супруга внимания не обращала – у неё горел заказ. Так что, не беспокоя котиньку, Дмитрий Олегович быстро переоделся и ровно через минуту вышел к гостям если не при параде, то во вполне удовлетворительном внешнем виде.

Спокойно, гражданка!

Участковый уполномоченный лейтенант Телегин коротко и по делу изложил цель визита:

– Гражданка Сокольничая утверждает, что вы похитили и незаконно удерживаете у себя её собаку по кличке Мадам.

– О как! – воскликнул Дмитрий Олегович. К такой постановке вопроса он готов не был. Но, быстро взяв себя в руки, ответил: – Я не согласен с предъявленным мне гражданкой Сокольничей обвинением.

Гражданка Сокольничая тут же начала трясти участкового за рукав:

– А я говорила! Говорила же! Ни за что не признается. В тюрьму его надо! Времени ещё даже двенадцати нет, а он дома в труселях ходит, не работает! Бандит, не иначе!

– Спокойно, гражданка, – мягко, но безапелляционно сказал участковый, а затем, обернувшись к Дмитрию Олеговичу, спросил: – Извините, как к вам обращаться?

– Дмитрий Олегович Кирпичников.

– Давно здесь проживаете?

– Два месяца.

– Прописка имеется?

– Да.

– В чьей собственности жилище?

– А это зачем? – удивился Дмитрий Олегович.

– Ну, я тут представитель закона, хочу о гражданах, живущих на вверенной мне территории, больше знать, чтобы для выяснения пустяковых вопросов не бегать потом и вас не беспокоить. Но вы, разумеется, имеете полное право не отвечать на поставленный вопрос.

Участковый уполномоченный лейтенант Телегин с каждой минутой нравился Дмитрию Олеговичу всё больше. Полицейских Дмитрий Олегович, в отличие от медведей, зайцев и клещей, не боялся. И потому ответил:

– Жильё в совместной собственности – моей супруги, меня и несовершеннолетней дочери.

– Хорошо. Я правильно понимаю, что кражу собаки вы не признаёте?

– Совершенно верно.

Права на вожделение собаки

– А я говорила! – вновь вмешалась гражданка Сокольничая.

– Товарищ лейтенант, – на старомодный манер обратился к полицейскому Дмитрий Олегович, – а почему гражданка Сокольничая решила, что я похитил и незаконно удерживаю её собаку? Я эту гражданку впервые вижу.

– Хороший вопрос. Гражданка Сокольничая, почему вы обвиняете гражданина Кирпичникова в краже собаки?

– Да потому что вон она, мерзавка, я её в окошко вижу! – и гражданка Сокольничая ткнула пальцем в окно, из которого выглядывала Кася.

Участковый вопросительно посмотрел на Дмитрия Олеговича, и он спокойно ответил:

– Это наша собака, её зовут Кася.

– Врёт он всё! Мадам это! У него и прав на вожделение, наверное, нет.

– Чего? – хором спросили участковый уполномоченный и гражданин Кирпичников.

– Права на вожделение собаки! – гордая своей юридической подкованностью, повторила гражданка Сокольничая.

Участковый откашлялся и осторожно спросил:

– А у вас такие права на вышеупомянутую собаку имеются?

– Да! – победно произнесла гражданка Сокольничая, вытащила из кармана стёганого халата сложенный вдвое тетрадный лист в линейку и протянула лейтенанту Телегину.

Печать, подпись, наименование органа

Удивлённый лейтенант машинально взял в руки «права» и прочитал вслух:

– Права на вожделение собаки по кличке Мадам выданы Сокольничей Василине Аркадьевне... хм...

Гражданка Сокольничая ликовала, глядя на озадаченные лица Дмитрия Олеговича и лейтенанта Телегина. Восточно-европейский овчар, смиренно сидевший рядом, тоже всем своим видом выражал недоумение.

– Хм, – повторил участковый, вдоль и поперёк изучив «права» гражданки Сокольничей, – а где ваши права на этого пса?

Все посмотрели на овчара. Овчар вжал голову в плечи и отвёл глаза в сторону.

– Так я это... дома их забыла. Сейчас схожу, – засуетилась гражданка Сокольничая.

– Пойдите, гражданочка! – остановил её участковый. – А где фото собаки? Где печать, подпись, наименование органа, где выдан документ? Подделка прав, между прочим, карается законом!

– А? Что? Нет печати? Ах, жулики! Ничего, я сейчас разберусь, я мигом...

Эксперимент

– Отставить разбирательство, – спокойно сказал участковый. – Не будем устраивать бюрократической волокиты, а проведём следственный эксперимент. Итак, вы утверждаете, Василина Аркадьевна, что собака ваша и зовут её Мадам, так?

– Так.

– В таком случае, если вы её позовёте, она немедленно прибежит к вам?

– А то как же! Моя же собака... – неуверенно сказала Василина Аркадьевна.

– Дмитрий Олегович, вы не против?

– Как я могу? – Дмитрий Олегович открыл дверь и выпустил Касю на террасу.

Овчар, смиренно сидевший у ноги хозяйки, заинтересованно начал мести хвостом по земле, но продолжал сидеть как приклеенный.

– Мадам! Мадам! Ко мне! – потребовала гражданка Сокольничая. – Быстро, скотина такая!

Кася посмотрела на Дмитрия Олеговича, широко зевнула, и улеглась на тёплые доски террасы.

– Он её незаметно держит! – пожаловалась Василина Аркадьевна лейтенанту.

– Дмитрий Олегович, будьте добры ради чистоты эксперимента подойти к нам и оставить собаку одну.

Дмитрий Олегович спустился с террасы во двор и встал рядом с полицейским. Василина Аркадьевна повторила попытку, но «Мадам» никак не реагировала на призывы, посулы и угрозы. Тогда участковый предложил гражданину Кирпичникову самому позвать собаку.

– Кася, будь добра, подойди к нам и дай лапу товарищу лейтенанту, – попросил Дмитрий Олегович.

Кася изящно встала, утончённо встряхнулась, грациозно спустилась по лесенке, кокетливо подбежала к участковому и элегантно протянула ему левую переднюю лапку.

Как не стыдно?

Даже дрессированный овчар, глядя на это, почти застонал, а лейтенант Телегин был сражён наповал. Он бережно пожал лапу Касе, потом выпрямился и строго посмотрел на Василину Аркадьевну:

– Как не стыдно?! Взрослый человек, а такое себе позволяете...

– Это трюк! – закричала Василина Аркадьевна. – Дешёвый фокус! Я тоже так могу! Они сговорились! Она мою картошку погрызла в прошлом году! Кто платить будет?!

– Товарищ лейтенант, я могу дать координаты приюта для бездомных животных, откуда мы Касю забрали. Там подтвердят, – сказал Дмитрий Олегович.

– Не стоит утруждать людей, мы сами всё сейчас увидели. Извините за беспокойство. Вот вам моя визитка, если что – обращайтесь.

Участковый снова козырнул и отправился восвояси, сопровождаемый гражданкой Сокольниковой, продолжавшей размахивать руками и кричать: «это фокус!», «не имеете права!» и «я буду жаловаться!». Несчастный овчар шёл следом, жалобно оглядываясь на Касю – мол, я здесь ни при чём.

– Подкаблучник, – презрительно хмыкнула Кася и потрусилась домой.

Польша не узнаёт Касю

Польше, когда она вернулась, было строго-настроено запрещено ходить с Касей мимо дома гражданки Сокольниковой. Впрочем, могли и не предупреждать, Полине и самой хватило вчерашней беседы, чтобы не желать новой встречи.

– А в лес? – спросила она.

– Нет, – хором сказали родители и Кася.

– Что я – маленькая? – обиделась Полина.

Кася от возмущения даже взгавкнула – ведь это её коронная фраза.

– Маленькая, – назидательно сказал Дмитрий Олегович. – В лесу дикие звери: лисы, кабаны, медведи...

– Скажи ещё – зайцы, – съехидничала Полина.

Дмитрий Олегович с Касей переглянулись.

– И зайцы тоже.

– А где же нам гулять?

– А я не хочу гулять, – сказала Кася.

– Не хочешь? – округлила глаза Польша. – Ты не заболела? Я тебя не узнаю. Посмотри, какая погода хорошая!

– Именно поэтому и нельзя. Солнце, жара, а в вашей деревне даже ручейка нет, попить негде, – сказала Кася. – Мучение одно, а не прогулка. Я лучше в тенёчке покемарю.

– Ну и хорошо, а то я на велосипеде покататься хотела, – вроде даже с облегчением сказала Полина.

По своему обыкновению она быстро переделалась, съела пару бутербродов, выпила чаю и убежала на улицу.

Кася поддерживает беседу

Тут же выяснилось, что и Дмитрию Олеговичу нужно сходить в магазин. Он попросил жену составить список покупок, которые ей нужны, а сам начал собираться: выставил на улицу мусор,

оделся поцивильнее, для города, и накинул на плечи вместительный рюкзак на металлическом каркасе.

Получив список, он поцеловал котиньку и отбыл. Котинька проводила мужа и вновь углубилась в работу. Кася какое-то время наблюдала за тем, что делает Ирина Валерьевна, ничего не поняла и спросила:

- А что ты делаешь?
- Работаю.
- Работают – это когда молотком колотят, или лопатой машут, а ты просто сидишь.
- Очень интересный взгляд. Хочешь обсудить?

Что-то в голосе хозяйки подсказало Касе, что она недостаточно компетентна для обсуждения. Хозяйка явно была главнее Каси, но Кася не понимала, почему. Может, потому что у неё такая розовая шубка с глазами на затылке?

- А что это у тебя за шубка? – спросила Кася.
- Это не шубка, это пижама кигуруми.
- А мне можно такую?

Ирина Валерьевна развернулась:

- Ты хочешь кигуруми?

Кася испугалась, что влезла на чужую территорию. Она поспешно отвела глаза и сказала:

- Нет. Просто так. Беседу поддерживаю.

Хорошая идея

Ирина Валерьевна смягчилась.

– Кася, у меня сейчас дедлайн, сроки горят. Давай мы чуть позже поболтаем, вечером? Ты вроде в тенёк просилась.

- Было бы неплохо, – Кася встала с лежанки.
- Погоди, поводок на тебя нацеплю.
- Зачем поводок? Что я – маленькая?

Ирина Валерьевна выразительно посмотрела на собаку, и Кася сразу же согласилась. «На поводке как-то спокойнее, – подумала она. – С поводком сразу видно, что я не какая-нибудь сутулая псина, а вполне себе ещё...»

Котинька вывела Касю на улицу и привязала к берёзе. Кася побродила немного среди травы и деревьев, потом прилегла рядом с крыльцом и поняла, что это была хорошая идея.

«Всегда тут спать буду», – решила Кася и заснула.

Алё, это наша собака!

Чтобы попасть в магазин, в который пошёл Дмитрий Олегович, нужно было пройти через небольшой перелесок, увешанный птичьими кормушками и огромными плюшевыми зверями. Выглядело это немного жутковато, особенно в тёмное время суток, но днём ничего, можно не бояться. За перелеском сразу открывался вид на город: вышки сотовой связи, новые многоэтажные дома, широкий проспект и упирающийся прямо в этот проспект частный сектор с домиками разной высоты и ухоженности.

Дмитрий Олегович уже прошёл весь этот путь, набил рюкзак продуктами, товарами первой необходимости, и теперь возвращался обратно. На обратном пути он, как уже повелось у него с Полиной, насыпал в кормушки семечек и пошёл дальше. Из-за тяжёлого рюкзака он почти не смотрел вперёд и видел только малую часть дороги прямо перед собой. Поэтому он не сразу понял, что мимо него прошла Кася. А когда до него дошло, что эти белые ноги с рыжими пятнами ему знакомы, Кася уже осталась за спиной.

- Эй, Кася, ты куда? – спросил он, тяжело разворачиваясь под грузом покупок.

Выпрямившись, он увидел, что Кася идёт по улице вовсе не своей волей, а на поводке, с мордой, перевязанной какой-то тряпкой. Тащили её двое: какой-то мелкий неопрятный мужичонка в одежде, которая была ему явно велика, и очень мощная женщина, тоже неопрятная, но её вещи ей были явно малы. Кася обречённо тащилась за ними, то и дело оглядываясь назад: заметил ли её хозяин? Хозяин заметил.

– Алё! – закричал Дмитрий Олегович. – Это наша собака!

Погоня

И началась погоня. Дмитрию Олеговичу мешал бежать рюкзак, воров, укравшим Касю, мешала бежать собака. И все при этом кричали.

– Жульё, верните собаку! – орал Дмитрий Олегович.

– Тихон, быстрее, быстрее! – орала неопрятная женщина.

Тихон же просто бежал с открытым ртом и из него вырывалось хриплое «АААААА!». Молчала лишь Кася, которая просто ехала по пыльной дороге, ведущей из деревни в город.

Дистанция между похитителями и хозяином неуклонно сокращалась, ещё немного – и Дмитрий Олегович почти мог дотянуться до скулящей от страха и боли Каси. Поняв, что они попались, Тихон захлопнул рот и бросился в драку. Сделал он это зря, потому что Дмитрий Олегович, хоть и не был спортивным, зато значительно превосходил жулика ростом и шириной плеч. Он оттолкнул Тихона в сторону и слегка поднажал. Кася, увидев победу, вскочила на лапы и потянулась к хозяину.

– Маха, я ранен! – крикнул Тихон своей боевой подруге.

Маха оглянулась – и встала как вкопанная.

– Это наша соба... – крикнул, задыхаясь, Дмитрий Олегович, неудержимой лавиной надвигаясь на Маху.

Последнее, что он увидел – это мощный кулак женщины перед глазами. Потом кто-то выключил солнце и всю окружающую среду.

Как так вышло

Кася слышала их слишком поздно. Она смотрела интересный сон с белкой, и вдруг слышала: – Вот она.

Сказала это большая женщина, от которой пахло пивом и табаком. Рядом с ней стоял маленький мужчина, от которого пахло водкой, запах которой перебивал все прочие запахи.

Во двор они пробрались с обратной стороны дома, судя по примятой траве – проползли под сеткой забора. Спросонья Кася даже не гавкнула. Женщина схватила её за бока, а мужчина споровисто перевязал морду вонючей тряпкой, чтобы Кася не могла ни гавкать, ни кусаться.

Конечно, она скулила, и царапалась, и вырывалась. Но женщина больно стукнула её по спине и сказала:

– Заткнись, не то приблю!

Воры протащили Касю под забором, закоулками вывели на пустую от жары центральную улицу, и началось одно из самых страшных приключений в её жизни.

Куда бежать? Что делать?

Очнулся Дмитрий Олегович от того, что кто-то лил ему на голову воду. Он открыл глаза и увидел взволнованное лицо супруги.

– Митя! Митенька! Касю украли!

Ирина Валерьевна стояла над ним в своей пижаме-кигуруми и домашних тапочках. Она отвлеклась на минутку от работы, вышла на крыльцо, чтобы проверить Касю, и увидела, что её нет.

В панике она оббежала весь двор, собаки не нашла, побежала искать её – а нашла поверженного мужа с синяком на пол-лица.

– Я знаю, – с трудом ответил Дмитрий Олегович. – Я их видел. Догнать хотел. Они... туда...

Он показал рукой, куда скрылись похитители.

– Что делать, Митенька? Куда бежать? Касенька, это я виновата! – Ирина Валерьевна заплакала.

Дмитрий Олегович с кряхтением поднялся и обнял жену:

– Никто ни в чём не виноват. Скорее домой, я знаю, кто нам поможет.

Совпадений не бывает

Дома Дмитрий Олегович отыскал визитку участкового уполномоченного лейтенанта Телегина и в двух словах пересказал события последнего часа. Лейтенант всё записал и спросил:

– Подозреваете кого-нибудь?

– Я не подозреваю, я видел преступников и могу опознать!

– Вы, Дмитрий Олегович, за этим шокирующим событием не видите общей картины, – успокаивающим тоном сказал участковый. – Подумайте: сегодня же у вас уже пытались обманым путём забрать собаку. Таких совпадений не бывает.

Дмитрий Олегович понял.

– Это же!..

– Вот именно. Очевидно, гражданка Сокольничая не успокоилась, и решила завладеть вашим питомцем, наняв бездомных. Подождите минут двадцать, я еду за вами, и мы распутаем это дело по горячим следам.

Поездка

Ровно через двадцать минут у дома Кирпичниковых остановился узик-буханка с надписью «Полиция» по бортам. Дмитрий Олегович сел в кабину, и лейтенант Телегин тут же утопил педаль акселератора.

– Куда мы едем?

– К Тихону в гости. Я этого субчика давно знаю, он в заброшенных садах обитает. Там мы его и возьмём тёпленького.

Машина проехала обычным путём, по которому последние три дня Дмитрий Олегович и Кася ходили гулять. Перед выездом на трассу участковый включил сирену и мигалку.

– А то проехать не дадут, – пояснил он удивлённому спутнику.

Узик выскочил на трассу, проехал по ней метров десять и свернул на грунтовую лесную дорогу. Подпрыгивая на ухабах, автомобиль летел через лес. На такой скорости деревья сливались в одну сплошную зелёную полосу.

Вскоре они выехали на открытое место, уже знакомое Дмитрию Олеговичу – здесь пролегалла высоковольтная линия электропередач.

– Между прочим, – сказал лейтенант, – здесь недавно медведь проходил. Он в детский лагерь гужеваться ходит как на работу.

– Я знаю, – ответил Дмитрий Олегович.

– Откуда?

«Кася рассказывала», – хотел сказать Дмитрий Олегович, но вовремя осёкся.

– На прогулке человек какой-то рассказал, – соврал он, и покраснел.

– О, вот мы и приехали! – лейтенант Телегин остановил машину и заглушил двигатель. – Полюбуйтесь, как живёт деклассированный элемент.

Страж

Дмитрий Олегович увидел маленький домик, чуть выше человеческого роста, спрятавшийся внутри металлической опоры линии электропередач. Если не приглядываться, то жилище Тихона казалось заросшей кучей мусора.

– Целый небоскрёб, – покачал Дмитрий Олегович головой.

– Эй, Тихон, – крикнул участковый. – Выходи!

Вместо Тихона ответила собака, судя по голосу – не меньше волкодава. Сыщики переглянулись. «Ваша?» – спросил взглядом лейтенант Телегин. «Нет, не моя, моя меньше», – замахал руками Дмитрий Олегович.

– Тихон, без глупостей! Держи собаку! – участковый вытащил из кобуры пистолет.

Послышался треск и шуршание, сопровождаемые глухим рыком, и откуда-то из-за домика выполз гигантский, перемазанный грязью, сенбернар. Именно выполз, опираясь только на передние лапы. Задние волоклись за ним, будто пришитые.

– Это... что такое? – спросил Дмитрий Олегович.

– Впервые вижу, – ответил не менее ошеломлённый лейтенант. – Год назад его здесь не было.

Не надо торопиться с выводами

Судя по всему, у собаки был сломан позвоночник. Передвижение на брюхе такому большому псу давалось явно с большим трудом, на морде сенбернара было написано, как ему больно.

– Он что – живодеёр, этот ваш Тихон? – чуть не плача спросил Дмитрий Олегович.

– Почему? – спросил лейтенант, внимательно осматривая домик снаружи.

– Вы разве не видите, что он с собакой сделал!

Сенбернар яростно залаял на Дмитрия Олеговича.

– Не надо торопиться с выводами, – участковый обошёл домик и сказал: – Вот, полюбуйтесь.

Дмитрий Олегович тоже обошёл домик и увидел собачью будку. Возле будки была установлена поилка с чистой водой, повсюду валялись кости.

– Обратите внимание, Дмитрий Олегович, насколько тщательно сделана будка. Наверняка там тепло зимой и сухо во время дождя. А говяжьи и свиные кости говорят о том, что собака неплохо питается. Да это и по ней видно – видите, какой кабан?

Сенбернар, приползший обратно, вновь гавкнул, но уже спокойно, просто сообщая, что он здесь и мимо никто не проскочит.

– Тихон явно любит собак, – заключил участковый. – Именно поэтому нам нужно понять, что именно посулила ему гражданка Сокольная.

– Может, нам у неё спросить? – предложил Дмитрий Олегович.

Участковый не может понять

Лейтенант Телегин задумчиво почесал переносицу.

– Гражданка Сокольная, как вы, наверное, заметили, не слишком умна, но весьма упряма. Разумные доводы вряд ли заставят её признать вину.

– Но Тихона здесь нет. Может, она проговорится? Вы же сами говорите, что она не слишком умная.

Участковый вздохнул и жестом пригласил Дмитрия Олеговича обратно в машину.

Пока они возвращались, лицо лейтенанта Телегина то хмурилось, то светлело, шевелились губы, гуляли по высокому умному лбу светлые, почти белые брови.

– Одного не могу понять: зачем этой бабуле ваша собака? Ну, не похожа она на злодейку, которой просто приятно соседей изводить. Она жадная, а не сумасшедшая. Какая ей корысть от вашей собаки? Вы от меня ничего не скрываете, Дмитрий Олегович?

Дмитрий Олегович напряжённо молчал.

– Значит, скрываете, – понял лейтенант. – Это что-то противозаконное? Только учтите, я пойму, если вы говорите неправду. Вы меня уже обманули, сказав, что узнали про медведя от случайного прохожего.

– Почему вы так думаете? – испугался Дмитрий Олегович.

– Вы сказали «я знаю», будучи эмоционально вовлечённым, значит – вам об этом сказал кто-то близкий. Так что вы скрываете?

– Моя собака стоит миллион, – сказал Дмитрий Олегович ту единственную правду, которую мог сказать.

– Сколько?! – не поверил лейтенант. – Обычная гончая собака?!

– Видимо, не очень обычная.

– Да я видел её, самая обычная выловка. Миллион, с ума сойти. Она у вас что – говорящая?!

Дмитрий Олегович нервно хихикнул.

В плену

В это время Кася томила в неволе, и поэтому невольно подслушивала разговор своих похитителей.

– И долго мы здесь ждать будем? – спросил Тихон у Махи.

– Мама сказала, что после двенадцати. Участковый докапистый, вопросы задавать будет.

– Зачем она вообще с ним связывалась, – с досадой сказал Тихон. – И зачем ей эта собака сутулая? Она же старая!

У Каси глаза на лоб полезли: откуда этот мелкий ханурик знает собачье ругательство?

Её притащили к тому самому домику, где она в прошлом году сидела на цепи в компании Иннокентия. Правда, на этот раз оставили не снаружи, а заперли внутри, в старом шкафу.

– Мама мне не говорила. Я глупая, – призналась Маха.

– Тоже мне, открытие, – проворчал Тихон. – Именно поэтому ты такая красивая и счастливая.

Маха рассмеялась глупым смехом, и Тихон с ней. Кася выглянула в щёлку и увидела, что Тихон с Махой курят и играют в карты. Возможно, постороннему наблюдателю могло показаться, что Тихон насмехается над своей огромной подружкой, но Кася даже несмотря на вонючую тряпку на носу чула, что ханурик просто души не чает в этой горе. Так же Митенька с котинькой пахли. На свежий хлеб похоже.

Кася вздохнула. Жив ли сейчас Митенька?

Что-то не так

Уазик участкового остановился у дома гражданки Сокольничей. Мужчины вышли из машины и подошли к забору, заваленному снаружи дровами. Калитка была открыта. Лейтенант Телегин прислушался.

– Странно, – сказал он.

– Что? – спросил Дмитрий Олегович.

– Если дома никого нет, калитку подпирает полено. Если полена нет, значит, во дворе должен бегать Иннокентий с поленом в зубах. Но во дворе тихо, а то бы цепь звенела. Заходим.

Дом Василины Аркадьевны был кирпичный, мощный, но какой-то подслеповатый из-за маленьких окон. Собачьей конуры не было, цепь была прикручена прямо к крыльцу. Старое одеяло, на котором спал Иннокентий, валялось у двери. На двери дужкой вниз висел замок.

– Что скажете, Холмс? – позволил себе пошутить Дмитрий Олегович.

– Похоже, Иннокентия увели. Но ушёл он не по своей воле: видите, бельё на траве валяется? Кто-то сбросил бельё, отрезал верёвку и на верёвке увёл пса.

– Такого здоровенного?

– Видимо, был рычаг давления. И, кстати, замок не заперт. Злоумышленник не знал, где хранится ключ, поэтому перевернул замок, чтобы создать иллюзию, что хозяйки нет дома.

– А она дома?!

– Полагаю, да. И надеюсь, что с ней всё в порядке.

Участковый достал из кармана носовой платок, аккуратно взял замок с краю и потянул вверх. Дужка замка отворилась. Лейтенант Телегин бережно вынул замок – теперь уже вещественное доказательство – из проушины и завернул в платок.

– Мне бы ещё одного понятого, а то я тут нарушаю протокол, – посетовал участковый. – Но будем надеяться, что хозяйка жива-здорова, тогда мы просто ей помогаем.

Они вошли в дом. Внутри было темно и душно, вдоль стен стояли какие-то коробки, тюки и свёртки, стопки газет и журналов до самого потолка.

– Василина Аркадьевна, это Телегин пришёл. Подайте знак, где вас заперли?

Сдавленное мычание услышал Дмитрий Олегович.

– Она здесь! – крикнул он.

Мужчины ворвались в маленькую комнатку, тоже сплошь заваленную хламом.

– Не видно ни черта. Дмитрий Олегович, зажгите свет.

Когда зажглась тусклая, ватт на сорок, лампа, стало понятно, что попали они в спальню. Там, прямо на кровати, спелёная пододеяльником, словно египетская мумия, лежала гражданка Сокольничая. Кто-то злой засунул ей в рот теннисный мячик и обмотал полотенцем.

Когда Дмитрий Олегович развязал несчастную жертву, дом огласился неистовой бранью:

– Вы зачем электричество жжёте, ироды!

– Отставить истерику, гражданка! – громко, но без крика, сказал участковый. – Кто это с вами сделал?

Гражданка послушно успокоилась и сказала:

– Я не знаю. Он не представился.

Заика

Вчера, едва противная девчонка и Мадамой убежали, к Василине Аркадьевне прибежал на выручку Иннокентий. Он помог ей подняться, сочувственно выслушал жалобы хозяйки на хамство молодёжи и чёрную неблагодарность собак и проводил до калитки.

И вдруг как из-под земли появился этот дылда в плаще и вязаной шапке и предложил миллион.

– Приметы? – спросил участковый.

– Заикастый он, – сказала гражданка Сокольничая.

Заика показал деньги. Самые настоящие, она даже пересчитала. Сказал: «о-отдайте м-мне с-собаку, и т-тогда д-деньги в-ваши». Сначала, конечно, Василина Аркадьевна хотела миром – предложила ему Иннокентия. Но Иннокентий, «такой умный, всё делает, только не говорит», заiku не устраивал. Подавай ему эту самую Мадам, немедленно. А как немедленно? Приступом?

Вот Василина Аркадьевна и решила утром наудачу использовать молодого участкового. Умного же на такую должность не поставят. А на крайний случай велела своей глупой дочке позвать своего непутёвого ухажёра Тишку. Что уж он в Машке нашёл – не понять: ни кожи ни рожи, но жениться хочет. Василина Аркадьевна обещала, что разрешит жениться, но Тишка сначала должен скрасть собаку, если добром эту Мадам не отдадут.

– Я бы, конечно, всё равно бы потом не разрешила. Но хоть какую-то пользу он должен приносить?

Но всё пошло не так

С участковым не получилось, умничать любит. Кто ж знал, что он ещё права на Иннокентия спрашивать будет? Пришлось ждать, когда вечером на прогулке Тишка тайком огреет этого

Кирпичникова палкой по голове, сведёт собаку на садовый участок Василины Аркадьевны, и там заика получит свою Мадам, а гражданка Сокольничая – денежки.

– Но вместо этого ваша дочь и Тихон украли собаку прямо из дома, – понял лейтенант Телегин.

Дочка позвонила за несколько часов до назначенного срока: мол, мы всё сделали, но пришлось отбиваться от хозяина. Дура, ничего доверить нельзя. Пришлось сидеть и ждать участкового, наверняка же ему сообщат. Можно было бы всё на Тишку свалить.

Но раньше участкового – задолго до условленного времени – пришёл заика и спросил, где собака.

– А я ему – где деньги? А он мне: с-сначала с-собака. А я ему: с-сначала м-миллион.

Но вместо миллиона этот злодей связал её, засунул в рот кляп – и ушёл. Дурак придурочный, он же не знает, где мой участок!

Дьявольская старуха

– Давно это случилось? – невозмутимо спросил участковый.

– Часов в пять, наверное.

– Где ваш участок?

– Ага, нашёл дуру. Чтобы ты мой миллион забрал?

– Где? Ваш? Участок? – повторил участковый.

Но гражданка Сокольничая и вправду была слишком упрямой. Она вновь заблуждала, что все сговорились, чтобы её обокрасть, что она найдёт управу, и многое другое в этом духе.

Дмитрий Олегович тронул лейтенанта за плечо и кивнул на выход. Тот поднял руку вверх: минуту терпения.

– Василина Аркадьевна, – сказал он, – я, к сожалению, ничего не могу вам предъявить, но со всей ответственностью заявляю: вы крайне неприятная женщина, и я очень жалею, что приехал к вам сегодня, а не завтра. Счастливо оставаться.

После этого мужчины покинули дом. На крыльце участковый глубоко вздохнул:

– Вот какие бывают дьявольские старухи, воспитанные прежним режимом! Да... так мы и не узнали, где её участок.

В это время хлопнула калитка и во двор ввалился восточно-европейский овчар с бельевой верёвкой на шее.

– Мне кажется, – задумчиво сказал Дмитрий Олегович, – мне кажется, Иннокентий нам поможет.

Эх, ты!

– Почему вы так думаете? – спросил лейтенант Телегин.

Дмитрий Олегович ответил не сразу, он снимал верёвку с Иннокентия и что-то ему шептал. Когда узел ослаб и петля соскользнула с его шеи, Иннокентий встряхнулся и осмотрелся.

– Хозяйка дома. С ней всё в порядке, – сказал Дмитрий Олегович. – Поможешь нам?

Иннокентий демонстративно взошёл на крыльцо и развалился на подстилке. Более однозначного ответа и ожидать было нельзя.

– Видимо, я ошибся, – вздохнул Дмитрий Олегович. – Эх, ты!

Весьма некстати зазвонил телефон. Польша!

– Да, Полина, – начал он как можно беззаботней.

– Папа, быстрее сюда! – зашипело в трубке. – Тут сейчас драка будет.

– Польша! – вскочил Дмитрий Олегович. – Какая драка? Ты где?

– Слушай внимательно, не перебивай...

Через полминуты Дмитрий Олегович и лейтенант Телегин бежали к машине. Кажется, Полина сделала то, чего не смогли сделать они.

Вслед за ними на крыльцо вышла гражданка Сокольничая, посмотрела на Иннокентия и тоже сказала:

– Эх, ты!

Садовое товарищество

Вчерашнего незнакомца Поляша увидела случайно. Она возвращалась домой и собиралась послушно объехать дом Василины Аркадьевны, как вдруг увидела издалека, как из её калитки вышел вчерашний незнакомец в шапке. И ладно бы он вышел один! Нет – он вывел с собой на верёвке Иннокентия, и тот, поникнув головой, куда-то повёл незнакомца. Полина не могла не поехать за ними следом.

Шли эти двое довольно долго: сначала по дороге, потом по тропинке через лесопарковую зону, потом по обочине трассы, и, наконец, дошли до садово-огороднического товарищества номер семь, третьи ворота, рядом с автобусной остановкой.

Сразу за воротами Иннокентий свернул налево, довёл незнакомца до улицы Черничной и по ней до участка двенадцать, домик с зелёной крышей.

– Она всё так подробно описала? – удивился участковый.

– У неё мама гейм-дизайнером работает, игровые карты создаёт.

– Интересная у вас жизнь, наверное, – восхитился лейтенант Телегин.

Дмитрий Олегович тяжело вздохнул. Ему очень хотелось поскучать. Три дня подряд сплошные волнения. Может, и вправду стоило миллион забрать вчера?

– Это ваша дочь? – спросил участковый, тормозя.

– Моя, – сказал Дмитрий Олегович.

Полина стояла на обочине и махала руками.

Визит зайца

Когда Тихон проиграл Махе, наверное, в сотый раз, в дверь домика постучали.

– Мама! – обрадовалась Маха.

– Рановато для мамы, – усомнился Тихон, но Маха уже открыла дверь.

И сразу захлопнула, и закрыла задвижку.

В дверь постучали снова.

– Вы не мама! – громко ответила Маха.

– З-знаю. С-собака с-с в-вами?

– Отдам только маме! – сказала Маха.

Дверь дрогнула. Домик тоже. И даже Кася проснулась в шкафу.

– С-собаку о-отдайте! – сказал грозный визитёр.

«Заяц припёрся», – поняла Кася.

Пока она спала, повязка на морде от слюней слегка ослабла. Энергично работая передними лапами, Кася стащила тряпку и с удовольствием высунула язык наружу. Сразу стало немного прохладнее.

– Эй, – крикнула она. – Откройте меня!

Визит белочки

– Тихо! – крикнул Тихон.

Затихли все: и Маха, и наглый визитёр снаружи, и даже Кася. Так они прислушивались неясно к чему секунд десять, после чего визитёр продолжил выламывать дверь.

– Откройте! – снова крикнула Кася. – Я пить хочу! И на улицу!

Тихон подбежал к шкафу.

– Тихон, открывай, я знаю, что ты там! Открывай по-хорошему, а то вас заяц съест.

– Маха, ты слышишь? – жалобно спросил Тихон. – Собака разговаривает. Говорит, нас заяц съест.

– Тихон, помоги, я одна дверь не удержу! – пропыхтела Маха.

Тихон выглянул наружу через маленькое окошко, чтобы понять, от кого обороняется Маха, и тут же отпрянул.

– Всё, капец. Белочка, – сказал он себе под нос и заплакал.

– Какая белочка! – заорала Кася, царапая шкаф изнутри. – Это заяц!

Вдруг ей показалось, что дверь шкафа немного поддалась напору. Встав на задние лапы, Кася толкнула её, потом снова... и снова... Так и есть: замок оказался хлипким и с каждым новым толчком всё больше разбалтывался.

– Тихон, держи дверь! Держи дверь! – продолжала кричать Маха.

Тихон подскочил к шкафу и навалился на него.

– Сиди на месте! Сиди на месте! – повторял он, пытаясь удержать «белочку» внутри. – Я не пил сегодня! И завтра не буду! Сиди на месте!

Чемпионат по сдерживанию дверей

Далее начался самый настоящий чемпионат по сдерживанию дверей. Маха держала дверь входную, Тихон не давал открыться двери шкафа. Тактика была различная: Маха тянула на себя, Тихон наваливался плечом, но несчастные похитители Каси уже значительно ослабели. Момент, когда бастион садового домика падёт, неминуемо приближался. Вопрос состоял лишь в том, кто из них первым сдастся.

– Тихон, я больше не могу! – простонала Маха.

– Я тоже!

Тихон малодушно отскочил от шкафа, и оттуда выскочила Кася. И в этот же момент дверная ручка, за которую тянула Маха, оторвалась, и дверь в домик резко отворилась.

Чемпионат оскорблений

– Мамочка... – пролепетала Маха, а потом и вовсе завизжала от страха. Тихон отважно заслонил её собой, но при этом изо всех сил зажмурился.

Понять чувства Махи было можно. В домик вошёл двухметровый заяц. Мощное рыжевато-серое мохнатое тело бугрилось мышцами, голова упиралась в потолок, отчего уши зверя торчали в стороны. Чтобы как следует разглядеть присутствующих, заяц повернул голову влево, и его светло-карий глаз отразил всё помещение. Из рта у зайца торчала зажжённая сигарета.

Кася тут же встала в охотничью стойку: задрала морду и подняла переднюю лапу.

– Попался, заяц во хмелю! – сказала она.

По морде зайца можно было понять, что он тоже не прочь сказать какую-нибудь хлесткую фразу, но дефект речи ему этого не позволял.

– С-собака! – выдавил он через силу.

– И это всё, малахай облезлый? – рассмеялась Кася. – Ты забыл сказать, что я сутулая.

И в этот же миг она прыгнула, целясь зверю в горло.

Драка

Масштабу побоища, которое устроили в домике Кася и заяц, позавидовали бы мастера батальных сцен всего мира. Заячья и собачья шерсть клочьями летела через распахнутые двери на улицу, и скоро казалось, что там, внутри, как минимум полк зайцев и не менее дивизии собак.

Однако кричали и звали на помощь только Маха и Тихон. Билась посуда, трещало дерево, звякал металл о металл, и душераздирающе скрипел пенопласт.

Когда к домику подъехали Дмитрий Олегович и лейтенант Телегин, в ход пошли кирпичи: заяц упал на печь и разворотил её до основания, и теперь пытался попасть хотя бы одним кирпичом в Касю.

– Немедленно прекратить! – крикнул участковый. – Руки вверх!

Руки в домике подняли Маха и Тихон, остальным было некогда.

– Я захожу! – крикнул лейтенант Телегин. В этот же миг одна из стен домика обрушилась, и Кася погнала зайца через всё садовое товарищество.

Сколько можно?.. Что за люди?..

Мужчины, а вслед за ними и Полина, вошли внутрь.

Даже призрак Гуляя, да что там призрак – даже тридцатитонный шар-баба для сноса домов вряд ли сумел более эффективно разнести садовый домик гражданки Сокольниковой. В центре руин сидели, обнявшись, изрядно присыпанные пылью Маха и Тихон.

– Тихон? Мария? – с участием спросил участковый. – Вы целы? Идти сможете?

– Мама ругаться будет, – на запылённых щеках Марии прочертили две дорожки слёзы. – За муж не пустит.

– Мария, вам тридцать пять лет, у вас диплом швеи-мотористки, вы техничкой работаете, – с укором сказал лейтенант Телегин. – Вы имеете полное право выходить замуж сами, сколько можно маму бояться?

Тихон встал, помог подняться Махе, и только после этого открыл глаза. И увидел Дмитрия Олеговича.

– Не драться! Телегин, не разрешай ему драться! – потребовал он.

Дмитрий Олегович даже задохнулся от возмущения. Что за люди, всё только через побои принимают?!

– Где собака? – спросил он.

– Так это... вон, туда... – Маха ткнула пальцем в отсутствующую стену. – Тут заяц... во хмелю... а она сутулая...

Все посмотрели туда, куда показывала Мария. Над тёмно-зелёной полосой леса собирались тучи, и казалось, что сполохи электричества видны меж стволов деревьев.

На измор

На этот раз Кася гнала зайца по всем правилам: не пыталась его схватить, не велась на обманные манёвры, а методично распутывала след, не забывая смотреть под ноги. «На измор возьму», – думала она, шумно втягивая запах косога.

Косой тоже был не промах. После схватки с Касей стало понятно, что несмотря на возраст, она ещё полна сил и проворства, и брать её нужно на своей территории, а не в мире людей. «На измор возьму», – думал заяц, петляя меж кустов.

А небо из голубого становилось синим, потом – фиолетовым, рогатая луна стремительно поднималась из-за деревьев, а с юга наползала жирная-прежирная туча. Приближалась полночь.

«Плохо дело, не видно уже нифига», – подумала Кася, едва не наткнувшись на торчащую из земли острую корягу. «И Гуляй, собака сутулая, неровен час, появится, и опять напортчит чего-нибудь. Эй, заяц! Пора уже закругляться».

– Эй, заяц! – крикнула она в темноту. – Долго ещё?

Зайцу тоже не нравился затяжной характер охоты. Он был голоден, устал, и где-то рядом бегала лиса, с которой встречаться вообще не было никакого желания. Жена опять ругаться будет: огород непахан-несеян, а он опять где-то шляется. Требовалось закругляться.

Окрик собаки рассердил его ещё больше. Знает же, что ему отвечать тяжело!

Заячья деревня

Кася неожиданно для себя выскочила на открытое пространство.

Местность была как будто знакомой, но в то же время незнакомого. В темноте разве разберёшь?

И вдруг зажёгся фонарь на столбе, и Кася увидела, что попала в заброшенную деревню Пахомыча, как раз к его дому. У забора стоял трактор с мацепурой, чуть поодаль – телега и старый «москвич» в пятнах ржавчины.

А вокруг – зайцы. С десяток, не меньше.

– Сутулая ты собака... – не снесла восхищения Кася. – Вы что – все здесь живёте?

Заяц опустил на четыре лапы.

– Ж-живём. А т-тебя й-я с-сейчас п-порву, к-как...

Он не договорил. Из толпы перепуганных косых выпрыгнула зайчиха и забарабанила передними лапами зайцу по морде.

– Ты зачем её сюда притащил?! – приговаривала она. – Ты где вообще болтался три дня?! Кто огород пахать будет?!

– З-зая...

– И как ваша деревня называется? – спросила Кася. – Заячье рагу? Ах! Ах! Ах!

Зайчиха в испуге отскочила. Остальные обитатели рагу тоже начали в панике носиться кругами, сталкиваясь друг с другом, чем вызвали у Каси новый взрыв плотоядного смеха.

Месть

– Т-ты з-зачем?.. – заяц снова встал на дыбы.

– Что – зачем? Ты меня сам сюда привёл. Это ты зачем, – ответила Кася.

– О-отомстить.

– За что?

– Т-ты в-всех с-съела.

– Кого?

– В-всех, к-кого н-нашла. Т-ты н-нашу н-норку р-раскопала, и в-всех, к-кроме м-меня...

Пока заяц это говорил, он становился всё больше и больше. Вот он был ростом с человека, вот – почти с медведя, вот – как лось.

– А м-меня – н-не у-успела.

Вот тут Касе стало страшно, потому что заяц вырос больше трактора, и останавливаться, как жетса, не собирился. Он перерос дом, потом вяз, который рос рядом, и голос зайца уже гремел:

– И в-вот й-я т-тебя н-нашёл!

Гром и молния

Заяц поднял лапу, чтобы раздавить Касю, но в этот самый момент явился Гуляй, такой же огромный, как заяц, и такой же злой.

Никогда ещё Кася не была так благодарна старшему товарищу. И никогда ещё он её так не пугал.

– Попался, малахай облезлый! – гавкнул он.

– Д-дохлый щ-щенок! – ответил заяц.

– Кто щенок?! – ощерился Гуляй.

– Т-ты!

Они были уже выше леса, и головы их задевали за тучу.

– Разорву!

– П-попробуй!

Они бросились друг на друга почти одновременно, а когда столкнулись, раздался оглушительный взрыв, от которого подпрыгнула земля, и всё вокруг озарилось ослепительно белым светом. А потом стало темно и тихо.

Домой

Кася очнулась в луже. Сверху лился проливной дождь. Она встала, отряхнулась, огляделась по сторонам.

Фонарь продолжал гореть. Пахомыч хвастался, что ещё дед его эту лампочку вкрутил, и до сих пор горит.

В свете фонаря Кася увидела зайцев, раскиданных вокруг. Многие лежали в лужах, и неясно было – живые они, или утонули.

И какой-то заяц пытался их оттуда вытащить.

Увидев, что Кася встала, он сказал:

– П-помоги.

Кася хотела спросить, что случилось, что он стал таким же, как все. Но рядом что-то хлопнуло, и она опустила морду в лужу. Там она зацепила чьё-то ухо и достала зайчонка.

Некоторое время Кася и заяц вытаскивали бесчувственные тела из воды и складывали на возвышении у дома. Спасённые зайцы приходили в себя и приходили на помощь. А потом оказалось, что спасли всех.

– Д-дорогу домой найдёшь?

– Ты почему такой маленький?

– Н-не знаю. Так найдёшь?

Кася подумала, что он не только маленьким стал, но и заикаться почти перестал.

– Найду.

– Только сюда больше не приходи.

– Больно надо.

– Я серьёзно.

– Я тоже. Я на пенсии. Да у нас и ружья нет.

И Кася побежала домой.

Дома

Дома все, кроме котиньки, уже спали. Дмитрий Олегович в кресле, Польша – на диване, там, где их сморило мучительное ожидание Каси. И только котинька продолжала сидеть за компьютером.

Когда Кася взошла на террасу, дождь уже закончился. Она опёрлась передними лапами в подоконник и позвала:

– Котинька! Котинька!

Котинька оглянулась, вскочила с места и растолкала Дмитрия Олеговича и Польшу. Все вместе они выбежали на террасу.

– Кася, собака ты сутулая! На кого ты похожа?! – воскликнула Ирина Валерьевна.

– На балалайку, – ответила Кася. – Колбасы и спать.

Мириам ВАН ХЕЕ

ИЗ КНИГ «ТАМ ТОЖЕ ПАДАЕТ СВЕТ» И «ГДЕ НАС ЖДАЛИ»

Перевод с нидерландского, вступление Анастасии Андреевой

Мириам Ван хее (1952 г. р., Гент) – фламандская поэтесса, славист, переводчик. Преподавала русский язык и литературу в университете Антверпена. Переводила стихи русских поэтов: Ахматовой, Мандельштама, Бродского, Хлебникова и др. Лауреат литературных премий. Автор 14 поэтических сборников. Стихи переведены на многие языки: африкаанс, болгарский, немецкий, английский, французский, венгерский, итальянский, литовский, польский, испанский, шведский. В России ее стихи в переводах Дмитрия Сильвестрова публиковались в «Иностранной литературе» и в 2009 году в московском издательстве «Летний сад» был издан поэтический сборник «Другая страна. Стихотворения».

Предлагаемые вашему вниманию стихи взяты из книг «Там тоже падает свет» (*Ook daar valt het licht. Gedichten, Amsterdam: De Bezige Bij, 2014*) и «Где нас ждали» (*Als werden wij ergens ontboden, Amsterdam: De Bezige Bij, 2018*) .

Мириам Ван хее много путешествует по миру, и ее поэтические книги можно назвать книгами странствий. Странствий души. Наблюдая за миром пристальным взглядом художника, улавливающим детали и оттенки происходящего, она наблюдает и за своим внутренним миром. Проживает внешнее событие как внутреннее и передает это в своих стихах. Это поэзия созерцания, позволяющего ей говорить о важном, задаваться вечными вопросами, не называя их, не говоря о них напрямую, но передавая конкретное переживание, воспоминание, связанное с конкретным, увиденным однажды пейзажем, открывшимся взору видом. Читая ее стихотворение, мы попадаем в то пространство, которое это стихотворение в себя вобрало, заключило, как окно заключает в себя деревья, небо, птиц и взгляд того, кто это видит, соединяя внутренний и внешний мир воедино.

«Мои стихи рождаются из реальных событий моей жизни, которые мне не до конца ясны, в которых скрыт философский смысл, которые будят воспоминания, ассоциация. Часто написание стихотворения для меня это глубокое, глубокое размышление» (Мириам Ван хее).

Весна в Кясму¹

I

мы за столом, вдвоем, она ломает хлеб
и говорит: пока ты не поешь, нельзя
покинуть дом, ведь если не поешь, то птицы
налетят и душу украдут, и я смотрю

¹Кясму (эст. Käsnu) – деревня на севере Эстонии.

на хлеб, который им не даст меня души
лишить, только душа сама – одна из птиц,
и я смотрю в окно, я вижу, как на фоне
песочно-бежевой стены возносятся сосны

кроны до обморочной синевы, я вижу
зябликов, ворон и трясогузок, – скажите,
кто же вы такие в самом деле, – но им

не до меня, они так заняты постройкой
гнезд, таскают веточки и листья до самой
темноты, они живут во имя красоты

2

нежно качаются сосны, высокие
окна дают чудодейственный свет,
нынче пасха и песнь слишком долго
поют богомолцы, в счастье

себя обрета и друг друга, вчера
ты лежала недвижно на пляже, в куртке
и шапке, с нагретой солнцем спиной,
казалось, были слышны голоса,

будто взрослые, тащившие сумки
с едой, увещевали детей, казалось,
было слышно, как хлопают дверцы
машин и, да, поезда, или всего лишь

ветер в деревьях, птицы над морем,
говоренье воды, твой урок, как потом
стало ясно, подготовка к пути, чтобы
знать языки, дорогу найти, домой

3

сейчас, так сейчас, здесь, так здесь, в то время
как ветер сменил направление и море
вдруг зазвучало северным морем, стало
темным, суровым, упрямым, ты думала, сейчас,
так сейчас, ты хотела что-то сказать, было
недостижимо, только имя, воспоминание

ласковым зверем легло возле ног, держа тебя
в заточении, сейчас, думала ты, сейчас,
телефонными проводами нити света

сквозь сосны наполняли дом голосами, но
никто не звонил, сообщений не оставлял, там
на террасе, снегирь лежал, ты отнесла его

в лес, здесь, ты решила, здесь

4

от долгих странствий ты начинаешь
видеть сходство одних стран с другими,
здесь лежат валуны с ледниковой эпохи,
у этих есть имя, здесь быстрее плывут
облака и вода меняет цвет неба,
к вечеру гуси слетаются на поля,

набираются сил, выбирают маршрут
и время, разделить бы волнение птиц, их
сплоченность нашим бы двум одиночествам,
знание их, без надежд и сомнений, о том,
что, как только утром ветер тайком, словно зверь,
к краю леса выйдет, землю пора покинуть

5

линде д.

слушай, даже если императивы сейчас
неуместны, мы должны быть с тобой осторожны,
но все же подойди, тебе сил это море
придаст, оно, как и ты, еще молодо, словно
тысячей звезд усеяна легкая зыбь, оно
сладковато горчит, оно нежно, прохладно,
да, здесь тебе нужно побыть, можешь забраться
на высокий валун, ты бесстрашна, мне легко
говорить, отпусти усталость, пусть она канет
как в воду, и, без всяких императивов, просто
слушай, как мягко в заливе плещутся волны

6

она подарила розовый камешек,
нагретый в кармане пальто, и ты
еще долго чувствовала ее тепло,
и, когда звонила, глядя сквозь мокрый снег
на отраженье в окне красных фар
огней, ты думала только о ней,
и когда слышала музыку или шорох
дворников по стеклу, и когда

впервые увидела совсем близко
гренадёрку в лесу, которая будто
ждала, чтобы, прыгая с ветки на ветку,
показать тебе путь

пирамида солнца (теотиуакан)

видимо, воздух разрежён был сильнее
и ветер прохладней, полномочия солнца
были иными, но и тогда сияло оно,
как и нынче, отстраненно, жестоко,

когда время настало, ты была готова,
высота звала, и подъем был легче,
чем спуск, притяжение земли будто бы
отпускало, распахнулся широкий

обзор, своего рода единство, дома́ и
дороги в пыли, по которым шли люди,
и ты видела дальше, тебе открывалось
пространство, города другие и другие

эпохи, и сердце учащенно забилося,
о любви подумалось тщетно, есть выбор:
утешение или свобода, и глупо
хотелось во всем разобраться, и тогда

ты подумала снова о птицах, они
тебя восхищали всегда, вот так
в мгновение последнее крылья
расправить, наведаться в небо

электричка до/от волховстроя

проносится лес лентой зеленой с вкраплением
сирени, березок стволы словно ткань занавесок,
это как сон, пассажиры проходят в вагон,
везут помидоров рассаду, саженцы яблонь,

а в воскресенье под вечер, набив заготовками
сумки и пот утирая, едут обратно домой,
длится день световой, повезет, если место займешь
у окна, там дышится легче, божья коровка

вверх ползет по стеклу, но, когда электричка
рывком тормозит, она падает и начинает
восхождение снова, а мы продолжаем наш путь
внутри механизма, который со вздохом и стоном

приходит в движение, мы с веселой беспечностью
возвращаемся в город, где целыми днями в метро
пахнет свежим укропом и кислыми щами,
в метрополию, о которой успели забыть

когда придет время

хорошо бы, когда придет время
об этом мечтать, на рассвете выйти
из дома, отправиться в лес и
отыскать заветное место,

где раньше часто бывали
и со скалы за бухтой реки
наблюдали, там лесной зверь
мог к самой воде подойти,

только бы не мешали теперь,
когда придет время и позади
оставим тревоги, станем свободны,
сможем расслышать рокот реки,

мы тогда уже что-то знали о мире
и в школе после уроков остались,
ждали, когда пойдет снег,
когда придет поезд, мы в горах

заблудились, нас отыскиали, значит,
когда придет время, нам лучше
выбрать еще не пройденный путь,
всегда встретишь то, что знакомо,

сосны, тропинки, все, что любили

schoolkaai¹

это самый долгий, самый теплый сезон,
небо царит над деревьями до самой ночи,
едешь на велосипеде вдоль канала, от жары
спасаясь, и вспоминаешь, как стала взрослой,
как легко отказалась от веры, только что в итоге
это далó, в реальности любая постройка

¹Название улицы в Генте.

выглядит иначе, чем на макете, ребенок
хлопает дверью, бежит к соседям, и с этого
начинается все, доезжаешь до перекрестка,
над ним идут поезда, под железнодорожным
мостом машины, как колонна слепых насекомых,
а когда вернешься домой, откроешь окна

навстречу гомону города, там ведутся работы
в порту, ты теперь слышишь меньше птиц,
чем раньше, ты теперь не можешь уснуть, пока
не начнешь повторять про себя слова, чтобы их
не забыть, укрепления, ты тогда говоришь,
укрепления, непроходимость, полумгла

отсюда твоя дорога начало брала

луна

как празднующая страна,
где для нас больше не было места,
перед нами всходила над лесом,
как на русской картине, луна,

можно было на ней разглядеть
части света: африка, австралия,
даже италия, только ее сапожок
развевался, как полы пальто

того, кто спешит, или как флаг,
будто дули ветра, там, на луне,
была осень, шел дождь, было все,
что однажды прошло, как и здесь

Михаил БАРУ

ВЗЯТЬ, К ПРИМЕРУ, ДЯДЮ ВАНЮ...

По стопам Пришвина и Бианки

Весна. Суматоха и суета в голове. Сколько надежд прорастает в самых заброшенных и самых пыльных ее уголках... Больше всего глупых, безрассудных, беспечных, нелепых и несбыточных. Они все слабые, эти надежды, неприспособленные к жизни, у них авитаминоз и задержки в развитии. Они умирают от простого сквозняка, от насморка, от зубной боли, от косого взгляда, от случайно оброненного на них слова, но пока не умерли – изволь о них заботиться, изволь их подкармливать обещаниями и посулами. Некоторым и вовсе нужен алкоголь в качестве подкормки – одним коньяк, другим полусладкое шампанское, а третьим подавай водку с пивом. Они потом, при высадке в грунт, все равно загнуты или их поест какая-нибудь крашенная пергидролью тля, но сколько до этого еще придется выпить... Не говоря о после.

Поздней осенью в сумерках небо съезживается до размеров такой маленькой и такой ветхой овчинки, что его может разорвать в клочья своим карканьем одна-единственная ворона. В окно видно, как из дыры, проделанной уличным фонарем в тумане, лезут и лезут, точно пружины из разорванного матраса, мокрые черные ветки. В доме все спят. Потом, ближе к полуночи, проснутся и станут ходить опухшие от вечернего сна, хлопать на кухне дверью холодильника, не просыпаясь есть котлеты, пить остывший чай, потом снова улягутся и еще долго будут во сне причмокивать и цыкать зубами...

Смотришь на уже чуть подвяленные, кое-где покрытые ледяной глазурью ягоды рябины, на почерневшие от первых заморозков резные листики, дрожащие на ветру, и думаешь о том, что зима будет холодной, что вот это... ну, то, что было и не прошло... лучше бы его и не было, но... без него было бы еще хуже, что все равно ничего не вернуть, а если и вернуть, то что с ним делать, что ничего уже не попишешь, а если и попишешь, то не отправишь, а если отправишь, то потеряют на почте или вернут нераспечатанным, о том, что голова болит даже когда ветер не дует, что ветер внутри этой самой головы ледяной и колючий, а раньше был теплый и кружил голову, а теперь голова кружится и без него так, что только держись, чтобы не упасть и не сломать себе что-нибудь, о том, что все это уже давно описал Есенин... веселого и беззаботного не думаешь никогда. Про то, что все образуется, что наладится, склеится, срастется так, что и швов не останется, разбогатеется, простится, забудется, повеселеет... нет, про это почему-то не думается. Бог знает почему. Другое дело рябиновка. Смотришь на нее, смотришь... да и выпьешь.

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

Предзимье в городе еще хуже зимы. Проснешься, когда только начинает светать, и чувствуешь себя молекулой, которую насильно заставляют участвовать в броуновском движении. Тепла никакого, на улице мороз, а движение им подавай. В соседних домах уже и окна зажглись, кому-то уже стучат в дверь туалета, сообщая, что он здесь не один – есть еще жена, дети, мама, кошка, наконец, лоток которой... у кого-то шипит яичница на сковороде, кто-то включил телевизор, чтобы посмотреть зачерствевшие вчерашние новости, кто-то уже успел выронить из сонных негнущихся рук хлеб с маслом на выстиранные вчера джинсы, кто-то еще спит с открытыми глазами и думает, зачем от мирных нег и дружбы простодушной... И никто при этом поступательные, вращательные и толкательные движения молекул жены, детей, мамы и кошки не отменял, никто не отменял столкновения, соударения, синяки, обиды, слезы...

Тут хорошо бы как-то красиво свернуть на то, что придет зима, что зимой хорошо сидеть и пить глинтвейн или капучино в каком-нибудь уютном кафе, есть пирожное картошка, что скоро елка, новый год, шампанское, подарки, что снег пушистый, что жизнь в теплых странах однообразна и скучна, что водка там теплая, что те, кто каждый день не ходят на работу, лезут на стены от безделья, что мороз бодрит, а если не свернуть, то через несколько дней упруешься в полгода стужи, снега, противогололедного реагента, насыпанного старательными дворниками даже в карманы зазевавшимся прохожим, черной слякоти под ногами, в промерзшие до самых кончиков усов троллейбусы, в хронический бронхит, хронический недосып и хроническое безденежье, в бесчисленные и бессмысленные подарки каким-то малознакомым людям, о которых известно только то, что они в прошлом году подарили жене набор кухонных разделочных досок, в осыпавшуюся к концу января елку, в холодную чебуречную, в теплую водку, слипшиеся пельмени и растворимый кофе, в тепловую смерть твоей вселенной, которая обычно наступает в первых числах марта перед тем, как снег так и не начнет таять.

Осеннее утро. Сквозь барабанную дробь дождя по подоконнику, сквозь сон, сквозь запах кофе прорывается как гвоздь сквозь барабанную кожу истошный крик ребенка, которого тащат мимо дома в детский сад. И сразу, точно не было этих пятидесяти пяти лет, вспомнился рыбий жир, отвратительная жидкая манная каша с комками, стихи когда был Ленин маленький с кудрявой головой, новая цигейковая шуба Маринки... Господи, как же я мог забыть... ведь я на ней обещал жениться! Или на ее сестре Нинке... Или на них обоих – ведь они были близнецами...

Летние вечера в деревне бывают ужас какими долгими, скучными и душными. Смотреть на то, как солнце садится за холмы на том берегу ручья, как оно золотит края облаков, как отставший теленок семенит за возвращающимся стадом, как пастух... вчера уже смотрели. И позавчера. Разговаривать о поливе огурцов... вчера уже говорили, говорили, а позавчера во сне чуть не... От выпитого чая булькает где-то в ухе. Губы, сколько их ни облизывай, сладкие от варенья.

Совсем другое дело – зимний вечер. Сядешь на старый скрипучий детский стульчик перед печкой и не заметишь, как просидишь до самой полуночи, разглядывая отблески пламени и бегущие по давно выцветшим обоям тени. Чего только в этих отблесках и тенях не увидишь – и летний вечер, и солнце, садающееся за холмы на том берегу ручья, и теленка, и пастуха, и даже губу закусишь, вспоминая, как прошлым летом слизывал варенье... а они все равно сладкие и улыбаются еле заметно то одним уголком, то другим.

Ночью подморозило, и к утру за околицей сгустился такой туман, что в нем образовались белые дыры, в которых все точно так же, как и в черных, но наоборот. Подойдешь к такой, а из-за горизонта событий то выбегут и бросятся врассыпную заиндевелившие кусты пижмы, то вылетит

ворона, то проковыляет почерневший от времени телеграфный столб с одной расколотой фарфоровой чашечкой, то гордо прошагают мимо усыпанные снегом сосны, а то выплывет старая сельская церковь, кренясь на полуразрушенный бок, который все никак не заложат кирпичом – то денег нет на кирпич, то деньги есть, но мало, то денег в самый раз и кирпич куплен, но некому класть, то есть кому, но уже купленного кирпича след простыл. Сами же купили, сами аккуратно сложили, даже толем прикрыли, и еще вчера он был, а ночью... подморозило, и к утру за околицей стусился такой туман, что в нем образовались белые дыры.

По пустынной улице едет машина с громкоговорителем и призывает нас не выходить из дома без нужды, соблюдать социальную дистанцию, не заходить за черту в магазинах и на почте, носить маски... Правильно все машина говорит, но почему-то такое ощущение, что не договаривает про немедленную сдачу оружия, про выдачу евреев и комиссаров, оппозиционеров, либералов, иностранных агентов, про укрывателей, про... Конечно, машина этого никогда не скажет, но на верняка думает.

Дождь кончился. На концах травинки блестят капли по четверти и даже по половине карата. Суматошно летающие над незабудками молочно-белые замшевые и полупрозрачные мотыльки стали еще прозрачнее и то растворяются в воздухе без остатка, то вдруг выпархивают из него целыми роями. Незабудки голубеют еще пронзительнее, еще невиннее – точно глаза у влюбленных до гробовой доски детей, когда они безотрывно смотрят друг на друга и верят, что только поцелуются и больше ни... Из зарослей травы выглядывают крошечные белые пятилепестковые полевые фиалки с цветами не больше ногтя мизинца. На самом большом лепестке желтое пятно размером в две булавочные головки, а на этом пятне восемь черных полосок длиной по два или по три миллиметра каждая, а по одной из полосок ползет перепачканное в фиалковой пыльце совсем уж микроскопическое бесцветное насекомое без всякого названия с прозрачными лапками и крыльями, при взгляде на которое почему-то всплывает в памяти строчка из Брюсова «быть может эти электроны миры, где пять материков»... На самом деле никакого Брюсова, конечно, не вспоминаешь – просто прошепчешь про себя «у Бога всего много» и пойдешь себе дальше по тропинке через поле, вслед за одуванчиками, которые поднимаются по пологому склону холма прямо к солнцу.

Мне всегда нравились маленькие комнаты. Не люблю больших. Мне там неуютно. Всегда стремлюсь забиться в какой-нибудь угол. На даче мой кабинет устроен в комнате площадью в четыре квадратных метра или около того. В Москве у меня есть большой письменный стол и большой монитор, но я сижу на лоджии, где у меня маленький угол с маленьким столиком. Видимо, мои предки были хоббитами (видимо, и у Толкиена были такие же отклонения). Мне еще и мансарды нравятся с их окнами в потолках, но больше всего люблю я парходные каюты, поездные купе и дома на колесах. В них мне уютнее всего. Все проплывает, проезжает и пролетает мимо, а я сижу у окошка (тоже небольшого и круглого, как иллюминатор в каюте) и пью чай. Я даже не знаю, что мне нравится больше – сама каюта или возможность проезжать мимо. Наверное, этому есть какое-то научное объяснение. Дети, кстати, у меня нормальные. Их не тянет в маленькие помещения. Что-то люди в белых халатах по этому поводу говорят, но что...

Идешь по полю, а в нем что только не цветет – и горицвет кукушкин, похожий своими нежно-розовыми продолговатыми лепестками на растрепанные девичьи мечты после их столкновения с действительностью, и куриная слепота – такая желтая, что от нее слепнут не только

куры, но и петухи, и голубые колокольчики, от которых зной звенит еще сильнее, и полевая гвоздика, в просторечии именуемая часиками, и... взгляд приковывает почему-то высохший, скрюченный прошлогодний борщевик в рост человека. Стоишь и смотришь как замороженный на то, как его ветром наклоняет то в одну, то в другую сторону, как шевелятся хрупкие мертвые серые ветви – того и гляди сломаются. Кроншнеп летает над болотом на дальнем краю поля и кричит, кричит так пронзительно, точно его вот-вот... или тебя, и он это предчувствует, но сказать не умеет.

Возможен ли русский пейзаж без церкви? Без маленькой и приветливой, аккуратно побеленной, со свежеевыкрашенным зеленым или голубым куполом, или большой краснокирпичной и сумрачной с полуразрушенной колокольней, с приходом из пяти или шести стариков и старушек, с многодетным, быстро хмелеющим от одной рюмки деревенского самогона батюшкой в потертой рясе, с детишками, поющими на клиросе «иже херувими»... Возможен, конечно. Если Бога нет, то все возможно.

...вдруг ромашки – множество маленьких, еще зажмуренных, с ресничками в кулачок, по которым не то что будущее, даже прошлое угадать нельзя, и десяток таких огромных, размером с глазунью, что начинаешь обрывать... хотя какой смысл обрывать, если все это было две... нет, три жизни назад и уже поросло таким непроходимым и дремучим быльем, сквозь которое не видно почти ничего, кроме пыльной трамвайной остановки с черной надписью «Игорек – лох» на железном боку, маленькой рыжей с подпалинами таксы у нее подмышкой и половинки зеленого яблока, которую она почему-то сунула тебе в руку, когда запрыгнула вместе с собакой на трамвайную подножку и уехала далеко-далеко в будущее, где у нее теперь внук-вундеркинд, играющий на скрипке Моцарта, квартира то ли в Болгарии, то ли в Черногории и левая коленка, ноющая к непогоде... нет, это у нее левое плечо, а у тебя правая коленка, след от помады, оставшийся на яблоке и никак не проходящее ощущение того, что ты как был Игорьком, так и...

Полянка в сосновом лесу маленькая – поставить на ней складной стул, повесить на сук рюкзака, привалить к стволу дерева велосипед, достать термос с чаем, приставить его к ножке стула и... все. Есть еще место для небольшой, размером с почтовый конверт, лужицы, оставшейся после вчерашнего дождя, десятка упавших шишек, трех ягод земляники, ветки колокольчиков цвета остывших воздушных поцелуев, гудения стрекозы, тонкого, как первая струна на гитаре, щебета какой-то желтогрудой птички, выдержанного, как коньяк скрипа старой сосны и... точно все. И еще маленький лоскут голубого неба там, в верхушках бесконечных сосен. Если смотреть сверху, то все это напоминает детские секретники в ямках, накрытых осколком стекла, которые в моем далеком детстве девочки составляли из сорванных цветов, конфетных фантиков, серебряной фольги и целлулоидных пупсов, а мальчишки разоряли. Так и хочется крикнуть вверх:

- Господи, ну протри ты очки и посмотри на этот секретик! Видишь, посреди всей этой Твоей красоты... Нет, Господи, не мышь – она просто пробежала по своим мышиным делам... и не стрекоза – эта жука поймала и жрет так, что только хруст его хитиновых надкрыльев стоит... и не птичка – она так надрывно кричит потому, что ее не слушаются птенцы... и не паутина – она просто блестит на солнце... Нет, Господи, и не масленок. Да что ты – молодых маслят, что ли, не видел? Самый обычный масленок, с сосновой иголкой, прилипшей к шляпке и еще один с муравьем, и еще три точно таких же – маленьких, крепких, с лоснящимися... Подожди, Господи, я их сейчас соберу. Сейчас, сейчас... Я только хотел сказать Тебе, что это я сижу на складном стульчике и пью чай с коньяком. Вернее, пил, пока не увидел...

Вечером лил проливной дождь, лужи выходили из берегов, вода в них кипела и дымилась, луна побледнела, покрывалась пятнами и из последних сил желтела сквозь мрачные черные тучи, а собака залезла в сени, свернувшись клубком на половике, о который вытирают ноги, и делала вид, что ей страшно. На веранде протекала крыша, и капли с деревянным стуком падали в пластмассовое детское корыто. Варили абрикосовое варенье, и его запах растекался по всему дому. Тебя посадили в угол кухни снимать кожуцу с обжаренного миндаля. Миндаль перед этим ошпарили кипятком и велили голыми пальцами снимать с него кожуцу. Ты снимал, снимал, тебе надоело, ты задремал и сквозь дрему кричал до хрипоты, что в гробу видал жареный миндаль, а очищенный даже в двух гробах, и абрикосовое варенье, и все это невыносимое мещанство и чревоугодие – варить десятки банок абрикосового варенья на зиму, да еще и с миндалем, да еще и со снятой кожурой, вместо которой ты мог бы что-нибудь изобрести, написать роман или читать стихи Каутулла и даже начал «Пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик...», в том смысле, что всхрапнул и тонко присвистнул носом.

Утром проснулся, а закрытые и чуть теплые банки с вареньем стоят на столе. Крышки у них немного втянуты внутрь. Солнечные лучи просвечивают банки насквозь. Они янтарные, золотистые, лимонные, шафранные, немного канареечные и на просвет выглядят так, как выглядят мечты выпускниц средней школы о будущем, которое их ожидает за воротами школьного двора, или как мечты молодоженов перед первой свадьбой, или как память о тех мечтах – сладкая и немного горькая, как миндаль, который ты очищал вчера от кожуцы.

...и уже перед тем, как лечь спать в половине третьего утра, случайно глянешь в окно и увидишь там серые ветки рябины, светло-серое небо в темно-синих облаках, бледные как смерть звезды в прорехах между облаками, полоску тумана, мало-помалу уползающего в овраг, заросли бузины, ивы, растущие по берегам ручья, бескрайнее поле на другой стороне оврага и на самом краю этого поля, где-то уже на границе с землями антиподов, мерцает из последних сил тусклый желто-красный огонек. Как представишь лампочку под жестяным абажуром на проводе, которая качается на ветру и отбрасывает длинные черные тени на какой-нибудь покосившийся дом, на сарай, на давно опустевшую и заросшую крапивой собачью будку, на всю твою жизнь, как всей кожей почувствуешь тонкий железный скулеж ржавого крюка, на котором лампочка подвешена... такая возьмет тоска, такая охватит безнадега, что всю ночь будут сниться бескрайнее серое поле, ивы и кусты бузины, с которыми ты идешь и идешь по нему по колено в тумане, по тлеющим звездам, по еще теплым петляющим следам только что прошедшей здесь жизни, и не только никак не можешь ее догнать, но даже и понять в какую сторону она ушла.

Еще громыхает где-то далеко, за тридевять земель, еще воздух не сгустился и не отяжелел так, что придется им не дышать, а пить, еще знойно звенят насекомые, еще поют свои рассыпчатые бисерные песни жаворонки, еще тучи только начинают наливаться синими, фиолетовыми и черными чернилами, а маргаритки уже собирают свои бело-розовые реснички в крохотные, как у новорожденных, кулачки, зажимаются и делают всем темно.

Жарко. На веранде никого нет, кроме собаки, которая спит в старом продавленном кресле, придавив лапой замусоленного резинового ежика в круглой малиновой шляпе. По шляпе ежика ползет муравей. На столе, рядом с которым стоит кресло, лежат только что сорванные абрикосы, две сливы, старая газета с разгаданным кроссвордом и огрызок простого карандаша. Собака вздрагивает во сне и шевелит лапой ежика. Муравей, ползущий по малиновой шляпе ежика, замирает, но через несколько секунд снова ползет. Ветра нет, но газета и полосатая зеленая маркиза

шевелиются. Время не идет, но уже час или полтора колеблется возле двенадцати часов. Собака в своем бесконечном сне бежит и бежит за ежиком. Ежик бесконечно убегает и убегает. Упорный муравей ползет и ползет по экватору шляпы ежика. Жизнь... никуда не бежит. Она набегалась, забралась в кресло и дрыхнет без задних ног. Торопиться ей некуда – до обеда еще часа два, а то и все три. Если конечно время перестанет колебаться, тронется с места и не мешкая пойдет к вечеру.

В самом конце июля или в начале августа, когда никакой осенью и не пахнет еще, выйдешь вечером в поле, посмотришь, как ветер разметывает по небу остывший серый пепел облаков, как сидя на ветке репейника клюет носом засыпающий жаворонок, которому завтра ни свет ни заря вставать, как мокрая и тяжелая от упавшей холодной росы луна медленно катится по краю поля, пытаясь взобраться повыше на холм, чтобы попробовать с него... и внутри что-то еле слышно, но очень настойчиво запоет: «Умереть, уснуть. Уснуть! И видеть сны...» быть может... это кузнечики снаружи... Точно кузнечики. И никто не может велеть им перестать. Даже если очень захочет.

...и уже перед сном, который черт знает где шляется, заставляя себя ждать, от скуки начинаешь аккуратно разбирать длинный июльский день на отдельные части – сначала на крупные вроде солнца, грозы, мычания коров, возвращающихся в деревню на вечернюю дойку, ругани пастуха, облаков, уплывающих на закате за горизонт, огромного букета флоксов в глазурированном глиняном кувшине, бутылки сладкого испанского хереса «Дон Хименес» и неподъемного арбуза; потом на части поменьше – малосольные огурцы, рюмку, полную тягучего сладкого испанского хереса «Дон Хименес», потрепанный том «Приключений Оливера Твиста»; потом на совсем маленькие – двух лягушат неизвестно как попавших в бочку с дождевой водой, половину рюмки испанского хереса «Дон Хименес», горсть черешни, заросли маргариток в поле, соцветия пижмы и лугового крестовника у проселочной дороги и, наконец, на совсем микроскопические – черную шестиногую с прозрачными крыльями запятую, сидящую на тычинках цветка крестовника, две темно-вишневые капли испанского хереса «Дон Хименес» на белой футболке и эфемерных, ростом в два-три слова Оливера Твиста, Феджина, Билла Сайкса и Нэнси. После того как все разобрано и разложено по кучкам, начинаешь собирать все обратно, но получается плохо – лягушата и черная шестиногая запятая с прозрачными крылышками оказываются в рюмке с хересом, коровы ругаются так, что флоксы в кувшине вянут, откуда-то выбегает мышь с преогромными усами, которой не было в списке частей, и начинает с оглушительным хрустом поедать огурцы и запивать их хересом с лягушатами, а черный шестиногий с прозрачными крыльями пастух жалобно мычит и вместе с Оливером Твистом, Феджином, Биллом Сайксом и Нэнси уплывает за горизонт... Тем временем сон, постояв рядом, собирается и уходит. Ты просыпаешься и понимаешь, что скоро осень. За окнами август и от дождя потемнели кусты.

Ближе к вечеру решил пойти по стопам Пришвина и Бианки. Уложил в рюкзак фотоаппарат, планшет, термос с крепким чаем, черного хлеба с салом, телефон в котором есть программа, определяющая растения, заправил в носки джинсы, чтобы носки при ходьбе в резиновых сапогах не сползали, повесил на плечо складной брезентовый стул в чехле и пошел в поле смотреть на кладовую солнца и описывать закат. У нас здесь ни еланей, ни палестинок. Болото в округе всего одно, маленькое, топкие места, которые елани, в нем по колено, не глубже, да и идти до этого болота далеко. Угваздаться, конечно, можно, но клюквы там нет. Да и какая в начале августа клюква. Кулики водятся, бекасы. Ну, то есть должны быть, раз болото, а там кто их знает. Время от времени кто-то над камышами летает и кричит пронзительным нечеловеческим голосом как та коза, а кто на самом деле... Волков тоже нет. Лет десять назад, зимой, я видел в поле лису – серую, худую и страшно облезлую. Точно напала на нее в лесу дикая моль и поела большую часть меха. Увидела

лиса меня и растворилась в воздухе. Зато мышей много – зимой весь снег на поле исчерчен полосками тонких мышиных хвостов.

Заброшенная дорога, по которой я пошел, идет от деревни через поле к лесу. Ну, как заброшенная – по ней зимой ездят богатые дачники на гусеничных снегоходах, а летом катаются на квадроциклах, но все это редко, да и богатых дачников у нас в деревне раз-два и обчелся. Раньше ходили местные в лес за грибами и ягодами, но теперь перестали – кончились в ближнем лесу грибы и ягоды. Дорога почти вся заросла бурьяном, сурепкой, репейником, пижмой, полевыми маргаритками, пустыми пивными и водочными бутылками, полуистлевшими ботинками без шнурков, заржавевшими вконец запчастями от тракторов и всем тем, чем у нас в средней полосе зарастают заброшенные проселки. Отошел я по ней километра на три, забрался на холм, разложил стул, уселся на него, достал планшет и стал, пока солнце еще не зашло, описывать все, что вижу вокруг – тонкие резные лепестки полевых маргариток, томительные песни кузнечиков, муравьев, изо всех сил спешащих домой в свои муравейники, розовые цветы иван-чая с белыми завитками пестиков, попрыгуний-стрекоз, все еще поющих вместо того, чтобы готовиться к зиме, репейники с фиолетовыми игольчатыми цветами, торчащие то тут, то там исполинские борщевики, коричневых лягушат, скачущих в мокрой траве, желтые, с прозеленью, соцветия пижмы, божьих коровок, замеревших на кончиках травинок, воздух, который перед закатом становится холоднее, влажнее и наполняется не то чтобы тоской, но сожалением Бог знает о чем и... чаем с хлебом и салом.

Деревня вроде не очень близко, но от нее через совершенно пустое поле долетает каждый чих. Какой-то мужик накопил гвоздей и давай их заколачивать как ненормальный. Десять минут колотит, двадцать минут колотит, час колотит. Все метафоры мне своим молотком, гад, отбил. Дети орут и хохочут, у кого-то визжит циркулярка... Между тем солнце садится, кузнечики умолкают, стрижи улетают в свои норки, розовые облака краснеют, багровеют, и посреди всего это я сижу, изображая Пришвина и Бианки... Собаки в деревне лают так, как будто медведя пьяного тракториста обложили в кабине трактора и ждут его жены с рогатиной. Маргаритки закрываются на ночь. Комары сатанеют. Жалко нет колокольного звона – он бы сейчас очень был к месту. Церковь есть, но полуразрушенная. На колокольне не то что колоколов – даже и креста нет, но какую-то часть церкви местные жители смогли обустроить, и в ней по церковным праздникам идут службы. Прихожан – три с половиной местных старушки и несколько дачников. Приезжает к ним на «буханке» служить из соседней деревни батюшка. Большой, надо сказать, оригинал. Рассказывает в своих проповедях, что в каждой церкви и мечети у входа под полом зарыта Библия, чтобы, значит, мусульмане и иудеи ее попирали ногами. Старушки верят, а дачники морщатся, но на службы ходят. Не жаловаться же в самом деле на него из-за этого. Куличи и яйца на Пасху он освящает исправно. Да и кому жаловаться-то? Иудеев и мусульман здесь отродясь не было. Был, правда, пастух из таджиков, которого деревенские наняли, отчаявшись своего увидеть трезвым. Так его коровы с овцами не понимали. Он матом не умел ругаться. Ругался по-своему, но кто коровам переводить-то будет? Вот они и забредали куда ни попадя. Кое-как лето проработал и уехал. Говорят, что одна женщина после его отъезда не то чтобы скучала, а... Ну, да не об ней речь. Теперь пастух опять свой. Не тот, который раньше, а другой такой же, и говорит на языке, понятном скотине.

Прошло полчаса или больше. Солнце стало багровым и зашло наполовину за горизонт. От пронзительного стрекотанья кузнечиков засвербело в носу. Все муравьи давно сидели по домам, грызли лапки сушеных кузнечиков и пили сладкий сироп, надоенный щекотанием тлей. Облака, там, где их раздувал ветер, еще тлели, а там, где нет – превратились в серый с белым пепел. По направлению к лесу пролетели громко каркая две вороны. Чай и хлеб с салом кончились. Настоящий Пришвин закурил бы сейчас трубку, набитую крепким деревенским самосадом, но я бросил курить лет десять назад. Настоящий Бианки сейчас достал бы из кармана чекушку, но я... Если бы у меня было ружье, то я сейчас с удовольствием промахнулся бы по какому-нибудь зайцу или кабану, но ни ружья, ни трубки, ни чекушки у меня с собой не было. Даже удочек с собой не взял,

чтобы потом рассказывать, какая шука сорвалась с крючка. Я посмотрел вокруг – все было описано. Неописанными остались только заросли кашки, какие-то серые метелки и зеленые зонтики, которых не определяла даже программа по определению растений в телефоне, шум машин на шоссе за холмами, запах репеллента от комаров и смс, в котором мне предлагалось немедленно, по его получении, явиться к ужину. Я встал, убил на шее комара, сложил стул, подтянул носки в сапогах и пошел домой.

Напишешь «Старый пруд», и будет начало стихотворения. Напишешь «Пруд старый», и будет проза, начало августа, маленький пруд, размером с три или даже четыре суповых тарелки, заросший таким толстым ковром ряски, что лягушата по нему скачут аки посуху, стрекоза, висящая над одним, а через мгновение над другим местом, густая темно-зеленая бархатная тень в пятнах солнечных зайчиков и только неизвестно откуда появившиеся желтые березовые листья, при том что вокруг все зеленое, да беззаботно порхающие разноцветные бабочки, начинающие мало-помалу желтеть, подолгу сидеть сложа крылья и без всякой цели разворачивать и сворачивать свои хоботки, как бы желая что-то сказать, но что...

Напишешь «осенний дождь», и не знаешь про что писать дальше – то ли про лужи с плавающими в них листьями, то ли про россыпь каштанов в пожухлой траве, то ли про нахохлившегося воробья, сидящего под застрехой, то ли про женщину с ребенком, мокнущих на остановке в ожидании автобуса, то ли про куда-то бредущую с поджатым хвостом собаку, то ли про засыхающий кактус на подоконнике, то ли про бабочку, спящую между рамами, то ли про паутинчатую пустоту в голове с бабочкой, кактусом, собакой, ее поджатым хвостом, воробьем, автобусной остановкой, женщиной, ребенком и перекатывающимися из угла в угол каштанами, то ли перевернуться на другой бок и снова стать бабочкой, изю всех сил улепетывающей от воробья.

Напишешь «опавшая листва», и дальше вообще не стоит писать – ни про морозящий дождь, ни про бледное, анемичное солнце, выглядывающее сквозь серые тучи, ни про мокрые лепестки отцветших хризантем и астр в парке, ни про пламенеющие кисти рябин, ни про лежащие в траве антоновские яблоки, ни про прозрачный осенний воздух, ни про ледяную синеву и перистые облака, уплывающие к югу, ни про горький дым, ни про свежеевыкрашенную скамейку в парке, ни про тонкие озябшие пальцы, пахнущие жареными пончиками, ни про легкую и светлую печаль с терпким привкусом красного сухого вина, ни про остывшие и немного замасленные воздушные поцелуи, ни про бутылку отвратительного коньяка московского разлива, которую ты выпил потом, закусив горстью леденцов от кашля, ни про такой же, как и коньяк, скандал, устроенный дома на пустом месте... а вместо этого пойти спать и проснуться ближе к весне – исхудавшим, с шестимесячной щетиной, полностью потерявшим память о событиях прошлой осени, очумело бродить по квартире, сосать от голода пустые бутылки, грызть сухие макароны и звонить на работу не отвечающей жене.

Осенние сумерки. По пути домой случайно забредешь в затканную паутиной пустоту, в которую никто не заходил лет сто или больше, а в ней высохшие бурые соцветия пижмы, позеленевшая от плесени, изъеденная мышами до дыр луна, серое, плоское как блин облако, похожее на выцветшую тряпку. Пахнет камфарой, сладкой пылью, и кто-то невидимый еле слышно то ли скулит, то ли подвывает, то ли жалуется, но на что... непонятно. Ни одного слова не разобрать. Постоишь, прислушиваясь к себе, минуту или две... и пойдешь на шум машин к шоссе, прибавив шаг и не оборачиваясь.

Нет ничего лучше грозы в деревне – сначала бежишь со всех ног домой из лесу по проселочной дороге, потом сушишься у разведенного наскоро булерьяна, потом пьешь горячий чай с карамельками «снежок», привезенными из города, потом, после очередного удара грома, в доме отключается электричество, потом ставишь на походную газовую плитку чайник и при свете свечки, найденной в буфете, ешь бутерброды с черным хлебом и любительской колбасой, соленые огурцы, засахаренное яблочное варенье, шпроты, сухари с изюмом, карамельки «клубника со сливками», читая при этом старинное издание «Опасных связей», шепча про себя обольстительные змеиные письма виконта де Вальмона Сесиль де Воланж и облизывая сладкие липкие пальцы для того, чтобы перевернуть страницу.

Это, конечно, если вы девушка лет двадцати, приехавшая на дачу дышать свежим воздухом, собирать грибы, составлять букеты из полевых цветов, пугаться при виде коров, осторожно, зажимая нос, гладить телят и мечтать глядя на луну, на старый пруд, на цветущие хризантемы, на тракториста, несущего на квадратном плече задний мост, о чем-нибудь таком... или этаким. Если же вам не двадцать и даже не сорок лет, если вы мужчина, у которого дом в деревне на двадцати сотках, огород, теплица с помидорами и болгарскими перцами, куры-несушки и жена, то вы первым делом побежите заводить генератор, чтобы не потек холодильник, в котором лежат замороженные на зиму грибы и ягоды, а потом подставлять таз под ту дыру в голове потолка, которую в прошлом году прогрызли мыши, которую вы до сих пор, хотя вам не один раз было говорено, не заделали и через которую обычно капает в сильный дождь вода на покрывало в спальне, или сначала таз, потому что на покрывало уже натекла лужа, а потом...

Только напишешь «бабье лето», а оно уже и кончается, а ты еще и ни слова не написал о нем из того, что раньше не было бы написано другими или даже тобой самим. Берешь пару дней в счет отпуска, едешь на природу, бегаешь в панике по полю, хватаясь за чистую и теплую лазурь, которая на него льется, за седые лохмы чертополоха, за еле слышное уже пение сонного кузнечика, за летящие по воздуху паутинки и березовые листья, за почерневшие шляпки несобранных подосиновиков, в которых слизняки уже проели огромные дыры, за пронзительный писк какой-то крошечной птички, похожей на кофейную ложечку с крыльями, за скрип сосен, за остатки солнца в черной холодной воде зарастающего ряской пруда, за нарисованные рожицы на запотевшем оконном стекле дачной веранды, за треск бересты в печке, за шипение отсыревших дров, за клуб сизого дыма, вырвавшийся из приоткрытой дверцы, за гудение ветра в трубе, за банку консервов «цыпленок с рисом и овощами», за рюмку водки, за еще одну и еще две... нет, три и думаешь, что исписался, что уже пора и закругляться, сажать чеснок под зиму, солить опята, покупать кефир по акции и читать подшивки старых номеров «Науки и жизни», что завтра утром на свежую голову нужно будет купить пива и еще раз внимательно... в конце концов не стихи, а проза, и тут можно посидеть, посидеть и... вообще люди живут всю жизнь без горячей воды, без аппендикса, Чехов жил и вовсе без селезенки, а уж без того, чтобы про паутинки, листья, грибы и кофейную ложечку с крыльями...

Ни ветерка. Облака не уплывают, но истаивают на глазах. Небо под вечер так пустеет, что в нем остаются только солнце и луна – такая бледная и такая исхудавшая, точно она три недели валялась где-то за горизонтом с высокой температурой и теперь в первый раз после долгого перерыва пытается забраться повыше над лесом и полем. От нее к солнцу через все небо медленно ползет самолет и, не долетев, тоже истаивает. Кузнечики поют так тихо, что слов в их песнях уже и не разобрать, а только понимаешь, что это не «К нам приехал наш любимый...», а другое, печальное. Смотришь в прозрачную даль, приставив ладонь козырьком ко лбу, и надеешься разглядеть там то ли растаявшие как дым мечты, то ли новые надежды, то ли маленьких, вставших

на крыло, ангелов, которые об эту пору, в самом конце бабьего лета, летают вместе со стаями стрижей и ласточек, собирающимися на юг, но снизу не разобрать, кто это – то ли серафимы, то ли херувимы – видны только мелькающие между черными крыльями птиц пламенеющие в лучах закатного солнца ангельские крылья.

Полупрозрачный мотылек, мало-помалу растворяющийся в синеющем от холода воздухе; оцепенелое безмолвие, на миг раздвигаемое хриплым свистом крыльев летящей вороны и тут же смыкающееся снова; гроздья рябины, желтые листья и тонкие, ломкие черные сосуды веток, рассыпанные в гулкой и мучительной пустоте собственной головы. Осенние сумерки.

С каждым днем тишина все гуще. Это уже не легкая на подъем летняя тишина, которая может перетечь из одного места в другое или вовсе мгновенно испариться. Осенняя тишина еще не может застыть навсегда, но может стоять, не шевелясь на одном месте, несколько часов и даже целый день с утра и до вечера. Ее можно размешивать ложкой, как сметану. Мало-помалу в ней появится что-то стеклянное, прозрачное, и она начнет отвердевать. В середине октября, когда ударят первые заморозки, она зазвенит. Ее еще нельзя расколоть, как зимнюю, но уже можно поцарапать шорохом сухих опавших листьев, мышинным шуршанием, треском бересты в печи, повизгиванием собаки во сне, сделать в ней лунку каплями, падающими из крана на кухне, подвести под ней жирную черту жужжащей между рамами мухой, и подсветить выглянувшей из-за туч луной, которая превратит ее в безмолвие.

Ветра нет, только сухие былинки качаются, кузнечики не стрекочут, а ястреб, нарезающий круги в невообразимой вышине, делает это молча. Где-то у самого края неба или даже за его краем гудит самолет. Так тихо гудит, что может быть и нет его совсем, а гудит в ухе или внутри головы. Какого... ты гудишь, а? Не лечу я никуда, у меня в погребе тридцать банок лечо, сорок банок соленых огурцов и помидоров, тыкв, кабачков, засахаренного варенья с позапрошлых лет столько... У меня чеснок под зиму посажен, перекопаны все грядки, на картофельном поле посеяна озимая рожь, чтобы по весне на нем не выросли васильки, у меня путевка в подмосковный желудочный санаторий в ноябре, купленная загодя за полцены, у меня таблеток от давления запасено на два года вперед, у меня... Что ты нервы мне свои гулом треплешь, сука? Ну что мне – пойти и напиться прямо сейчас, да?! Устроить скандал, разломать табуретку, которую сам же утром чинил, разбить фарфоровую лошадь на буфете, сказать все, что... а потом просить прощения, ползать по полу и собирать осколки лошади, чтобы их склеить?.. Или это не самолет шумит в ушах, а давление, и нужно принять таблетку и полежать...

Взять, к примеру, дядю Ваню...

Взять, к примеру, дядю Ваню и отправить его действующим лицом в советские пьесы. Не главным, конечно, а второстепенным. Пусть посмотрит на ангелов и небо в алмазах в «Днях Турбиных» или в «Беге» или даже в «Оптимистической трагедии». Нет, лучше в эти пьесы посылать подполковника и батарейного командира Вершинина, раз уж он для будущей жизни живет, работает, страдает и творит. Дядю Ваню в «Оптимистическую трагедию» посылать нельзя. Там его наверняка или посадят или вовсе застрелят как контру. Впрочем, и Вершинину тоже придется несладко. Что «Оптимистическая трагедия», что «Любовь Яровая»... Везде революционная матросня, комиссары с наганами и чекисты. Дядю Ваню лучше в «Покровские ворота» родным братом Хоботова. Как раз в той сцене, где он кричит Маргарите: «Я мог быть ученым, мог книги писать, а

стал каким-то столоначальником, блохоискателем, сундуком». Или в «Утиную охоту»... Нет, туда страшно. Лучше в володинский «Осенний марафон». Целее будет. И потом вернуть его обратно в «Дядю Ваню». Напьются они на радостях с Астровым... Рассказов будет до утра, но Соня им не поверит – подумает, что привирает дядя спьяну. Хорошо бы еще Лопахина отправить в будущее. Стал бы он после этого покупать сад и строить дачи. Взял бы свои денежки Ермолай Алексеевич и уехал бы в Париж вместо Раневской.

Взять, к примеру, Пришвина. Или Нагибина. Или даже Ивана Сергеевича Тургенева. Все трое заядлые охотники. Все трое знают много разных охотничьих слов – вальдшнеп, косач, ягдташ, вечерняя тяга, манки, водка. И природных слов знают много – заволочь, треста, елань, бучило. И народных – портянки, чугунок, зипун, нагольный тулуп, загнетка, самогон. И все равно читать их описания природы скучно. Описаниями Пришвина и Тургенева детей и вовсе в школах пытаются. Природа Тургенева – холодная красавица, которая посмотрит на тебя точно рубль подаст и скажет: «Ну, посмотрел? На кроткий румянец зари, на ласково лучезарное солнце, на золотисто-серые с нежными белыми краями облака, посмотрел? Теперь иди, шури по хозяйству. Борони, сей, отработывай барщину. Тут вон целая очередь из таких как ты. И всем нужно посмотреть. Господи, как я устала...»*. Природа Пришвина еще и добавит: «Клюквы не забудь насобирать в туюсок. И грибов. Осторожнее там. В бучило не наступи», а природа Нагибина спросит: «Настрелялся? Забирай своих уток и проваливай, охотничек. И рыбу забирай, браконьер. И пустые бутылки». Зато у Коваля достаточно всего лишь одной фразы о том, что «клювка лучше божьих коровок хотя бы потому, что она не двигается». И все. И ты влюблен по собственному желанию. Навсегда.

*Последнюю фразу она произнесет по-французски.

Идешь по залам, смотришь на картины и думаешь, что и этот замурзанный босоногий мальчик в живописных лохмотьях, и слепой старик, играющий на рожке, и краснощекая молодуха с кувшином в руках, и белобрысый усатый капрал, глядящий на нее голодными глазами, и старый шарманщик, и девочка в красном сарафане, собирающая медяки в его фуражку с поломанным козырьком, и мировой судья с тремя подбородками, и охотники, стреляющие по тетеревиным выводам, и охотники на привале, и толстый купчина с золотой медалью «За полезное» на бычьей шее, и его жена, ненароком раздавившая пудовой грудью воробья, присевшего на стол поклевать кусочек баранки, и гитарист-бобыль, и вороной жеребец, гарцующий под драгуном, и сам драгун с завитым чубом, и две томных дамы с кружевными зонтиками, и мальчик лет семи в белых шелковых чулках и синем бархатном камзолчике с золотыми пуговками, и даже крошечная, похожая на смешное и лохматое недоразумение, собачка, застывшая с поднятой ногой у беседки-ротонды в Павловском парке – все они умерли. Даже те, кто никогда не существовал.

Писатель приходит к читателю. Как больной приходит на прием к участковому врачу – так и он приходит. К психиатру, конечно, а не к терапевту или гастроэнтерологу. Приносит свою историю болезни в виде рукописи или в виде уже переплетенной книжки. Врач, то есть читатель, устал как собака, у него сегодня этих историй болезни прошло перед глазами... На писателя он не смотрит – сразу берет в руки текст и начинает читать. Вот как врач читает историю болезни и смотрит анализы – так и он читает то, что ему принесли. В это время писатель, которому не сидится на стуле, начинает сам рассказывать о своем детстве, о том как написал свое первое стихотворение или рассказ про собачку или подобранного котенка, как записал его в собственноручно переплетенную крошечную тетрадку, как украсил поля нарисованными розочками, как потом ходил в кружок юных писателей при районном доме пионеров, какие сволочи редакторы, какие сволочи

издатели, какие сволочи другие писатели, какие сволочи заседают в жюри литературных премий, какие сволочи те, кому эти премии достаются, какие сволочи другие писатели, какие ...

В это время кто-то открывает дверь и с криком «я только спросить!» бросает в кабинет огромный, увесистый том. Дверь быстро захлопывается. В коридоре крики, страшная, площадная ругань и рыдания, переходящие в тихий, невыносимый скулеж.

...сволочи критики, какие сволочи другие писатели, какие сволочи другие писатели, какие вообще все сволочи... и при этом ногой в давно нечищенном ботинке пытается затолкать брошенный том под накрытую клеенкой кушетку. Читатель, не обращая внимания на посторонний шум, продолжает читать.

Проходит еще пять минут, и под дверь просовывают листок с написанным круглым женским почерком стихотворением. Потом еще один листок... Наконец читатель заканчивает читать, вытаскивает авторучку из кармана... потом прячет ее в карман, открывает рот... закрывает, тяжело вздыхает, возвращает рукопись писателю, тяжело вздыхает и хочет крикнуть «санитары!», но вместо этого тихо, не глядя ему в глаза, говорит «следующий!».

Всем хороша электронная книга – и удобна, и дешевле бумажной, и вообще за ней будущее, но... она никогда не бывает старой. Ее невозможно зачитать до дыр. На ней нет следов, оставленных другими людьми. Нет подчеркиваний, нет заметок на полях, нет рожиц, которые любят рисовать дети, нет, наконец, следов чужих пальцев. На ней никто никогда не напишет «Мише в день его рождения от одноклассницы» или «Анне Сергеевне от Дмитрия Дмитриевича на память о двух незабываемых неделях в Ялте». Никто не вложит в нее ни засохшего цветка, ни счастливого трамвайного билетика, ни вышитой закладки, ни старинной поздравительной открытки, на обратной стороне которой будет приклеена почтовая марка и выпцветшими бледно-голубыми чернилами будет написано «Привет из Ленинграда» или «Кисловодск. Бювет Желябовский. Сима! Я стою пятый слева во втором ряду в синем плаще-болонье, который мы купили мне перед отпуском, но нас с Юрой не видно из-за спины Зинаиды Павловны». Ты читаешь электронную книгу в полном одиночестве. У нее нет ни прошлого ни будущего. Только настоящее. Собственно и книги нет никакой. Есть только текст. Это удобно для тех, кому нужен текст. Мне, к примеру, нужен только текст. Мне не нужна обложка, не нужен шелест страниц, но от счастливого трамвайного билета или открытки с видом Ленинграда я бы не отказался.

В Москве я живу в общей сложности лет двадцать. Полюбить ее так и не смог, но притерпелся. Она хорошая, может, и очень, но не моя. Я даже могу обидеться, когда говорят плохо о москвичах, но... как был провинциалом – так и остался. Не люблю я больших домов и широких проспектов. Я, кстати, и деревню не жалую. Для меня рай – это маленький уездный или вовсе заштатный городок. Неширокие улицы и совсем маленькие переулки, кое-где поросшие травой, многочисленные тропинки, небольшие частные домики, старые двух- и трехэтажные довоенные или купеческие дома, палисадники, пионы, георгины, река, от которой по вечерам тянет свежестью, плотва и уклейки, которых вывесили вялиться на бечевках во дворах, кошки, которые ходят сами по себе или сидят на заборах, высматривая как бы украсть рыбу, люди на скамеечках перед домами, тихие бесконечные разговоры, которые можно оборвать в любом месте и начать с того же места хоть через неделю, шашлычные дымки из-за заборов, дети, играющие в казаков-разбойников, катающиеся на трехколесных велосипедах, бегающие наперегонки с собаками, маленький кинотеатр, в котором показывают только комедии шестидесятых годов, запах свежееиспеченного хлеба, которым пахнет из городской пекарни, старое, заросшее бузиной кладбище с замшелыми и позеленевшими мраморными надгробиями, привидениями и каменной часовней времен Алексея Михайловича, в которой по ночам кто-то страшно шуршит, трагически шепчет и невыносимо жалобно стонет.

И непременно краеведческий музей, расположенный в старинном купеческом или дворянском особняке. Стены в нем толстые - все подоконники можно уставить цветочными горшками и утро начинать с того, чтобы поливать герани с фикусами и монстеры с традесканциями отстоявшейся водой из большой позеленевшей изнутри пластиковой бутылки. Чтобы на рабочем столе никаких компьютеров, а только чернильный прибор, стопки книг и рукописей, чтобы в книгах бумажные закладки, которые переключать каждое утро на новые места, чтобы каждое утро подчеркивать остро отточенным карандашом новые места, а старые стирать. И каждое утро писать себе новые напоминания на цветных бумажках и разбрасывать их по всему кабинету. Много лет сочинять многотомную историю этого городка. В самых мельчайших подробностях. Одно описание платья жены первого городничего пусть занимает целую страницу, а то и две. Может быть даже написать отдельную статью об этом платье, о цветочных гирляндах, которыми расшита атласная юбка, о батистовых ангажантах, о меховой выпушке, о воланах и отправить ее в «Вестник второй половины восемнадцатого века» или отыскать в запасниках музея старинную карту из бересты, на которой красным крестиком отмечен клад из золотых арабских динаров, который зарыли в этих местах разбойники Емельки Пугачева, когда отступали и разбегались под натиском правительственных войск, или нарисовать план разрушенного дома, в котором родился Павел Иванович Чичиков или останавливался Гоголь, когда плыл из Петербурга в Рим на пакете «Святой Петр», найти в этом доме обрывок письма Виссариона Григорьевича к Николаю Васильевичу, или к Павлу Ивановичу, или к ним обоим с тремя тщательно зачеркнутыми словами, или... ничего этого не делать, а просто смотреть в окно на копошащихся в пыли кур, на щенка, играющего со старым рваным ботинком, повторять про себя «В Москву, в Москву, в Москву!» и никогда в нее не уезжать.

Иной раз копаешься в истории какого-нибудь заштатного городка Рязанской или Вологодской губернии, рассматриваешь в лупу давно поросшее бьельем, но все еще кровоточащее и думаешь – что же было хорошего... Сначала воевали между собой, потом пришли монголы с татарами, потом терпели их и в промежутках воевали между собой, потом растворили в себе татар и началась опричнина. Терпели ее, висели на дыбах, варились в кипятке и клали головы на плахи. Потом опричнина кончилась и началась Смута, когда пришлось терпеть поляков, казаков и успевать еще воевать между собой, потом прогнали поляков, растворили казаков и стали раскалываться. Убегали в дремучие леса и заживо горели в срубах. Потом стали воевать со шведами, турками, австрияками, поляками,дохнуть как мухи на строительстве новой столицы и служить в армии, пока не убьют или не забьют шпицрутенами. И при этом успевали гнуть спину на барщине, приносить оброк, перебиваться с хлеба на квас, терпеть, когда тебя секут на конюшне или твою жену наряжают вакханкой и ведут к барину в опочивальню. Потом пришли французы и снова пришлось идти в атаку, умирать, но не сдаваться, колоть штыками, брать Париж и возвращаться к барщине и розгам на конюшне. Потом еще терпели, терпели... и стали бросать бомбы, убили того, кто освободил, но без земли, убили... убили... убили... Потом пришли большевики, стали терпеть их и на Колыме вспоминать как было хорошо, когда на конюшне... Потом пришли немцы... Потом снова... Потом думали, что вот сейчас уж точно увидим небо в алмазах, но алмазы кто-то успел... и стало только голое небо. Господи, да что же было хорошего?!.. Разве только гениальная литература о том, что все плохо, военные оркестры, играющие вальсы в городском саду перед отправкой на фронт, любительские спектакли, после которых были танцы, ледяное шампанское в буфете и бой конфетти, маковые пряники, тридевять земель, за которые можно убежать, чудом дошедшее письмо с фронта или из лагеря о том, что жив, теплые шерстяные носки ручной вязки и леденцы на палочке. И еще мечты о том, что все будет хорошо или уже было, но мы не заметили. Впрочем, если как следует поискать в том, что давно поросло бьельем, то можно...

За полтора десятка лет путешествий по нашей провинции насмотрелся я всякого. Живых городков, если исключить Московскую область (да и ту не всю), видел мало. По пальцам одной руки можно пересчитать живые. Гораздо больше полуживых и еще больше полумертвых. Полу-живые – это те, в которых еще есть остатки производства, или производство умерло, но не так давно, и еще не все поняли, что это навсегда. Есть ряд почти живых, которые с трудом, но все же держатся за счет туризма. Остальные – полумертвые или совсем мертвые. Там нет ни производства, ни туризма. Я таких много видел. Около сотни, наверное. Думается мне, что та русская провинция, которую мы воображали себе по рассказам Чехова, Паустовского, Распутина... умирает и наверное умрет. Скорее рано, чем поздно. Тихо умрет. Никто и не заметит. Бедные, больные, старые и немощные городки, как и люди, долго не живут. И вообще она умрет не потому, что нет производства, туризма или не дали денег, а потому, что придет время, когда ей пора будет помирать. Жалко ее ужасно, но ничего поделать нельзя. Конечно, что-то будет вместо нее, но другое. Не такое как сейчас. Или не будет вовсе. Лет через сто или двести в автомобильных дорогах нужды не будет – все полетят. Мы станем жить в больших сверкающих муравейниках или на хуторах под прозрачными куполами силовых полей. Райцентров, деревень и сел тоже не будет, но останутся заросшие кустарником и лесом полуразрушенные автомобильные дороги, ведущие к заброшенным кологривам, ардатовым и ветлугам. Останутся старинные бумажные дорожные атласы, на которых все эти весьегонски, лукояновы и судиславли будут отмечены. От электронных карт толку не будет – их постоянно обновляют. Бумажные атласы будут стоять бешеных денег – по ним археологи и черные копатели будут отправляться на поиски наших заброшенных провинциальных атлантис. Кто-то будет возвращаться обратно в мегаполисы с мешками, полными старинных часов с кукушками, древних транзисторных приемников и альбомов с фотографическими карточками в бархатных, изъеденных молью обложках, а кто-то и не вернется, оставшись там навсегда. Об оставшихся сложат страшные, леденящие душу легенды. Будут рассказывать о затерянном в Вологодской или Кировской областях древнем уездном городке, в котором еще живут те, кто не захотел уходить в мегаполисы или в специализированные агрогорода, обслуживать сельскохозяйственных роботов. У знакомых обнаружатся друзья или очень дальние родственники, ушедшие навсегда в дремучую, дикую провинцию – к собственным колодцам, огородам, грибам, хлебу, испеченному в печи, к школам с партами в классах, учениками, учителями и к библиотекам с бумажными книгами на полках. Оттуда будут изредка приходить оставшимся в мегаполисах родственникам и знакомым бумажные письма, которые будут приносить бородатые люди в домотканой одежде, а со временем и вовсе перестанут.

К чему я это все... Если бы я умел писать романы, то написал бы роман об этих оставшихся в провинции людях. И вообще. Лучше было бы родиться через эти самые двести лет и быть археологом, а не смотреть на все это сейчас. Это очевидно больно смотреть, а археологу уже не больно, но любопытно. С третьей стороны, есть шанс, что через двести лет или даже через сто мои очерки о городках археологи возьмут с собой на раскопки, чтобы читать их у костра, прежде чем пить водку и петь «Милая моя, солнышко лесное».

В доме моих родителей никакой религиозной литературы не было. Папа и мама были убежденными атеистами. Правда, мама, кажется, верила в сглаз, да и сейчас верит в то, что хорошие поступки вознаграждаются, а за плохие придется отвечать, но все эти мамины верования никак с религией не связаны. Так что в первый раз Библию я увидел уже в довольно зрелом возрасте, в годы перестройки. Это было какое-то миссионерское издание на тонкой, почти папиросной бумаге. В моем детстве таких книг в нашей детской библиотеке не имелось. Зато была в ней книжка известного французского антиклерикала Лео Таксиля «Забавное Евангелие», которую я взял почитать сразу же, как только записался в библиотеку в третьем или в четвертом классе. Уж

очень там мне понравились картинки. Картинки там были, если мне не изменяет память, Гюстава Доре, которые наши нестеснительные советские издатели взяли из Библии. Не столько я читал тексты, сколько рассматривал длинноволосых бородатых людей в длинных складчатых одеждах, блестящие доспехи римских воинов, диких зверей, крылья ангелов и отрубленную голову Иоанна Крестителя. То, что было написано самим Таксисем, на меня тогда не произвело особого впечатления. Если честно, то я вообще не понимал, из-за чего весь сыр-бор. Есть на свете такая книга под названием Евангелие – и пусть себе будет. Стоит ли писать еще одну книгу, чтобы доказать, что все написанное в Евангелии неправда. Кроме иллюстраций в книге мне нравились цитаты из Евангелия. Во-первых, они были написаны совершенно необычным, торжественным и в некотором роде волшебным языком, а во-вторых, они описывали волшебное. (Он меня и сейчас завораживает – этот волшебный язык.) В чудеса, совершаемые Иисусом из Назарета, я поверил безоговорочно, и никакой Таксиль меня не мог разубедить. Как же мне хотелось ходить по воде и двигать горы... И способ-то вроде прост: «если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Где брать веру хотя бы с горчичное зерно, я не знал. Я и горчичного зерна-то никогда не видел, а уж про веру и говорить нечего. Гор в моем Серпухове тоже не было. Решил я начать со спичечного коробка. Как сейчас помню – сижу я на кухне за столом, передо мной лежит советский синий спичечный коробок с надписью «Решения XXIII съезда партии в жизнь» и нарисован комбайн, вышка электропередачи и еще какие-то мелкие детали, из которых состоял развитой социализм. Даже то, как пах этот коробок, помню. Сижу я и повторяю про себя «верую, Господи», краснею от натуги и взглядом прожигаю коробок. То, что не сдвинулся он ни на миллиметр даже после того, как я вытащил из него все спички я понять могу, но почему не загорелся до сих пор для меня загадка.

К чему я это все... К тому, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Таксилью, я думаю, не досталось еще и сочувствия, не говоря о благодати.

В Пскове, в развалинах стены Окольного города неподалеку от Мстиславской башни, есть детская Стена Плача. Ну, не то чтобы большая стена, а, скорее, пристенок. Ее, правда, здесь так никто называет, но суть не в этом. В этот кусок городской стены шестнадцатого века дети засовывают свои записки, в которых они просят у своего детского Бога, у своих ангелов-хранителей, чтобы те упростили пап и мам, бабушек и дедушек разрешить завести им котенка, щенка, или купить велосипед, сестру, брата, говорящую куклу или самый последний айфон. Кто-то, отчаявшись исправить собственных родителей, просит новых, а кто-то чтобы никогда не умирала бабушка. Самые маленькие писать, конечно, не умеют и в своих записках просто рисуют котят, щенков, велосипеды и прямоугольники мобильных телефонов. Доподлинно не известно, кто первым из детей придумал засовывать записки в стену, но самая старая записка, найденная в щелях между выщербленными известняковыми блоками, была написана еще в конце пятнадцатого века на берегу. Мальчик Онуфрий, сын одного из посадских кузнецов, просил у своего ангела-хранителя серебряную уздечку к деревянному коню и меч-кладенец. Теперь эта записка хранится в местном краеведческом музее. Обычай оказался живучим, и в наше время мамы, гуляющие в парке с детьми, сами приводят их к стене и даже помогают своим чадам написать или нарисовать записки. Почему-то взрослые думают, что это поможет детям лучше понять, чего же им на самом деле хочется. Можно подумать, что они сами это понимают. Приходят к стене и подростки, у которых уже пробиваются усы. У них записки чаще всего любовного свойства. Видел я даже и мужчину с совершенно седой бородой, который засовывал в щель между каменными блоками целое письмо. Впрочем, внутри мужчин, бывает, и до старости живет маленький мальчик, которому позарез нужен меч-кладенец или новая говорящая кукла. Про девочек такого не скажешь.

Сергею Боровикову

Как точно сказал Грибоедов про хорошо, где нас нет. По мне, так это и вовсе главные слова в его пьесе. Мы все время уходим туда, где нас нет. Сначала уходили от плохой жизни за Волгу, потом на Урал, потом за Урал, потом еще дальше... Потому у нас и государство такое огромное и вытянуто в длину. Все от этих поисков. На наше счастье земля круглая, а не то по плоской каждое утро собирались бы и шли туда, где нас нет. Добрались бы рано или поздно до края и с этого края на... Остались бы после нас нацарапанные на панцирях черепах или на бивнях слонов надписи неприличного содержания.

На самом деле я не об этом, а о том, что мы не умеем быть счастливы. Кажется, это сказал Чехов, но я не нашел источника цитаты. Я думаю, что из этого и выросло грибоедовское хорошо, где нас нет, хотя Грибоедов и жил раньше Чехова. Просто история литературы нелинейна. Этим все объясняется. Пирамиды могут быть не в начале, а в середине и даже в конце. У нас это может быть не только в литературе, но и в истории и вообще в чем угодно. На самом деле я и не об этом тоже.

Мы вечно недовольны собой и вечно себя едим. И нам вечно кажется, что на новом месте нас ждет новая прекрасная жизнь, новая прекрасная любовь и дивный новый мир. Поэтому нас постоянно гонит от одного места к другому. Мы старого места обустроить не хотим – мы лучше пойдем на новое. Авось там все будет лучше. В истории освоения Вятских земель был такой период в семнадцатом веке, когда там селилось много беглых крестьян. Да и в восемнадцатом тоже. Да и в истории освоения любых русских земель. Селились беглые крестьяне в дремучих лесах. Такие деревеньки были глухие, что их никакие власти не могли найти. Годами скрывались. Поживут, обустроятся, заведутся у них сенокосы, рыбные ловли, станут они урожаем собирать, и тут нагрянут к ним власти с переписью. Соседи, значит, стукнули куда следует. Живут, мол, больно хорошо. Податей не платят. И вообще, почему так живут они, а не мы. Недолго думают крестьяне, к которым пришли с переписью, – соберутся и дальше в леса побегут – на Урал, за Урал, в Сибирь. Был бы проход по суше в Америку – так пешком в Америку и пришли бы.

И всегда мы с тоской смотрим на окна проезжающих поездов. Все нам кажется, что поезда эти едут в счастливую страну. А уж про корабли и самолеты говорить нечего. И многим из нас уже много лет, и они могли бы поумнеть, но... И ведь знаем, что в дороге всю жизнь не проведешь, знаем, что на том конце пути все точно такое же, только с другими названиями и другими точно такими же людьми, а все равно. У нас еще одна беда – мечтательность. Нам мечты очень часто заменяют мысли. Мы, к примеру, о будущем не думаем – мы о нем мечтаем. Вот как у Островского Бальзаминов мечтает: «Мне всё казалось, вдруг сама собой явится коляска, я привезу ее в дом к нам...» Сама собой явится, как же.

Наш человек по натуре путешественник. Наверное, путешественник поневоле. (Потому и грибоедовское «там хорошо, где нас нет» давно превратилось у нас в поговорку. У нее теперь и автора нет.) И нет нигде ему покоя. Куда бы он ни приехал – все ему будет казаться, что есть места еще лучше. На самом деле, путешествует он по ленте Мебиуса. От себя убегает и к себе неминуемо возвращается. Мудрецы путешествуют не выходя из комнаты, а мечтатели вроде нас едут за тридевять земель, чтобы понять – от себя не убежишь. Мы от природы непоседы, кочевники. Такие кулики, которые все время мечтают о других болотах. Вот потому-то мы можем построить корабль на подводных крыльях, атомный ледокол, космическую ракету и полететь в космос, чтобы пройти по пыльным тропинкам далеких планет, но произвести нормальную швейную машинку или электробритву не в состоянии. А все почему? Потому, что швейная машинка и электробритва не нужна тем, кто не сегодня завтра улетает на Марс. Пусть он хоть триста лет сидит где-нибудь в Воронеже или в Костроме и у него картошка посажена на тридцати сотках, но на Марс собирается каждый божий день. Кроме субботы и праздников, когда он идет с друзьями в баню.

Зуд писательства довольно неприятная вещь. Хуже чесотки. Не пишешь день, не пишешь два, а на третий начинает свербеть где-то в районе мозжечка. Тянет написать хотя бы страничку или полстранички текста. На любую тему. Иначе к исходу третьего дня и особенно в ночь на четвертый тебя одолеют мысли о том, что ты исписался. И еще эта дурацкая фраза Олеши про ни дня без строчки. Куда ни посмотришь – она везде. То вспыхивает мелкими красными неоновыми буквами на поверхности овсяной каши, которую ешь на завтрак, то огромными на соседнем доме, то на спине женщины, идущей впереди тебя по улице, и даже чуть ниже ее спины. Идешь на работу и в голове описываешь все подряд – облезлого кота, осторожно пробирающегося домой после ночной смены, белобрысого юношу-курьера с огромным желтым коробом за спиной, едущего на электрическом самокате, дорожных рабочих, сидящих на корточках возле вывороченного бордюрного камня, их шарообразного начальника с толстой потной шеей и тонкой папкой для бумаг подмышкой, бодрую девочку лет пяти, волокущую за руку сонного отца в детский сад, двух старушек в метро, долетающие сквозь грохот обрывки их фраз «марлей накроешь и настаиваешь двое суток в тепле...», «а потом утром, натошак...», «подрались, и она ему кухонной теркой по роже...», женщину в углу вагона, вытащившую сережку-цветок из уха, чтобы мужчине рядом, было удобнее говорить ей в это ухо слова, которые он только что не языком туда... Начинаешь описывать сережку, а за ней мужские слова – маленькие и побольше, круглые и овальные, карамельные и замшевые, цвета крем-брюле и цвета осенних кленов, небесно-голубые и... тут объявляют остановку – не ту, на которой тебе выходить, а ту, после которой поезд уходит в депо. На совещание, назначенное ровно на десять утра, ты опаздываешь как минимум минут на пятнадцать и мозжечком начинаешь понимать... Нет, не мозжечком. И не понимать, а чувствовать...

...И тут зашла речь о книгах и о книжных героях, которые меня и мое поколение, выражаясь языком советской педагогики, сформировали. Я уж было открыл рот, чтобы начать рассказывать об Андрее Болконском, Макаре Девушкине, Евгении Онегине, Печорине и... призадумался. Даже вытащил изо рта сыр, чтобы не выронить, если, не дай бог, случайно каркну не то, и стал вспоминать. Получалось... Нет, не получалось. Жизнь свою я не делал ни с Болконского, ни с Печорина, ни даже с дуба, с которым разговаривал князь Андрей. Правду говоря, я вообще не находил в русской классической литературе ни одного героя, которому в детстве мне хотелось бы подражать. Я любил Обломова и жалел несчастного Чичикова, у которого все сорвалось из-за идиота Ноздрева, но те, кого ты любишь и жалеешь, совсем не всегда могут быть примерами для подражания.

Сайрус Смит Жюль Верна, профессор Челленджер и Раффлз Хоу у Конан Дойля, Скотт у Цвейга в «Звездных часах человечества» были моими примерами – все эти ученые, первооткрыватели и путешественники. Отчего же их не было в классической русской литературе? Разве их не было в русской жизни? Были, да еще какие – Семен Дежнев, которого можно смело ставить в один ряд с Колумбом и Магелланом, братья Лаптевы, Ломоносов, Кулибин, Менделеев, Яблочков, Пирогов – где они в русской литературе? Не подробные и скучные научные биографии, а романы, в которых ученый и инженер являются главными героями. Не было Пирогова и братьев Лаптевых в русской литературе. Были станционный смотритель, Плюшкин, Раскольников, братья Карамазовы, Анна Каренина и даже Холстомер, а Пирогова и братьев Лаптевых не было.

Первым на ум из ученых, первооткрывателей и путешественников почему-то приходит Штольц, «крепкий хозяйственник» и вообще немец. Вычеркиваем его. Про «крепких хозяйственников» Костанжогло и откупщика Муразова из второго тома «Мертвых душ» лучше вообще не вспоминать.

Вот Евгений Базаров, который нам объяснял про то, что природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. Так он яростно это объяснял, что подражать ему не хотелось. Покажите мне пальцем на того школьника, который хотел подражать Базарову. Разве только в нигилизме, в курении папирос и в жестоких опытах над лягушками. Нет, Базаров не подходит.

Вот положительный профессор Дымов в «Попрыгунье»... Всплакнем над его горькой судьбой. Вот гениальный Левша... Обнимемся и зарыдаем. Есть еще профессор Серебряков в «Дяде Ване». Лучше бы его не было. Астров, конечно, подходит больше. Он врач, он благородно увлечен ле-сами, у него и карта есть, с помощью которой он к жене профессора пытается... Вот только пьет горькую. Ну, хорошо. Пусть классическая русская литература вся написана дворянскими перьями, и до всех этих ученых, инженеров и мореплавателей ей дела не было, но Чехов, но Лесков, но Мамин-Сибиряк, но Помяловский... Нет, и они не замечены в любви к ученым и инженерам. Правда, у Лескова есть рассказ «Инженеры-бессребреники», но у этого рассказа имеется подзаголовок «Из историй о трех праведниках», и поэтому мы его тоже вычеркиваем из списка, в котором и нет ничего.

Первым русским инженером, описанным в литературе так ярко, что мы его помним до сих пор, был прохвост и авантюрист Петр Гарин. Это уже не и русская классическая, а советская литература. Положительный инженер Лось Толстому удался куда хуже. За Гариним идут профессора Персики и Преображенский – мягко говоря, личности не то чтобы очень положительные. Ну, Булгаков, конечно, статья особенная. Это вам не социалистический реалист Гранин с его хождением на грозу и искателями. Про этих, которые вместе с народом и партией строили светлое будущее, говорить не хочется. Известно, какие там ученые и инженеры – светлые и будущие. Вроде электрических схем и дифференциальных и химических уравнений. Возьмем лучше Трифонова, возьмем Нагибина, возьмем Шукшина, да кого хочешь возьмем из хороших и даже прекрасных писателей... Впрочем, был Дудинцев с его двумя романами и Солженицын. Нельзя сказать, чтобы это были жизнеутверждающие вещи... Мы, однако, забрались слишком далеко от золотого века нашей классической литературы, которая вся была о душе, а не об уме, который, как сказал один умный француз, всегда в дураках у сердца. Удивительно, что это сказал француз Ларошфуко, а не русский. Русский Чехов сказал об уме другое. «Я, помню, читал где-то, что у вас* у всех ум приобретенный, из книг, а у нас ум врожденный. Если русского обучить как следует наукам, то никакой ваш профессор не сравняется.

– Может быть... – как бы нехотя говорит Шампунь.

– Нет, не может быть, а верно! Нечего морщиться, правду говорю! Русский ум – изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет... Изобретёт что-нибудь и поломаёт или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретёт какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дёрнешь этого человечка за ниточку, а он и делает непристойность. Однако же Иона не хвастает».

Ну, вот. Антон Павлович и убил-с.

*У французоз.

...Или выросли бы у меня крылья и умел бы я летать. Во сне-то я летаю и без всяких крыльев, а наяву... На работу летать глупо. Пока долетишь, весь взмокнешь и вымотаешься. Потом еще и работай давай. Да и воздух над Москвой – хуже только в каком-нибудь Пекине. А в метро или в автобус куда с крыльями? Оттопчут. Будут говорить – снимите ваши крылья. Мы рюкзаки снимаем, и вы крылья снимите. А они, мать вашу, не отстегиваются. Это вам не рюкзаки. Еще и какой-нибудь любознательный ребенок выдернет незаметно маховое перо. Еще и не одно. С работы вообще не имеет смысла лететь. И без того упадешь так, как не знаю кто, – а тут еще и крыльями всю дорогу махать. Благодарю покорно. Можно, конечно, по выходным летать в парках или вовсе уехать на природу и там летать над лесом или полем. Какая-нибудь скотина стрельнет в тебя из помпового ружья со своего приусадебного участка просто так, ради развлечения, и все. Или дети из рогаток. И поди потом доказывай, что ты не дрон. Если, конечно, в штопор не свалишься и не упадешь головой в картофельную грядку. Вот если только подлетать под балкон к какой-нибудь Василисе Прекрасной на седьмой или даже двадцатый этаж терема, в котором она живет с мужем,

мамой, двумя детьми и котом... Как подумаешь о путанице проводов, о соседях снизу, сверху и сбоку...

...Или умел бы читать мысли. Мне от своих некуда деваться, а тут еще чужие. Зачем, спрашивается, знать мысли моего начальства обо мне? Не говоря о мыслях подчиненных. Можно подумать, что я их и без того не знаю. Мысли жены и не хочешь читать, а все равно придется. Так и лезут в голову, так и лезут... Поздно уж мысли читать. Нужно было это делать лет сорок назад, когда было непонятно, что у нее в голове, под шапкой черных, волнистых волос, когда в глазах...

...Или знал бы такое заклинание, как Баранкин, или у меня была бы коробочка с черным порошком и пергаментом, на котором написано «мутабор». В кого превращаться... Для начальства ты и без всякого превращения насекомое вроде Грегора Замзы, а для подчиненных... лучше и не знать, каким животным они тебя представляют. Что же касается жены... Даже если я превращусь в соседского спаниеля, она меня опознает по амплитуде колебаний хвоста.

...Или мог бы становиться невидимым. Зачем, спрашивается? В метро затопчут. Да и не тот у нас климат, чтобы разгуливать голым. Мгновенно посинеешь от холода и станешь видимым. Как-нибудь проходящая мимо бабка покажет на тебя скрюченным пальцем и скажет: «Страмота». Не говоря о детях и полицейских. И вообще я хорошо помню, чем все кончилось у Гриффина. Ничем хорошим не кончилось.

...Или обладал бы способностью мгновенно телепортироваться куда угодно. Ну да... Возникнешь как черт из табакерки там, где тебя совершенно не ждут. Даже наоборот. Каждый первый тебе скажет: «Предупреждать же надо!», а каждый второй еще и будет норовить дать по морде.

...Или видел бы сквозь стены. Что я там не видел, за этими стенами? Как, спрашивается, потом все увиденное развидеть?

Проснешься посреди бесконечного падения в пропасть, накинешь на плечи плед, подойдешь к окну и станешь смотреть на туманные шары оранжевого и голубого света вокруг фонарей, на лоснящийся от дождя асфальт, на лужи, изрытые оспинами падающих капель, на желтые березовые листья, плавающие в этих лужах, на горящее окно в доме напротив и думать разную ерунду о том, что мы проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба, потом умрем и за гробом скажем, что мы страдали, плакали, но исправно платили ипотеку, ходили каждый день на службу, писали бумаги, много бумаг, делали глупости, много глупостей, покупали в кредит умные пылесосы, снова плакали, пили от тоски, страдали, потом наш семнадцатизэтажный панельный дом еще советской постройки снесут к чертовой матери и на его месте выстроят огромный небоскреб, и кто-то с седьмого или с семидесятого этажа этого небоскреба будет смотреть на небо в алмазах над головой или на плавающие далеко внизу, в тумане, шары оранжевого и голубого света и думать: «Куда зашли мы?... Что там, впереди? Не ждет ли нас теперь другая эра?» ...Подумает, подумает вернется в комнату, ляжет в кровать и станет смотреть на потолок до тех пор, пока тот не побелеет.

Теперь, поздней осенью, когда лес обнажился и поля опустели, когда голые черные березы с десятком листьев на самых верхних и самых тонких ветках напоминают свечи, от которых остались только маленькие дрожащие на ветру желтые язычки пламени на длинных обгорелых фитилях, теперь хорошо уезжать. Все равно куда – лишь бы подальше и лишь бы навсегда. Сидишь себе в теплом купе поезда невообразимо дальнего следования, а по перрону под морозящим противным дождем ходят и бегают люди с чемоданами и без, хлопают двери вокзала, диктор что-то говорит механическим голосом, а между ними и тобой уже толстое, двойное стекло вагонного окна. Помашешь провожающим, думающим про себя: «Уезжаете? Уезжайте! Улетайте – и дай вам Бог!», и медленно-медленно поедешь, а через несколько секунд обнаружится, что это поехал соседний поезд, а твой еще стоит. Тогда еще помашешь немного и наконец поедешь.

Провожающие сейчас пойдут домой, будут толкаться в метро, в троллейбусах и трамваях, завтра ни свет ни заря пойдут на работу, а ты напьешься сладкого чаю с лимоном, съешь бутерброд с копченой колбасой или даже два бутерброда и будешь смотреть на пробегающие мимо задние стенки гаражей, исписанные яркими, разноцветными надписями вроде «Леха, мы с тобой» или уже выцветшими «Мы его не выбирали», на мужчин, распивающих спиртные напитки за этими самыми гаражами, на свалки, на других мужчин и женщин, выгуливающих собак, на собак и кошек, гуляющих сами по себе, потом ляжешь спать, а перед сном станешь читать какую-нибудь книгу при синеватом свете поездного ночника, приятно вздрагивать всем телом в такт убаюкивающему перестуку колес и думать, что хорошо бы поезд не останавливался еще месяца два или три, или даже года полтора, чтобы можно было приехать... да куда не приезжать, а просто бесконечно катить «мимо ристалищ, капищ, мира и горя мимо» и нигде не сходить – даже на каком-нибудь крошечном, усыпанном теплой солнечной пылью полустанке в глухой провинции у моря. Никогда.

Идет писатель по осеннему голому черно-желтому полю и думает о том, что он еще на этом поле не описал? Почерневшие соцветия пижмы описал, спящих кузнечиков описал и даже сны их насекомые описал в самых мелких подробностях, муравейники... тоже и про муравейники, и про отдельных муравьев, не говоря о стрекозах. О еле слышном шуме машин на шоссе, который доносится из-за дальнего леса точно с другого края галактики, писал. Вот этими же самыми словами про галактику и писал. Может, и не про нашу, но точно про галактику. Про одинокую низколетящую ворону писал. Про то, как она тяжело и со свистом машет крыльями, про то, как хрипло каркает, как от этого карканья становится так тоскливо, что хочется выпить рябиновой настойки – писал. Про то, как делать рябиновую настойку – тоже писал. Так подробно, что подробнее некуда. Писал и про облака над вороной. Про серые, ватные, никуда не плывущие, а висящие над полем точно дирижабли на привязи. Про гул от мотора невидимого самолета писал, про летчика, про его семью и двух непутевых детей Костика и Таню... или это жена у него непутевая... Черт их разберет, этих летчиков и особенно механиков, которые к женам летчиков, пока те летают.... Про всех писал. Про седые лохмы репейников, про дрожащие на ветру и без ветра листья осин, про засохшие цветы полевых маргариток, про холодный порывистый заунывный бесприютный пронизывающий ветер, про моросящий беспросветный затяжной бесконечный серый сплошной дождь, про осеннюю тишину... Про нее написал столько, что будь она женщиной, то пришлось бы на ней жениться. Про сельскую церковь на краю поля писал. Про ее полуразрушенную колокольню, про покосившиеся кресты, доски, запасенные на ремонт и украденные местными жителями, про батюшку, приезжающего из соседней деревни по воскресеньям на литургию, про колокольный звон, плывущий над полем, про дорогу, идущую через все поле к лесу, про колею, наполненную черной зеленой водой, лягушками, про мелкие, величиной с ноготь мизинца, цвета кофе с молоком поганки, выросшие по обочинам... Не писал. Господи, ну для чего ты их вырастил по обочинам дороги в ноябре? Для того, чтобы отравиться такими грибами, нужно собрать их сотни две или три, да и то, кроме насморка... Крупный зверь их просто затопчет, а мелкий... кузнечики их не едят, да и спят давно все кузнечики. Разве только Ты их создал для того, чтобы пробегающаямышь-полевка, погрязшая в блуде и чревоугодии, сожрала такой грибок, тотчас посинела от удущья и, пройдя на заплетающихся лапках еще сантиметров пять или десять, упала бездыханная в пожелтевшую траву, так и не успев ничего понять и покаяться? Для того, чтобы ее непутевые дети Костик и Таня остались без матери?

Берем чистый лист бумаги и разбрасываем по нему черные асфальтовые, желтые, оранжевые и резные красные существительные, прилагательные, причастия, междометия – все, что выйдет из-под пера. Где-то будет ровно, а где-то образуются кучки и даже кучи – не страшно. Лишь бы

белого не было видно. Сверху все покрываем крошечными мокрыми существительными. Тут даже частицы подойдут и суффиксы. Лишь бы все покрыть. В одну из мокрых желтых и красных словесных куч можно зарыть одно длинное, на коротких ножках ушащее существительное с коротким, словно собачий хвостик, окончанием и два или три звонких отрывистых междометия. Рядом с кучей желтых и красных прилагательных с копошащимся в них длинным и ушастым существительным напишем два сложносочиненных предложения, одно из которых будет состоять из десятка круглых неповоротливых шерстяных, байковых, непромокаемых, немного шепелявящих глаголов, из пары румяных пунцовых и тоже круглых прилагательных, а другое... другое может быть из одних прилагательных – воздушных, порывистых, плавных, медовых, зеленых, золотисто-зеленых, янтарных, серых, серо-голубых, лазоревых, непроницаемо черных, мягких и даже пухлых, теплых и обжигающих, округлых, вьющихся, медно-золотистых, рыжих, смеющихся и непокорных. Внутри вороха этих прилагательных летящими стремительными буквами напишем невесомое подлежащее и всегда непредсказуемое сказуемое. Потом вокруг этих предложений нарисует разных ветреных, кучевых, серых, тяжелых, ватных существительных и задумаемся, замечаемся, подопрем щеку рукой, станем курить, пить остывший чай, смотреть в окно и просидим, глядя в него, до тех пор, пока не стемнеет.

Если бы я умел писать романы или хотя бы повести, то написал бы повесть о человеке, живущем в какой-нибудь Жиздре или Белеве обычной обывательской жизнью. Дом у него свой, жена, хозяйство, куры, свои яйца с крупными оранжевого цвета желтками. Работает человек главбухом в местном доме быта или в редакции районной газеты «Вести». На работе у него тоже все хорошо. Коллектив подобрался дружный. Все праздники и дни рождения отмечают вместе, за общим столом. Приносят пироги из дома, настойки или просто домашний самогон и свои малосольные огурцы. Выпьют, поболтают о рыбалке, об урожае картошки, о колорадском жуке, ущипнут за подлежащее какую-нибудь... да все равно какую. Лишь бы подлежащее было такое, за которое хочется ущипнуть. И потом по домам. Потому как люди семейные, солидные. Побаловались и будет. Короче говоря, все хорошо, но... человек имеет натуру тонкую, чувствительную. В обычной жизни счастья ему нет. Он по ночам, после работы бухгалтером или главным механиком, пишет рассказы или стихи или то и другое вместе. Посылает в областные журналы, в издательства. То есть сначала-то он писал в столичные, но потом подумал на трезвую голову и стал писать в областные. Год пишет, два пишет. Мало-помалу его начинают печатать. Сначала его рассказы появляются в журналах Калуги или Тулы, а потом выходят составленные из этих рассказов книги. Премия получает на конкурсе «Золотое перо Калужской области». Или тульской. Известность его доходит до самой Жиздры или Белева. Становится он писателем. Не то чтобы знаменитым на всю Калугу или Тулу, в которых этих самых писателей пруд пруди, но все же. Не то чтобы Мартин Иден Белевского или Жиздринского уездов, потому как не моряк, не молод, не живет литературным трудом, женат, имеет двух замужних дочерей и внука, и вообще бухгалтер, но все же. Ходит по улицам Жиздры или Белева с задумчивым видом, точно сочиняет роман на ходу или стихотворение. Да и на работе посреди написания годового отчета вдруг задумается, подопрет щеку рукой и напишет на полях каких-нибудь сложносочиненных слов, которые тотчас же сам густо зачеркнет. На общих праздниках сидит несколько отдельно. То есть рядом со всеми, но выпьет рюмку-другую и просит больше ему не наливать. Станет смотреть в окно, шевелить губами, водить пальцем по стеклу, а чтобы поговорить о рыбалке или о помидорной рассаде... Женщины из планового отдела поначалу оживляются, достают клинья, которые у них всегда наготове, и начинают их незаметно подбивать под известного областного писателя, но куда там. Прежние товарищи от него отделились. Или он от них. Даже в гости перестали заходить. Ну, раз ты, как сказал поэт, царь, то и живи один. Иди, куда тебя влечет тебя свободный ум, и не оглядывайся. Жене тоже все это надоело. Вместо того чтобы починить кран или вскопать грядку, человек часами лежит, сидит или ходит, собирая в специальную коробочку метафоры, образы, синекдохи и аллюзии. У него внук в

третий класс скоро пойдет, а он... Вчера и вовсе сидел в спальне и два часа гладил обложку своей новой книги, а жена, между прочим, так давно не глажена, что морщины... Ну да. Сидел и думал о том, как было хорошо в доме быта или в бухгалтерии районной газеты, куда он ходил каждый день и жил обычной жизнью – чаепитиями с пирогами, пустой, не обременяющей голову болтовней, подлежащими, за которые можно ущипнуть, рыбалкой, настойками... Короче говоря, жизнью. Обычной безмятежной жизнью обывателя Жиздры или Белева. Раньше он смотрел в окно просто так, для удовольствия, и при этом пил чай с коньяком, а не мучительно соображал, как бы эти черные голые деревья и падающие листья или скрюченную старуху, везущую сумку на колесиках, описать и вставить в роман или в рассказ. Книга, конечно, хорошая. Может, даже очень хорошая. Талантливая и не теряется на фоне других талантливых книг Калужской или Тульской областей, но... не заменяет. Ничего не заменяет – ни чаепитий с пирогами, ни пустой болтовни, ни даже помидорной рассады. Особенно тогда, когда из картонных пакетов с землей на подоконнике появляются крошечные нежно-зеленые ростки. Писатель гладит обложку и думает о том, как вернуться обратно туда, где он был старшим или даже главным бухгалтером, но поздно – капкан захлопнулся, и из него не вырваться, даже если что-нибудь себе отгрызть. Пусть и очень нужное. Из писателей обратно не возвращается никто и никуда. Тем более в главные бухгалтерии. Даже в обычные бухгалтеры не возвращается*.

*Тут должна быть бездна психологизма. Это не просто размышления, а мучительные размышления. Параллельно, а вернее, перпендикулярно, идут еще более мучительные размышления жены, дочерей и даже внука, которого одноклассники дразнят писателем, но это все же идея повести, а не сама повесть и тем более не роман, и поэтому я здесь на них не останавливаюсь. Не говоря о бурном романе нашего героя с литературным критиком из Калуги или из Тулы, которая заведует то ли отделом прозы то ли публицистики в редакциях журналов «Знамя Калуги» или «Новый мир Тулы». Он тогда хотел все бросить и уехать в Калугу или в Тулу, чтобы зажить новой жизнью, но проклятые куры...

В середине ноября, когда осень уже кончилась, а зима еще не началась, наступает время между собакой и кошкой, когда собака лежит у твоих ног, кошка примостилась у плеча, на спинке кресла или на коленях, а ты сам сидишь и смотришь в окно, за которым только голое черное, беспросветное серое, туманное, нудно и бесконечно морозящее, пожухлое, желтое, ржавое, одинокое и такое беспричинно тоскливое, что хочется растревожить душу, разбередить старые раны, вспомнить несчастную любовь, даже если ее не было, облиться слезами над каким-нибудь вымыслом и даже прищемить себе палец, чтобы к душевной боли прибавилась еще и физическая.

С первым снегом с неба сыплются во множестве синички и снегири. Если зима будет морозная, то небо их присылает сразу с небольшим однодневным запасом семечек или даже сала. Все это падает под окно, а уж сделать так, чтобы семечки и сало у синиц и снегирей не переводились до весны, небо поручает тебе. Только воробьев нам ниоткуда не посылают – они живут на земле, среди нас, и приходится им заботиться о своем пропитании самим, собственноручно. Ручки у них маленькие, рудиментарные. У некоторых их и вовсе нет. Вот и мрут они, бедные, зимой как мухи, которые спят себе без задних и средних ног между рамами до самой весны и знать не знают – еще живы они или уже нет их на белом от выпавшего снега свете.

Если бы я был Горький, а точнее, Павленков, то придумал бы серию книг под общим названием «Жизнь незамечательных людей». Про разных людей, которые хотели стать знаменитыми, но

не стали. Проще говоря, про неудачников. Это были бы, скорее всего, провинциалы. В провинции куда проще стать неудачником, чем в большом городе. Задохнуться от тоски, от лени, от пыли на кухонных занавесках в цветочек. В столицах ты купишь в кредит машину, возьмешь в ипотеку айфон, и все – ты уже не неудачник, ты как все. Звездное небо надо головой не смотреть на тебя с укоризной. Да и оно тебя не удивляет, и ты перед ним не благоговеешь. Ты вообще на него не смотришь – ты смотришь в айфон, поскольку в нем есть ответы на все вопросы. Даже на те, которые ты давно перестал себе задавать.

Другое дело в провинции. Станешь пропалывать в своем огороде какую-нибудь бесконечную грядку с морковью или свеклой – и все думаешь, думаешь о том, зачем ты, куда ты, каков был Его замысел относительно тебя, и какого, спрашивается... все вышло именно так, а не иначе, хотя могло и должно было выйти совсем по-другому. Так и хочется эту морковную или свекольную грядку обмотать вокруг шеи и на ней удавиться.

Возьмем, к примеру, человека, который мечтал стать знаменитым археологом. Давно мечтал. Еще в советские времена. В Московский университет на истфак с тем свидетельством о рождении, что у него было, не брали, но в архивный институт он смог поступить. Учился, ходил в студенческое то ли археологическое, то ли археографическое общество, ездил на практику то ли в Херсонес на раскопки, то ли в Центральный государственный архив древних актов и даже привез на память то ли обломок ручки глиняной греческой амфоры, то ли тайно насобирав в коробочку архивной пыли шестнадцатого века с редкого издания Четьи-Миней времен Ивана Грозного. После института хотел остаться в аспирантуре, но тогда еще нужна была прописка, а ее без работы не давали, а работу не давали без прописки. Пытался он устроиться дворником, чтобы по нечетным дням... или истопником... или сторожем... Короче говоря, так и поехал по распределению то ли в Уржум, то ли в Пучеж. Вместе с коробочкой или с обломком ручки глиняной амфоры, аккуратно завернутой в носки. Ну, а в Хвалынске или в Урюпинске стал работать в городском архиве, женился, обзавелся домом, дровяным сараем, баней и кроликами, но тут... археология, которая какое-то время была в ремиссии, проснулась где-то глубоко внутри и тоненько, но невыносимо заняла.

Поначалу организовал при той средней школе, что была рядом с его домом, археологический кружок из детишек пятых и шестых классов и ходил с ними по окрестным полям и оврагам с лопатами, детскими железными совками и ситами для просеивания земли. Поехать в Херсонес на раскопки он уже не мог – жена и кролики не отпускали. Копался у себя на огороде. Нашел старинную костяную пуговицу с полусгнившим обрывком бязевых подштаников, позеленевшую екатерининскую медную копейку и чей-то зубной протез, невесть как оказавшийся у него на картофельной грядке. Жена... Жена кричала ему обидное. Ты не Шлиман, ты шлимазл... Как он уму-дрился в Галиче или в Ардатове найти жену, которая знала, что означают два этих слова – понятия не имею. Видимо потому, что был неудачником.

В свободное время он писал статьи на темы кто мы, куда мы, откуда есть пошла, но все никак не придет, и посылал их поначалу в разные солидные исторические журналы вроде «Вестника древней истории», «Исторического архива» или «Вопросов медиевистики». Их возвращали. Хорошо, если без издевательских комментариев или советов, что почитать, прежде чем писать на такие темы. Мало-помалу от вопросов общих перешел он к частным и стал писать историю своего райцентра, решив, что в ней он как в капле воды... Поначалу на основе архивных документов, которые были у него всегда под рукой. Ездил он за свой счет и в областной архив, чтобы копаться там в купчих и закладных времен Екатерины Алексеевны или Александра Первого. Нашел там никем не виданный обрывок из дозорной книги, составленной в царствование Алексея Михайловича с полным списком городских нищих. Правда, ему скоро надоело писать скучную, бесцветную и пыльную историю захолустного уездного городка, и он начал вставлять в нее выдуманных из головы городничих, купцов, промышленников и разбойников. Мало того, наш летописец этим выдуманным персонажам вкладывал в карманы выдуманных камзолов, кафтанов и зипунов выдуманные документы, которые сам же и сочинял во множестве. К примеру, городничему времен Екатерины Великой секунд-майору Федору Карловичу фон Циллергуту приписал командировоч-

ный роман с императрицей. То есть сам Федор Карлович ни в какую командировку не ездил, а сидел сиднем в своем то ли Васильевском, то ли в Воротынском, а в командировке была Екатерина Алексеевна, которая, проплывая по Волге из Твери в Симбирск, залюбовалась статным видом городничего, отдававшего ей честь... Ну, не важно, где и как он ей ее отдавал, но наш краевед утверждал, что в городском архиве осталась *lettre d'amour* к городничему, написанная рукой Государыни, в подлинности которой сомневаться не приходится, поскольку она написана с ошибками, которыми так любила уснащать свои записки императрица.

И это не все. Нашелся в архиве документ, по которому выходило, что прототип всем известного Павла Ивановича Чичикова в самом начале своей, так сказать, карьеры, проживал в этом самом то ли Моршанске то ли Вене. Там ходил он в городское училище, там начинал служить в казенной палате и там чуть не женился на дочери старого повыхтика. Документ этот был дневник дочери повыхтика, так и оставшейся в девицах. Уж такое там было написано про Павла Ивановича, про город и даже про Гоголя, и с такими пикантными подробностями про Николая Васильевича, который все эти сведения из глупой и несчастной старой девы разными хитростями выуживал, что не только местные краеведы взбудоражились, но даже из самой Москвы собиралась приехать комиссия из Академии Наук из Института русской литературы во главе с каким-то академиком. В довершение ко всему хвастал наш герой, что нашел копейку, которую Чичикову завещал беречь его папаша, и даже показывал ее своим друзьям.

Может, оно бы и обошлось, но все эти истории с обширными цитатами из выдуманных документов публиковались в районной газете, редактор которой был закадычным другом и, что уж тут скрывать, собутыльником нашего героя. Теперь уж не узнать, но может статься, что все эти истории и сочиняли они вместе с редактором за бутылкой портвейна или водки, поскольку редактор районной газеты был тоже человеком незамечательным. Хотел он стать знаменитым писателем и в детстве подавал к этому надежды довольно больших размеров, печатаясь в «Пионерской правде» и в журнале «Костер». Впрочем, это уже другая история, как любят писать начинающие прозаики в конце своих рассказов, повестей и романов.

Если бы все дети рождались с небольшими молочными крыльями. Они бы у них росли лет до пяти или семи, а потом понемногу отсыхали и в десять лет отваливались бы совсем. Летали бы только худенькие. Да и то – невысоко и недалеко. Кроме тех, которые упорно тренировались бы. Отсохшие крылья хранили бы дома матери в шкапушках как семейные реликвии. Вроде молочных зубов. Если же крылья не отсыхали в нужное время, то ребенок считался не умственно отсталым, конечно, но с задержкой в развитии. Иметь крылья лет в пятнадцать, а тем более в двадцать считалось бы уже неприличным. На таких смотрели бы с сочувствием и состраданием. Они, и в самом деле, были бы не то чтобы с приветом, а... К примеру, писать умели бы, а вот счет и вообще точные науки им не давались. Не было бы среди них ни бухгалтеров, ни инженеров. Но если у крылатых обнаруживался голос, то их с руками и крыльями отрывали бы монастыри и церкви. Самый большой хор крылатых детей был бы при ХХС, а в Ватикане только второй. Богатые люди своим детям крылья удаляли бы хирургическим путем*, а бедные... В глухих деревнях встречались бы и крылатые старики со старухами. Обычно это были бы бобыли, но иногда они бы образовывали семьи. Чаще всего бездетные. По-настоящему, как птицы, они летать не могли бы, но долго парили бы в восходящих потоках воздуха. Этим пользовались бы туристические фирмы. Наймут человек пять крылатых прыгать с высоких страшных скал и привезут за деньги фотографов-любителей, чтобы те фотографировали, как они красиво парят. Конечно, и в городах крылатые, хоть и редко, но встречались бы. Жизнь в городе была бы у них не сахар. На работу с крыльями устроиться трудно. В офис не пойдешь, шофером тоже не возьмут – даже и на стуле толком не посидеть. Какая-то часть устраивалась бы работать дворниками или натурщиками, но очень небольшая. Натурщиками, в основном, женский пол, а у мужского, как возраст приходил, так волосы начинали бы расти на крыльях. Вроде как на ушах у обычных мужчин. Вид, прямо

скажем, не презентабельный. Зато ходить по вагонам метро и просить подаяния – в самый раз. Им подавали бы больше всех, и потому за них постоянно воевали бы криминальные нищенские кланы. А цыгане и вовсе нашли бы способ делать так, чтобы у детей крылья не отсыхали никогда. Поили бы их специальным травяным настоем. Понятное дело, на водке. Цыган за это привлекали бы к уголовной ответственности, но толку от этого не было бы никакого.

*Удаляли бы в старое время, в новое использовали бы гормональную терапию.

Ночью ударил мороз. Зима пришла, растеряв по дороге снег. В поле все точно такое же, как и осенью – рыжие и черные кусты, поломанные и погнутые ветром стебли, два или три белых облака величиной с салфетку каждое, намертво приклеенных к ледяному голубому небу, и все. Точно все, что есть вокруг, отступало, отступало как французы по старой Смоленской дороге, но кто-то сказал всему, что есть вокруг «поле волнуется три», и оно замерло. Небо и воздух вдруг стали такими прозрачными, что дорога, которая идет через все поле к горизонту, превратилась в бесконечную, и на другом ее конце, если как следует сощурить глаза, можно увидеть Африку, слонов и жирафов, бредущих в вязком знойном мареве, и даже крошечного цвета эбенового дерева воина с копьем, осторожно крадущегося за добычей по окаменевшим от мороза комьям грязи и по высохшим черным и рыжим кустам пижмы и чертополоха. Все выглядит только что оставленным, как квартира, из которой вчера вышли за хлебом, а оказалось навсегда. Солнце светит сквозь еще не пыльные шторы, за окном шумят машины, на столе стоит чашка с недопитым чаем, на блюде крошки от съеденного печенья, но будущего уже нет – есть только прошлое, которого хоть завались, и совсем немного настоящего. При слове «будущее» откуда ни возьмись выбегают черные мыши и начинают поедать крошки на блюде.

Прочел я однажды в каком-то романе, что главный герой после того, как проучился два года в агрохимическом колледже университета, взял да и перевелся на филологический факультет. Так его поманили к себе Чосер и Шекспир, что он не смог удержаться. Прочел и задумался – что если бы я учился не в своем химико-технологическом институте, а в университете... После второго курса, как раз перед началом всех этих невообразимо скучных процессов и аппаратов химической технологии, коллоидной химии и еще кучи дисциплин, только от названия которых хочется упасть в анабиоз, я взял бы и...

Учился бы хорошо. Отлично даже. Математики нет, физики нет, начертательной геометрии и след простыл – учись не хочу. Потом остался бы на кафедре ассистентом или устроился бы на работу в какой-нибудь научно-исследовательский институт по изучению поэтов-современников Пушкина. Как же хорошо быть филологом! Реактивы тебе не нужны, приборы, кроме компьютера, степлера и чайника, не нужны, лаборант может только плохо заварить чай, а не устроить пожар или взрыв при перегонке под вакуумом. Тебе не надо смотреть с завистью на коллег из какого-нибудь Гарварда или Принстона, которым любой заказанный прибор или реактив могут доставить уже завтра, а тебе только через три месяца после того, как ты их закажешь на последние деньги... все равно не привезут, потому что таможня... потому, что таможня, и все. Все или почти все нужные архивы у нас, и надо только сказать, что ты завтра с самого утра в библиотеке или в архиве. Сидишь себе, выписываешь нужные цитаты, заказываешь ксерокопии, с наслаждением вдыхаешь запах старых книг, а не тошнотворный запах какого-нибудь пиридина или этилмеркаптана. И никто тебе не капнет на новые джинсы серной кислотой.

Я бы построил себе дом из... да из любого стихотворения, к примеру, Тютчева, и в нем поселился. Наташил бы туда разных цитат, монографий, писем тютчевских друзей, родственников, свидетельств очевидцев, дагерротипов, подорожных и зажил бы в нем припеваючи. Еще и про-

рыл бы ходы от своего дома к другим стихотворениям Федора Ивановича и дальше, к другим поэтам и даже в наше время, а если хватило бы финансирования, то и в будущее. И сам бы написал статью о том, что в стихотворении «Она сидела на полу и груду писем разбирала...» пол бы паркетный, дубовый, и стоил такой паркет по три рубля с половиной серебром за квадратный метр, как выяснилось по найденным автором статьи архивным документам, а вовсе не по десяти рублей ассигнациями, как это утверждали ранее в своих работах некоторые недобросовестные исследователи. Впрочем, интереснее всего открыть неизвестного науке поэта того времени. Интереснее этого открытия может быть только выдумывание этого поэта из головы и написание за него стихов. Само собой, гениальных. Найти в самом дальнем и самом пыльном углу какого-нибудь пензенского или тамбовского архивов папку с бумагами губернского мирового или сиротского суда, а в ней стихи секретаря... И еще написать роман о жизни этого секретаря. Сочинить ему солидную, важную и строгую жену с кустистыми бровями, детишек, скучную службу, карты по пятницам с сослуживцами, горькую и... хрупкую Анну Сергеевну, которую он встретит... да где угодно, там и встретит. Хотя бы на ежегодном совещании секретарей сиротских судов, которое проводит министерство внутренних дел в Петербурге. Ну, а потом регулярные командировки в столицу по служебной надобности, чад безумной встречи, одна минута на пути и стихи, написанные в поезде стремительным неразборчивым почерком на обратной стороне бесчисленных черновиков протоколов, отношений и заявлений. И письма. Лучше всего найти их. По ним легче всего написать документальный роман. И ни за что никому не признаваться. Даже на вручении Букера или Большой книги насмерть стоять на том, что только нашел письма, стихи и расшифровал трудный почерк. Не открывать рта даже тогда, когда жена как бы невзначай спросит, а кто такая Анна Сергеевна, которую ты выдумал, но...

Впрочем, это все сложно – и роман, и стихи, и сидение в архивах, и рытье ходов, и не признаваться. Сколько лет на все это уйдет... Проще взять и найти в музыкальных архивах совершенно неизвестный вальс Чайковского или Шостаковича. Точно так же, как нашел в архиве какой-то итальянец Адажио Альбини. Правда, на композиторский факультет университета тут не перейдешь – придется поступать в консерваторию, а перед этим еще много лет учиться в музыкальной школе, из которой меня когда-то отчислили за постоянные прогулы.

Где-то в конце второй или в начале третьей половины жизни ты начинаешь понимать... Нет, не понимать, но думать, что понимаешь, как нужно было прожить собственную жизнь. Перед сном или часа в четыре утра, когда сна ни в одном глазу, начинаешь чертить план той жизни, которую нужно было прожить вместо той, которую ты уже... прожил. На плане все, как на карте военных действий, нарисовано в самом крупном масштабе – ловушки, ошибки маленькие, ошибки большие, ошибки поправимые и непоправимые, тупиковые дороги, на которые лучше не сворачивать, загсы, ипотеки, дети, жены, институты... Везде все надписано и снабжено примечаниями и советами вроде того, что во второй брак лучше не вступать, а лучше сразу в третий, и будет тебе... и будет. Вот этот холмик – защита диплома, вот этот побольше – защита кандидатской, гора вроде тех, что на Урале или в Карпатах – докторская, отвесная скала, вершина которой теряется в облаках – Нобелевская премия или концерт в Карнеги-холле. На плане все очень красиво – большие красные стрелки от первой жены к третьей в обход второй, синие поменьше – от начальника к тебе, и совсем маленькие, почти бесцветные, к одной женщине из планово-экономического отдела или с кафедры романо-германской филологии... или от нее к тебе... Короче говоря, все ясно, как простая гамма.

С этим планом ты идешь к детям и говоришь – вот прекрасный план. Живите по нему, и будет вам... и будет. Здесь все обозначено, все узкие места, все болота, все непроходимые леса, все солонечные поляны и все острова, на которых зарыты сундуки с сокровищами, а дети... тебя и слушать не хотят. У них уже есть свои планы, которые они набросали на скорую руку и... живут, совершают ошибки – маленькие, большие и даже непоправимые, сворачивают не на те дороги, обходят хол-

мики диссертаций, и маленькие, почти бесцветные стрелки на их планах превращаются в такие огромные красные... Короче говоря, они советуют тебе взять свой прекрасный план и идти вместе с ним... Ты их начинаешь уговаривать, показывать на плане, где самая короткая и самая удобная дорога, по которой проще всего прийти к... Вот и иди, говорят они тебе. Еще не поздно самому пройтись. Заодно подышишь свежим воздухом. Внуков не забудь с собой взять. Не вздумай покупать им сладкое – они и так сегодня съели по два внеплановых куска торта. Игрушек тоже не покупай – их уже некуда складывать.

И ты идешь пройтись с внуками, а по дороге в кондитерскую за двумя третьими кусками торта, который им так понравился, подробно излагаешь им свой план, потом, уже в кондитерской, рисуешь на салфетках красные и синие стрелки, штрихуешь черным ямы, загсы, ипотеки, обводишь в кружки холмы диссертаций и концерт в Карнеги-холле, а они... тебя внимательно слушают, стучат ложками по блюдам и катают по столу красные пожарные машины, купленные в сувенирном киоске у входа в метро. Потом вы идете домой, и у входа в подъезд ты им отдаешь план. Они начинают драть из-за того, кому он достанется, и разрывают его пополам.

Нет-нет да и задумаешься о будущем писателей. Не о будущем литературы, которая была есть и будет всегда, а о писательском будущем. Ну, погоревали мы о смерти изобретения Гутенберга и смирились с наступлением эры электронных книг. Народ понес с базара не бумажные книжки с картинками в толстых и тонких разноцветных обложках, а файлы, и не понес даже, а стал их покупать, не вставая с дивана, в сетевых книжных магазинах. Чует мое сердце, что в сверкающем светлом будущем и файлов не будет. Во-первых, читатели исчезнут как класс, поскольку все станут в той или иной степени писателями. Во-вторых, кто же станет издавать такую прорву писателей? В интернете найти читателей станет совершенно невозможно. Их будут искать, выманивать из своих нор разными подарками, денежными призами и скидками на все, что скидывается. К тому времени наверняка изобретут телепатию, или не изобретут, но каждому вживят чип для своевременной уплаты ЖКХ или для того, чтобы пресекать крамольные мысли в зародыше. Хакеры из числа писателей – а найдутся, конечно, и такие – начнут взламывать пароли в чипах, или не начнут, а просто купят базу паролей, как сейчас скупают телефонные базы телефонные мошенники. Ну, а как купят – так и станут передавать свои рассказы, повести и романы, не говоря о стихах, прямо в головы ничего не подозревающим гражданам. Днем, понятное дело, все основные частоты будут заняты распоряжениями властей, а вот ночью... Так и вижу, как писатель ближе к полуночи начинает лезть в головы соседей по дому, а они стучат ему по батарее и кричат... Хотя пойдй еще найди, кому стучать. Кто же станет признаваться, что он писатель? Как пить дать жильцы начнут жаловаться в районную управу или в полицию, в отдел по борьбе с мыслепреступлениями. Сейчас следствие – и станут его, бедного, ловить. Понятное дело, по исписанным листкам бумаги его не вычислишь, не двадцатый век, а вот аппаратуру будут искать. По улицам в ночные часы станут ездить специальные машины с пеленгаторами вроде тех, которые показывают в кино про разведчиков, или летать специальные дроны. Создадут отделы по борьбе с незаконным писательством. Кстати, будут и законные писатели, вроде Захара Прилепина или Дарьи Донцовой, которым государство разрешит и днем вещать в головы читателям. У них даже будут свои, именнные частоты. Школьникам будут впихивать в головы «Войну и мир» или «Преступление и наказание» принудительно. Тут и не захочешь, а придется слушать. Шапочки из фольги к тому времени будут под строгим запретом. Наверное, к тому времени правительство начнет понемногу уничтожать те немногие бумажные книги, которые останутся в домах у граждан, если они, конечно, вообще останутся. Мало ли что в этих бумажных книгах понаписано. Электронные библиотеки проверять просто, особенно если они в голове, внутри чипа, который под неусыпным контролем, а вот бумажные... Наберут в штаты МЧС брендмейстеров Битти, снабдят их электрическими псами, и... Соседи сами покажут, у кого еще остались книжные полки или даже шкафы. Вот тогда-то и начнется второе пришествие бумажных книг. Поначалу они будут рукописные.

Сергей БОРОВИКОВ

СОВЕТСКИЙ ПОЭТ

I.

Когда мы сблизились, мне было сорок, а ему за шестьдесят, но знал я саратовского поэта Исаю Григорьевича Тобольского с детства.

Первое воспоминание относится к августу 1955 года, когда отмечали 50 лет моему отцу. Было торжественное собрание общественности в Доме ученых с речами и подарками, главный из которых от художников – чернильный прибор из раскрашенного гипса, изображавший Иванушку в оранжевых лаптях, с зеленой щукой и туеском-чернильницей, стоял на письменном столе до 1966 года, когда моя супруга разбила щучье веление, стирая с него пыль.

Но собрание собранием, а застолье отец устроил дома, где на три комнаты приходилось 34 кв. метра. Было очень тесно, меня за стол конечно не сажали, и я шнырял туда-сюда, из дома во двор и обратно. Помню, на дворе было уже темно. Может быть потому, что гости, мужчины по преимуществу, были в белых штанах, а в палисаднике под нашими окнами белели табачки. Тёплая темнота, в которой я часто отлучаюсь на улицу, любопытствуя на то, как гости перемещаются туда-сюда, покурить-поболтать и пописать.

Явление Тобольского было шумным и подготовленным – отодвинули стулья для выступавшего с комическим номером поэта. Он исполнил стишок «У попа жила собака» как драматический чтец, затем как эстрадный тенор, и наконец как опереточный куплетист, что привело меня в восторг, настолько ловко он бил чечетку, хлопая себя по коленям.

А спустя какое-то время вижу, как он с непостижимой быстротой рвёт на себе белую рубаху. Слышу голоса: «Гене, Гене звоните!» И опять в темноте я хожу на улицу и обратно и вот вижу, как к рыдающему поэту подводят смущенную коротенькую женщину, которую я знал, когда, гуляя с родителями на набережной, останавливались у газировочной тележки, где стояла она в белом переднике и чепце – Геня, Евгения Генриховна Тобольская.

Следующие, уже регулярные, общения начинаются с весны 1961 года, когда мы въехали в новые квартиры в новом доме на набережной Волги, которую еще не называли именем космонавтов. Долгожданному переселению предшествовала долгая борьба за большие квартиры, в счет долевого строительства на средства Литфонда, на которые претендовали и Боровиков с Тобольским. Но получили тогда в центре (набережная еще не считалась центром) не они, а Григорий Коновалов, Екатерина Рязанова и некто Лозгачев, которого надо объяснить.

Википедия: «Георгий Яковлевич Лозгачёв-Елизаров (1906–1970). Родился в семье саратовского железнодорожного обходчика (по другим данным дворника) Якова Ивановича Лозгачёва и его жены Февронии Игнатьевны. Был вундеркиндом (*источник не указан*). В 1912 году усыновлён Марком Тимофеевичем Елизаровым и Анной Ильиничной Ульяновой-Елизаровой (сестрой В.И. Ленина). Проживал в Санкт-Петербурге с новыми родителями, где учился в коммерческом училище.<...> В 1950-х гг. начал писать книги. В 1959 году была выпущена книга его воспоминаний «Незабываемое», где автор вводит в научный оборот материалы из своего личного архива, неизвестные ранее фотографии». Википедии неведом источник¹, но я видел в дореволюционном журнале статейку «Мальчик-вундеркинд», с фотографией трехлетнего Горы с саратовской гармошкой, который уже умел читать.

¹К достоверности Википедии: в Саратове никогда не было Коммунистической улицы, на которой якобы жил Лозгачев, была Коммунарная, она же Соборная.

После книги «Незабываемое» офицер стал специализироваться на воспоминаниях о Ленине, выступая на многочисленных встречах.

«С гордостью показал я свою красную комсомольскую книжечку Владимир Ильичу. Из чистых бесед со мной, когда я навещал его в рабочем кабинете, он был прекрасно осведомлен о нашем детско-молодежном движении. Во время своих прогулок по Кремлю он всегда останавливался возле нас и, окруженный постоянно стайкой ребят, с интересом расспрашивал о жизни «Кружка детей Кремля».

– Ну, что же, поздравляю, Гора, – сказал Владимир Ильич, полюбовавшись моим комсомольским билетом, – становись теперь старше и умом и учись хорошенько, товарищ комсомолец и будущий большевик! Впрочем, ты ведь давно уж большевик, – с лукавой улыбкой заключил Владимир Ильич». И т.д.

Насколько правдивы воспоминания взрослого Горы, судить не могу, но ведь есть кадры кинохроники, где он рядом с вождем, а главное, что ИМЭЛ (институт изучения Маркса – Энгельса – Ленина), бывший цензором всех публикаций о Ленине, книгу Лозгачева к печати пропустил. В городе его за глаза называли сыном Ленина, хотя все и знали, что у вождя детей не было. В Союз писателей однако не приняли. Был он дядька неприятный, хромой, сильно пьющий и агрессивный.

Еще в дом на Коммунарной попала творческая элита: балерина, народная артистка Вера Дубровина, автор балета «Девушка и смерть» композитор Ковалев, ректор консерватории Христиансен, актер театра драмы Юрий Каюров, сыгравший в кино молодого Ленина.

Мы же получили трехкомнатные квартиры на набережной, дом 5, Тобольский на 3-м, мы такую же на 4-м этаже. Ему лучше этаж, но на пятерых, тогда как нас было трое. Я бродил по просторным комнатам, глядя на Волгу, когда с лестницы донеслись удары и крики «топор!». Когда мы с мамой выскочили, на площадке увидели у двери его квартиры Тобольского, который колотил в запертую дверь, крича «Топор где, дайте топор?!», и в ужасе отходящую соседку Светлану Бах, декана филфака университета, где ещё предстояло учиться мне и Левке Тобольскому. Попозже Исай поднялся к нам: «Маша, прости! – Да что я – перед Бах извиняйся». Причиной гнева был испортившийся замок, который Исай намеревался взломать топором – ждаты он не любил.

И начали мы соседствовать до 1974 года, когда разменяли наши квартиры.

У нас дома праздники не отмечали. Внизу же 7 ноября, 23 февраля или 8 марта с раннего утра было шумно, брэнчали пианино, хозяин пел песенки на свои слова. В 1965-м, в первый год совместного учения на филфаке, нам с Левкой предстояло идти на октябрьскую демонстрацию, и рано утром я зашел за ним. С криками хозяин усадил за накрытый стол и налил нам по большой рюмке водки. Был он принаряжен и возбужден: праздник!

Вообще с ним мне было интереснее и легче, чем с отцом. Ведь я рос в очень чопорной семье. Крика не помню, но и душевности тоже. Все отношения были словно под водой. К примеру, не слышал, чтобы родители повздорили. Все это и неплохо выглядит, особенно для тех, кто живет в скандале и крике, что и у нас недолго было, когда старший брат женился, стал пить и поколачивать жену. А на набережной враз воцарилась тишина. Полная невозможность откровенности не просто воспитала, но, как я сейчас понимаю, и навсегда меня испортила. А чопорность, чтобы представить... ну вот, мать с кем-то разговаривает и вдруг, глядя на меня, запинается, и, вздохнув, говорит: «Ладно, ты уже большой, при тебе можно».

Какое же слово ее остановило? Беременная!

А то, что мне на Яблочкова велели выходить из комнаты, если по телевизору, как казалось родителям, было для ребенка недопустимое... Какие же непристойные фильмы могли тогда показывать? Не забуду, как меня удаляли с «Тихого Дона», «Грозы», «Петра Первого», и я по звуку за стенкой пытался вообразить то, что на экране происходило... нет, не хочу множить примеры и прикасаться к тому, что возникало тогда в моей душе.

И вот сосед Тобольский, который между прочим мог мне рассказать, как мать Мария Самуиловна выпорола его, когда застала в группе онанирующих мальчишек. И здесь подчеркну, что

он вовсе не был похабником. Матершинник зато был отменный, а у нас дома под запретом было даже «говно».

То, что в этом тексте я иногда называю его по имени без отчества, как то делали все коллеги, говоря о нем в третьем лице, разумеется не означает, что и я так делал даже в годы дружбы.

2.

Итак, в 1985 году мы подружились. Почему я точно помню год? Потому что началась дружба с недолгого, но крайне тягостного для меня пребывания в жениховском статусе, когда из ничего вдруг возникло, что меня собираются назначить главным редактором журнала «Волга», откуда годом ранее я ушел с должности зав. отделом прозы (см. «Третий», Волга, 2020, №1-2). Да и сам я, никогда прежде о том не помышляя, как-то очень реально понял, что назначат именно меня. Тягостным было не столько ожидание, сколько сопровождавшие его звонки, особенно часто Тобольского. Разговор начинался с вопроса, был ли я уже в обкоме, а продолжался уверениями в точности информации о моем назначении. Естественно увидеть за этим своекорыстный расчет, но какой? На будущие публикации? Но «Волга» и так его печатала, за исключением поэмы «Исповедь», это тема отдельная, к тому же писал он мало и в общем-то куда качественнее, чем раньше, и препятствий с публикациями не могло быть.

Его активность стала понятна в первое же время моего, так сказать, пребывания у власти, когда он возникал в редакции ежедневно, с очень деловым видом, как бы демонстрируя, что его здесь ждут. Он уже назначил себя на роль гуру при молодом редакторе, продолжая старинную традицию умного еврея при губернаторе.

Увы, я не доставил ему этой радости. На попытки чрезмерного внедрения в редакцию ответил четким разделением между общением на службе и за выпивкой. И однажды за стаканом объяснил, что должен быть предельно (его любимое словечко) осторожен в общении. Заговорил я об этом, когда зашла речь о новом составе редколлегии, куда он не вошел, но, думаю, рассчитывал.

Не раз наблюдал его трусость. Вот шумно наезжает на собрании на Коновалова, уличая того во всяческом своекорыстии, на что тот лишь отмахивается, а по окончании первым подсказывает к нему поближе, убедительно напоминая: «Ты ведь меня знаешь...»

Вот сидим мы рядом на заключительном заседании съезда писателей России, когда зачитывают список членов правления, и он подпрыгивает в кресле, бормоча мне на ухо: «Сейчас тебя назовут!» Не скажу, что мне было вовсе безразлично, но и волнения тоже не помню. И вот меня уже не называли, а он продолжает подпрыгивать, уже с явной радостью в глазах, но бормоча: «Пойду и выступлю!» Сидящая с другого бока от него зав. отделом культуры обкома Зоя Ларионова спокойно бросает: «Я тебе пойду, сиди!» И он сидит, бормоча: «Сейчас выступлю!» Потом я узнаю, кому именно я обязан неизбранием: Марьяна Зубавина из аппарата Правления рассказала, что Ларионова побывала у них на Комсомольском, 13 и именем обкома убедила вычеркнуть меня как пока ненадежного. «Но я тебя хоть в Ревкомиссию засунула, а то неприлично – ведь главный редактор».

И что, меня хоть в малой мере задел тот цирк? Ольга Авдеева когда-то сказала, что я напоминаю ей стихи Евтушенко: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее!» Но сейчас, на закате жизни, думаю, что надо было бы так относиться к личной жизни.

Еще помню, как нисколько не обиделся, когда мне рассказали, как на партийном собрании он сообщил, ему больно видеть меня, возвращающегося с работы в нетрезвом виде. Смешно, что днем раньше и я видел его в том же подъезде в куда более пьяном, чем я, виде. А на собрании обсуждали за пьянство зам. гл. редактора «Волги» Дедюхина, а Тобольский и выступил для обвинения того еще и в спаивании младшего товарища. Вообще, тогда было в обычае на этих обсуждениях-судах то, что коллеги меняются ролями.

Особенно он бывал находчив, когда требовалось что-то добыть. Как-то и мне и ему понадобились книжные полки и холодильники, и мы знали, какие именно: чешские полки и московский холодильник ЗИЛ. И был его мастер-класс. Везде нас принимали заведующие, миловидные полноватые женщины лет сорока.

– Здравствуйте, надеюсь, наши имена вам знакомы. Разрешите представиться, я – поэт Исая Тобольский...

И улыбка хозяйки подтверждала – знает, слышала...

– ...а это главный редактор...

И мне доставалась вежливая улыбка.

– Нам необходимы два холодильника марки «ЗИЛ».

– Видите ли, сейчас мы можем предложить лишь «Орск».

На лице Исая волшебным образом улыбка внимания сменялась саркастической улыбкой недоверия.

– Вы, видимо, не расслышали, – ласково, как ребёнку, пояснял он. – Я сказал: «ЗИЛ», а не «Орск».

А где-то еще, где был предложен уже «Минск», большой, как ЗИЛ, но не столь дефицитный, он варьировал:

– Нет, вы отказываетесь понимать: к вам пришли не просители с улицы, а известные далеко за пределом Саратова представители писательской общественности.

Словно бы мы зашли не с улицы и не были просителями! Но закончилось двумя ЗИЛами. И еще он потребовал бесплатной доставки, и потом мне рассказал, что был крайне разозлен на дочь, когда узнал, что доставщики взяли с неё четвертной.

Полки мы получили где-то на базе за Энгельсом, ехали с ними в кузове открытого грузовика, я и сейчас вижу его счастливое лицо с дымящей на ходу сигаретой, и мне становится весело.

Насколько его оборотистость проявлялась в делах? Ведь не от хорошей жизни его жена пошла в газировщики. Он был, по определению авторов «Двенадцати стульев», кипучий лентяй. Если собрать всё, им написанное и, соответственно, опубликованное, то от силы наберется книга среднего формата страниц максимум на триста.

Если же обозреть его общественно-политическую деятельность, то при мне он дважды был на относительно важных должностях: заведующим отделом поэзии журнала «Волга», где он продержался года полтора, и уполномоченным литфонда по Саратовской области.

Должность уполномоченного Литфонда требует пояснения. Я уже сказал, что квартиры писателям город строил за счет долевого участия средств Литфонда, в чьей собственности было примерно 15 так называемых домов творчества писателей, которые для творчества предпочитали в зимнее время подмосковные Переделкино, Малеевку и Голицыно, ленинградское Комарово и рижские Дубулты, а для летнего отдыха с семьёй Гагры, Пицунду, Коктебель. Любопытно, что Тобольский и его семья никогда в домах творчества не бывали, лишь однажды уже стариком он долго жил в Переделкино, пока в Москве лечили внука.

Сам Литфонд находился в Москве, а на местах были его уполномоченные. Понятно, чем они занимались.

Нет, упаси Бог, не тем, о чем может подумать развращенный криминальной информацией современник, они старались как могли добыть денег на жилье, удовлетворить заявки на дома творчества, и хоть на них хронически обижались, но старались дружить. К тому же уполномоченный получал хоть и меньшую, чем ответсек, но сравнительно по тем временам приличную зарплату. Естественно, что за должность боролись. В основном Тобольский с Рязановой, в процессе борьбы ставшие врагами, но она победила, когда его сняли за любовный скандал, которого я еще коснусь.

Была ещё кормушка в виде руководства объединениями или студиями начинающих литераторов. Кто-то вспоминает и о руководстве Тобольского какой-то литературной студией, но я был свидетелем лишь того, как однажды, когда Тобольский недолго был литконсультантом при СП, на собрании молодых он довел до истерики Яшү Удина шуткой про большие носы. У него огромный нос был главной портретной принадлежностью лица, а у Яши был обычный кавказский размер, но карабахский парень, удин по национальности, обладал повышенной мнительностью и еврейского юмора не принял. Есть и еще свидетели его наставничества. Журналист Борис Плохотенко: «А я вспоминаю, как познакомился с Тобольским. 11 апреля 1981 года был последним днём семи-

нара молодых поэтов Нижней Волги (из Саратова, Волгограда, Астрахани). Действие происходило во Дворце пионеров. Я был зрителем-слушателем в группе, в которой участвовал Николай Кононов. Сначала читал свои наработки молодой инженер с Астраханского рыбокомбината. Жюри из трёх членов Союза писателей, представлявших каждый из трёх городов Нижнего Поволжья, послушав, стало вяло высказываться, когда появился жданный гость – Исай Григорич. Он сел на стул перед столом президиума. И тогда предоставили слово Кононову. Коля удивил, прочитав не заявленные ранее стихи, а новые тексты, чем ввёл жюри в некоторый ступор. Представляете? Членам СП надо было срочно встраивать в свои критические речи примеры из вновь услышанного. И слово взял Исай Григорич. Афористичное слово: “В то время как советская молодёжь активно участвует в строительстве коммунизма, едет на всесоюзные ударные стройки коммунизма, лирический герой Кононова едет на лошади по кругу. Куда, почему? Разве ради такой молодёжи мы победили фашистов?!” Тут я, четверокурсник филфака, позволил себе бестактность и заявил, что подобный вульгарно-социологический подход к поэзии недопустим. Возникла полемика, на пике которой Исай Григорич достал из кармана пиджака толстое портмоне. Трясущимися руками достал и стал извлекать из него то ли ветеранскую, то ли инвалидскую книжку: “Я инвалид (ветеран) войны! Я сюда из госпиталя специально приехал!” По-моему, мне хватило ума не съеззить по поводу необходимости приезда. Но не спросить, причём тут инвалидность, когда речь о поэзии, я не мог. В общем, разнервничался Исай Григорич, как-то всё скомкалось, показательной порки не получилось» (ФБ.18.01.21).

Но продолжаю о возможностях заработать. Редко бывало, когда, сделавшись членом СП, человек продолжал трудиться по бывшей специальности. На моей памяти, не считая профессорско-филологов, таких и не было. Но когда появилась оплачиваемая ставка синекурной должности литконсультанта при отделении СП, вокруг неё тоже закипели страсти. Примечательно, что на редакционную – в газетах, двух журналах, двух издательствах, телерадио – не очень охотно брали так называемых писателей. Вкратце могу объяснить это тем, что принятые в члены Союза писателей обычно очень быстро отвыкали от необходимости принудительного труда, одновременно резко повышая в собственных глазах социальный статус, что главные редакторы отлично знали. На моей памяти в «Волге» было только три-четыре «члена», в Приволжском книжном издательстве постоянно лишь один, в журнале «Степные просторы» и на телерадио – ни одного. Их не было ни в театрах, ни на студии кинохроники. И хотя в члены СП как правило попадали журналисты, было какое-то негласное (а в нетрезвом виде и очень гласное) противостояние, когда одни других презирали и за то, что было, и за то, что есть.

Еще подкормиться помогало общество «Знание», которое наряду с учеными привлекало и писателей. Но для платной лекции требовалась не выразительная читка своих стихов, а какая-никакая, но связно изложенная информация.

И учреждение Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы в конце шестидесятых¹, с отделениями при областных писательских организациях было нешуточным подарком тем, кто желал не служить, а творить, но творил настолько или плохо или мало, а точнее и плохо и мало, что на жизнь даже скудную не хватало.

Если у прозаиков случались затруднения со сценическим исполнением своих сочинений, то у поэтов, тем более такого артистического темперамента, как наш герой, их быть не могло, если ему чего-то на публичном выступлении и не хватало, так это только времени. И вот за одну встречу стало возможно получить 15 рублей (из них 5 отдать в бюро). Бюро выдавало путевку, на которой принимающая сторона оставляла оценку выступлению гостя и штамп своей организации. Тут Тобольский и развернулся. Сужу об этом по отчетам на собраниях заведующего бюро пропаганды. Помню на этих должностях двух бывших актеров, тюзовца Гусева и Смирнова из драмы. По-

¹К сожалению, не сумел найти точную дату. Бюро при «патриотическом» СПР существует и сейчас, но в своих многочисленных печатных интервью его многолетняя шефиня Алла Панкова ни словом не вспоминает о советском предшественнике, хотя и начинала там.

следний однажды оконфузил нашего Николая Елисеевича¹, устроив о нем вечер. В отделение СП, недавно переехавшее из одной комнаты в «Волге» в помещение, составленное из трех квартир, Смирнов привел не меньше десятка своих списанных коллег, которые, конфузясь, переоделись в комматужке бухгалтера, и когда постановщик включил магнитофон с песнями на слова Есенина, ветераны сцены в сарафанах и расшитых рубашках стали кружиться вокруг красного как рак Шундика, вынужденного встать в центр хоровода. Тогда впервые я его пожалел. Так вот из того, что мы слышали в отчетах, выходило, что первое место по числу платных выступлений всегда держит Тобольский. Информация вызывала кривые улыбки и возмущенные комменты коллег. Начинались долгие некрасивые препирательства, где фигурировало не только число выступлений и, соответственно, заработка, но и место, где выступал коллега, в городе или на селе, а если на селе, то далеко ли от города. Звучали и обвинения в приписках, здесь обычно разоблачителем выступал тот же Тобольский, упирая на широкую дружбу второго по числу выступлений Ивана Малохаткина с руководителями хозяйств, основанную на совместном распитии спиртных напитков.

Рекордсменом Исай Григорьевич был еще в одной области, и это опять-таки отзывчивалось на собраниях.

В том, что пишущие стремились стать членами Союза писателей, играло большую роль то, что пребывание там социально приравнивало к труженикам любых профессий, шел трудовой стаж, оформлялась пенсия, и – внимание – оплачивалась временная нетрудоспособность, словно боля гриппом было невозможно писать поэму.

Больничный лист оплачивался из расчета ежемесячного заработка 120 рублей не дольше двух месяцев подряд и не больше четырех месяцев в году. И товарищи по перу знали, что до дня в СП использует этот срок один из них.

В советское время писатели Саратова лечились не в обычных лечебных учреждениях, а были прикреплены к больнице, которую в городе по старинке называли партактивной. Там работала моя вторая жена, и я узнал, что Тобольский со всеми сдружился прямо-таки по-родственному, за глаза его называли только Исай, а он, помимо общений и болтовни, радовал и больных и медиков своими выступлениями, где сам был и конферансье и исполнитель.

С возрастом он нисколько не утомился. Молодой исполнял «У попа жила собака», а вот вспоминаю так называемые творческие семинары брежневской эпохи. Для единения с народом художников, писателей, актеров собирали в горькоме партии и, после неутомительной официальной части, везли автобусами в недалекие хозяйства или на предприятия, где после экскурсии гости давали концерт, после которого хозяева гостей кормили, а главное, поили. Тобольский был центром, приобретая даже свои штампы: перед выступлением просил водички и, взяв в руку стакан, спрашивал: «Не разбавленная?» Живо вижу, как крупная, полная актриса драматического театра Людмила Муратова, раскачиваясь от непрерывного смеха, отпихивает от себя Тобольского, вскрикивая: «Хулиган! Хулиган!»

Да, в жизни он был интереснее своих стихов.

3.

Мой друг Алексей Голицын навёл меня на публикацию работницы Саратовского архива Надежды Гусевой (oldsaratov.ru/forum/poety-i-pisateli#comment-20317).

«Встретила метрическую запись о рождении поэта: ГАСО Р3755.2.11.

4-й район г. Саратова Актовые записи ЗАГС о рождении за 1921 год

26 августа родился Исаак Тобольский

отец Григорий Тобольский, извозчик, 31 год

мать Мария Тобольская, 21 год

место рождения и проживания родителей Цыганская улица,

дом № 2

¹Шундика (прим. ред.).

второй ребенок

за неграмотного Григория Тобольского расписался...»

Я и сам вот что обнаружил:

«Встретила запись о браке 5 августа 1918 году Тобольского Герша Ицковича, гражданина Скидельска Гродненской губернии с девицей Барам¹. (ГАСО, ф. 637, оп. 2, д. 37776). Предполагаю, что это родители Исаея Григорьевича» (oldsaratov.ru > forum > poetry-i-pisateli).

Значит, он родился в двух шагах от синагоги на ул. Гоголя, и, вероятно, раввин после обрезания подал, как положено, эти сведения в ЗАГС Волжского района, который тогда назывался 4-м.

Что отца-извозчика он называл рабочим, вполне в духе времени. Удивительна же неграмотность тридцатилетнего еврея в 21-м году в большом городе – неужели и бабелевские извозчики не могли расписаться? Я никогда не слышал от Тобольского про отца, а мать Марию Самуиловну, конечно, хорошо знал. Из прозы деревенщиков мы узнавали про русских старух, а это была сильная еврейская старуха, которую знаменитый сын побаивался. Говорила она с заметным акцентом, но не столь сильным, как у ее снохи, родившейся и выросшей в Польше. Вот, попытаюсь воспроизвести ее возмущение, когда кто-то сказал, что ее внук пьет: «Лёва пёт! Лёва в рот не берет. Зачем говорят? Исай выпил, домой пришел, я его ту, ту! он спит». С ней любила беседовать моя мама. Как-то с удивлением передала её слова о живущем в соседнем подъезде зубном враче, здоровенном мужике, примерном семьянине и хозяине: «Наш жидок!» В мамином представлении это слово, да еще в устах еврейки, немыслимое.

Брат Исаея Давид тоже был фронтовик, потерял ногу и жил, кажется, в Астрахани. О другом брате, точнее муже двоюродной сестры, израильтянине Натане мы впервые узнали из поэмы «Исповедь», о которой я еще выскажусь.

Про бабушку я рассказал, а Евгению Генриховну еще вспомню. С Левого в 1965 году мы оба поступили на филфак СГУ с той разницей, что я сразу после школы, а он курс или два отучился в медицинском. Я бы много мог вспомнить о скончавшемся в 2005 году Льве Тобольском, но тема этого очерка его отец.

4.

С благодарностью к Алексею Голицыну использую для своего текста обнаруженный им протокол закрытого партийного собрания с повесткой дня «Персональное дело И.Г. Тобольского», выдержки из которого необходимо процитировать.

«Б.В. Дедюхин рассказывает о сути дела. 5 июля И.Г. Тобольский оскорбил в рабочее время в журнале М.Г. Носкову. Учитывая, что М.Г. Носкова не подала заявление, бюро партийное решило ограничиться обсуждением.

Но Тобольский повел себя неправильно. Не дал партийной оценки своей позиции, бюро дало ему выговор.

И.Г. Тобольский. Сейчас трудно выяснить все причины, истинность того, что произошло тогда. Я не нахожу возможности оправдываться. И не буду. Я заслуживаю сурового ответа. Усложняется это тем, что я не могу представить ни одного оправдательного мотива, т.к. я мужчина. Но я не ударил Носкову. Я замахнулся, но не ударил.

А.П. Давыдов.

В чем дело? Из-за чего вышел спор?

Н.Е. Палькин. Рассказывает о сути дела. Приехал Стрыгин². Носкова спросила: он (Стрыгин) молодой или старый. Тобольский начал ее обзывать.

¹Вспомнил, как в каком-то споре о фамилиях он сказал: «Фамилии ерунда, моя мать в детстве была Машей Барановой».

² Стрыгин Александр Васильевич (14. VIII. 1920, д. Беломестная Криуша Тамбовского у. – 16. IV. 1999, г. Краснодар) – прозаик, драматург.

Г. Лозгачев-Елизаров. Меня поступок Тобольского не удивляет. Все, кто в парт. собрании 10 лет, знают, что за фигура Тобольский. Мы либеральны, либерален обком, райком. Мы знаем Носкову, как хорошего работника. Я ее не обвиняю, а с Тобольским возились много. Меня всегда удивляло его двоеженство, непартийное отношение.

М.В. Чернышевская.

Сколько я в партийной организации, я всегда слышу: Тобольскому строгий выговор. Сколько же можно? Носкова – хороший человек. Я считаю, что бюро слишком мягко обходится с Тобольским.

Г.Ф. Боровиков.

У меня вопрос: что бы сделал Тобольский, если бы отец двух детей соблазнил его дочь. Обещал жениться и не сдержал слова?

Г.И. Коновалов.

Тобольский несколько лет раздевает себя догола. Мы же пили за Носкову, как за жену Тобольского.

И.Г. Тобольский. У нас была хорошая дружба с Носковой. Она – благородный человек и сама не хотела, чтобы у нас распалась семья. 22 года я честно заботился о каждом из вас, будучи уполномоченным Литфонда. Бухгалтером была Носкова. У нас были хорошие отношения. 11 лет я был членом бюро. Я понимаю, что заслужил самого высокого наказания, но я прошу вас, моих товарищей, учесть всю нелепость ситуации. Я год в журнале, мне это удается, руководство журнала довольно мной. Я прошу вас учесть, что я еще не утвержден на должности заведующего отделом. Я прошу смягчить мне приговор. Я никогда не дам повода, чтобы еще раз обо мне где-то зашла речь».

На этом протоколе оборвана последняя страница, но дату примерно можно установить по словам Тобольского: в «Волге» он работал в 1969-70 году. Тогда отделение СП (ответсек Палькин и бухгалтер Носкова) находилось в общем с журналом помещении. Прочитав протокол, я хоть и был в теме, впервые услышал о вроде бы женитьбе Тобольского на Носковой, но от себя кое-что дополню.

Марию Григорьевну Носкову я знал с детства, когда ходил к отцу в отделение СП сначала в Доме ученых, а потом в Когиз, как с тридцатых годов называли саратовцы здание на углу пр. Кирова и Вольской, где на первом этаже был самый большой книжный магазин, а верхние этажи занимали облуправление полиграфии, облкниготорг, Саробллит (цензура). Была М.Г. славянски пригожа, статна и румяна.

И мы с мамой стали свидетелями того, как Исай Григорьевич уходил. Подобной сцены я не видел и уж конечно не увижу. Вышли мы тогда на шум с нижней площадки, естественно с голосом Исай, но главное, и женскими голосами. Мать и жена стояли в раскрытых дверях, он уже сходил на лестницу. Мария Самуиловна что-то выкрикивала, думаю, на идише, а Евгения Генриховна вслед ему хлопала в ладоши. Полвека прошло, но они стоят перед глазами.

Не знаю, как долго И.Г. прожил у Носковой, вероятно месяц-другой, и вернулся. Даже тогда я вполне оценил комизм его объяснения, которое все цитировали: вернулся, узнав, что сноха Ольга уехала учиться, значит Левка в её отсутствие так изблядуется, что его семья рухнет. К тому же времени относится противный эпизод с участием поэта Малохаткина. Выглянув к окну, я увидел его внизу и стоявших на балконе маму и жену Тобольского. Малохаткин их поприветствовал и спросил, где хозяин, а когда они с готовностью сообщили, что ушел, тот, гадко осклабившись, громко сказал: «Понимаю, к Маше пошел».

Сложный роман поэта и бухгалтера продолжался еще долго, обрастая новыми яркими деталями, из которых помню какое-то, уже при моем участии, большое писателей, редакции и обкомовцев застолье в малом зале ресторана «Волга», когда Носкова убежала от каких-то его ревнивых домыслов. И меня, как самого молодого, послали её вернуть, и уже на лестнице обогнал на бегу надевавший пальто Тобольский. Была зима, шел снег, он кричал: «Маша, вернись, а то меня из партии исключат!» И вдруг словно бы ринулся с тротуара под проходивший троллейбус, демонстрируя готовность к суициду.

Адресовал он ей стихи, где даже каясь, собой любовался:

*Даже разум –
Сердцу не указка,
Всякое бывает в долгий век...
Женщину,
Хорошую, как сказка,
Полюбил женатый человек.*

*Но ушел он от своей удачи,
Чуть не задыхаясь от тоски...*

*Верно всё...
И всё-таки иначе
Сильный поступает по-мужски!..*

Конфликты и скандалы всегда сопровождали Тобольского, что нельзя объяснить лишь его повышенной возбудимостью. Ну, вот.

До самого выхода на пенсию, редактором в отделе прозы «Волги» работала В.А. Коркина, которой я уделил немало страниц в своем мемуаре «Пика, трефа, бубна, черва», напечатанным в моей книге «Пустая полка» (Саратов. 2018).

Редакция, рабочий день, и вдруг из кабинета Шундика словно волокут что-то. Выскочив в коридор, я вижу, что он пуст, однако тут же у выхода возникает пунцовый Николай Елисеевич, оборачивается и кричит: «А сейчас руки пойду мыть!» И я видел, как из его кабинета вышмыгнула красная до синевы Коркина. Можно предположить, что разборке положило начало упоминание Людмилы Алехнович, подруги Коркиной и сердечной привязанности Шундика. А Исаю Григорьевичу, увы, было присуще словно бы прилипать ко всему, что скрывалось, и вытаскивать это на свет божий. И очень вспыльчивый Шундик схватил, судя по финальной реплике, с некоторым мордобитием, говоруна и выкинул из редакции. Потом долго его не прощал. И бывало, вечером Дедюхин и я могли наблюдать, как тот скребся с улицы в огромные стекла кабинета, а Шундик махал туда рукой, дескать изыди, но в конце концов они помирились.

Однажды он выкинул номер, какого и от него не ждали.

Я лежал в той самой больнице с подозрением на инфаркт, когда однажды рано утром мне в палату позвонил Тобольский и закричал, что сейчас покончит с собой из-за польской курвы. Я не поверил, но он действительно наглотался снотворного и вскоре очутился в той же больнице, что и я. И поведал, что приревновал свою старенькую жену к событиям полувековой давности, когда польские евреи, спасаясь от Гитлера, бежали в СССР, и по дороге у юной Гени случился эпизод с молоденьким парнем, о чем она вдруг вспомнила и зачем-то рассказала супругу. И он наглотался каких-то таблеток и оказался в той же больнице, где и сообщил в деталях о случившемся. Впрочем, серьезные отравления лечили не там.

5.

Журналистское прошлое Исае Григорьевича прошло много раньше наших общений, и я пользовался тем, что нашел в книгах и в Сети.

Информация порой противоречивая.

Вот газетные за 13 и 18 апреля 1941 года вырезки публикаций его стихотворных текстов «Весна», «Коварство и любовь», где под первой обозначено «член литературного объединения при редакции газеты “Молодой сталинец”», под второй – «Завод имени Ленина». Но все биографические источники сообщают, что в 1940 году он был призван в армию. Как же в 41-м он мог трудиться на саратовском метизном предприятии?

Или сообщается о том, что после войны он был редактором многотиражки Саратовского медицинского института, чему подтверждения я не нашел.

А вот. «Он много работал в печати, был редактором районной газеты». Здесь я сошлюсь на информацию от своего отца Г.Ф. Боровикова, который не отличался выдумкой и не склонен был к фантазиям и сплетням. И он мне рассказывал, что после войны ему как начальнику управления полиграфии пришлось возглавлять комиссию облисполкома по расследованию информации о том, что редактор газеты Ворошиловского (ныне Саратовский) района поэт Николай Корольков и литсотрудник той же газеты поэт Исай Тобольский пьянствуют и разбазаривают редакционное имущество. Выяснилось, что часть мебели они продали, часть растащили по домам, а главное, лишили редакцию транспортного средства – лошади с повозкой. Мебель озорники вернули, но лошадь, по их признанию, была продана знакомым татарам, живущим в Глебучевом овраге и занимавшимся скоряжеством и торговлей кониной. Как-то я решился, поскольку мы стояли за добрым стаканом в подвальном шинке на Московской улице, спросить Исаю Григорьевича, конечно не о мебели и лошадке, но о работе в пригородной районке, и он подтвердил рассказ «Гриши» и признался, что не понимает, почему тогда не спился, как Николай Корольков.

Бесспорным было его участие во фронтовой печати, правда, вряд ли служба в штате редакции, как иногда сообщают сайты: «Почти четыре года он колесил по военным дорогам в качестве корреспондента фронтовых газет».

Думаю, вернее так: «...не только рядовым красноармейцем, но и в качестве внештатного корреспондента газеты». О внештатном его участии в армейской печати свидетельствуют и те командировочные, а не редакционные удостоверения от редакций «Сталинское Знамя» 1943 года и «Вперёд за Родину» 1944, которые передала краеведческому музею дочь Тобольского. Сотрудничать не значит быть корреспондентом.

Сам он не любил распространяться на эту тему, и в справочнике «Писатели Саратова», вышедшем при жизни поэта, сообщается лишь о годе призыва в армию.

Видя разноречивую информацию о военном пути Исаю Григорьевича, я обратился к сайтам Министерства обороны РФ «Память народа» и «Подвиг народа», где содержится наиболее точная документальная информация о месте и роде службы ветерана, названиях частей и месте их дислокаций, а также указание, когда и за что он был представлен к правительственной награде.

Оказывается, в боевых действиях Исай Тобольский принимал участие с 01.02.1943 по 05.11.1944 и всегда в 166-м гвардейском стрелковом полку 55-й гвардейской стрелковой дивизии, которая вела боевые действия в Краснодарском крае, с ноября 1943 года принимала участие в боях на Керченском полуострове до апреля 1944 года, затем была в Белоруссия, и Пруссия, что в точности отмечено и на карте ратного маршрута Тобольского в разделе «Боевой путь».

А представлен к награждению медалью «За боевые заслуги» он в качестве стрелка комендантского взвода за то, что «в боях за социалистическую родину имеет 3 ранения и все приказание командования выполняет добросовестно и аккуратно» приказом от 03.04.1944.

На том же сайте есть информация и о второй награде фронтовика, Ордене Отечественной войны I степени, которым награждали ветеранов ВОВ в связи 40-летием Победы, его 06.04.1985.

И если факт тяжелого ранения, как сообщается в явно недостоверной информации саратовской журналистики из «Земского обозрения» Любови Чирковой, никак не подтверждается, то контузия была, и ее последствия навсегда сохранились в характерных тиках лица. Говорят, что он страдал и нарушениями речи, я этого не помню, но слышал от подружки моей мамы, Лидии Михайловны Худобиной. Дружили они с войны, когда мама была стенографисткой в областной газете «Коммунист», а муж Лидии Михайловны главным инженером или технологом издательства «Коммунист». Лидия Михайловна любила и умела рассказывать, делая это в лицах, и одним из её персонажей был, как она его называла, Исайка. В некоторой пренебрежительности сказывалось, думаю, её пролетарское отношение к несерьёзному занятию Тобольского. При этом вспоминала, как встретила его на улице вскоре после Победы, и оказалось, что он перестал заикаться, объяснив: «От радости, Лидия Михайловна, от радости!»

6.

Саратовские читатели знали, что начинал Тобольский с детских стихов, и конечно пытался имитировать тройку Маршак-Барто-Михалков: их размеры и ритмы, темы и рифмы.

Природа:

*Весна! Весна! Звонят ручьи.
И снег – сплошное месиво.
Вода бежит, вода журчит,
Поет – и сердцу весело.*

Труд:

*Помолчал старик немного,
А потом добавил строго: –
Вот сюда взгляните, внуки,
Вот на эти руки... –
На мозолистые руки
Молча смотрят внуки.*

Пример для подражания:

*Гриша. Нина, я и Света
Провели в колхозе лето,
И работой, как могли,
Мы колхозу помогли.*

Восемь таких стихотворений составили первую, и до поэмы «Исповедь» (1970) единственную московскую книгу Тобольского «Дедушкин секрет» (1959). А по мере разгорания холодной войны пришли новые темы. В стихотворном рассказе «О мальчике Томе», поэт поведал о маленьком негрятенке на пароходе, плывущем из Америки.

*Усталые птицы –
За волнами вслед,
Как будто им места
В Америке нет.*

Бедного мальчика видит капитан, конечно с сигарой во рту, как рисовал врагов в «Крокодиле» Бор. Ефимов.

*– Убрать, чтоб не видел
Цветного щенка! –
И нервно
Подрагивает щека.*

*Вдруг Том покачнулся
И – вниз головой.
И, даже не вскрикнув,
Пропал под водой.*

(Альманах «Огоньки», Саратов, 1950)

Социальная экзотика и в последующем привлекала поэта. В 1964-м году в ленинградском журнале «Костер» появляется его поэма «Джуба», где в первых строках автор трогательно предупреждает читателя:

*Я сразу скажу,
Приступая к рассказу,
Что в солнечной Африке
Не был ни разу.
.....
А этот правдивый и грустный рассказ
От верного друга я слышал не раз.*

Поэма разоблачает натовскую военщину.

*По сумрачным джунглям,
По травам примятым
Шагали, шагали,
Шагали солдаты.
Чужие солдаты
Из дальней страны,
Не только от зноя –
От злобы черны.*

И они калечат героиню, которую не видел, но ярко изобразил поэт: «У маленькой Джубы / Кудряшки-черняшки / И белые зубы. / Глаза как маслины». Натовцы лишают маленькую африканку зрения, устроив пьяную стрельбу, которую для книги автор почему-то заменил на неверный запуск ракеты. В журнале поэма была проиллюстрирована: крохотная негритянка у ног великана в военной форме. На сайте с «Джубой» воспроизводится несколько отзывов старушек о том, как плакали в 1964 году, читая поэму, которой поэт гордился, включая во «взрослые» сборники.

Но долго главной была тема минувшей войны. Жаль, что здесь с годами поэт уходил от конкретики в пафосную выпренность.

*Великая Печаль
Всегда проста.
Высокая Трагедия –
Безмолвна.
И тишина
Почти громоподобна,
Когда у Скорби
Сомкнуты уста.
Я был четыре года на войне.
Я знаю цену этой тишине.*

А вот как писал в 1942-м:

*На синем, с кровью смешанном снегу,
Где восемь суток бой сменялся боем, -
Лицом вперед, как рухнул на бегу,
Раскинув руки, умирает воин.*

*Последний луч в глазах его погас,
Застыла струйка крови возле уха.
А на руке размеренно и глухо
Стучат часы, встречая новый час.*

С годами поэт часто видит себя наставником читателя.

*Ищите радость!
Отправляйтесь в рощи,
Шагайте в горы,
Шестуйте в поля,
.....
Единственный совет тебе подам.
Возьми его, как хлеб берут в дорогу:
Нельзя молиться сразу двум богам,
Когда ни одному не веришь богу.
.....
До самой смерти
Помни два совета:
Ты так гляди
На звонкий луч рассвета...*

Стихотворное наследие Исае Григорьевича разнообразно. Он постоянно писал о любви, рассказывал в стихе о колхозных буднях, не чурался и исторических тем, написав о декабристах и Лермонтове. Обостренная социальная чуткость направляла поэта и к совсем новой проблематике. Так, длинная поэма «Ограда» рассказывает о ветеране войны, поглощенном приумножением материальных благ. В те хрущевские времена, когда обложили налогом каждую яблоньку, в печати развернулась борьба с обуржуазиванием в его садово-дачном изводе. И саратовские писатели не могли остаться в стороне. Например, Григорий Боровиков напечатал в газете «Коммунист» рассказ об отставном полковнике, который на дачном участке выращивает на продажу яблоки; его рассказ даже угодил в «Записку Г.К. Жукова в ЦК КПСС о жалобах генералов и офицеров-отставников на их отрицательное изображение в печати» (31 июля 1956 г.).

А в поэме Тобольского ветеран войны –

*Николай Петрович Хватов,
Ты сегодня рад:
Принесёт доход богатый
Ранний виноград
Кто – больному,
Кто – детишкам,
Так и разберут.
И глядишь,
По мелочишке
Сотни набегут.*

Но поэт не ограничивается приговором нравственному падению героя, в поэме разворачивается сюжет вокруг того, как от Хватова отвернулись и фронтовой друг, и сын, и даже соседи «Хватовых признали за буржуев, ты прочти-ка стенгазету во дворе».

Поэт ищет не только в темах. Он долго нащупывает собственную поэтическую мелодию, переходя от по-твардовски деловитой скороговорки к традиционной песенной задушевности,

иногда до удивления напоминавшей песни Николая Палькина: «Для другой сбереги свои речи, / И зачем ты пришел – не пойму. / Ни к чему нам теперь эти встречи, / Разговоры теперь ни к чему. / Не звала, не гнала тебя силой, / Сам ушел и сто лет пропадал... / Что ж так долго ты думал, мой милый, / Что ж так долго ты, милый, гадал? / Прежний путь навсегда запорошен, / И ничем не могу я помочь... / Ты всего опоздал, мой хороший, / На одну-разъединую ночь».

Вообще он очень органично перекликался с современниками: «Уплыли твои пароходы, Умчались твои поезда». Кажется, это написано до Рубцова. А «душе моей покоя нет» это под впечатлением переводов Маршаком Бернса.

Однако с другими саратовскими поэтами Тобольского роднила лишь советско-патриотическая риторика. И в поисках ему аналога я вспомнил сибирского поэта, с которым некогда общался по общей любви к А.Н. Вертинскому.

Казимир Лисовский (1919–1980) родился на Украине в семье бухгалтера, с 1933 года жил в Красноярске, работал там в газетах «Сталинские внушата», «Большевик Енисея». На фронт его не взяли по причине костного туберкулеза. Первая книга стихов «Клятва» вышла в Красноярске в 1944 году. В 1945 году стал членом Союза писателей СССР.

Сближают годы рождения, провинциальное происхождение, время начала поэтической работы и выхода первых книг, и некая тематическая монохромность: Волга – Сибирь. И пили оба по-настоящему.

Различают происхождение: извозчик и бухгалтер, еврей и поляк, здоровье: Казимир был задышавшийся инвалид-горбун, а Тобольский если и болел, так для больничного листа.

И еще сибиряк, хоть и не имел такого звездного часа, как саратовец с «Исповедью», издательски был гораздо благополучнее. Стихи о Сталине писали все, в т.ч. и саратовцы, но в распоряжении краснорядца был Клондайк по имени Курейка, где в одной со Сталиным избе находился в ссылке еще и Яков Свердлов, о котором бойкий Казимир тоже еще в 1947 году издал книгу «В Туруханском крае»¹.

Оба любили подчеркнуть свое гражданское поэтическое кредо.

Тобольский:

*Я бы тоже отмолчаться мог
И о чем-нибудь
Трезвонить bravo.
Но в такое время, видит бог,
Я на это не имею права!
Это право совесть отняла.
Вот опять тревожная газета.
Снова неотложные дела
Требуют вмешательства поэта.*

Лисовский:

*И если я строчкой своюю
Хоть в тысячной доле помогу
Обжить берега Енисея,
Прокладывать рельсы дорог,*

¹ “Слышал я и еще много о Сталине всяких побасенок, но все они отдают дурным сочинительством, типа трескучих стихов и строчек, стихи сигающих со страниц сборников, писанных одичавшим от пьянства Казимиром Лисовским” (Виктор Астафьев).

*Воздвигнуть завода громаду
В полярной, глухой стороне,
Мне лучшей награды не надо,
И этой достаточно мне!*

И я понял, что Казимир Лисовский возник в моей голове рядом с Тобольским по причине их беспримесной советскости, которая у большинства совписцев отклонялась в самые разные стороны, чего у Исаия и Казимира и близко не могло быть.

7.

Итак, поэма «Исповедь» (1970). Прочитирую себя, чтобы вновь не искать слов.

«Был пленум творческих работников в зале саратовской Высшей партийной школы. Я сидел рядом с Тобольским, неподалеку – актеры драмтеатра, рассказывающие друг другу байки. У Тобольского в руках журнал “Огонек”, где напечатана его поэма. Актер Александр Михайлов попросил: “Разрешите журнал?” Тобольский протянул. Через какое-то время раздался его громкий крик: “Хамство! Хамство!” Я и не заметил, как Тобольский вскочил и кричал на актеров, тыча пальцем в последнюю страницу журнала, где они начали заполнять кроссворд. Михайлов, покраснев и извиняясь, протянул ему журнал. “Зачем он мне теперь?! – так же громко закричал Тобольский. – Вы его испортили, понимаете?! Испоганили!” Из президиума секретарь горкома партии Н.Б. Еремин, инвалид войны с протезом вместо правой руки, постучал, как обычно, искусственной черной кожаной ладонью по столу и громко попросил: “Исаий Григорьевич, сядь пожалуйста!” Но Тобольский не сел, а забегал в проходе вдоль рядов, причитая уже потише: “Так оскорбить поэта, так оскорбить!”

После выхода “антисионистской” поэмы “Исповедь” саратовский поэт долгое время пребывал в непрерывном, как в буквальном, так и переносном смысле, опьянении. Он бесконечно рассказывал, как принес поэму в редакцию “Волги”, где главный редактор Шундик мгновенно прочел, обнял, поздравил и сказал: “Исай! “Волга” не то место, твоей поэме нужен международный резонанс!” И самолично отправил “Исповедь” в журнал “Огонек” с рекомендательным письмом Анатолию Софронову. Это первая часть его устной трилогии.

Вторая – та, что буквально через неделю сам Софронов звонит саратовскому поэту и приглашает в столицу за счет журнала. При встрече Софронов, как и Шундик, обнимает его и поздравляет. Особое место во второй части занимал эпизод с бумажником Софронова. “Исай! – сказал тот младшему коллеге. – Пока вам бухгалтерия выплатит гонорар, возьмите у меня”. И при этих словах автор “Стряпухи” доставал бумажник, объемом подобный его чреву. “Никогда бы не поверил, что у человека может быть при себе столько денег”, – делился впечатлением саратовец.

В третьей части звучала уже трагическая нота. Все чаще Исаия Григорьевича можно было видеть в кафе “Юность” (располагавшемся в одном здании с редакцией “Волги”) сильно выпившим и в минорном настроении. Перед ним на столе, кроме графинчика с коньяком, лежал номер газеты “Литературная Россия”, где какие-то хулиганы напечатали восторженную рецензию на “Исповедь”, которая начиналась примерно так: “Имя автора поэмы „Исповедь”, мужественного советского поэта Исаия Тобольского, занесено сионистскими боевиками в черные списки по обе стороны океана”. Тобольский поднимал на собеседника страдальческий взор, качал лысой головой и вслух повторял эти страшные строки, надолго припадал к фужеру»¹.

В «Исповеди» ставится знак равенства между фашистами, убивающими еврейских детей, и «израильскими агрессорами», стреляющими в арабских детей. Это написано в разгар т.н. антисионистской пропаганды, в которой поэту-гражданину захотелось поучаствовать.

¹Новый мир. 2011. №3.

*Вот он – тель-авивский дипломат,
Мастер закулисных махинаций.
Он сидит – как дома не сидят –
За столом Объединённых Наций!
То медовым голосом журчит,
То рычит, от злобы багровея,
Ржавые библейские ключи
Тыча в душу каждого еврея.*

Вряд ли правомерно и нагнетание однообразно тяжелых слов: «Волосы рвёт, обезумев старуха», «болью клокочет», «криками ужаса», «жгутами плетей», «матери глохнут от крика детей», «замертво падает мать на песок», «а из соска два ручейка: крови и теплого молока», «в судьи беру Справедливость и Честь...», но не стану судить поэму с точки зрения литературной, так как она получила премию софроновского журнала отнюдь не за поэтические достижения.

Куда более неожиданным было появление в том же «Огоньке» в 1978 году поэмы «Монолог».

*В кармане виза.
Связаны манатки
И пасквилей бумажная гора.
Ты столько лет
Играл с Россией в прятки...
Подбит итог.
Окончена игра.
<...>
К любой норе,
К любой чужой берлоге
Приладится
Безродная душа,
Умеющая
Плакаться о бже,
А верить
Только бже барыша.
<...>
Я суд верю!
Мой правый гнев
Не стынет.
Ещё не всё
Сказал я о тебе –
О беглеце,
Не знающем святыни,
О подлеце,
Которому отныне,
Как смертный грех
Зачислится побег!..
<...>
Ты тешил душу
В киснувшем болоте,
В трухлявой сплетне
На чужой волне,
В трусливеньком*

*Приблудном анекдоте,
Заморского пошиба
Болтовне.
В бессильной злобе
Истину пиная,
Страшась людей,
Искал болотный брод...*

Все-таки никто не заставлял его писать про гору бумажных пасквилей, которую зачем-то пакует в чемодан уезжающий советский еврей, про трухлявую сплетню на заморской волне, которую сам поэт конечно не слушал, но более всего меня уже тогда поразил словарь послевоенной «Правды», с омерзительным определением «безродный», которое запустил в пропагандистский оборот по его признанию тот самый Анатолий Софронов, в журнале которого нашел приют этот «Монолог».

8.

Я начал очерк с нашего сближения, и в 90-е мы ещё встречались за выпивкой, чаще в подвальчике на Московской, к чему никак не могли привыкнуть после ужасов сухого закона. Я любил слушать его рассказы, видеть, как он преображается, заново переживая былое. Как-то вспомнил он и исторический случай, когда исчез из дома на неделю, о чем встревоженная супруга сообщила в СП, и его нашли в Вольске, в сарае у какой-то дамы. Но как он рассказывал... «Получил гонорар (похлопывание по пиджаку), иду конечно в речной вокзал. Сажу, как положено, а душа поёт... Слышу, колокол, сейчас “Грибоедов” отчалит. Я туда, раз и уже в ресторане. Деньги-то (похлопывание по пиджаку) есть, рюмку ко рту поднёс, и – глаза! Нет, говорю, Исай, ты сегодня не напьешься! Это твоя женщина».

Иногда печатали его новые стихи:

*Я ни о чем не спрашивал
В том времени ином,
Захлебывался маршами
И ложью и вином,
Слепой слуга безглазого
Покорного пера.
Но это нынче сказано...
А где ты был вчера?*

Но и назвав себя «другими лгунами обманутый лгун», Исай Григорьевич, когда СП РСФСР раскололся, и мы, т.е. Арбитман, Слаповский, Кекова, мой отец и я, вошли в Союз российских писателей, не расстался со старой «патриотической» компанией.

Потом он перенес операцию на горле, в результате чего лишился речи, ходил с трубкой в горле. Таким я его и видел в последний раз на похоронах моего отца, где он преникал к маме, хрипя, размахивал руками.

Я его не хоронил, даже не знал о смерти, да и зная, вряд ли бы пошел в отделение СПР на Советской улице.

Елена ЗЕЙФЕРТ

«ОДИССЕЯ» ИЛЬИ СПРИНГСОНА

Илья Спрингсон. Кошкин дом. – Киев: Каяла, 2021. – 212 с.

Русская литература вышла не из «Шинели», а из «Мёртвых душ», из этой русской Одиссеи, эпопеи о странствии, считает Илья Спрингсон. Сам он носитель своей эпопеи, часть из которой уже претворил в жизнь в двухчастной повести, а на самом деле многожанровом произведении «Кошкин дом». «Кто-то считает, что “Одноэтажная Америка” Ильфа и Петрова – третья часть их Одиссеи, но я так не думаю», – говорит Илья. Он всегда говорит искромётно и по существу. Простой, интересный, эмпатичный человек. Органика, живой характер его творческой натуры завораживают. Илья – рок-музыкант, лидер группы «Springson» (по его словам, автор текстов к своим песням, а, по моему мнению, ряд этих текстов – поэзия) и прозаик, и эти три его ипостаси более чем самодостаточны. Он харизматичный рок-музыкант и уникальный прозаик, который ещё далеко не всё написал, – со своим неповторимым стилем в каждом из этих видов творческой деятельности. Это не музыкант, пишущий прозу, и не прозаик, играющий на гитаре. В жизни Илья разговаривает готовыми новеллами, притчами, анекдотами, байками (здесь не только литературные, но и актёрские способности – он то рассказчик, то персонаж), афоризмами, юмор и перформатив его уникальны. Выпускник Литературного института, кем он только не работал в разное время, и грузчиком, и подсобным рабочим, и заместителем главного редактора издательского дома «Полутчик», пел на клиросе в католическом костёле и даже заколачивал гробы, но довольно долго – осветителем и художником по свету в театрах Москвы, и отлично знает театр. Словом, дар его – объёмный и многоракурсный.

«Кошкин дом» – одна из редчайших книг, вызвавшая у меня сильнейшее катарсическое впечатление. Можно прочесть бумажную

книгу и прослушать аудиокнигу в авторском исполнении. Читает Илья Спрингсон живо, просто, «проясняя» голосом многие моменты и, понятно, сужая интерпретацию.

Автор называет своё двухчастное произведение повестью, и это верно, потому что жанровая стратегия повести (изображённый мир состоит из двух сфер – «своего/чужого», центр сюжета повести – мытарства, испытания героя, циклический сюжет, герой удалён от исходной точки, куда он, обновлённым в пространственно-временном и ценностном смыслах, возвращается в финале (принцип обратной симметрии), серьёзное отношение к происходящему, наличие параллельного варианта собственного сюжета, иносказательные смыслы, роднящие повесть с одним из важнейших её источников – притчей) здесь отчётлива. Но «Кошкин дом» Ильи Спрингсона – полижанровое произведение. Это герметичная повесть как максимально раскрытая в своём хронотопе лиризованная эпическая поэма (в первой части в рамках любовного послания и дневника), включающая в себя новеллы, байки, анекдоты, притчи, прорастающие в ней и как остатки материнских жанров. Это Книга.

Спрингсон пишет из области «не-ума», его проза, по его же словам, – «чистейшее безумие». «Кошкин дом» написан по типу «высшего списывания» («höheres Abschreiben»), о котором упоминает в своей эссеистике Томас Манн: при этой методике автор переплавляет через художественное озарение факты, документы, реальное состояние действительности. Для «höheres Abschreiben» скорее типично создание художественного материала по документам: так, Булгаков едва ли не «списывает» из масонских книг бал Сатаны, а сам Томас Манн использует медицинские и музыковедческие источники для изображения страданий Ганно Будденброка (тиф) и музыкальной теории в «Докторе Фаустусе». У Спрингсона документы специфичны: это разговоры вокруг, звонки и «маявы». Звонки «дураков» своим «Катя, Катя, Катя, Катя» бессмысленны, но потешны и одновременно трагичны. Автор, близкий рассказчику/центральному персона-

жу (главный герой, он же рассказчик Илюша, Кот), пишет с натуры, «ведёт репортаж». Книг в тюрьме очень мало («Читаю каких-то пов. Других книг нет. Был Фонвизин и Гоголь, учебник по элементарной логике (я на третьей странице завис...) и какая-то Баба, всех, кроме логики, я прочитал»).

«Ночки доброй, братцы. Нет ли у вас свежих газет?»

<...>

Я написал, что есть только вчерашний "Times" и тот на английском языке.

Они отвечают: "Гоните нам, хлопцы, у нас бычков до х*", мы их выпотрошили, а завернуть не во что, одна Библия в хате, её пока боимся трогать».

В психбольнице источников побольше, Илюша там набирает текст из тюремных тетрадок на ноутбук (доктор разрешил), модем маскирует под флэшку, телефон дают раз в неделю. А «дуракам» запрещают пользоваться телефонами: найдут – надбавят полгода.

Для Спрингсона чрезвычайно важна линия в американской литературе, идущая от Джона Фанте к «битникам». Цитата в «Кошкином доме» органична, выращена как своя/чужая. Второй роман Фанте «Подожди до весны, Бандини» («Wait Until Spring, Bandini») важен для Спрингсона, конечно, не только упоминанием Spring в названии, но и фактурой главного персонажа. В «Кошкином доме» явственны отсылки к Гоголю, Чехову, Чарльзу Буковски (при явном стремлении Спрингсона отойти от «грязного реализма»), Венедикту Ерофееву, рок-музыке (Моррисон, Летов). Илья родился в Петушках и неприкаян, как Венчик Ерофеев, с которым его дед Анатолий, как и многие в Петушинском районе, пил водку. Этот же дед, по совместительству Безрогий Гитлер Змей, как называла его бабка Ильи, смастерил ему, трёхлетнему, самодельную гитару из дерева. Венчик не доехал до Петушков (Итаки), а Илюша по дороге в 4 психбольницу переехал Петушки, попав во Владимир (не рай, Итака, а ад). Здесь уже не «сливаются небо и земля, и волчица не воет на звёзды». За Петушками первородный грех уже тяготит. Спрингсон не продолжает странствие Ерофеева по водке (хотя с удовольствием его цитирует при разговоре и высоко ценит): он создаёт своё, уникальное хождение по мукам.

Первая часть повести показывает пребывание невинного героя-рассказчика в тюрьме (Бутырка, в ней корпус для психически больных – так называемый Кошкин дом, затем Владимирский централ), вторая, после признания невменяемым на момент «преступления», – пребывание в специализированном отделении для принудительного лечения во Владимирской областной психиатрической больнице № 4. Первая часть написана от руки в тюрьме в 2010–2011 гг., набрана на ноутбуке в 4 психбольнице, вторая в Кольчугино в 2018 г.

Французский философ Мишель Фуко в своей известной работе «Надзирать и наказывать» ввёл понятие «дисциплинарного пространства» и указал четыре их типа – школа, больница (любая), армия, тюрьма. (Недаром Илья Спрингсон пишет об армии – «сидел в армии»). Очевидно, что тюрьма и психбольница даже в этом ряду стремятся к верху иерархии. «Я всегда искал покоя и радости, счастливых стен. Но никогда не находил», – говорит Илюша, находясь в аду и чистилище, наблюдая за происходящим в вынужденной людности, «коматозе», депрессняке, но обозревая многое, что происходит вокруг, созерцая внутренний ландшафт и – главное – создавая эту повесть, которая как живое существо в итоге спасает его. «Я лёг на свой шконарь (тюремную койку. – Е.З.), чтобы смотреть на снег». В подобных оксюморомах, на создание которых у Спрингсона работает уголовный жаргон (а также обская лексика и просторечие) и лиризация, – шлюзы в параллельные миры. В «Кошкином доме» это мир потусторонний (тюрьма и психбольница (общий «дурдом») как царство мёртвых, автозаки привозят сюда узников: «чувство было как у новорождённого или как у трупа, входящего в царствие небесное»; «дурдом» – ад: «Ещё в карантине вас ждёт бумажка на стене, в которой написано, что вы теперь в тюрьме, не думайте о хорошем. Только о плохом» (аналог надписи над воротами ада «Оставь надежду всяк сюда входящий» у Данте), Миша (Бамбула) – проводник из царства живых в царство мёртвых), мир прошлого (детство героя в Петушинском районе – игры, болезни, мама носит на руках, мальчик гостит у деда с бабкой), мир созерцательный, природный, нередко переходящий во внутренний («Снег лёг

ровно, наверное, уже не растает», «Зима во мне. Внутри меня идёт жёсткий снег и падает на что-то тёплое во мне, падает и обжигает колючим холодом и тает», «Тает, не приходя, время, тает во мне снег. Зима юности. Весна меня. Вечная весна меня»). Различные планы пересекаются: «Холодно становится ночью, холодно внутри».

При входе в Бутырку Илюша замечает, что она «красивая» («Ворота стильные, арки. Архитектура, короче»), но на этом красота пока завершается: он входит сюда как нож в масло, не фиксируя внимания на аресте и стрессе при нём, но вход ещё не инициация, а только её начало, герой потом долго находится в лиминальном состоянии. Как выясняется, до ареста Илюша «пил, как идиот, вытворял гадости и играл концерты во всяких Томсках, занимался фигнёй и жил в Крылатском. Собирался на юг и ждал её (Настю. – Е.З.) как спасения от своей шизы, от полной потери себя и смысла себя, от чувств полнейшей ж.., которая пришла-таки с тюрьмой». Первая часть повести обращена к Насте. Героиня находится за границей, но осенью прилетает в Москву («В начале сентября прилетала Настя. Я помню, как над Москвой летел её самолёт, я чувствовал каждый его винтик, я слышал дыхание Насти и до такой степени проклинал человека, который запихал меня в эту тюрьму, что двоилось в глазах»). Вот и Беатриче, но она далеко (герой не до конца уверен, дождётся ли его Настя), и Рай (третья часть этой эпопеи) пока не написан, да и будет ли написан, Бог весть. Настя заботится об Илюше, своём «коте», помогает деньгами. Девушка приходит к нему в спасительном сне («спать надо хорошо и долго») и грёзе. Диалог Илюши и сокамерника Михи почти о магии:

«– Ну тогда я буду спать, может, Настя при-
снится.

– Сегодня обязательно приснится. Ты когда будешь засыпать, в самый момент засыпания, когда уже мысли текут произвольно – заставь себя подумать о ней и позови её, и она придёт. Я так всегда делаю».

Но Настя не магия, она явь, «она иногда сама просто так снится». Илюша верит в её любовь, и это держит его на плаву. Между героями – свой заветный мир, знакомый только им двоим паролем. Настя воздействует на все ор-

ганы чувств Илюши, после её звонка остаётся «мятный запах», который слышит даже Михя. Однако по собственным же словам (он находит себя) арестованный в августе Илюша довольно быстро (хотя для него самого внутри ада, понятно, медленно) начинает опираться на внутреннюю, а не внешнюю поддержку: «обна-
ружил же я себя только в конце октября – начале ноября, когда и стал записывать то, что со мной происходит, чтобы не сойти с ума». Образ Насти, во многом созданный внутри Илюши, – оцеляющий всю первую часть повести (во второй части Насти уже, увы, нет, иллюзия оказалась выше правды: «А если, правда, случилось то, что страшнее любой тюрьмы? Что уже я не смогу пережить?»). Но есть и другая женщина, поддерживающая его: это сама повесть, сама рождающаяся в двух тетрадках – синей и зелёной – эпопея об ещё одном русском уникальном хождении по мукам. И эта – более важная – женщина растёт изнутри Илюши, она его собственная ткань, его вещество. В отличие от Насти, она целиком принадлежит герою. Как и неизменный его спутник и настоящий друг – глубинный, очень смешной и благодаря этому достающий до самого дна трагизма юмор («у меня время болит»). Уникальный юмор, свойственный Илье Спрингсону. Неподражаемый, с богатой корневой системой, современный, яркий и очень смешной. До слёз. Порой и слёз боли.

У Ильи феноменальная память, он может артистично цитировать художественные произведения страницами. Спрингсон не просто юмористический автор, и это очень важно. Карнавализация, масочность тюремных реалий (и тюрьма, и психбольница – это «дурдом», единый Кошкин дом), творящийся вокруг Илюши дьявольский водевиль, вынужденная праздность сочетаются с личностным самоопределением, которое больше границ тюрьмы и в целом внешнего мира. Юмор Ильи Спрингсона невероятно оригинален, хотя и рождается, конечно, не в вакууме и питается юмором Чехова («Свадьба»), Гоголя («Мёртвые души»), трагикомическими ужасами Венедикта Ерофеева.

Обценная лексика – одна из стилевых примет прозы Ильи Спрингсона. «Задрал я сам себя. Много во мне мата и тоски». «И что?» –

спросите вы, ведь нецензурной лексики пруд пруди в художественных произведениях – от Баркова, Венедикта Васильевича Ерофеева до культового кустарного аниматора Михаила МК. Углубляться в особенности употребления мата упомянутыми авторами здесь не место. У Спрингсона нет ни намёка на непристойность, бесстыдство, скабрёзность. Это не площадной язык. Его мат – органика, крепкий корень языка, который позволяет удержаться в непростое время, хранит в себе, как колодец, юмор, родственно связан с фольклором. Илья студентом ездил в экспедиции по сбору фольклора, в том числе уникальных юмористических народных произведений с матерной начинкой. Обценная лексика Спрингсона крепко дружит с просторечием, феней, макароническими вставками (нередко – и очень смешными! – из немецкого языка), создавая слоистую, разноразрядную, привольно самодостаточную художественную прозу. Мат Спрингсона физиологичен – не телесен и ни в коем случае не эротичен, а именно физиологичен, в том смысле, в каком сходны язык как процесс и орган речи (на немецком *die Sprache* и *die Zunge*), у многих авторов искусственно разведённые, как ночные мосты. Спрингсону свойственна «заповедность стыда, со времён Тургенева», которая не позволяет в «дурдоме» спуститься в ад чернухи, хотя соблазнов предостаточно. Спрингсон возвращает языку его эквилибристику, органику, подвижность, и делает это в том числе через нецензурную лексику, максимально свободно самодвижущуюся в его художественном контексте, где возможно и разрешено всё. Он возвращает языку прозы «дуговую растяжку», о которой писал Мандельштам в своих «Восьмистишиях»:

И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Язык во рту Спрингсона и на бумаге становится феноменом, ему разрешено жить. Vale tudo.

Слово здесь стремится к своему трансцендентному смыслу. Автор чуток к нюансам. Достаточно, к примеру, при чередовании или ва-

риативном повторе предложений ввести союз «но» вместо «а», и появляется библейская интонация:

«...и через лес напролом приехал пьяный тракторист Усой. Приехал не ночью, но днём. Приехал к Деду».

В юмористических пассажах – от изменения одного звука («галстух», «врах», «срока́ми») до вставных эпизодов – важен ювелирный бросок слова. «Кошкин дом» прославляется юмористическими экстрактами, юморесками. Таковы пассажи о «васька́х», их жёнах («Его», она же «Моя» или просто «Эта Тварь»), дураках, котах (Кот в повести не один (главный герой Илюша, Кот), но ещё есть настоящий кот Юра зелёного цвета из Мурома и другие), о заколачивании гробов. Смешно описание фабулы уголовного дела Серёги по прозвищу Ленин: юридические термины намеренно соседствуют здесь с обценной лексикой, страшное становится комичным («где в Москве шлёлся пьяный труп», «батьа трупа»).

Юмористичны созданные Спрингсоном портреты. Их характерным элементом является пуант – аналог анекдотической разрядки. Вот портрет тюремного психиатра Сварщика: «Видок ещё тот. Интеллигент 70-х возле пивного ларька. Говорит громко и глупо, спрашивает всегда одно и то же. Лечит всех исключительно аминазином, так как ничего другого на КД нет. Ходит в штиблетах, «галстуХе» и в халате. Халат местами убит. Из карманов торчит множество карандашей, хотя он, наверное, мечтает об электродах; на голове волосы». Здесь нейтральная кода («на голове волосы») разряжает нанизывание гротескных деталей. Контраст – также важнейший приём Спрингсона, Илюша которого то по случаю пьёт со Стингом, то ночует на стройке.

Признательные показания, выбитые побоями и электрическим током, «резинка» («боксик полтора на полтора метра, без окна и сортира, целиком обитый вонючей резиной» для «расшатывающих режим»), почти несъедобная еда, отсутствие хороших лекарств – для тех, кто был в «тюрячке», и «для случайно не сидевших» доказательства того, что в «дурдоме» лишь стремятся усугубить страдания нездоровых узников. Шутка же дарит разрядку, не позволяет сойти с ума: «На карантине хаты

маленькие, узкие, четырёхместные. Если двое встанут со шконок – остальные двое уже будут играть в тетрис сами с собой», «есть и жрать не дают», «жрать не ели», «грелся чаем и батареей», «прокураторша», «скорее бы этот страшный суд», «Пушкин (прозвище, “погоняло” сокамерника. – Е.З.) родил откуда-то суп. Пушкин любит суп. Он постоянно его отовсюду рождает, хотя суп приносят только в обед», «стоит на шухере, поэтому сам из себя представляет шухер». Спрингсон сдвигает слово как «стража границы» (Хайдеггер), нарушает ожидание привычного контекста. Комично само построение фразы, в том числе в бытовой речи. «Почему, – спрашиваю я его, – ты написал: “Посыплю кашло песком и буду есть”?» «Она нормальная сечка, просто без песка дрянь», – отвечает он без тени улыбки. Ложный посыл в этой фразе (здесь двойной) как раз похож на чеховский юмор из «Свадьбы»: «Я не Спиноза какой-нибудь, чтоб выделывать ногами кренделя!». «Умирать лень, поэтому надо жить», – шутит Илья не без горечи. «Песни растут, как ногти, вовремя их отрезать. Никаких мук творчества», – в полушутку признаётся он. Возле Илья очень смешно и радостно. Пишешь про него, показываешь ему абзацы своей писанины, а он, чуткий, сразу правит. Представляю, каково носить Байрона в кармане или самого Shakespeare. Впрочем, Илья Спрингсон в ряду с авторами эпоей. Илья обладает филигранным, удивительным вкусом в литературе, камертонно. Он энциклопедически образован, отлично разбирается в литературных явлениях, «образцовый читатель», по Умберто Эко.

Идентификация читателя с рассказывающим «я» происходит легко, органично: Илюша – эмпатичный, душевный человек, он переживает, что не простился с отцом, умершим в ноябре, мечтает стать известным рок-музыкантом. «Музыку и любовь» из него «не вытащить». Повесть пронизана лирическими отступлениями, есть даже стихотворная вставка («Мне кажется, что ночь...»). Внутренний монолог нередко перфомативен: «И не лепить из себя святого великомучанного Иуду Искариота, сына Цезаря и пресвятой Богородицы. И послать богу богово...». Спрингсон не уверен, что Бог называет людей людьми, он Бог человекoв: «Снизойди до меня, смилуйся, Бог человекoв,

ибо царствие Твое и на земле, и на небе, и в тюрьме».

В тюрьме не только знакомые слова изменили значение (дорога – верёвка между камерами, конь – сама эта верёвка), не только появились новые (шконоарь), но и слово вдруг стало настолько живым, что способно передать свою живительную силу человеку и спасти его от безумия и смерти. В «Кошкином доме» множество изречений, я бы составила их словарь. Приведу несколько из них:

«В тюрьме нет дел. В тюрьме есть мысли. Нет друзей, и нет настоящего. Есть прошлое и непонятное будущее, мёртвое время».

«Полнейшая тоска. Я и не знал, что у тоски нет предела. И нет границы. Я думал, есть какой-то порог, за которым наступает безумие, однако, как выяснилось, нет».

«Зло на мир – самое страшное, что может случиться с человеком».

«Лучше не думать – это хуже всего у меня получается».

«В тюрьме одиночество бесценно».

«Здесь ты как на ладони и некуда уйти, чтобы не показать себя. Другая концентрация человечности».

«Как мир до тошноты брeнен (слово такое идиотское, смешное), он не нужен самому себе, вырастает из ниоткуда, наполняется воздухом и уходит в никуда».

В «Кошкином доме» – трезвые, поразительные оценки действительности. «Ночью поймал себя на мысли, что с этими тремя (убийцами-сокамерниками. – Е.З.) мне проще и интереснее, чем с полубогемным сбродом, что окружал меня на свободе. А кто вообще окружал меня на воле? Завистливые подонки и говнюки, тупые дуры и безвозвратные терпилы». Автобус Гены Зайца «на проволоке», но с немецким мотором (поэтому движется) – это безусловный символ России. Горящий МАЗ на трассе, водитель которого просит отрубить ему ноги, чтобы не сгореть, – это страх и ужас, который увидел двенадцатилетний Илюша (вспомним Джима Моррисона, увидевшего разбившийся грузовик с индейцами), и, возможно, именно этот случай сформировал дальнейшее отношение Илюши (как и Джима) к жизни. Только один водитель КАМАЗа (Бамбула, дядя главного героя, побывавший в аф-

ганском плену) бежит с ломом, заведомо зная, что помочь не получится, но при этом всё же отгибает тяжеленную стойку, пока его самого не оттащивают от горящего грузовика. «Урал» в кювете после удара в МАЗ (его водитель тоже в крови). Почему на нашей федеральной трассе под славным городом Владимиром встречаются грузовики производства Белоруссии, Урала и Татарстана, не есть ли в этом смысл развала страны? Этой сценой утверждается и вся бессмысленная авантюра войны в Афганистане.

Что делает «Кошкин дом» художественным произведением, если в первой части это дневник (стоят даты), а во второй дано описание реального пребывания в психбольнице? Множество факторов. Целостность, создающая эстетическое впечатление, гамму, каскад впечатлений – лично у меня до телесного катарсиса. Логика изложения – художественная. Виртуозный язык. Илья Спрингсон работает со вторичной условностью, обобщая, типизируя, отсекая частное. Он создаёт несколько планов, обнимающих пространственно-временной, сюжетно-композиционный и другие уровни произведения.

«Если человек беззащитен, неприкаян и смотрит на мир детскими глазами, подобная эпопея – лучшее из зол, которое могло бы приключиться с ним», – говорит Илья. Подписываюсь под каждой буквой. И пусть не наступит «аллесгемахт».

Борис КУТЕНКОВ

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

Филипп Дзядко. Глазами ящерицы: Дневник чтения одной несуществующей книги. – М.: Новое издательство, 2021. – 138 с.

Метажанр – такое слово в первую очередь приходит на ум, когда открываешь это небольшое с виду издание. Из 21 стихотворений, присланных Филиппу Дзядко Михаилом Айзенбергом осенью 2014 года, эссеист стремится собрать цельную книгу. Говоря «собрать», мы имеем в виду не столько композицию (хотя и она важна – как последовательность стихотворений,

идущих одно за другим по воле Айзенберга, – с ней и сжился Дзядко, изначально восприняв как целостный сборник), сколько стремление понять для себя законы её существования, а значит, авторской поэтики в целом. Символично тут всё: и время, когда были присланы стихи (почти самое начало конфликта с Украиной – отсюда столь часты мотивы политического в них и апеллирование Дзядко к этим мотивам); и «влюблённость» в эти стихи (а значит, и пишется о них по-особому. Такой принцип сразу же развязывает руки – предполагая иную степень читательской свободы). И то, что книга «несуществующая»: тем отчётливее попытки выстроить сюжет из того, что не задумывалось как цикл и, стало быть, сюжета как такового не предполагало. Но внутри себя «дневник чтения» выстроен очень логично: каждый раздел посвящён одному стихотворению Михаила Айзенберга, концентрирует внимание на отдельном лейтмотиве его стихов и основывается на тройной взаимосвязи: опыт пристального чтения (мотивы, ассоциации, частотный словарь); «затекстовые факторы», по Тынянову (отсылки к разного рода внестиховым высказываниям М. А. и его биографическому сюжету); и личное, читательское соучастие. «За сказанным проступает несказанное, и читатель сам достраивает картину. Я «дочитываю» стихотворение, становлюсь его соавтором» (Дзядко).

То, что касается читательского участия, наиболее интересно – ибо нехарактерно для современного подхода к стихам. Дзядко представляет в своей эссеистике самый редкий и исчезающий случай – сотворчества. С самого начала, ещё в предисловии, он задаёт стилистические законы, далёкие от каких-либо формальных рамок критики «традиционного» типа: «Я читал эти стихотворения шесть лет, не как филолог, а скорее наоборот – как влюблённый дилетант: так, как когда-то в детстве мы читали стихи с папой, рассказывая друг другу, что в них происходит, стараясь понять, как они устроены и что они делают с нами». Такой способ разговора может показаться сложением с себя ответственности за сказанное, но на самом деле ответственность двойная: попытка найти ответы в самом стихотворении, исходить из позиции принципиального незнания о

мире, – сюжет, часто возникающий в эссеистике и интервью самого героя книги.

Эта книга для меня – повод для непреходящей белой зависти. Скажу честно: я несколько раз пытался написать об Айзенберге, и ничего из этого не получалось, кроме высказывания в рамках интервью 2014 года¹ (на эту беседу Дзядко, по его словам, ссылается в книге, но цитата, видимо, исчезла при множестве редакторских правок). Интервью тогда во многом напоминало расследование с моей стороны, попытку достучаться, уточнить формулировки, которые казались мне не слишком конкретными. В конце, кажется, мой именитый собеседник был раздражён – возможно, именно потому, что не почувствовал «своего», возможно, из-за пытливых уточнений (а скорее всего, раздражала взаимосвязь того и другого). Мне же (и в интервью, и в книгах Айзенберга – те и другие действуют на меня неизменно обновляюще) не хватало какой-то определённости – понимания организующей воли, какой-то внутренней, что ли, обусловленности опущенных звеньев, которая внезапно дала бы ключ к личности. «Ясность на грани исчезновения» – это Айзенберг о Пушкине; такова и его летучая ясность. В новой книге Филипп Дзядко отвечает на многие мои тогдашние вопросы (скорее – об атмосфере, воздухе, окружающих Михаила Натановича и помогающих лучше прояснить его загадку), а вышедшее почти одновременно собрание айзенберговских воспоминаний «Это здесь» (М.: Новое издательство, 2021) даёт подтверждение этим ответам. Получился диалог – не намеренный, вряд ли запланированный. Получилась та разновидность «расследования» – о которой я, может быть, мечтал осенью 2014-го (когда и состоялся разговор в квартире Айзенберга в Яковоапостольском переулке и когда, по совпадению, и началась работа Дзядко над книгой). Но если возможна попытка объективной истины – то вот она, именно в таком диалоге книг: тонкое и умное «расследование» (в отличие от упомянутого мной интервью, не вовлекающее собеседника, а значит, не нарушающее его личные границы),

– и собрание воспоминаний, само и ставящее вопросы, и дающее ответы, и устанавливающее границы.

Трудность разговора о Михаиле Айзенберге – особого рода: «Я всё время чувствую себя той ящерицей из первого стихотворения книги: что там, за потоками света? <...> С этими стихами в кармане ты идёшь по зыбкой почве, но не из-за того, что они непонятны, а из-за того, что они ускользают от определений и пояснений, движешься даже не ящерицей, а собакой: вроде бы понимает, а сказать не может» (Дзядко). Несмотря на максимализм некоторых определений, книга в очередной раз доказывает важное: насколько же стихи – хрупкая вещь, не только не поддающаяся однозначным трактовкам, но и остающаяся вне любых попыток утвердить их семантическую многоплановость. Принципиально зыбкий, ничего (кроме интенций самого пишущего) не утверждающий метод анализа будет здесь, может быть, наиболее верным. Сама лексика эссеиста, конгениальная языку объекта исследования, – с его «пустотой», «лесом», «бабочками», «муравьями», «сложными отношениями со временем», – говорит об этом. И вывод столь же неожиданный, сколь и убеждающий меня-читателя в подлинности метода: «Дочитав книгу до конца, я думаю, что занимался напрасным делом. Стихи любят убежать. <...> И ещё у стихов есть свойство постоянно меняться, пытаться стать неузнаваемыми». Признание в тайне непознанности, в бессилии того, кто хочет расшифровать стихотворение до конца, – пожалуй, то, без чего любая критика (хоть вкусовая, хоть филологическая) не уверяет меня в собственной достоверности. Дзядко, по счастью, – уверяет. «Чёрный поезд, несущийся по белой простыне, – настоящее сокровище. И я его не разгадал». И ещё одно высказывание кажется мне важным – оно переосмысляет всё, что так любят говорить о «сложности» и «герметизме»: «Язык М. А. “прячущийся”, потому что прячется та реальность, с которой он имеет дело. Это не тёмный язык, просто то, что он описывает, не проявлено. Нужно специальное усилие, чтобы увидеть». Можно было бы сказать, что это обо всей современной поэзии (ну, скажем, о её «сложноустроенной» ветви – а ведь мы помним определение Лотмана, что ху-

¹<http://litteratura.org/non-fiction/761-mihail-ayzenberg-dlya-russkoy-poezii-my-v-kakom-to-smysledikari.html>

дожественный текст есть сложно построенный смысл), но случай Айзенберга тоже особого свойства: из него нельзя изъять и атмосферу советских подозрений, и то, что специфически характерно для круга позднесоветской неподцензурной литературы, к которому он принадлежал и которому органически наследует. Богатый материал для всего, что связано с этой стороной поэзии Айзенберга, представляет и его книга воспоминаний, и те фрагменты в работе Дзядко, где он апеллирует именно к этому генезису М. А.

Книга Филиппа Дзядко вместе с тем – не только свидетельство против «коллективного бессознательного» мнения о герметизме современной поэзии, но и пространство эмпатии – исследовательской и передающейся от исследователя читателю. «...понял такую вещь: сострадание к миру, ко всякому живому – вообще главный источник и одновременно результат стихотворений М. А. А для меня и ответ, почему я так их люблю: они помогают и мне самому что-то с этой жалостью делать». И это – вопреки тому, что в этой лирике присутствуют, по его словам, и «закрытые» стихотворения; «жалость» и «закрытость» оказываются не противоречащими, ибо понимается всё та же их внутренняя обусловленность: «Их форма соответствует содержанию, вернее состоянию: запутанный синтаксис, внезапные сближения, блуждания деепричастий, сопоставления, отскоки в сторону, запутывающие следы и ломающие связи».

В попытке расс(ис)ледования эссеист привлекает и биографический пласт: «Лучше слышать стихи М. А. поможет знание о...», и обширный круг контекстуальных связей, неизбежно сопровождающий каждого серьёзного исследователя. Понять природу этих текстов помогают даже цитаты со страницы Айзенберга в Facebook; не потому, что материала стихотворений недостаточно для критической мысли, а, что называется, для полноты информации. И – для возможности верифицировать свои наблюдения словами самого объекта внимания. Прямая речь Айзенберга здесь служит подтверждением слов Дзядко, но следует за мыслями эссеиста в тех случаях, когда это необходимо. А когда необходимо – случается и переход на язык «экзистенциальной прозы»

(определение из аннотации), следующей напрямую за смыслами поэта. В большей степени такова вся девятая глава книги о тексте «Слово как случайная оказия...»: здесь Дзядко переходит едва ли не на язык самого Айзенберга (сравним его: «Таким отголоском хочет стать и само стихотворение» – и слова М. А. о «голосе самого стихотворения» в предисловии к подборке Марии Марковой в «Знамени»)¹. Если же искать стилистические параллели с классикой, то речь Дзядко в своём соавторстве-сотворчестве, переводясь на язык анализируемого стихотворения, порой близка к стилистике Андрея Платонова: «Вы о чём?» – спрашивает у леса и травы слушающий их человек. «Если переводить на понятный тебе язык, то об уходе (смерти, окончании, прощании); мы говорим о том, что заканчивается день», – отвечают они. И продолжают: «Но это перевод слишком приблизительный, ты ведь хочешь увидеть в убывающем дне что-то более сложное, что-то своё, а зря: в нём есть только то, что мы говорим, – лес, трава, слабый голос костра, травостой». «Ну раз так, – говорит человек, – я не буду искать знакомые слова в вашем шуме, а стану быть внутри этого шума». (Несложно заметить, что это «стану быть» – очень платоновское.) Парадоксальным образом «поиск знакомых слов» – утверждение личных интенций эссеиста – не отменяет самоустранения, попытки быть «внутри шума», услышать тот самый, говоря словами Айзенберга, «голос стихотворения».

Если есть «голос стихотворения», то есть голос и этой книги, её читательской методологии. Разнообразные «вижу», «слышу» он произносит нередко. Дзядко настаивает на произвольности своих читательских ощущений; есть даже упрямый авторитаризм в «мне так хочется». Есть и вкрапления полудетской радости, эмоционально подключающей и читателя, ненавязчиво предлагающей разделить ценность находки (но какой!): «Меж тем, я нашёл ещё одну ящерицу у М. А.». И даже совсем «некон-

¹«Поверх авторской манеры, вытесняя и как бы отменяя ее, слышится голос самого стихотворения. Неясно кто, непонятно откуда – сами стихи окликают тебя, говорят с тобой, увлекая в чашу неведомой речи». (<https://magazines.gorky.media/znania/2011/2/poloska-sveta.html>).

венциональная» непосредственность: «Очень сложная вторая строфа, я её не понимаю совсем» (разумеется, и внимательные подступы к ней, и гипотезы следуют далее). Хватает и весьма вольных допущений – в стремлении осмыслить, о чём стихотворение: «То есть о советском времени – если захотеть увидеть здесь ещё». В том числе эти допущения относятся и к возможности увидеть здесь политический, злободневный план («а я хочу и вижу») – тут вспоминаются слова Григория Дашевского о «читателе-параноике», видящем во всём одну фанатическую мысль¹ (именно на Дашевского Дзядко ссылается, видя в его работе недостижимый образец для своего эссеистического письма, а в переписке со мной даже употребил слово «металл»). Тут, кстати говоря, может возникнуть неприятие со стороны адептов филологической критики (так и слышу фырчание тех, кто рассуждает об отсутствии точных методов анализа или о «безответственной эссеистике»). Однако кажущиеся «точными» методы порой не менее субъективны, чем эти заметки, не скрывающие своей пристрастности: последнее даёт читателю свободу как согласия, так и несогласия (анализируемые стихотворения помещены тут же, в начале глав). «Почему мне кажется, что именно светлеет, а не темнеет, – не знаю». Неточность уместна, когда поверяется точностью. Привлечение хода ассоциаций, намеренно осознаваемых как произвольные, и заключение об этом пакта с читателем хороши, когда сочетаются именно со scrupulousностью методологии – уже упомянутым поиском частотного словаря, анализом основных мотивов; и все эти способы Дзядко активно задействует.

А вот слова, как будто предвосхищающие метод Дзядко: «Благодаря Саше (Александру Морозову, исследователю Мандельштама. – Б. К.) возник ещё один модус: он говорил о том, что сказано в этих стихах. Даже то, как он их читал, проявляло смысловую, содержательную сторону. И скоро я понял, что настоящее по-

нимание возможно только на стыке этих двух планов» (Айзенберг, из «Это здесь»).

Но скажем подробнее о том самом «злободневном плане». Важный сюжет книги – атмосфера 2010-х, к которым протягивается неочевидная ниточка: «о том, как тебе, именно тебе жить внутри пустоты, после катастрофы». Это «тебе» в словах Дзядко звучит особенно гулко – как тройственная адресация: самому Дзядко (не избегающему, как мы уже сказали, биографических параллелей со своей жизнью), поэту, чьими словами вызван импульс, и целевому адресату – исповедующему ценности, общие с поэтом Айзенбергом и автором книги о нём. Такой целевой адресат воспринимает 2010-е, время «путинского большинства» (выражение Ф. Д.) именно как катастрофический период жизни, где личный долг неотделим от общественного, а «нестройное ура», / на нас идущее стеною» (слова М. А.) – от попытки что-то противопоставить этому положению дел. Значим здесь сам образ «теневого» чело- века, восстающий за вихрем 10-х годов, вихрем «нового патриотизма», «нового коллективизма» (этих слов Дзядко, как и Айзенберг, избегает, но они остаются за кадром. Важно, что стихотворение можно воспринимать и без них, – но восприятие будет неполным). В свете этого «нестройного ура» становится понятнее и значимое для Айзенберга деление на «своих» и «чужих», защита им ценностей своего круга – растущая из 70-х: «Хранитель места, певцы, ратники, ночные стражи защищают это место, составляют особую компанию. Мне хочется назвать её “тайным обществом” или “маленькой колонией друзей”. Сегодня это звучит немного литературно: пещеры, стражники, тайное общество кажутся пришельцами из мира сказок и приключенческих романов. Но я думаю, что все эти образы вырастают из реального опыта жизни в семидесятые, когда встреча с единомышленниками воспринималась как защита живого от мёртвого. В окружении враждебного мира сохранение своего круга было главным делом жизни, что отражается в стихах, статьях и воспоминаниях М. А.» (Дзядко). В том же интервью Айзенберга, данном мне, запомнились слова о «защите своего

¹«Правильный читатель стихов – это параноик. Это человек, который неотвязно думает о какой-то важной для него вещи – как тот, кто находится в тюрьме и думает о побеге» (<http://os.colta.ru/literature/events/details/34232/>).

мира букв»¹, о важности кругового разговора. Времена интересно движутся по спирали: тогда встреча со своим кругом была способом противостояния (хотя бы и невидимого) советскому официозу, сегодня – «новому тоталитаризму» путинского извода. Не знаю, есть ли эти «тайные стражи» вокруг Айзенберга среди наших современников, но могу предположить, что это литературное сообщество круга «Кольты» (Мария Степанова, Лев Оборин, Анна Наринская, покойный Григорий Дашевский и др.), и если есть «общий язык интеллигенции», близкий М. А., то он относится именно к этой «колонию друзей», – что, разумеется, не мешает их ценностям обретать новых сторонников. Сам разговор о политическом привносит в книгу Дзядко элемент злободневности, делает её насущно важной; в то же время можно считать, что и в айзенберговские стихи таким образом привносится актуальная нота – несомненно, нужная исследователю для трансляции своих идей, но и безусловно присутствующая в них². «Крошечное меньшинство тех, кто имеет своё знание», попытки соотнести свой голос с этим «меньшинством» и найти поиск оснований

¹«Меня очень заинтересовало Ваше высказывание из интервью журналу “Лехаим” 2012-го года: “Я для себя в какой-то момент решил, что не могу отвечать за весь мир букв. Пусть он живет своей жизнью, а я отвечаю только за свой кусочек этого мира, у меня своя зона ответственности”. Как бы Вы определили “ответственность за весь мир букв” - и “свою зону ответственности”?», – спросил я тогда Михаила Натановича.

²О стихах Айзенберга как о политических писали и ранее, что могло казаться удивительным: после книги Дзядко становится окончательно ясным, что это не пустые слова. См., например, слова Кирилла Корчагина: «Мне кажется, что стихи Михаила Натановича во многом могут быть определены через понятие политического, пусть даже прозвучит это несколько парадоксально. Разумеется, политическое само по себе многолико и разнообразно, но в данном случае его надо понимать в широком смысле, лишь по касательной задевая Realpolitik. Политика разлита по стихам Айзенберга: она предстаёт читателю как необходимость сосуществования многих в пределах ограниченного пространства, где неизбежны столкновения и где сильные притесняют слабых...» (<http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2011-4/aizenberg-opinions/>).

(любимое слово Айзенберга) в кончившемся мире – ключевой сюжет этих стихотворений.

Дописал до этого момента – и перелистнул на страницу с одним из самых пронзительных эпизодов «Это здесь», о проводах в эмиграцию друга и одного из важнейших представителей айзенберговского «тайного общества», Зиновия Зиника; о расставании, которое казалось вечным. Дзядко пишет о сюжетах расставаний, подробно касаясь их в главах, посвящённых физическому уходу родителей поэта и эмиграционным разлукам позднесоветских лет (как всегда, заглядывая в историю стихотворения; без этого можно было не узнать, например, что упоминаемое в стихотворении «Останется народная примета...» Донское – кладбище, где похоронены родители Михаила Айзенберга). Это вновь об исчезновении прежнего мира – и необходимости начинать с чистого листа, в новых обстоятельствах. В этом свете вновь становится понятнее герой книги – на стыке исторического контекста и биографического сюжета (в том числе национального: в «Это здесь» есть свидетельства о детстве Айзенберга и том, что приходилось испытывать ему и его родителям в этой связи. Подробно в эту тему углубляться не буду – прочитайте). Становятся более внятными его эссеистические высказывания о необходимости найти настоящее в новой точке, не жить инерцией прошлого, попытаться определить для себя основания здесь и сейчас: то, что было не столь ясно мне до чтения этих книг, в процессе того интервью.

Для меня ценное знание, сопровождающее меня после «Это здесь» и «Глазами щерицы», заключается ещё и в умении работать с личным отчаянием. (И, уверен, оно, это умение, могло бы стать таковым для многих поэтов, переживающих катастрофические состояния, – будь ощущение катастрофы столь тяжёлым, что почти неизбываемым, а значит, важны поиски всё тех же его оснований – и попытки переосмыслить, переработать, переволотить). «Будто новые стихотворения уже знают, что ответить личной пропасти: отчаяние не уходит, а стихотворение уже иначе с ним работает, за эти годы оно придумало выход. Оно изобретает акваланг и умеет управлять временем – расширять момент», – таково одно из точных наблюдений Дзядко об одном

из периодов в поэзии М. А. Это соотносится со словами Пригова, сказанными Айзенбергу, по воспоминаниям последнего: «Мы одинаково относимся ко всем этим внешним обстоятельствам, – говорил Пригов, – только реакция у нас разная: вас, М.Н., из-за них бросает в депрессию, а меня в работу». Та стиховая «работа отчаяния» (не близкая Айзенбергу у Пригова, ибо вырождалась, по его свидетельству, в «дикую работоспособность с нервической, с надрывом, подкладкой») – думаю, и есть самое ценное, во что могут воплотиться крайние состояния. Разумеется, при соответствующем даре и дисциплине.

Выше я сказал о своей непреходящей зависти, но это чувство, думаю, настигает многих, кто держит в руках книгу «Глазами ящерицы». Теперь многие поэты мечтают, чтобы о них появилась такая книга. Но совсем не у каждого есть Филипп Дзядко.

Мария МЕЛЬНИКОВА

ВАСИЛЬЕВ И ПУСТОТА

Николай Васильев. Нефть звенит ключами. – М.: Стеклограф, 2020. – 74 с.

Слово «нефть» в названии современной русскоязычной книги не может не будить определенных мистических ожиданий. Но здесь – не пелевинская нефть, которой пахнет во всей вселенной, и не благодатные родники прекрасной России сорокинского будущего. Нефть Николая Васильева по сравнению с ними кажется совсем тихой метафорической скромницей:

вот Меркурий, он так, для отмера,
вот неверия точка Венера
чуть подальше, невидимо, вера,
где на лестнице сумерек нефть
серебром ключевым прозвенела
от твоей ли квартиры, да нет

Вот только размышляя, что собирается лирический герой отмерять при помощи Меркурия, в чем гносеологическая проблема Венеры и является ли звон ключей «от твоей квартиры» желанным, можно легко упустить одну ма-

ленькую визуальную деталь: если уже сумерки похожи на нефть, то чего ждать от ночи? Спойлер: это зависит исключительно от читателя.

Явление, без упоминания которого разговор о поэзии Васильева невозможен, нагляднее всего явлено в японской живописи. Это оставленный необработанным участок картины или незакрашенное фоновое пространство. Японская художественная традиция уважает пустоту, ничем не заполненная изобразительная поверхность в ней и обладает собственной ценностью, и служит важным инструментом расширения зрительского восприятия, побуждает домысливать видимое, выводить его за пределы бумажного листа, холста, доски. В те или иные игры с пустотой – называя ее множеством разных терминов – люди играют во всех видах искусства. И если бы некоему культуртрегеру-метакоцептуалисту вздумалось организовать выставку таких пустот, одно из самых почетных мест на ней принадлежало бы «незакрашенному участку» текстов Васильева.

По сути это даже не «участок». Читая «Нефть звенит ключами», ты словно наблюдаешь, как бумага пытается поглотить рисовальщика.

Васильев не абстракционист, слова для него – не самодостаточные семантические объекты, а средства описания вполне конкретной страны, обитатели которой влюбляются, расстаются, ходят в гости, путешествуют, конфликтуют, переживают страшные утраты, размышляют. Но Васильев не помещает пустоту в этот мир. Он помещает мир в пустоту.

Она – не отсутствие материи. Или света. Или смысла. Она, может быть, неудобна, но обитаема и как-то обустроена. Вот дорога, электричка, дома, деревья, река, девочка на качелях, полицейские, вот даже гостиница «Хаос», только обольщаться ничем из этого нельзя. Здесь даже не надо делать роковой «шаг влево – шаг вправо», достаточно чуть повернуть голову – и вот оно, нестерпимое сияние безграничной безъясности, где нет «в некотором царстве, в некотором государстве», нет «откуда» и «куда». Здесь как в бета-версии компьютерной игры, где объяснений происходящему никто не дает, на выходе из локации попадаешь в белое поле, и можно намертво застрять в любой текстуре:

к чему ни подойди – края видны заране,
как будто жизнь честна, как девушка,
со мной,
как будто не моя, прямее и поганей
недолго говоря в подмёрзший перегой
зачем мы и при чём – за стеной,
при режиме,
в один прекрасный день, в одну
прекрасну дрянь
мне выродилось всё, чужое и чужие,
и сам себе никто, ни прочая родня

Однако вот твоё оружие и зелья, вот твою миссию, вот твои враги. Эта злобная все-ленная предназначена не для фрустрации, а для действия. Оно может быть совсем малым – оглянуться или заснуть в маршрутке (тут и такое может приобретать черты мучительного свершения). Или оказаться даже не действием, а отрицанием действия – оставить «это» (не спрашивайте!) «никаким, несглаживаемым – не сглазить то, чего не гладить». А может быть жутким, титаническим:

я знаю, всё сожги, оставь тоску одну лишь
несбыточный позор с лопаты, без следа
в дымящуюся топь, где поздно мы
проснулись,
но лучше, докажись теперь, чем никогда

Или:

кто пахнет из-под брезента, я или Бог
лучше бы я
но опознавать не стал, потому что трус
помог им из кузова вытащить плот, не плот,
кого-то на нём большой, но
подвижный груз

По пространству книги путешествуешь буквально на ощупь. Осознание бессмысленности вопросов «где я?», «кто эти люди?», «чей голос я слышу?», «что происходит и почему все так плохо?» наступает довольно быстро, и с ним приходят полезные исследовательские навыки: догадаться о событии по его последствиям, о предмете по его воздействию, попробовать, обдирая сознание, между членами

предложения, расставленными в сновидческом порядке, через опасные ямы от выпущенных важных слов, через слова, хитро подмененные и заново придуманные. Васильевская пустота щедро, попавшему в нее она позволяет применить множество ролей. Что ты делаешь, когда читаешь «Нефть звенит ключами»? Сражаешься с полтергейстом – тело противника невидимо, зато летящие в тебя со страшной силой посуда и мебель более чем заметны? Плутаешь в метели, силясь разобраться, что ожидает тебя впереди – пеня, волк, любовь всей твоей жизни или Емельян Пугачев? Пытаешься мысленным усилием починить что-то сломанное? Или сам сломался, и именно поэтому видишь какой-то ужас вместо космического стройного порядка? Как ты попал в гостиницу «Хаос»?

Читать «Нефть звенит ключами» – тяжелая, причудливая работа, побуждающая вступать в непривычные отношения со временем, в котором стоишь. Васильев – человек абсолютно современный. Он миллениал, родился в 1987 году. По роду занятий – журналист. Его поэтическая вселенная составлена из дорог, полей, переулков – пространств маргинальных, транзитных, плохо обжитых или попросту пустынных, она в силу обстоятельств бедна яркими приметами XXI века, но во вневременности ее неизменно сквозит полуневидимая, ухватистая нынешность. Однако творческая манера Васильева – воплощенная антитеза сегодняшнего социокультурного дискурса, требующего скорости, четкости, наглядности и комфортности восприятия. Его язык, его способ говорения призваны не облегчить тебе жизнь, не сэкономить тебе время и силы для постижения стремительно умножающихся чудес дивного нового мира, но наоборот, замедлить и усложнить твоё существование, отравить тебя в крестовый поход по дороге, не имеющей конца.

Так зачем по ней идти, калеча ноги, зачем ехать, сходя с ума, зачем пытаться что-то разглядеть в этом морозе странника? Затем, что все это страшное, но твоё.

снег бодрит весна, с каждым годом
сомнительней кроет
неподъёмную глушь, потому и объёмы
растут –

но и здесь ты не здесь ни родился,
ни умер порою,
даже если родился и умер практически тут

есть у истины выбор, одной только ей и
по праву,
меж законов своих просиять
беззаконье одно –

чтоб в аду областном под мазутом
и кровью канава
у апрельского неба рискнула спросить,
кто оно

Путь из семантического лабиринта существует, ответ прост. Оно – это ты. Твое в мега-масштабах, в чудовищной близости. Все это и есть ты. Рисовальщик и есть бумага. Разрастание индивидуума до пространства в поэзии Васильева происходит легко и незаметно – вроде бы никаких событий мифического масштаба не произошло, просто вот рукав заменяет падающему снегу землю, вот «междуглазое небо» и «выгиб земли челюстной», а если неба нет, им станет «чистый крик, полнейший алингвал». Отношения человека со смертью здесь неразрешаемы, однако сводимы к простейшему телесному контакту: надо просто понять, что с тобой происходит:

стало стрёмно здесь жить, будто не за что
умирать, нечем взяться за смерть

Или:

никто не знал на свете, ни судьба,
что делать с этим бесконечным чувством –
как в поле, что ли, бить и погибать
с того, что жизнь по смертному плечу нам

И с Богом то же самое. Он не Минотавр лабиринта, не босс недописанной игры. Да, все, в общем-то, плохо и хорошо не могло быть ни при каком раскладе, потому что жизнь контрабандная, мир порченный и другого не дано... но покажите, у кого в семье все хорошо? С Творцом лирический герой Васильева ссорится очень горько и совершенно по-бытовому, как с родственником. А родственники обязаны уметь хоть как-то мириться.

К тому же мир, в котором Бог под брезентом почти неотличим от человека, все-таки мысль не поворачивается считать обреченным.

Алексей МОШКОВ

«НА ПОЛЯХ МАНУСКРИПТА...»

Алексей Сомов. Грубей и небесней: Стихотворения, эссе / Сост. Б. Кутенков. – М.: ЛитГОСТ, 2021. – 220 с. – (Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»).

Что есть поэзия: «лучшие слова в лучшем порядке» или нечто большее? Вопрос для пишущей братии далеко не праздный, но самый что ни на есть насущный и даже, я бы сказал, основополагающий, ибо в зависимости от ответа поэзия становится либо оправданием – в философском смысле – жизни ревнителя изыщной словесности, либо – ее приговором (не прожил так, чтоб не было стыдно за бесцельно прожитые годы и дальше по тексту).

Но к какому бы решению для себя не пришел поэт (скорее, к первому, ибо какой он в противном случае тогда поэт?), для львиной доли окружающих он будет чем-то вроде юродивого, никчемного человечкишки, не смогшего реализоваться в жизни (условно: дерево, сын, дом), лентяем и пустобрехом, что, по сути, указывает на дихотомический характер статуса поэта: с одной стороны, он – демиург и чуть ли не сверхчеловек (так Бродский называл поэзию высшей формой существования языка), с другой – пятое колесо в телеге, если под оной подразумевать общество, то есть элементом, лишенным функциональной нагрузки – пустым знаком («Поэзия, искусство – это высшее, чем можно заниматься на Земле. Поэт – самая значительная личность в этом мире». Эти истины внушались мне с детства. И вот я, оставаясь русским поэтом, был самой незначительной личностью», – так описал эту дуалистичность высшего-низшего Эдуард Лимонов в своем скандальном первенце «Это я – Эдичка»).

Поэтому, когда Евтушенко громко заявлял, что «поэт в России больше, чем поэт», – он явно лукавил, как бы опуская вторую часть,

корректирующую, а то и вовсе подвергающую негации первую (что-то наподобие распространённого принципа «о мёртвых либо хорошо, либо ничего», как бы забывая, что в оригинале стояло «ничего, кроме правды»). Вторую часть шестидесятник то ли не сподобился придумать, то ли озвучить (хотя, возможно, он так искренне и полагал, облаканный властью, собирающий стадионы и вершащий судьбы других поэтов). Но природа не терпит пустых мест: «поэт в России равен лишь России», – больше чем полстолетия спустя как бы отредактировал евшушковское определение поэт Алексей Сомов, безо всяких членений, дифференций и проч. расставив нужные акценты, то есть сместив «величие» поэта в метафизическую плоскость (ибо, как писал классик, «умом Россию не понять»).

При таком подходе уже изначально ясно, что поэт под поэзией подразумевает нечто большее, чем «лучшие слова в лучшем порядке», то, что не поддается рациональному анализу/осмыслению, находится за пределом «физики». Поэтому стоит ли удивляться, что Сомов в этом вопросе переходит на территорию *религиозного*? Нет, это совершенно логично: для него поэзия и шире – искусство есть религия, но не каноническая, институциональная, а как бы ответвление от ортодоксии – ересь:

не больно не трудно не совестно если
хотя бы с две тысячи первой попытки
уверовать в тёмную нотную ересь
распятую на коленном пюпитре
(«в тисках атонального шума и гама...»)

Что, в свою очередь, подчеркивает живой характер «учения», которому не нужны ни догмы, ни помпезность, работающие как раз на «цементирование», устранение «живой души». Поэтому достаточно и «дощатой сцены» в противовес религии мертвой – в Аду, читай, здесь, у нас, на земле:

Тебе и не думалось даже
в запале последних минут
каким Тебя жиром измажут
какой хуеты наплетут.

А в небе не звёздочка светит
рождественский пляшет салют

и снова жестокие дети
подставят Тебя и сольют.
(«Рождество в Аду»)

Отсюда и отношение к поэтическому творчеству как гносеологическому акту, ибо что делает адепт той или иной религии/конфессии, как не познает бога? То же и поэт:

я хочу от русского языка
ровно того же самого
чего хочет пластун от добытого языка
связанного дрожащего ссаного

замерзает не долетев до земли плевок
а я ж тебя паскуда всю ночь на себе волок

электрической плетью по зрачкам – говори
всё как есть выкладывай или умри
все пароли явочки имена
а потом ля голышом на морозец на
(«я хочу от русского языка...»)

Риторика Сомова может, конечно, смутить, но кто сказал, что поэтическая этика должна соответствовать общепринятой? К тому же не стоит навешивать ярлыки: куда важнее то, что стоит за этим. И кроме того, оставим право поэту определять отношения между им и его божеством (языком).

Это – что касается непосредственно поэтических задач, но не будем забывать, что, согласно сомовскому определению, поэт есть феномен метафизического мира: и в этом плане гносеологический дискурс обращен к миру истинному, скрытому от обычного взгляда. Для этого и нужна тьма, слепота, чтобы включить иные органы чувств – настоящее зрение:

В этом цирке уродов, где сплюснуты лбы,
где глаза вынимают скоморохам и зодчим,
в этом мире расхристанном стоило быть
беспощадней и зорче.
Партизаны любви в суматошной войне,
отступаем, сжигая стихи и селенья,
в голубые поля земляничные вне
Твоего поля зренья,

– пишет Сомов в стихотворении «Азбука Брайля», к которому так и хочется добавить

«по Босху», по существу, формулируя смысл творчества:

Только Ты не забудь, только Ты нам зачти
всё, что было до времени скрыто, –
ногтевые отметки, слепые значки
на полях манускрипта.

Почему так? Почему Сомов так акцентируется на «ногтевых отметках, слепых значках»? Да потому, «всё, что было и не было, – сонный узор / на подушечках пальцев!» Мир – он весь в опыте.

Таким образом, познание мира на ощупь – а иного не дано, ибо вокруг тьма («Родина-тьма!»), и только так и возможно получить истинную картину реальности – выступает метафорой поэтического творчества, в основе которого лежит гносеология.

Но тут надо подметить один важный момент, который Сомов упоминает лишь вскользь, точно маскируя от профанной оптики: это – эпитет «сонный», который надо понимать в смысле сновидческий – на что уже, собственно, намекают другие тексты поэта. Например, «Чужой сон», «Сон астрофизика», но более всего – «Pet sematary» (с англ. «Кладбище домашних животных»):

снилось мне
как будто бы животные
все, которых я любил и знал
враз вернулись, требуя чего-то
заскребли когтями в двери сна

заодно из чёрной книги джунглей
с той ли стороны счастливой смерти
принесли в зубах, оскалась жутко
весточку о предстоящем свете

О чем это Сомов? О пророчестве, которое он получает во сне – прямиком из «чёрной книги джунглей» (привет Киплингу с Есениным!). О том мире, который он наследует после своего брэнного существования:

хватит, говорит, лепить отмазки
о двуногой плакаться душе
ангелы господни – лунной масти
от хвоста до кончиков ушей

рай заполнен божьими зверьми
коих не окликнешь, не погладишь
им не надо воли и земли
сахарных костей, собачьих кладбищ,

– наставляет поэта «псиглавец Христофор».

Тут следует обратить внимание на определение «лунной масти»: автор не раз возвращается к теме жизни на Луне или на Марсе, практически прозревая оную, что вполне дает нам право определить его творчество через понятие «визионерство», если не сказать «ясновидение» (понятно, что не в прямом значении, а в поэтическом). Именно в этом – увидеть незримое (истинное!) и заключается основной пафос творчества Сомова:

Но если встать с непокрытой башкой
под снег
и смотреть внимательно, чуть прищурясь,
–
сквозь фонарную рваную бахрому
в городах проступает рисунок бога.
(«Может статься, здешняя пустота...»)

А иного и нет, не дано, ибо мир, который нас окружает, есть мир смерти – «мир, который умер». Отсюда – единственное, что может стать смыслом – непрекращающийся поиск бога, то есть истины, поиск через творчество, через язык:

А в прогале звёздном, как между строк, –
то ли начисто отмотавший срок,
то ль досрочно вышедший из-под стражи,
пролетает ангел моей земли,
отвернув к небесам похмельный лик,
ибо чёрен, одутловат и страшен.
Ибо не на что тут ему смотреть –
в хороводе путаниц и смертей
всё как есть, и отцы не лучше деток –
он видал всё это не раз в гробу,
он подносит к устам свою трубу
и орет в неё: «Эй, ну где Ты?»
(«Тугарин и окрестности»)

Все. Закольцовка.

Прозорливый читатель, надо полагать, уже понял, куда я клоню, но, тем не менее, дабы не

было пробелов и недосказанности, остановимся еще на двух вещах. Во-первых, на личности поэта. Что здесь важно для нашего скромного исследования? Ну, разумеется, девиации – а куда ж без них, родимых, когда речь заходит о слуге муз? Применительно к Сомову это: скверный – или пре-? – характер, пристрастие к горячительным напиткам, тяга к деструкции и саморазрушению. Можно долго говорить, что на это повлияло, но что точно – так это то, что знакомство со смертью не прошло для поэта даром: смерть родителей, друга и особенно пятилетнего сына. Последняя – стала рубежом, Рубиконом, перейдя который, Сомов уже навсегда отворачивается от мира в сторону Иного, точно только тот, иной мир, мог даровать ему забвение, вообще мог позволить жить. Можно сказать, что Горе, с которым Сомов, в отличие от Иосифа Александровича, так и не испытал чувства солидарности, вытолкнуло его в Неизвестное, и эти две темы стали составной и неотделимой частью его творчества. Так что отделить эти биографические моменты, если мы рассматриваем поэтический мир Сомова как таковой, невозможно при всем желании: все спаянно в одну неделимую конструкцию.

Во-вторых, среди многочисленных влияний (например, в «*Отце*: Ты вырастаешь до небес...» виднеется Соснора (ср. «Гамлет и Офелия»), в стихотворении «дом, окно, звезда...» – Иосиф Александрович с его «Дидоной и Энеем» и так далее) обращают на себя внимание два: Бориса Поплавского (прежде всего склонностью к сказочным персонажам и вообще инфантильной оптике, которая является маркером непосредственного, детского зрения, первого взгляда/открытия) и Леонида Губанова (часто на интонационном уровне, построением метафор, имплицитности именно русского начала – с многочисленными отсылками к Есенину и проч.). Что их связывает – Поплавского и Губанова? А то, что и того, и другого современники величали не иначе как «русскими Рембо», последнего, правда, называли еще и «московским Рембо», который, имею в виду уже Артюра, тоже, точно установив стандарт, отбыл на тот свет в 37 лет – как – за ним – Губанов и Сомов – по стопам и следуя ему во всем – поэту и ясновидцу, который требовал

от адептов изящного искусства буквально фанатичного служения, полного отождествления жизни и поэзии с тем, чтобы преодолеть границы человеческого и выйти к сферам нового, доселе не известного опыта.

Помните, что Рембо писал в своем знаменитом письме Поллю Дементи?

Освежим память: «Первое, что должен достичь тот, кто хочет стать поэтом, – это полное самопознание; он отыскивает свою душу, ее обследует, ее искушает, ее постигает. <...> Я говорю, надо стать ясновидцем, сделать себя ясновидцем. Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обдуманым приведением в расстройство всех чувств. Он идет на любые формы любви, страдания, безумия. Он ищет сам себя. Он изнуряет себя всеми ядами, но всасывает их квинтэссенцию. Неизъяснимая мука, при которой он нуждается во всей своей вере, во всей сверхчеловеческой силе; он становится самым больным из всех, самым преступным, самым проклятым – и ученым из ученых! Ибо он достиг неизвестного».

Какой уж тут Кольридж с его «лучшими словами в лучшем порядке»!

По сути, Рембо говорит о новой религии – религии проклятых (несмотря на то, что определение вошло с легкой руки Верлена, именно Рембо не только четко артикулировал основные тезисы доктрины, но и указал путь – позже «канонизированный» в «миф Рембо», – доступный для других, буквально прорубив тропинку к иному сквозь заросли обыденщины и заурядности), религии весьма специфической, если не сказать фантастической (но, с другой стороны, какая религиозная доктрина обходится без той или иной меры фантастики?) и крайне узконаправленной, что существенно снижает ее шансы на выживание. Но, вопреки всем законам социологии, сказать: его message не дошел до наших дней, выпарившись в кипящем резервуаре времени (в «густом пекле бытия»!) – значит бессовестно, на манер российских TV-пропагандистов пойти против правды жизни, свидетельством которой и является творчество и жизнь Алексея Сомова. Проклятого поэта. Ясновидца.

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 21 апреля 2021 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.